

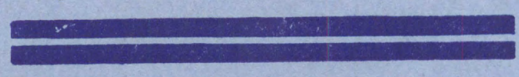
|| 5 ||

НОВАЯ МИР

НОВАЯ МИР

|| 1975 ||

5



1975



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1975 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
П. Ф. БАТИЦКИЙ — На страже мирного труда	3
БОРИС ПОЛЕВОЙ — Неисчерпаемый источник	13
ЮЛИЯ ДРУНИНА — Тридцать лет, стихи	17
С. СМОЛЯНИЦКИЙ — Майские ветры, повесть	20
ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ И СТАРЫХ БЛОКНОТОВ — Степан Щипачев. Фронтовые будни.— Михаил Светлов. Праздник.— Михаил Матусовский. Три баллады; Хороший денек.— Джек Алтаузен. Гимн.— Марк Соболев. Сыну; В бой!..; Жизнь; На Днепре.— С. Болотин. Баллада о нонпарели	104
АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ — Годы без войны, роман. Продолжение	118
ПУБЛИЦИСТИКА	
Н. НОВИКОВ — Подвиг (Из блокнота журналиста)	171
РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ	
А. С. Жадов. Полки идут на запад.— С. С. Волкенштейн. В бою арtdивизия прорыва.— И. Н. Веремей. Тяжелый, танковый, гвардейский.— П. И. Батов. На Бобруйск.— С. И. Клоповский. За свободу твою, Дунай! — Н. А. Ломов. Висло-Одерская операция.— А. И. Кузнецов. Наше знамя над рейхстагом (Из записок военного корреспондента). Продолжение	178
ДНЕВНИКИ, ВОСПОМИНАНИЯ	
П. КОЗЛОВ — «Илы» летят на фронт. Продолжение	223

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ИВАН КОЗЛОВ — <i>Война. Время. Литература</i>	234
<i>Слово о Шолохове</i>	
Сергей Сартаков. Могучая и волшебная сила.— Мирзо Турсун-заде. Завидная судьба.— Алим Кешоков. Пример великого мастера.— Л. Якименко. Мировое значение творчества М. А. Шолохова	247
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
Л. Финк. Осмысляя военную тему.— Ал. Михайлов. Светлая радость победы.— Валерий Дементьев. Проза поэта	261
<i>Политика и наука</i>	
Григорий Бровман. И пером и штыком.— П. Исаков. «Воюющая партия»	276
КОРОТКО О КНИГАХ — М. Анцыферов. Борис Агапов. Шесть заграниц. Очерки. ♦ В. Ружина.— А. Лебедев. Морская купель. ♦ И. Винокурова.— А. Коган. Павел Шубин. ♦ Борис Дубровин.— Анатолий Землянский. Земная песня. Поэмы, стихотворения, повесть в стихах. ♦ Вал. Гольцев.— В. С. Рябов. Великий подвиг. Популярный очерк о Великой Отечественной войне	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

П. Ф. БАТИЦКИЙ,
Маршал Советского Союза,
Герой Советского Союза

★

НА СТРАЖЕ МИРНОГО ТРУДА

Тридцать лет миновало со дня великой победы над германским фашизмом. Главным ее творцом, как отмечается в постановлении ЦК КПСС «О 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов», был советский народ и его Вооруженные Силы, совершившие подвиг, равного которому не знала история.

Советский Союз — миролюбивое государство. Войну ему навязал международный империализм, ударной силой которого являлся германский фашизм. В кровопролитных сражениях на обширном советско-германском фронте — главном фронте второй мировой войны — решались судьбы нашего социалистического отечества, судьбы многих государств, оккупированных немецко-фашистскими захватчиками. Исторически закономерно, что армия, выпестованная Лениным и Коммунистической партией для самых справедливых и гуманных целей, для защиты социалистического отечества, сокрушила и уничтожила фашистскую военную машину, созданную империализмом для захвата чужих земель и порабощения других народов. На долю многонационального народа и его воинов выпала труднейшая миссия: освободить народы Европы от порабощения, принести им свободу и независимость. Мне памятные те весенние дни 1945 года (а я тогда командовал стрелковым корпусом), когда советские воины освобождали Чехословакию, Польшу и другие страны Европы. Повсюду с радостью и восторгом встречали рабочие и крестьяне советских воинов, дарили им цветы, выражали чувства благодарности и братства. Они впервые увидели нашу армию, про которую им так много гласили продажные буржуазные идеологи.

Советские воины предстали перед всем миром как отважные, нестигаемые защитники своей Родины, как благородные и самоотверженные борцы за освобождение человечества от гитлеровского гнета, как несокрушимые богатыри, победившие страшного врага, казавшегося до этого всесильным и неуязвимым. Однако триумф советского оружия вызвал кое у кого на Западе злобу и ненависть. Просчитались буржуазные пророки, предсказывавшие, что армия нашей страны не выдержит единоборства с гитлеровским вермахтом.

Вопреки ожиданиям наших недругов Советские Вооруженные Силы вышли из войны еще более окрепшими и могущественными. Закаленные в исторических битвах Великой Отечественной войны, обогащенные бесценным боевым опытом, они встали на пост, чтобы бдительно охранять завоеванный мир на земле, надежно защищать мирный, созидательный труд советских людей, приступивших к вос-

становлению народного хозяйства, к продолжению прерванного вражеским нашествием строительства коммунизма. Вооруженные Силы стали в послевоенный период важным фактором сохранения мира на нашей планете. Их историческая ответственность за безопасность Родины еще более возросла и приобрела подлинно международный характер.

И в том, что агрессивные империалистические силы вот уже тридцать лет не могут разжечь пожар новой мировой войны, нельзя не видеть результатов титанической позитивной работы КПСС, ее ленинского Центрального Комитета по упрочению мира на планете, организации отпора реакции и агрессии, а также существования и непрерывного укрепления экономической и оборонной мощи нашей страны, высокой боевой готовности ее Вооруженных Сил, боевого союза стран социалистического содружества.

9 мая 1945 года прозвучал победный салют. Тридцать лет — срок немалый. За эти годы первое послевоенное поколение наших военных кадров (не говоря уж о ветеранах Великой Отечественной войны) завершило в основном свою службу в рядах армии и флота. Теперь командуют полками тридцатилетние офицеры. И, надо сказать, неплохо командуют.

Но мы вновь и вновь обращаемся к легендарным годам гражданской и Великой Отечественной войн. И это закономерно. Мы должны и впредь глубоко изучать, осмысливать с позиций сегодняшнего дня и внедрять фронтовой опыт, осваивать и дальше выкованную в боях за Родину науку побеждать, развивать и приумножать славные традиции военных лет. Вместе с тем следует более глубоко осмысливать и развитие армии за последние десятилетия. Эти годы насыщены многими событиями и сопровождались процессами бурного обновления во всех без исключения областях военного дела.

Законом нашей жизни был и остается поныне ленинский завет — постоянно укреплять боевую мощь и боеготовность наших Вооруженных Сил, беречь обороноспособность страны как зеницу ока. Коммунистическая партия уделяет постоянное внимание развитию армии и флота в соответствии с требованием времени, конкретно складывающейся обстановкой в мире. Эту генеральную линию партии в вопросах укрепления обороны подчеркнул XXIV съезд КПСС: «Съезд с удовлетворением отмечает, что партия, ее Центральный Комитет постоянно держат в центре внимания вопросы военного строительства, укрепления мощи и боеспособности Советских Вооруженных Сил. Всемерное повышение оборонного могущества нашей Родины, воспитание советских людей в духе высокой бдительности, постоянной готовности защитить великие завоевания социализма и впредь должно оставаться одной из самых важных задач партии и народа».

Неуклонное укрепление обороноспособности страны, повышение могущества ее Вооруженных Сил опираются на непрерывный и неуклонный рост советской экономики. Поступательное развитие всех отраслей народного хозяйства обуславливает постоянное расширение военно-экономического потенциала Советского Союза, что позволяет оснащать все виды Вооруженных Сил самой современной техникой и оружием в масштабах, соответствующих стоящим перед ними задачам.

О современном вооружении надо сказать особо. Ведь послевоенные десятилетия — это эпоха научно-технической революции, захватившей все сферы человеческой деятельности, в том числе и военное дело. Советская наука и техника идут в авангарде революционного процесса, что непосредственно сказывается на боевых возможностях Советской Армии и Военно-Морского Флота. Как указывает член

Политбюро ЦК КПСС, министр обороны СССР, Маршал Советского Союза А. А. Гречко, «благодаря непрерывно растущим возможностям социалистической экономики, замечательным достижениям отечественной науки и техники, самоотверженному труду советского народа неузнаваемо изменились наши Вооруженные Силы. В них происходят подлинно революционные преобразования. Они непрерывно оснащаются самыми современными видами оружия и боевой техники, совершенствуется их организационная структура, дальнейшее развитие получили военное искусство, теория и практика обучения и воспитания войск, военная наука в целом».

Подтверждением тому новый вид Вооруженных Сил — Ракетные войска стратегического назначения, составляющие основу нашей боевой мощи. Они оснащены ракетами межконтинентальной и средней дальности, новейшими автоматизированными средствами.

Ракетное оружие оперативного и тактического назначения составляет основу огневой мощи Сухопутных войск. Мотострелковые и танковые части ныне вооружены самыми современными танками и бронемашинами, с надежной броневой защитой, с мощным скорострельным вооружением, эффективными приборами для навигации и ведения прицельного огня. Войска стали более маневренными и подвижными. Они способны успешно вести бой при применении современных средств борьбы.

Новые боевые качества получили Войска противовоздушной обороны страны. На них возложена задача особой важности — защита Советской страны, армии и флота от ударов противника с воздуха. Войска оснащены современными средствами предупреждения о воздушном нападении, мощной зенитно-ракетной, авиационной и радиолокационной техникой, способной обнаруживать и уничтожать существующие и перспективные цели на различных высотах, в любую погоду, при сильном радиоэлектронном противодействии противника, на ближних и дальних подступах к обороняемым объектам. Это вооружение и техника имеют самые высокие боевые характеристики. В войсках широко автоматизированы процессы управления.

Фундаментальные достижения в создании новых реактивных двигателей и аэродинамических схем самолетов, широкое применение в самолетостроении более совершенных материалов, радио- и радиоэлектронного оборудования обеспечили бурное развитие Военно-Воздушных Сил. Самолеты-ракетоносцы способны наносить удары в любую погоду, по любой цели, на самых различных высотах, в том числе и в стратосфере. Воздушные боевые машины обладают сверхзвуковыми скоростями, оснащены мощным вооружением и радиоэлектронным оборудованием.

В грозную силу превратился и наш Военно-Морской Флот. Атомные подводные лодки с ракетно-ядерным оружием в настоящее время стали главным средством, способным решать его основные задачи. Флот располагает современными быстроходными надводными кораблями (среди них ракетоносные, противолодочные, противоминные, десантные и другие) и ныне уверенно освоил просторы мирового океана.

Таким образом, Советские Вооруженные Силы имеют все виды существующего на сегодняшний день оружия, включая ядерное. Предназначенные для решения конкретных задач борьбы с агрессором, они тесно взаимодействуют друг с другом, развиваются гармонично, неустанно наращивая свою огневую и ударную мощь и повышая готовность к ведению решительных боевых действий в самых сложных условиях. Как видим, боевая мощь наших Вооруженных Сил не-

измеримо возросла за тридцать лет, прошедших после победы в Великой Отечественной войне.

И дело, конечно, не только в разрушительной силе современного оружия. Революционные преобразования коснулись всех сторон армии и флота, всего, что связано с боевыми операциями, с техникой, в корне изменили сам характер военной службы, предъявив повышенные требования к советскому солдату и командиру.

Каков же он, советский воин середины 70-х годов, прямой наследник и продолжатель традиций тех, кто одержал тридцать лет назад великую победу? Не превратился ли современный боец в «работягу-специалиста», всецело поглощенного присмотром за сложной и требующей постоянного ухода техникой? Такое мнение может сложиться у непосвященного человека, если он попадет, например, на позицию зенитного ракетного подразделения во время боевых пусков. Здесь он вообще не увидит ни одного человека — они в кабинах, в укрытиях. Вся техника действует вроде бы сама собой. Автоматизированы и средства управления на командных пунктах всех степеней.

Однако практика, боевая служба, показывает, что автоматизация не превратила людей, выполняющих в рядах Вооруженных Сил свой воинский долг, в автоматы. Наоборот, роль человека в армии и на флоте еще более возросла, потребовала от каждого воина раскрытия всех заложенных в нем способностей и дарований, проявления негибаемой воли и стойкости, подлинного творческого дерзания в решении поставленных задач.

Наши солдаты и офицеры уверенно закрепились на самых передовых рубежах научно-технического прогресса, стали носителями высочайшей технической культуры, подлинными повелителями грозного всеокрушающего оружия.

В нашем советском воине сплавлены воедино беззаветная преданность Родине, партии и народу, высокие морально-политические и боевые качества, глубокая общеобразовательная и техническая подготовка, умение мастерски использовать боевую технику и оружие в бою, личная ответственность за защиту Страны Советов и всего социалистического лагеря содружества. Патриот и интернационалист стоит у пультов ракет, занимает место в боевом строю прославленных частей нашей армии. Он глубоко сознает необходимость ратного труда, о важности и ответственности которого так высоко отозвался Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев в письме прапорщику Ю. М. Прокофьеву из Бакинского округа ПВО.

Кстати сказать, прапорщики и мичманы — это новый институт в системе командных кадров Советских Вооруженных Сил, появившийся в последние годы. Введение прапорщиков и мичманов было вызвано дальнейшим развитием армии и флота. Они, как говорится, уже прочно вписались в организационную структуру войск, заняли в ней свое, им предназначенное место. Это не прежние «сверхсрочники», как полагают некоторые (сверхсрочнослужащие рядового и сержантского состава у нас сохранились), а совершенно новый отряд квалифицированных военных специалистов, верные помощники офицеров, успешно участвующие в обучении и воспитании личного состава.

Сегодняшние офицеры, как правило, специалисты высокой квалификации. Большинство военных училищ ныне высшие. Причем более половины офицерского состава имеют инженерное или техническое образование. Таким подвластна самая сложная техника. И не случайно примета нашего времени — повсеместное внедрение, на всех уровнях, во всех звеньях, научных методов организации службы и боевой учебы. Язык традиционных команд постоянно дополняется

языком математических формул, отливаясь в скупые алгоритмы, модели возможных вариантов боя с противником.

Новый подход позволяет успешно решать задачи обучения и воспитания воинов. Известно, что срок службы в армии и на флоте в соответствии с законом, принятым Верховным Советом СССР, сократился, а объем знаний и навыков, который необходимо усвоить каждому солдату и матросу, значительно возрос. Тем не менее молодые воины успевают овладеть всей программой боевой и политической подготовки, приобрести определенную военную специальность, которую в каждом отдельном случае можно без всяких скидок сравнивать со средним техническим образованием того или иного профиля. И не просто приобрести технические навыки, а стать высококлассным специалистом, то есть в известном смысле профессионально высокоподготовленным человеком, познавшим не только, например, данную радиолокационную станцию, но и глубоко разбирающимся в принципах ее работы, в физических процессах, на которых она построена. Классные специалисты, отличники боевой и политической подготовки — золотой фонд Советских Вооруженных Сил.

Могут спросить: как удается добиваться таких результатов, в чем «секрет» высоких показателей в учебе советских воинов — сыновей и внуков тех, кто сражался на фронтах в годы Великой Отечественной войны? Это прежде всего прямой результат создания в нашей стране развитого социалистического общества, открывшего перед советскими людьми все возможности для развития личности, для активного и сознательного участия в творческом созидательном труде. Неизмеримо повысился за послевоенные годы общеобразовательный и культурный уровень призывников. Подавляющее большинство из них — со средним и средним техническим образованием. Немало и выпускников университетов и различных институтов. Отметим для сравнения, что накануне Великой Отечественной войны 60 процентов военнослужащих имели лишь начальное образование. Сейчас молодежь приходит на военную службу с определенными навыками в эксплуатации современной техники, производственного и научного оборудования. Все это позволяет воинам в короткий срок постигнуть основы военного дела и быстро встать в строй защитников Родины.

Самое же главное — постоянная отеческая забота Коммунистической партии и ее ленинского Центрального Комитета о советских воинах. За послевоенный период ЦК КПСС, Советским правительством осуществлен ряд мер, направленных на всемерное повышение боеспособности армии и флота. Все это вызывает у личного состава горячее стремление с честью выполнять свой долг.

Конкретным воплощением этих благородных чувств и помыслов является социалистическое соревнование, ставшее ныне неотъемлемым элементом армейской жизни. В прошлом году инициатором социалистического соревнования за отличное овладение боевой техникой и оружием, подхваченного во всех Вооруженных Силах, был личный состав гвардейского зенитного ракетного Смоленского Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка ПВО. Взяв высокие социалистические обязательства, гвардейцы-ракетчики успешно выполнили их. Они упорно совершенствовали свое боевое мастерство в течение учебного года и на полигоне снайперскими пусками поразили реальные воздушные цели. Их пример воодушевил на борьбу за отличные показатели в боевой учебе коллективы многих других частей в Войсках ПВО страны и в остальных видах Вооруженных Сил. Ныне флаг соревнования подняли воины-зайкальцы — гвардейцы мотострелкового Порт-Артурского полка. Его

первый этап завершился к всенародному празднику — тридцатилетию Победы.

Боевая выучка войск всесторонне проверяется на регулярно проводимых в последние годы войсковых и флотских учениях. Широкую известность получили учения «Днепр», «Двина», «Океан», «Небесный щит» и другие. Они продемонстрировали со всей наглядностью и убедительностью дальнейший рост могущества наших Вооруженных Сил, их способность сорвать любую попытку агрессоров посягнуть на безопасность Советского государства и дружественных социалистических стран.

Характерно, что каждый дальнейший этап в строительстве Советских Вооруженных Сил, в совершенствовании их технического оснащения сопровождается чуть ли не синхронной сменой стратегических доктрин у агрессивных империалистических блоков! Сколько уж было этих доктрин! И доктрина «устрашения» и «гибкого реагирования», и другие стратегические концепции поджигателей войны, все еще мечтающих о достижении военного превосходства над нашей страной. Но, как видно по развитию событий в мире, потуги их остаются тщетными: Советское государство, его Вооруженные Силы крепнут год от года. И империалистическим стратегам приходится искать и изобретать новые доктрины...

Известно, что у германского фашизма тоже были свои агрессивные доктрины — блицкрига и «тотальной воздушной войны». Автором последней еще перед второй мировой войной выступил небезызвестный итальянский военный теоретик генерал Дуэ. Он рекомендовал вести войну в основном с помощью авиации — путем варварских бомбардировок мирных городов. Его взгляды подхватили в США Митчелл, в Англии — Тренчард. Но особенно ревностным последователем теории Дуэ был Геринг. Когда гитлеровская Германия развязала войну в Европе, немецко-фашистская авиация предприняла ожесточенные налеты на важнейшие города многих стран. Казалось, идеи Дуэ близки к осуществлению. Опыленные успехом, правители «третьего рейха» решили начать тотальную воздушную войну и против Советского Союза. В первый же день вероломного, разбойничьего нападения на нашу страну, 22 июня 1941 года, армады фашистских самолетов обрушили свои удары на советские города. А затем началось воздушное наступление на Москву, Ленинград, другие центры СССР. В планах гитлеровцев были налеты и на объекты Уральского промышленного района...

Но Войска противовоздушной обороны страны во взаимодействии с Сухопутными войсками, Военно-Воздушными Силами, а на приморских направлениях — с Военно-Морским Флотом в ожесточенных сражениях летом и осенью 1941 года сорвали план массированных ударов по важнейшим центрам и коммуникациям, разгромили крупнейшие авиационные группировки врага, нацеленные на Москву и Ленинград, похоронили навсегда пресловутую доктрину Дуэ. Подвиг воинов ПВО в Великой Отечественной войне, надо сказать, еще не раскрыт полностью в нашей литературе. Но я не сомневаюсь, что этой благородной теме еще будет посвящено немало ярких, запоминающихся книг, кинофильмов, пьес, радио- и телепередач. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20 февраля сего года об установлении ежегодного праздника — Дня Войск противовоздушной обороны страны — воздал должное большим заслугам противовоздушной обороны страны в годы Великой Отечественной войны и подчеркнул особую важность задач, выполняемых этим видом Вооруженных Сил в мирное время. Первое празднование знаменательной даты 13 апреля стало боевым смотром и отчетом воинов противовоздушной обороны перед Родиной и Ком-

мунистической партией о выполнении ими ответственной задачи по защите воздушных границ страны.

В постановлении ЦК КПСС «О 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов» сказано, что, проводя последовательную миролюбивую политику, Коммунистическая партия и Советское правительство проявляют постоянную заботу об укреплении оборонного могущества социалистической Родины, воспитании советских людей в духе высокой бдительности, делают все для того, чтобы мирный труд и безопасность страны были надежно защищены. Необходимость и правильность такого курса подтверждают уроки минувшей войны.

Один из суровых уроков войны состоит в том, что агрессор всегда стремится использовать фактор внезапности. Сорвать внезапное нападение на страну, уничтожить противника до подхода его к обороняемым объектам — этому подчинена вся служба, вся жизнь личного состава Войск ПВО страны. Постоянная боевая готовность, высокая бдительность дежурных сил и средств являются надежной гарантией того, что никому не удастся застать нас врасплох, безнаказанно проникнуть в воздушные пространства Советского Союза.

Требования к боевой готовности в послевоенное время значительно возросли. Само это понятие стало более емким, конкретным. Высокая боеготовность — это такое состояние Вооруженных Сил, при котором они способны в любой момент, в самых сложных условиях обстановки отразить и сорвать агрессию, откуда бы она ни исходила и какие бы для этого средства и способы ни использовались, в том числе и ядерное оружие. Боеспособность охватывает все стороны деятельности личного состава, штабов, командиров. Но как бы ни возрастали требования к боевой готовности, сколько бы ни увеличивалось количество мероприятий по ее обеспечению, основное содержание всей работы направлено прежде всего на подготовку личного состава к выполнению своих боевых задач.

В этом отношении, как уже подчеркивалось, у нас ведется постоянная большая работа, обеспечивающая Советским Вооруженным Силам всегда надлежащий уровень боевой готовности, такой, какой необходим на деле для осуществления требований партии: «Все, что создано народом, должно быть надежно защищено».

Качественное изменение всей материально-технической базы наших Вооруженных Сил, происшедшее в послевоенные годы, определило и продолжает определять объем и направленность той колоссальной воспитательной работы, которая проводится с личным составом в частях и на кораблях командирами, политработниками, партийными и комсомольскими организациями.

Вся партийно-политическая работа в войсках направлена на воспитание непревзойденного по силе духа бойца — политически зрелого защитника Родины, беззаветно преданного идеям партии, имеющего прочно сформированное марксистско-ленинское мировоззрение, широкий кругозор, глубоко понимающего свою роль в решении стоящих перед Вооруженными Силами задач.

Исключительно важное значение в борьбе за повышение качества и действенности идеологической работы, всего процесса воспитания и обучения личного состава имели меры, предпринятые в последние годы ЦК КПСС, министром обороны, Главным политическим управлением. Прежде всего имеется в виду дальнейшее совершенствование всей системы подготовки офицерских кадров, в том числе политсостава. Сейчас все военно-политические училища в Вооруженных Силах — высшие. Молодые офицеры получают в них фундаментальные знания марксистско-ленинской теории, практики партийно-политичес-

кой работы, педагогики и психологии. Это технически грамотные, тактически подготовленные люди, глубоко понимающие свои задачи, влюбленные в свое дело.

Важную роль в дальнейшем улучшении всей партийно-воспитательной работы сыграли всеармейские совещания с такими категориями политсостава, как секретари партийных и комсомольских организаций, работники идеологического фронта. Эти совещания вооружили наши кадры научно обоснованными рекомендациями по повышению качества и действенности партийно-политической работы.

Для советской молодежи армия — подлинная школа жизни. Здесь, на военной службе, у юношей воспитываются высокие морально-политические и боевые качества, сознательное отношение к строительству и защите коммунизма. Под священными боевыми знаменами мужает и закаляется солдат, к нему приходит зрелость, он учится свято хранить завоеванную в жестоких битвах счастливую жизнь, создает необходимость своим трудом продолжать славные традиции отцов и дедов.

Большой, поистине неоценимый вклад в дело воспитания защитника отечества вносят и наши писатели. Советский человек защищает свою социалистическую Родину — к этой теме обращено внимание замечательного советского писателя Михаила Александровича Шолохова, семидесятилетие которого сейчас торжественно отмечается и у нас и за рубежом. С захватывающим интересом читает наш солдат книги К. Симонова, А. Чаковского, И. Стаднюка и многих других писателей. В прошлом году лауреатами премии Министерства обороны СССР стали В. Кожевников, А. Адамович, А. Кулешов.

Воскрешая страницы золотой летописи войны, книги этих и многих других писателей служат воспитанию людей, показывают величие духа советских воинов. Думаю, что к великому подвигу в войне надо возвращаться и впредь. Это неисчерпаемая тема. И она важна еще и потому, что ветераны уже покинули в основном боевой строй. Сейчас даже многие генералы, не говоря уж об офицерах, не имеют боевого опыта. Вот почему так ценен поучительный и глубоко художественный рассказ о героизме и мужестве старших поколений.

Хотелось, чтобы писатели чаще обращались и к сегодняшней жизни армии. В ней много романтики, настоящего пафоса воинского труда, повседневного подвига.

У нас в Войсках ПВО страны есть зенитный ракетный полк, носящий почетное наименование Путиловско-Кировского. Его прародительница — 2-я противосамолетная батарея, созданная рабочими знаменитого Путиловского завода в Петрограде в грозные годы гражданской войны по прямому указанию Владимира Ильича Ленина. Славный боевой путь прошла эта часть. В период Великой Отечественной войны полк защищал от налетов вражеской авиации столицу нашей Родины — Москву. На знамени части — орден Ленина. Полк — гвардейский. У ракетчиков — кровные узы родства с коллективом Кировского завода в Ленинграде. Стало традицией, что, призываясь на военную службу, молодые рабочие-кировцы направляются в свой родной Путиловско-Кировский полк и с первых же дней боевой учебы показывают высокие результаты в овладении сложными современными военными профессиями. А за их учебой по-отечески требовательно следят рабочие завода. Так рабочая закалка, революционный и трудовой энтузиазм питерского пролетариата, передаваемый из поколения в поколение, с одной стороны, и традиции боевой славы, пример героев, отстоявших столицу в суровом 1941 году, — с другой, создают благодатную почву для постоянного роста и совершенствования боевого мастерства, воспитания высококвалифицированных специалистов, которые всегда

и во всем следуют ленинскому завету — учиться военному делу настоящим образом.

Таким образом, непрерывный, на всем протяжении тридцати послевоенных лет качественный рост и постоянное боевое совершенствование всех видов Советских Вооруженных Сил, духовное совершенствование советского воина гарантируют нам высокую мобильность и готовность всей системы обороны Советского государства и стран социалистического содружества к любым неожиданностям.

Да, теперь мы не одни, как было накануне Великой Отечественной войны. В годы минувшей войны родился и окреп боевой союз свободлюбивых народов. Ныне армии братских стран объединены в организацию Варшавского Договора, двадцатилетие которого отмечается в мае этого года. За два десятилетия боевое содружество армий братских социалистических стран окрепло и упрочилось, стало непреодолимым препятствием для всех попыток натѳвских стратегов подорвать основы мира в Европе, уничтожить все, что завоевано в результате нашей великой Победы. Вооруженные Силы СССР являются ядром военной организации Варшавского Договора. Советские воины, где бы они ни несли службу — в центре страны, на ее пограничных рубежах или за пределами Родины, — всюду с честью выполняют свой высокий патриотический и интернациональный долг.

Наши друзья из Вьетнамской Народной Армии с благодарностью, например, говорят о той помощи, которая была им оказана в организации противовоздушной обороны страны. Американский империализм обрушил на мирную вьетнамскую землю удар небывалой силы. Достаточно сказать, что за время войны во Вьетнаме американские агрессоры сбросили на мирные города и села этой страны больше бомб, чем было сброшено ими за все время второй мировой войны над европейским континентом. И тем не менее вьетнамский народ выстоял в неравной борьбе. Его противовоздушная оборона нанесла жестокое поражение американским ВВС, уничтожив тысячи новейших самолетов, включая пресловутые «фантомы». Это назидательный урок всем агрессорам.

В свое время некоторые горячие головы из Пентагона пытались прощупать мощь и нашей противовоздушной обороны. Позаимствовав у битых гитлеровцев доктрину так называемого открытого неба, они запланировали и попробовали осуществить 1 мая 1960 года разведывательный полет над советской территорией. Шпионский самолет был, как известно, сбит ракетчиками Войск противовоздушной обороны страны.

Советские воины всегда начеку. Они бдительно несут свою ратную службу. Она нелегка и сурова, эта служба. Напряженное боевое дежурство на позициях, расположенных и на берегах арктических морей, и высоко в горах, в тайге и знойных пустынях, бессонная вахта в многодневных океанских походах — в этом состоит ныне повседневный ратный труд, требующий отдачи всех физических и моральных сил, обязывающий не щадить ничего ради выполнения долга перед Родиной. И Родина по заслугам отмечает подвиги своих сыновей, совершенные и совершаемые ими каждодневно в мирное, но все еще беспокойное время. Свидетельство тому — учреждение ордена «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» и медали «За отличие в воинской службе». Этими высокими наградами уже увенчаны многие воины.

Оглядываясь сегодня с высот пройденного тридцатилетия на ушедшие в историю годы, нельзя не восхищаться и не гордиться теми успехами, которые достигнуты за это время советским народом. И во всем — в каждом новом образце вооружения, в новой элегантно

красивой форме солдат, в высокой выучке и боевой готовности личного состава армии и флота — мы видим, мы ощущаем постоянную заботу Коммунистической партии, ее постоянно растущую роль в укреплении обороноспособности страны, в руководстве военным строительством. Как мудрый стратег, она направляет усилия всех советских воинов на бдительную защиту завоеваний Великого Октября, обеспечение мира на земле. Партия вооружает нас непобедимым оружием, какого нет у самых технически оснащенных армий капиталистических держав, — всепобеждающим учением марксизма-ленинизма. У нас на вооружении также опыт минувшей войны, опыт, добытый кровью, бесценное достояние народа и армии.

Партийное влияние на все стороны армейской и флотской жизни выражается в повседневном руководстве КПСС Вооруженными Силами, в мобилизующем воздействии на умы и сердца воинов нашей пропаганды, горячего партийного слова, в силе живого примера, который изо дня в день показывают своим товарищам по оружию коммунисты Советской Армии и Военно-Морского Флота. Коммунисты в военных шинелях, как и их предшественники времен гражданской и Великой Отечественной войн, всегда на переднем крае, в рядах атакующих, всегда там, где трудно, где требуется не только порыв, не только клич, но и упорнейшая, самоотверженная работа. Своим примером, своим советом и добрым словом они ведут за собой воинов к высотам боевого мастерства, цементируют войска, помогают командирам и политработникам насаждать и поддерживать в частях и подразделениях нерушимую воинскую дисциплину.

Наша великая социалистическая Родина на большом подъеме. Успешно завершается девятая пятилетка, которая, несомненно, явится решающим шагом в нашем историческом соревновании с капиталистической экономикой, свергнутой ныне в пропасть усиливающегося кризиса. Приближается день, когда начнет работу XXV съезд партии. Вместе со всем народом готовятся достойно встретить его воины Советских Вооруженных Сил. В дни тридцатилетия великой Победы личный состав армии и флота, все солдаты и матросы, сержанты и старшины, прапорщики и мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, тесно сплоченные вокруг родной Коммунистической партии, заявляют о своей решимости и впредь верно служить народу, зорко стоять на страже мира.

В ответе воинам-забайкальцам, инициаторам развернувшегося в текущем году социалистического соревнования в Вооруженных Силах, Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ Л. И. Брежнев указывал, что «история и действительность учат нас ни на минуту не забывать о том, что силы реакции и агрессии стремятся препятствовать оздоровлению обстановки в мире, продолжают политику гонки вооружений, создают очаги напряженности на международной арене. Вот почему наши Вооруженные Силы и сегодня должны быть начеку, в постоянной боевой готовности».

Этот наказ — программа всей деятельности наших Вооруженных Сил. Над ее претворением в жизнь и трудятся, не жалея сил, советские воины, своим ратным трудом активно участвующие в строительстве коммунизма.



БОРИС ПОЛЕВОЙ

★

НЕИСЧЕРПАЕМЫЙ ИСТОЧНИК

Нет, никогда человечество не потеряет интерес к самой грандиозной из войн, потрясшей в этом столетии весь земной шар. Для нас, советских людей, это была Великая Отечественная война за нашу землю, за наше первое в мире социалистическое государство, за идеи коммунизма. Война за мир на земле.

И в этой войне, в грозные годы, когда над отечеством нависла смертельная опасность, наш народ — миролюбивый труженик — поднялся над миром как могучий, непобедимый богатырь, не имеющий себе равных на нашей прекрасной и беспокойной планете. В первые годы войны, сражаясь один на один с фашистскими полчищами, он сломил хребет нацистскому зверю и тем самым предрешил победу разума и света над силами тьмы и безумия, мечтавшими перекрыть по-своему карту Земли, перетасовывать на ней по своей воле народы и установить на земле свой окаянный нацистский «новый порядок», «по крайней мере, на ближайшую тысячу лет».

Да, именно так сформулировал свою генеральную задачу Адольф Гитлер, когда утверждал план «Барбаросса», разработанный его генеральным штабом.

Я был на Нюрнбергском процессе, и мы видели этот чудовищный план, извлеченный из тайная тайных нацистских архивов. Недаром авторы закодировали его именем самого лютого в средневековье рыжебородого разбойника Фридриха Барбароссы. Он был разбит на стадии, этот план. Первые стадии предусматривали покорение стран Западной Европы, и эти стадии гитлеровцы осуществили даже с опережением намеченных сроков. Одна за другой падали или сдавались на милость победителям страны, предаваемые своими малодушными политиками. В том числе и страны, издавна служившие примером империалистической мощи. Гигантская гитлеровская военная машина рвалась на запад, на север, на юг почти безудержно, и миф о непобедимости немецко-фашистской армии заставлял малодушных политиков. Даже за океаном раздавались голоса, требующие поладить с Гитлером, оставив ему на растерзание Европу и Азию.

К середине 1941 года гитлеровская военная сила поднялась в зенит своей мощи. На ее нужды работала вся западноевропейская промышленность. Обожающий всякие символы, Гитлер выбрал для удара по Советскому Союзу самый длинный день года. Он обрушил на наши границы все свои ударные военные силы, и именно в этот день в первых же приграничных боях был скомкан план «Барбаросса», пятая стадия которого предусматривала завоевание Советского Союза «в результате молниеносного концентрированного удара». Западная Европа уже знала, что такое блицкриг. По ней немецкие дивизии шагали, весело распевая любимую в войсках СС песню с припевом:

Мы будем шагать до конца,
Пусть все летит в преисподнюю.

Но вступив на советскую землю, где развернулись пограничные бои, бои упорные и яростные, фашистские молодчики эту песню уже не пели. А на шестой день сражений на восточном фронте один из авторов плана «Барбаросса», начальник штаба немецких сухопутных сил генерал Гальдер, записал в своем дневнике, который он вел всю войну, записал с удивлением: «...русские сражаются до последнего человека». Видимо, уже тогда этот опытный военачальник отдавал себе отчет в том, что блицкриг сорван, что не удастся «в первые месяцы войны», как это планировали, занять Москву, Ленинград и другие жизненные центры западной части нашей страны.

Сергей Сергеевич Смирнов совершил большой журналистский подвиг, восстановив святую эпопею защиты Брестской крепости. А ведь пограничные заставы знают сотни героев, о которых, живых и мертвых, еще не рассказано. Историки уже подсчитали, что в пограничных боях гитлеровские армии потеряли около 100 тысяч солдат и офицеров.

Признаюсь, что и сейчас не могу без волнения листать подшивки газет грозной военной поры. Читаю и

...на старости я сызнова живу,
минувшее проходит предо мною...

И какое минувшее! Какие величественные картины вырисовываются из этих порой и торопливо и небрежно написанных очерков, корреспонденций, и особенно из писем, писем с фронта и из тыла! Какие люди встают перед глазами!

Великая битва под Москвой, в которой был в прах развеян миф о непобедимости немецко-фашистской армии... Сталинград... Сражение на Курской дуге... Вся эпопея Ленинградской обороны... Форсирование Днепра и прорыв так называемого восточного вала... Грандиозная Белорусская операция... Корсунь-Шевченковская операция, которую народная молва нарекла Сталинградом на Днестре... Освобождение Польши, Румынии, Венгрии, Чехословакии... И наконец последний победный аккорд войны — штурм Берлина и поразительный, осуществленный танковыми армиями марш-маневр через Рудные горы, закончившийся освобождением Праги... Военная история не знала таких победных страниц.

Нет среди нас писателя, который бы с толстовской силой, глубиной, в толстовских масштабах описал бы Великую Отечественную войну и победы советского оружия во всем их величии. Но наши работники культуры за тридцать минувших лет уже немало сделали для того, чтобы увековечить небывалый подвиг нашего народа. Написаны хорошие романы, повести, стихотворения. Поставлены пьесы и кинокартины. Они несут будущим поколениям нетленные образы советских людей тех героических дней, действовавших на фронте и в тылу. Среди этих произведений литературы и искусства немало книг, прочно вставших на полки библиотек, фильмов, приобретших мировую известность. Есть песни, которые распевают весь мир. И вот в массе этих произведений, как в мозаичных панорамах, воскрешены нетленные картины былых боев и сражений, запечатлены образы советских воинов и труженников тыла, добывших великую победу.

В последние годы все большее читательское внимание завоевывают произведения, построенные на фактической основе, воспроизводящие реальные картины, рисующие реальных героев. Буквально за несколько часов расходятся мемуары советских полководцев и военачальников. Дневники, воспоминания советских журналистов и пи-

сателей, где рассказывается об увиденном и пережитом в дни войны на фронте и в тылу, почти не возвращаются на полки библиотек — за ними выстраиваются читательские очереди. И этот интерес закономерен. Война была для всех нас величайшим испытанием. В этой трудной войне советский человек предстал перед миром во всей своей духовной красоте.

Живо вспоминаю один из дней Нюрнбергского процесса, когда Международный военный трибунал допрашивал Германа Геринга. «Второй наци» Германии, загнанный в угол вопросами советского обвинителя Романа Руденко, был вынужден сквозь зубы признаваться в своих преступлениях.

— Признаете ли вы, что, напав на Союз Советских Социалистических Республик, вы совершили роковую ошибку, которая привела Германию к катастрофе?

И Геринг процедил сквозь зубы, пряча свои серые оловянные глаза:

— Это не ошибка, это рок. У нас была хорошая разведка. Мы знали численность ваших войск и их вооружение. Мы точно знали мощность ваших военных заводов и системы вашего оружия. Но мы не знали ваших людей. Ваши люди были всегда загадкой для Запада. Наполеон совершил эту ошибку, мы ее лишь повторили.— И снова, не подняв глаз, он повторил: — Это не ошибка, это рок...

В тот день, вернувшись в наш пресс-кемп (в лагерь прессы, где тогда жили корреспонденты всех стран), я долго не мог заснуть. Лежал на кровати и вспоминал, вспоминал, думая о наших советских воинах, с которыми я встречался на военных дорогах, о тех людях, которые, по словам Геринга, оказались «загадкой для Запада». И люди эти как бы молча теснились у моего изголовья, отгоняя сон... Великолукский крестьянин Матвей Кузьмин, повторивший в новых условиях подвиг Ивана Сусанина... Семнадцатилетняя девушка Маша Медведева, пронесшая пудовый мешок с золотом и драгоценностями почти шестьсот километров по неприятельским тылам, чтобы сдать государству случайно попавшие к ней в руки ценности... Моя землячка из поселка Пено Лиза Чайкина, с которой мне довелось говорить за несколько часов до того, как она ушла в лес к партизанам... Молодой ученый, один из добровольцев панфиловской дивизии казах Малик Габуллин, про которого уже в дни войны у него на родине акыны пели героические песни... Безногий летчик, сражавшийся с асами Геринга. Его я встретил в дни битвы на Курской дуге, после того как в этот день он сбил за один вылет два неприятельских самолета... Старший сержант Лукьянович, рабочий из Минска, который в дни битвы в Берлине вынес из-под неприятельского огня немецкого ребенка...

Это были те, чье мужество, отвага, упорство, чья коммунистическая одухотворенность в клочья изорвали план «Барбаросса», заставили дрожать его авторов, загнали в подземный бункер их фюрера, где он и отравился...

И сколько таких людей было в те грозные дни в дивизиях, и на заводах, и в тылу неприятельских армий!

Они совершили подвиги, в какие и поверить-то трудно. Ведь в самом деле, можно ли было бы до войны представить себе летчика, который больше двух лет воевал бы, не имея ног? И не только летал, а сражался. И не только сражался, а сбивал асов Геринга.

Сколько раз за пределами Советской страны приходилось мне слышать: «Ваш Мересьев — это красивая легенда. В жизни такого не могло быть. Сражаться на истребителе без ног — это просто физически невозможно...» А после войны выяснилось, что Алексей Маресьев, ныне здравствующий и вот уже много лет работающий в Совет-

ском комитете ветеранов войны, был не один. Я познакомился с летчиком из Северного флота, который тоже воевал, имея протезы вместо ног.

Удивительный подвиг Алексея Маресьева, как оказалось, не уникален. Он лишь свидетельствует о том, на какие высоты героизма может подниматься советский человек в своем служении Родине.

И вот история, в которую когда-то я и сам не верил. В первые, самые тяжелые дни войны, когда мой родной город Калинин оккупировал неприятель, по фронту прошел слух о том, что какой-то танковый экипаж прорвался в город с западной стороны, с боем прошел его насквозь, по пути раздавив и опрокинув несколько машин с неприятельскими солдатами, обстрелял немецкую комендатуру и в восточной части города прорвался к своим.

Мне показалось это прекрасным вымыслом, одним из тех, какие в те тяжелые дни люди придумывали себе в утешение. Когда город освободили, первое, чем я занялся, это поехал по следам таинственного танка. Нет, не легенда! Установил — танк прошел через двор текстильного комбината и прорвался в центр. Мне даже показали место, где он проутюжил автоколонну, и следы его снарядов на здании, где помещалась немецкая комендатура. Нашел женщину (кстати, знакомую мне землячку), которая случайно видела, как этот танк бил по комендатуре. Но ничего нового и она не могла сказать. Сообщила только, что на башне танка видела цифру «3» и запомнила синеватую, будто закопченную броню машины.

Но найти эту машину в потоке танковых частей в те дни так и не удалось. Истину удалось установить только четверть века спустя. Я приехал в Калинин, когда праздновалось тридцатилетие его освобождения. В президиуме торжественного заседания меня познакомили с коренастым крепким человеком.

— Литовченко, — отрекомендовался он.

Это был инженер с Украины. Он и оказался башнером таинственного танка «3». Я видел, как обнимал его маршал Конев, человек, умевший ценить героизм советских солдат.

А потом калининский журналист Павел Иванов проехал с Литовченко по следам этого легендарного рейса. Все разъяснилось. Танк волею военной судьбы оказался за линией фронта, и экипаж решил прорваться к своим. Все, все, что казалось легендой, подтвердилось: и атака на немецкий аэродром и огонь по немецкой комендатуре. То, что казалось мне не только маловероятным, но просто невозможным, действительно совершено...

Сколько таких историй и сейчас, в юбилей великой Победы, тридцать лет спустя после того, как отгремели победные салюты, еще хранится в памяти ветеранов, в дневниках и записных книжках журналистов и писателей. Сколько героев, пока неизвестных солдат, ждут еще своего воплощения на страницах книг, на экранах кино и телевидения.

Все это неиссякаемый источник славы народной. Литература и искусство будут снова и снова еще много лет и десятилетий принимать к этому животворному источнику.



ЮЛИЯ ДРУНИНА

★

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ

Декретом времени, эпохи властью
У ветеранов мировой войны
Жизнь — красным — на две разделило части,
Погоны так порой разделены.

Цвет пламени, цвет знамени, цвет крови!
Четыре долгих, тридцать быстрых лет..
Не стали мы ни суше, ни суровой —
И только в сердце от ожога след.

Не потому ль чужой болеем болью?
Чужая боль? Такой, пожалуй, нет..
Две разных жизни — две неравных доли:
Четыре года, тридцать лет.

ПЕРВЫЙ ТОСТ

Наш первый тост мы стоя молча пьем
За тех, кто навсегда остался юным..
Наш первый тост! —
И грусть и гордость в нем,
Чистейшие он задевает струны.

Те струны никогда не замолчат —
Натянуты они не потому ли,
Что не забудешь,
Как другой солдат
Тебя собою заслонил от пули?..

ТРИ ПРОЦЕНТА...

По статистике, среди фронтовиков 1922, 1923
и 1924 годов рождения в живых осталось три
процента.

Вновь прошлого кинолента
Раскручена предо мной —
Всего только три процента
Мальчишек пришло домой..
Да, раны врачует время,
Любой затухает взрыв,
Но все-таки как же с теми —

Невестами сороковых?
 К победе им было двадцать,
 Сегодня им пятьдесят.
 Украдкой они косятся
 На чьих-то чужих внучат...

ПЕРЕДНИЙ КРАЙ

Из последних траншей сорок пятого года
 Я в грядущие вдруг загляделась года —
 Кто из юных пророков стрелкового взвода
 Мог предвидеть, какими мы будем тогда?..

А теперь из космических семидесятых
 Я, смотря в раскаленную юность свою,
 Говорю удивленно и гордо:
 — Ребята!
 Мы деремся еще на переднем краю!

ПАРОЛЬ

«Война!» —
 То слово словно пропуск в душу.
 Тесней редеющий солдатский строй!
 Я верности окопной не нарушу,
 Навек останусь фронтовой сестрой.
 А если все же струшу ненароком,
 Зазнаюсь, друга не замечу боль,
 Ты повтори мне тихо и жестоко
 То слово,
 Поколения пароль.

МОЙ КОМИССАР

Не в войну, не в бою,
 Не в землянке санвзвода —
 В наши мирные дни,
 В наши мирные годы
 Умирал комиссар...
 Что я сделать могла?..
 То кричал он в бреду:
 — Поднимайтесь, ребята! —
 То, в сознание придя,
 Бормотал виновато:
 — Вот какие, сестренка, дела...

До сих пор он во мне
 Еще видел сестренку —
 Ту, что в первом бою
 Схоронилась в воронку,
 А потом стала «справным бойцом»,
 Потому что всегда впереди,
 Словно знамя,
 Был седой человек

С молодыми глазами
И отмеченным шрамом лицом.

След гражданской войны —
Шрам от сабли над бровью...
Может быть, в сорок первом
В снегах Подмосковья
Снова видел он юность свою
В угловатой девчонке —
Ершистом подростке,
За которым тревожно,
Внимательно, жестко
Все следил краем глаза в бою...

Не в эпохе,
Военным пожаром объятай,
Не от раны в бою —
От болезни проклятой
Умирал комиссар..
Что я сделать могла?..
То кричал он, забывшись:
— За мною, ребята! —
То, в себя приходя,
Бормотал виновато:
— Вот какие, сестренка, дела...

Да, солдаты!
Нам выпала трудная участь
Провожать командиров,
Бессилием мучась, —
Может, это больней, чем в бою..
Если б родину вновь
Охватили пожары,
Попросила б направить меня
В комиссары,
Попросилась бы в юность свою!



С. СМОЛЯНИЦКИЙ

★

МАЙСКИЕ ВЕТРЫ

Повесть

Глава первая

Полк, где служил старшина Дежков, был в первом эшелоне январского наступления трех фронтов, получившего название Висло-Одерской операции. Дежков не мог знать ни масштабов, ни целей этого жесточайшего сражения, которое началось на берегах Вислы, а через двадцать три дня завершилось форсированием Одера в семидесяти километрах от Берлина, но он знал, что война неотвратимо катилась туда, где должна кончиться.

Фронт стремительно отодвигался все дальше на запад от польской деревеньки, где полк Дежкова, обескровленный в первые дни прорыва долговременной обороны немцев, получил приказ остановиться, чтобы пополниться людьми и вооружением, и сейчас сюда даже не доходил глухой гул сражения, как это было несколько дней назад, лишь чуть в стороне, по шляху, шли и шли войска второго эшелона.

Старшина понимал, что могло означать такое быстрое продвижение огромной массы войск. А ведь немцы со всей своей техникой, которую они нагнали сюда видимо-невидимо, хотели намертво вцепиться в землю на этих рубежах, защищавших их собственную территорию. Выходит, не устоять им теперь, и как ни поворачивай, а войне скоро конец. И город Берлин не за горами, не за морями. А то, что Гитлера надо достать в самом Берлине, в его логове,— в этом лично он, Дежков, не сомневался.

Мысль о скорой победе, однажды возникнув, уже не покидала его и вызывала другие, которые раньше он гнал от себя, чтобы не затосковать, но теперь здесь, в деревне, хоть в польской, а все ж в деревне, он уже не мог с собой ничего поделать. Днем еще так-сяк, ему и поесть-то было недосуг (известное дело — на пополнении у солдата считай что отдых, а у старшины хлопот полон рот), а вот ночью... Лежа без сна, попыхивая сигаркой, старшина вспоминал Чистоозерск, залитый горячим степным солнцем, свой дом, поставленный им чуть на отлете, возле тополиной рощицы, где люди начали строиться лишь перед самой войной. И то ли это было, да быльем поросло, а теперь вот вспоминалось, то ли фантазия такая, а только чудилось ему, будто видит он сквозь сон, как жена, Надежда, намыливала сидящую в корыте Маришку и так складно приговаривала что-то — то ли для себя, то ли для Маришки,— и он будто чувствовал особенный теплый парной запах ребенка, и мыльной воды, и натопленного дома...

Но об этих ночных мечтаниях старшины в роте никто и помыслить не мог, да и сам он, если вправду сказать, удивлялся и корил

себя — да что поделаешь? Ночью человек над собой не волен, хоть приказывай себе, хоть не приказывай — все одно... Видно, устал от войны. Большая эта война, огромная, без конца и края, а тут край обозначился...

Удивлялся себе Василий Андронович не напрасно: был он человек строгий, можно сказать, суровый. И наружностью. И характером. Сухой, жилистый, ростом невелик, чуть выше среднего, зато широкий в кости. Запоминалось его лицо, темнокожее, с резкими чертами, словно обточенное ветром и подсушенное солнцем, и светлые, чистой воды зоркие глаза.

Действительную Дежков отслужил еще в тридцать шестом на Украине. А как вернулся на свою Кулунду, в Чистоозерск, женился, и поставили его бригадиром в колхозе... Да было ли все это? Утром, когда опять приказывала война, прошедшая, довоенная жизнь отходила и от большого расстояния как бы уменьшалась в размерах и покрывалась рябью, будто смотришь на нее издали — на нее и на себя самого, только другого, довоенного.

Об этом и думал старшина, проснувшись засветло. Он лежал, неторопливо курил, смотрел, как под потолком медленно растекается синеватый дымок. Но время шло к подъему, и пора было вставать. Пока старшина одевался, мысли его приняли привычное направление, которое дала им война, ее заботы.

После завтрака, обойдя хозяйство роты и проверив, все ли идет как положено, Дежков направился к командиру за указаниями. Он не торопясь шел по заснеженной улице села, полной грудью вдыхая чистый морозный воздух, в котором чуялся горьковатый, всюду одинаковый домашний запах дымка. Война войной, а печи надо топить и хлеб надо ставить.

Утро выдалось солнечное, ясное, с радужными искорками, какое в Сибири бывает в марте, когда отшумят метели и уже чувствуется — зима пошла на убыль. Вот и весна скоро, подумалось Дежкову. Еще одна весна...

Подходя к дому, где жил командир, старшина услышал далекий гул. Он остановился, снял шапку. «Так и есть, наши летят, — определил он по звуку. — Давайте, ребятки. Всыпьте ему, чтоб издох поскорей». О фашистах Василий Андронович всегда говорил в единственном числе, хотя повидал всяких — и солдат и офицеров. Но для него все они были на одно лицо. А гул уже превратился в ровный рокот, и вот, сверкая красными звездами, в голубом бездонном небе показались наши самолеты. Дежков по фронтовой привычке быстро сосчитал их.

Они летели широким растянутым клином — тупым углом вперед, шесть штурмовиков, «горбатых». А над ними по двое впереди, справа и слева шли вертки «ястребки».

Так, удовлетворенно отметил про себя Дежков, шесть и шесть. Попробуй сунься. Это тебе не сорок первый. Он-то знал, что это такое, когда над тобой все они — с черными крестами на крыльях. Когда видишь, как отрываются от них черные капли, и бежишь из колонны, с дороги, глотая горячий воздух с пылью и потом, бежишь, чтобы ткнуться в траву, и вдавиться в нее, и ждать, когда надвигающийся, раздирающий душу вой столкнется с землей и вся она вздрогнет и разорвется со страшным грохотом, готовая поглотить тебя. Их много, и некому остановить их. Вой мешается с ревом и грохотом, и ты теряешь счет времени. А когда поднимешь голову, сквозь огонь и дым, сквозь черные тучи, наползающие на солнце, увидишь другие самолеты, тоже с крестами на крыльях, и они на бреющем будут расстреливать тебя из пушек и пулеметов и погонятся за тобой, если ты

побежишь. А наших нет и нет, и ты не помня себя, в бессильной ярости, лежа на спине, бьешь из винтовки.

Самолеты пронесли и скрылись, а он все стоял, прислушиваясь, пока не стих удаляющийся глуховатый рокот. Потом глубоко вздохнул, надел шапку и вошел за ограду дома, где разместился командир со своим заместителем. Строго взглянув на часового, пританцовывающего на крыльце, открыл дверь.

Командир роты старший лейтенант Кравцов, худой, со впалыми щеками, хотя и молодой, но с нездоровым, желтовато-пергаментным цветом лица, сидел за столом, низко склонившись над бумагами. Только сейчас Дежков почему-то обратил внимание на седину, пробившуюся в коротко стриженных русых волосах его командира, и подумал о том, как трудно достается человеку война. Конечно, от такой войны в сторону не отойдешь — совесть не позволит. А все лучше этому учителю из самой Москвы сидеть где-нибудь в штабе дивизии, а то и армии, планировать операции или там разведанные собирать. А он и в атаку ходил, и под огнем полз, и на марше замерзал, и голодным сидел — всякого хлебнул со своей ротой. И не жаловался, и снисхождения к себе не имел. И то ли ночные мечтания размягли сердце Василия Андроновича, то ли оттого, что утро выдалось такое славное, чистое и солнечное, с красноразветными самолетами, летящими туда, за Одер, да только захотелось ему сказать командиру что-то хорошее, подбодрить, поддержать: ничего, мол, выдюжишь, потерпи маленько — теперь-то уж скоро...

Командир против обыкновения выслушал рапорт до конца и, хмуро взглянув на старшину, предложил сесть. Кравцов давно оценил спокойное мужество и хозяйственную сметку Дежкова и втайне считал, что такого старшину послал ему сам господь бог. У этого твердого, рассудительного сибиряка всегда был невозможнейший на войне порядок, а ученого учить — только портить. Но на этот раз он изменил своему обычаю и произнес краткую наставительную речь.

Дежков решил, что старший лейтенант получил нагоняй от начальства, которое на пополнении и формировании становится до крайности придирчивым. Суть его указаний сводилась к тому, чтобы людей не распускать и чтобы по бабам — ни-ни.

— Ты, Василий Андронович, без либерализма. Никаких поблажек, — закончил он свою речь, хотя прекрасно знал, что уж в чем, в чем, а в либерализме старшина не грешен. — А то, знаешь, себе дорожке. Вон Ладейщикову из-за ерунды два наградных листа завернули.

Что это за «ерунда», старший лейтенант не счел нужным уточнять, но Дежков понял и без объяснений. Выговорившись, командир вздохнул с облегчением. Ясное дело, указания свыше надо выполнять, на то и армия. Вот он и выполнил. Но в том, как все это говорилось, в самом голосе Кравцова старшина уловил отзвуки своего настроения, возникшего, когда он смотрел на наши самолеты в голубом солнечном небе и вдыхал особенный, утренний, с дымком воздуха, в котором уже чуялась скорая весна.

Командир и не думал скрывать своего сожаления, что капитану Ладейщикову «из-за ерунды» завернули два наградных листа. И то верно: не пустым же домой приходиться, если честно воевал. «Будь моя воля, — подумал Дежков, — я бы, как кончится война, каждого солдата награждал — за то, что смерть переборол, что тонул, да не утонул, что мерз, да не замерз, в огне горел, да не сгорел. Ведь кто живой останется, тому жить...»

— Так-то, Василий Андронович,— помолчав, прибавил командир. Спросив для порядка, все ли ясно и есть ли вопросы, он отпустил старшину.

Минут через тридцать, когда Дежков находился у автоматчиков, он снова услышал приближающийся рокот с другой, западной стороны. Он вышел на улицу и увидел возвращающиеся с задания штурмовики в сопровождении истребителей. Самолеты, похоже, были те самые, утренние, только было их всего три. Где же остальные? А истребителей — четыре. Не шесть, а четыре. Неужто такие потери — три «ИЛа», два «ястребка»? Восемь ребят — целое отделение!

Старшина не раз видел, как это бывает. Как пламя схватывает самолет и он, потеряв управление, с воем несется вниз, оставляя дымный хвост. Потом взрыв — и с земли вздымается огонь и черный дым... И у Дежкова зануло сердце, словно он знал этих ребят, хлебал из одного котелка, стоял рядом в окопе, готовый по сигналу вместе с ними рвануться вперед. Сколько их пало — даже имен не упоминать. Но вдруг, когда не ждешь, в памяти всплывает молодое лицо и тот бой... Война есть война, а все к этому не привыкнуть. Василий Андронович вздохнул. А может, не все погибли? Кто сел на вынужденную, кто с парашютом выбросился. Всякое случается...

Самолеты давно улетели, но в воздухе еще стоял тонкий прерывистый звон. Тонкий-тонкий. Да это уж и не самолеты — звенит тишина. Будто и не было ничего. Там, в бездонной, без конца и края вышине, не остается следов — она все поглотит, все смочет.

— Старшина собрался было идти, но что-то его остановило, вроде послышался гул какой-то... Или показалось? Нет, теперь он уже явно различил далекий рокот. Все ближе, сильнее. «Ну да, те самые ребята и летят, те самые,— обрадовался Василий Андронович.— Просто отстали малость. Бывает». И верно: в слепящей голубизне, сверкая звездами, показались два «ястребка» и начали со снижением разворачиваться над деревней, а в следующий миг он увидел как бы летящий с горы штурмовик, оставляющий дымный хвост, и над ним в глубоком выраже еще один. Старшина успел заметить, как несущийся прямо на лес штурмовик с черной полосой дыма за собой изменил направление и, едва не задев брюхом верхушки сосен, плюхнулся в снег, подпрыгивая, прополз еще несколько метров и остановился.

Дежков, увязая в снегу, побежал к нему через поле, напрямик. Над ним пронесся второй штурмовик и с разворотом ушел вверх.

Старшина что есть силы бежал к самолету, по самые крылья провалившемуся в снег, а штурмовик и два истребителя продолжали кружиться над деревней.

* * *

Солнце поднялось уже высоко, и самолеты сверкали в его лучах. В чистом воздухе ни одного пятнышка. Мерный гул моторов сливается с тишиной голубеющего неба. Но Борис знал, как обманчивы эти ясные солнечные просторы и как далеко видна их ровно идущая шестерка с висящими над ними «ЯКами».

Внизу было все бело, и на белом бесшумно плыли удлинённые тени самолетов.

— Внимание. Подходим к линии фронта,— услышал Борис голос командира. Голос, как всегда, был спокойный, с легким, еле уловимым акцентом.

Слева обозначился лесок. Деревушка. Развилка дорог.

Борис взглянул на карту — скоро.

— Увеличиваем скорость. Держать строй.

Борис дал газ, оглянувшись на ведомого. Когда он слышал голос командира в воздухе, ему казалось — командир рядом. И все видит. И придет на помощь, как это было тогда, в первый тренировочный полет в зону.

И вдруг мелькнуло воспоминание. Борис только пришел в полк и хотел показать, что кое-чему его научили. Взлетев и набрав высоту, он на боевом развороте так круто заложил глубокий крен, что не успел поддержать скорость и сорвался. Мгновенно, уходя и надвигаясь, земля закрутилась вокруг него. Что-то оборвалось в нем — штопор. И тут он услышал спокойный голос командира, там, на земле, руководившего полетами. Командир напомнил, как выходить из штопора. Несколько слов, спокойный, властный голос.

Так. Хорошо. Командир будто видел, что он делает в кабине. Еще мгновение — и в падении что-то начало меняться. Так. Хорошо. Голос был спокойный, твердый. И вот уже земля надвинулась снизу и справа. Выравнивай. Так. Борис еще не успел понять, только почувствовал — вышел из штопора.

Всего три витка, но ощутив устойчивость горизонтального полета, Борис словно впервые увидел ровное сияние света вокруг и землю внизу с легкими скользящими тенями от облаков; словно впервые услышал радующий сердце чистый, звенящий голос мотора — и испытал то ликующее чувство свободного полета, когда машина заодно с тобой, верна и послушна малейшему движению.

Земля, чуть покачиваясь, переливалась зеленым, желтым, синим и тоже, послушная ему, поворачивалась под крылом и поднималась, окунаясь в безбрежную голубизну.

Воспоминание это вызвало давнее и сейчас же ушедшее ощущение. Оно лишь коснулось Бориса. Мелькнуло — и исчезло. Прибавить обороты, держать строй. Это означало — скоро.

Но все происходит не так, как ждешь. Командир молчал, и сам он не увидел ничего. Увидел Димка, его стрелок, одновременно, а может, на секунду позже «ЯКов», которые шли выше них. Когда Димка крикнул: «Мессеры!» — и Борис оглянулся, два «ЯКа», один справа, другой слева, открыв огонь с дальней дистанции, шли с набором высоты, видимо наперерез «мессерам». В ту же секунду застучал Димкин пулемет. Ясно, «мессеры» пикировали сзади, со стороны солнца. Сколько их?

— Рви вправо! — крикнул Димка.

Борис мгновенно сработал рулями, и самолет резко ушел в сторону, сразу же (промедли он хоть долю секунды!) выше и слева от него пересеклись рваные дымные полосы — следы «эрликонов». В следующий миг «ЯКи» взмыли свечками, чтобы атаковать «мессеры» с высоты, но и те, почти одновременно (вот когда Борис увидел их) по двое в каждую сторону, ушли боевым разворотом. Так. Сейчас там начнется чертова карусель. Два наших — четыре «мессера». Но у наших высота.

Где командир? Взгляд выхватывает впереди и чуть в стороне два силуэта. Борис дает газ, но ему снова приходится маневрировать по командам Димки. Еще одна атака с хвоста. Теперь заработали пушки его ведомого, Николая. Два «мессера», боясь напоротся на огонь Николая, отвернули и один за другим проскочили вперед.

В натужном реве мотора слышится стремительный горячий перестук Димкиного пулемета. Частые короткие очереди — заградительный огонь. Ага, пауза. Значит, отвернули. Длинная очередь — прицельная. И вторая, наверное, вслед.

Сквозь потрескивания в шлемофоне прорываются отрывистые команды «ЯКов» — они крепко сковали «мессеров», хотя тех, видно, намного больше. Теперь главное — не оторваться, не отстать. Взгляд через плечо — ведомый сзади метрах в двадцати. Молодец, Коля, молодец.

Внизу, на земле, сверкают разрывы, бой истребителей идет с нарастающим ожесточением. Слегка качнув крыльями (Коля, внимание!), Борис прибавляет обороты. Командир и его ведомый приближаются. Далеко позади и ниже их Борис видит два других «ИЛа» — здорово же они отстали.

— Идем к цели! Идем к цели! «Семерка», подтянись! — Голос командира раздается в самый нужный момент, спокойный, ровный голос.

Отставшая «семерка» рвется на высоту, ведомый за ней, сейчас они подстроятся, но командир опять вырывается вперед. Он идет почти на предельной скорости. И все же понемногу широкий растянутый клин восстанавливается. И стрельба отдалается. От «мессеров» оторвались — «ЯКи» вцепились в них намертво.

Командир меняет направление — солнце остается в хвосте, но заметно смещается влево. Скользящие тени самолетов на снегу косо вытягиваются. Командир идет вверх — тяжело нагруженный самолет медленно набирает высоту. Борис то и дело проваливается — все труднее дается каждый метр.

— Цель впереди по курсу, — раздается команда, — приготовиться к атаке. Начинаем маневр!

Впереди возникают темные пятна разрывов. Их так много, что они сливаются — сплошная стена заградительного огня. Командир с ведомым, маневрируя, уплывают вправо, потом влево. Над ними сразу же повисают темно-серые хлопья. Борис размахисто, как это делает командир, бросает самолет из стороны в сторону. Но разрывы неотступно следуют за ним — ближе, кучнее.

Он у них на виду, весь на виду. Колющий холодок медленно разливается в груди. Грязно-серые хлопья вспухают со всех сторон. Резким скольжением Борис меняет высоту — темное расплзающееся пятно мгновенно возникает над ним. Ушел все-таки. Но дымные шапки опять появляются рядом, источая едкий проникающий запах, от которого подкапывает тошнота. Запах гибели. Он уже вьется в кабине, опутывая, обволакивая, перехлестывая...

— Маневр! Маневр! — властно требует голос командира.

Борис снова — в другую сторону — уходит вниз, под разрывы, и только теперь сразу за лесом видит цель — стоящие в два ряда двухмоторные «юнкерсы» с черными крестами на крыльях и фюзеляжах. К дальней кромке взлетного поля, где возвышается белое здание, ползет бензозаправщик. Остальные, видно, успели убраться. С той стороны беспрерывно сверкает огонь зениток.

— Внимание! Атака! Атака!

Самолет командира впереди уже вошел в пикирование. Борис на боевом курсе. Он идет в сплошных разрывах, но маневрировать нельзя. Еще немного. Чуть-чуть! Пронеси! Едкий запах закручивается вокруг него. Запах гибели. Медленно надвигается поле с самолетами. Еще немного! Пора! Борис опускает нос самолета, впивается глазами в сетку прицела. Бомбардировщик с крестами быстро растет и уплывает вправо. Доворот — «юнкерс» почти в перекрестье. Еще доворот — самый раз.

Борис жмет на гашетки — из-под крыльев вырываются эресы. Очереди из пушек и пулеметов. На земле сверкают разрывы, вспыхивает пламя.

Самолет с ревом несется вниз, со свистом распарывая встречный воздух. Высота — восемьсот пятьдесят. Восемьсот. Аэродром стремительно увеличивается. Семьсот пятьдесят. Семьсот. «Юнкерс» заполняет кольцо прицела. Отчетливо видны черные кресты с белой обводкой. Шестьсот пятьдесят. Еще чуть. Шестьсот. Ну! Борис жмет на кнопку сброса бомб — самолет вздрагивает от толчков, бомбы летят на цель. Мощный взрыв. И сразу за ним еще один. Взгляд назад: там, где стоял бомбардировщик, столб огня и дыма. Пламя бушует еще в трех местах — работа командира и его ведомого. Сзади пикирует Николай, и уже опустил нос еще один штурмовик.

Впереди для аэродромом — лес. Верхушки сосен почти на уровне глаз. «Горкой» Борис проскакивает через лес, ищет взглядом командира. Сверкающие трассы несутся вслед, пересекаются, обгоняют его. Прямо перед ним повисают разрывы снарядов. Борис резко уходит боевым разворотом.

Командир оказывается выше и слева — маневрируя, он набирает высоту.

— Повторная атака! Повторная атака!

Видимость никуда — все небо в черных расплывающихся пятнах и полосах. Еще один круг в кольце разрывов. Оно все сжимается, будто он сам притягивает эти грязно-серые хлопья.

Оглушительный хлопок над ухом — самолет встряхивает. Острый запах тонкой петлей захлестывает горло. Самолет заваливается на крыло. Борис мгновенно срабатывает рулями. Выровнялись, кажется. Выровнялись. В левом крыле рваная дыра, но машина послушно идет вверх. Все хорошо, надо только придерживать ее, чтобы не валилась.

— Жив?! — Голос Димки срывается на крик.

— Порядок. Идем на второй круг.

Внизу полыхает пламя. Черный дым густыми клубами заволакивает аэродром.

Командир уже снова в атаке. В наплывающей черно-бурой клубящейся массе просвет, в котором обозначается распластанный на земле «юнкерс». Борис резко опускает капот машины. Встречный ветер со свистом бьет по бронестеклу. Вспышки огня впереди, на земле, слепят глаза. «Юнкерс» в перекрестье снова заволакивает дымом. Рядом вырывается столб огня, один за другим на земле рвутся снаряды — самолет командира «горкой» выходит из атаки и скрывается за лесом. Ветер сбивает пламя — теперь Борис видит, как стелется дым, и доворачивает вправо. Огонь вырастает, разгорается ярче, краснее. В прицеле серая дрожащая дымная пелена с неровной расширяющейся полосой просвета. Там почти в перекрестье — «юнкерс». Еще довернуть. Высота пятьсот пятьдесят. Самолет несется в красном накаленном воздухе. «Юнкерс» в центре перекрестья — Борис жмет на гашетки. Успел! — в прицеле опять сплошной дым. Взрыв сотрясает воздух. Борис вырывает машину из пикирования, его подбрасывает взрывной волной; «юнкерс» пылает как факел. Снова «горка», разворот — и вдруг взрыв, будто молотом по бронекapotу, самолет проваливается, лицо обдаёт брызгами. Борис подбирает ручку — рули действуют, самолет ползет вверх, но начинает расти температура воды, заколебалась стрелка давления масла.

Сколько протянет двигатель — минуту, две, пять? До Одера — там линия фронта — минут восемь — десять. Борис сбавляет обороты, чтобы не перегреть мотор, и сразу же его ведомый, Николай, проскакивает вперед.

Борис карабкается вверх — нужна высота, побольше высоты, чтобы спланировать, когда заглохнет мотор. Когда заглохнет... Теперь

главное, единственное — оттянуть этот момент. Выиграть минуту, две. А то три или четыре. Дотянуть до своих.

Натужно, из последних сил ревет мотор, самолет срывается, проваливается, но высота все-таки понемногу растет — еще, значит, живем.

— Сбор! Сбор! Сбор!

Голос командира будто помог увидеть его самолет слева, далеко впереди. Маневрируя, скрываясь в черных расползающихся полосах дыма и опять появляясь, он шел от аэродрома — прямо на солнце, и теперь оно било в глаза зенитчикам и слепило их. Борис хорошо видел уменьшенный расстоянием силуэт его самолета, как бы ответно вспыхивающего, когда на него падал солнечный луч. Ведомые рвались к командиру — их швыряло по волнам, вскипающим черной и грязно-серой пеной, но все же они быстро сократили разрыв и уже подстроились к ведущему. Один. Второй. С командиром три машины. Не четыре — три. Феи нет...

Борису их не догнать. Они уйдут без него. Такая свалка, чертова карусель, дым, огонь, а Бориса прознобило.

Один — весь на виду у немцев.

И неожиданно в шлемофоне голос командира:

— Маленькие, маленькие, прикройте «пятерку». Прикройте отставшую «пятерку».

И сквозь легкие потрескивания низкий, с хрипотцой голос ведущего истребителей:

— Вас понял, вас понял...— И сразу команда: — Широв, прикрой отставшую «пятерку». Прикрой отставшую «пятерку». Как слышишь?

Наверно, командир видел, как Бориса шарахнуло на развороте, и все понял, когда он убрал газ и Николай проскочил вперед.

Три самолета, сверкая в лучах солнца, исчезая за оранжевыми бликами и снова появляясь, уходили в чистый просвет, в голубизну. Они были уже там, в другом, невероятно далеком, а может, и не существующем мире. И с ними Николай — только не разглядеть его. С ними, по ту сторону черты.

Впереди вспухают грязные, черно-серые хлопья разрывов, сверкают молнии вспышек. Борис с креном лезет вверх — обойти заградительный огонь и не потерять высоту. Но его опять «повели» — разрывы идут след в след. Ладно — два раза подряд не попадают. Все равно никуда не денешься. Хотя, бывало, попадали. Он один здесь, теперь-то уж Николай догнал их. Один. Что-то разлилось в груди — обожгло не то холодом, не то жаром. В горле высохло — не глотнешь. Он опять в кольце: разрывы справа, слева, сзади. Сейчас бы рывок, чтобы убраться, и еще рывок — догнать своих, но увеличивать скорость нельзя. Хорошо хоть тянет. Как-никак, а тянет. Ладно, два раза подряд не попадают. А бывало, попадали. Ладно, только бы не заглох. Взрыв рядом с кабиной. Самолет заваливает. Дым застилает бронестекла. Борис резко уходит скольжением на крыло. Метры, завоеванные с таким трудом, потеряны, но разрывы остаются позади. Теперь повернуть на солнце. Может, и выкрутимся.

Николай возник слева — выскочил, как черт из коробочки. Откуда взялся? Хорош, нечего сказать. Ну подожди же!

— Дорофеев, приказываю догнать группу. Как слышишь?

Николай покачал крыльями — слышу, мол (передатчик был только у ведущих), — и выдвинулся немного вперед, но было ясно, что уходить он не собирался.

— Дорофеев, приказываю догнать группу, — повторил Борис. — Уходи, Коля. Приказываю — уходи! Я дотяну. Уходи!

Они были уже почти в створе солнца. Сейчас уйти со снижением на предельной скорости и нырнуть в балку — это почти наверняка спасение. Да как же, так Коля и послушался его, для того, что ли, вернулся и крутится тут под огнем! Так, значит, теперь нас двое.

Николай на небольшой скорости, чтобы не отрываться, шел впереди. Теперь он повел Бориса. Разрывы еще тянулись за ними, вот-вот достанут, но солнце уже мешало зенитчикам, и они все-таки уходили. Медленно, а уходили. И впереди было чисто — голубизна, легкие перистые облачка...

Тяни. Надо тянуть. Вот к этому облачку. Стрелка давления масла подвинулась к нулю. Так. Все равно надо тянуть.

— Давай, Боря, давай. Дотянем.— Это Димка. Голос такой, что сам черт не брат. С ним не пропадешь.

— Над нами два «ЯКа»! — докладывает Димка.— Прикрывают?

— Прикрывают.

— Ясно. Вроде почетных мотоциклистов.

— Не болтай. Смотри лучше.

— Есть смотреть лучше.

Облачко приблизилось — легкое, полупрозрачное. Удлинилось — края его смазались, в середине появились голубоватые просветы, как трещины в льдине. Они расширяются, рассекая ее на части, и вот уже куски льда с треском обламываются и налегают друг на друга, сдавленные со всех сторон шевелящейся, трущейся с шершавым звуком массой. Влажный сильный и плотный воздух давит и бьет в лицо — воздух весны и воли, и от этого и от шуршания и треска ледохода легко и сладко кружится голова, перехватывает дыхание и будто зовет куда-то смутный, щемящий, далекий-далекий звон... Вздыхающаяся ото льда река под мостом, гул и треск ломающихся льдин, неведомо откуда идущий тонкий звон — все это вспыхнуло и исчезло.

Облачко растеклось: не одно — три маленьких пятнышка. Долетим, пока совсем не растает?

Внизу белые поля, волнистые, с голубым отливом снега. Справа по откосу петляет чуть темнеющая дорога. Вокруг нее черные пятна — следы бомбежки. Николай тащит за собой вниз, к откосу, к складкам оврага. Все правильно, Коля. Только нам с Димкой снижаться нельзя. Нам нужна высота, чтобы тянуть. Тянуть и тянуть.

«ЯКи» над головой — тут все в порядке. И облачко, если то самое, вот оно. Осталось одно пятнышко. Одно из трех. Но все равно — можно считать, проходим под ним.

В натужном реве мотора что-то дрогнуло — или показалось? Будто дрогнула и начинает расплзаться туго натянутая струна, состоящая из множества нитей. Они рвутся, ползут, но ниточка, может быть одна-единственная, еще держится. Ну не рвись. Еще немного не рвись. Впереди и чуть выше опять возникает Николай: понял — снижаться нельзя. Никак нельзя. Молодец, Коля. Все-таки легче, когда он впереди.

Борис чуть-чуть прибавляет газ, чтобы догнать Николая. И сразу заколебалась стрелка давления масла. Так, теперь осторожно, чтобы не сорваться, подобрать ручку — взять хоть несколько метров. Пот заливает глаза, от напряжения перехватывает дыхание. Будто он карабкается по скользкому камню. Сползает вниз и опять карабкается, в кровь раздирая руки.

Николай качнул крыльями: хорошо, давай жми. Хорошо-то хорошо, но резко подскакивает температура воды. Она на пределе. В тонком, все утончающемся от натуги вое мотора приближается сбой. Борис снова убирает газ, и его тотчас тянет вниз. По скользкому камню — вниз; он хочет удержаться, сдирая кожу, цепляется за хо-

лодную шершавую поверхность, но остановиться не может. Самолет проваливается, и его уже не поднять. Удержаться бы на этой высоте и потянуть, хоть еще немного потянуть.

Внизу широкая дорога, похоже, шоссе, рассекает лес, взбегает на холм; по обе стороны аккуратно поставленные домики. И там, где открывается белое пространство, возникает широкая полоса, сверкающая на солнце,— широкая и плавно изгибающаяся полоса с темными обводами.

Одер!

— Одер! — Это уже не он сам, это кричит Димка.— Одер! — И потом чуть тише: — Давай, Боря, давай!

Мотор задыхается. В его прерывистом, тяжком вое что-то гаснет, блекнет — убывают последние силы. Вот-вот оборвется та самая одна-единственная ниточка. Борис уже почти над темнеющей линией западного берега. За этой линией, за белым, в темных разводах полотном льда и воды — наши.

Масло на нуле.

Димка молчит. Он понимает, что значат эти секунды. Ну потяни еще немного. Совсем немного. Но мотор уже еле дышит. Человек падает, поднимается из последних сил, делает два шага и снова падает. Ну поднимись. Всегда можно сделать еще один шаг. Хотя бы один.

Брызги масла попадают на переднее бронестекло — оно быстро мутнеет. Одно к одному. Приходится открыть боковую форточку — ветер бьет в лицо, режет глаза. Борис опускает очки. Там внизу вода, лед.

В кабине появляется едкий дымок. Он идет снизу, из-под ног,— загорелся маслбак?

Медленно, слишком медленно наплывает восточный берег — секунды растянулись. Одна — и Борис над берегом. Но масло на нуле. И дым стал гуще — сейчас пробьется пламя. И мотор заглохнет. Остановится. Сейчас. Или в следующий миг. И вдруг Бориса обожгло: уже начался и идет какой-то другой, неизвестный ему счет времени, неизвестный и непостижимый. Лес. Деревня. Там — наши.

Время изменилось. Оно стало безгранично большим и единым, вместившим в себя все жизни, которые Борис прожил, и одновременно оно стало бесконечно малым — цепью мгновений: когда оборвалась ниточка, мотор заглох и винт, как во сне, завращался бесшумно; и когда земля быстро начала надвигаться на него; и когда он увидел белое пятно, полянку, зажатую между деревней и лесом, и успел довернуть, чтобы садиться по диагонали; и еще — толчок и треск и потом тишина...

А все, что было после этого, было уже другой жизнью, вернее возвращением к другой, привычной для Бориса жизни, протекавшей в привычном и понятном для него времени.

Глава вторая

Всякое случается на войне. Разве объяснишь, каким чудом они остались живы? Как ухитрились не врезаться в лес, когда заглох мотор и самолет будто с горы понесся вниз? Как не перевернулись и не разбились вдребезги на полянке величиной с пятак, когда от удара в бугор снесло шасси? А их потянуло дальше, прямо на деревья. И снегом забило пламя, а потом в двух-трех метрах от старых елей и сосен развернуло, и они остановились. И когда старшина Дежков подбежал к распластанному в снегу самолету, он увидел тех

самых родившихся в рубашке ребят, целых и невредимых. Стоя по колено в снегу, они махали шлемами своим товарищам, кружившим над ними. Тот, что был повыше ростом, темноглазый и темноволосый, видно, летчик, в короткой кожаной куртке, подбитой мехом, заметил его первым. Он повернулся к Дежкову, протянул руку, но, встретившись с ним взглядом, порывисто и как-то неловко обнял его.

— Живы, значит, соколы! — Старшина оглядел обоих, будто не веря своим глазам. — Считайте, что с этой вот точки жизнь ваша и начинается! На волосок от гибели находились.

— Чуть-чуть не в счет, отец! Все по краю ходим, — философски изрек второй, крепко тряхнув руку Дежкова и хлопнув его по плечу.

Рыжий, приземистый, с чуть согнутой спиной, в унтах и комбинезоне на коричневом меху, он был похож на медвежонка, вставшего на задние лапы, чтоб с ним поиграли. Сходство было так разительно, что старшина рассмеялся.

— Смех в строю, разговорчики, — сказал рыжий, видимо слегка обидевшись, но оборвал себя и внимательно, чуть склонив голову набок, что еще больше усугубило сходство, посмотрел на Дежкова: — Послушай, отец, а ты, случаем, не туляк? Что-то, я смотрю, больно ты хваткий...

— Хватский — народ вятский, — отпарировал старшина. — А я, парень, из иных краев, я человек степной, а лучше сказать — лесостепной, — прибавил он, любивший во всем точность. — Фамилия моя Дежков, а по званию старшина. — Теперь он обращался и к молчавшему летчику.

— Лейтенант Вольнин, — незамедлительно откликнулся летчик.

— Дмитрий Щепов, — представился рыжий, опустив свое звание.

Может, он тоже старшина. Под комбинезоном лычек не видно. Или младший лейтенант. Да мало ли кто! Воздушными стрелками и капитаны из штаба летали и майоры. Кому-то хотелось испытать, какая она, война, в воздухе, кто для дела летал, а кто и ордена зарабатывал. Счет боевым вылетам всем идет одинаковый, что сержанту, что майору.

— Дмитрий так Дмитрий, — усмехнулся старшина, дав понять, что небольшая эта хитрость от него не ускользнула. — Пойдемте, товарищи соколы, к командиру, коли вы в силах. Представитесь, побеседуете, а там и определим вас отдохнуть.

— Пошли, — сказал Борис.

Старшина двинулся вперед, по каким-то одному ему известным признакам угадывая, где снег плотнее и где его поменьше. На дорогу выбирались молча. А когда зашагали рядом по утопанному снежку, мягко похрустывающему под ногами, Дежков неожиданно повернулся к Борису:

— Ты уж прости, лейтенант, а хочу спросить. Тебе сверху-то виднее... Фронт — он к Гитлеру близко подошел?

— Близко, — ответил Борис. — Если считать от западного берега Одера по прямой, по шоссе через Зееловские высоты до Берлина километров шестьдесят.

— Высоты, говоришь?

— Холмы там такие. Фрицы их в крепость превратили. Одних зенитных батарей не сосчитать.

— Да-а... Немало еще поляжет нашего брата... А все ж шестьдесят! До самого Берлина! Значит, скоро. Считай, нынешней весной, — заключил старшина. Он замолчал и потом за всю дорогу до дома, где находился командир, не проронил ни слова.

Старший лейтенант Кравцов, видимо, был предупрежден об их приходе. Не успел старшина подойти к его двери, как он сам появился на пороге.

— Проходите, товарищи летчики, проходите,— сразу заговорил командир.— Раздевайтесь, присаживайтесь. Чувствуйте себя как дома.

Последняя фраза прозвучала как-то уж совсем по-домашнему, и Димка незамедлительно отреагировал:

— Но и не забывайте, что в гостях?

— Отчего же? Если сможете, забудьте,— ответил комроты, пододвигая стулья.

Здороваясь, он назвал свое звание и фамилию, и Борис, представившись, протянул ему удостоверение. Внимательно рассмотрев его, Кравцов еще раз предложил им сесть.

— Нам бы чайку, да покрепче,— сказал комроты длинношеему белобрысому солдату, сидевшему у телефона.

Тот молча вышел. Комроты пододвинул к Борису и Димке лежащий на столе кисет с махоркой. Когда все четверо закурили, неторопливо проговорил:

— Рассказывайте, лейтенант, рассказывайте!

Борис пожал плечами. Что рассказывать? Как они подошли к цели, и как атаковали аэродром, и сколько уничтожили самолетов противника? Как сбили Федора, а они с Димкой тянули сюда, за Одер? Или сказать ему, какой у них командир и что за парень Николай, его вedomый? Вырваться из огня, пристроиться ко всем, а потом опять вернуться в пекло только для того, чтобы одним своим видом помочь командиру,— как это назвать?

Крепко затянувшись, Борис почувствовал, как комната качнулась и поплыла перед глазами.

Кравцов, увидев, как побледнел лейтенант, пробормотал:

— Да вы курите... Торопиться нам некуда.

— Задание выполнили,— вмешался Димка, выдержав приличествующую паузу. Откинувшись на спинку стула, небрежно бросил: — Подробности письмом.

Старшина даже не улыбнулся. Он с осуждением взглянул на Щепова. Что ему, цирк здесь, что ли? Как-никак спрашивает старший начальник, командир роты. Да что там — этот рыжий парень и перед генералом не сробеет. Дай только волю: обсмеет и разукрасит своим языком — мать родная не узнает. Он, Дежков, видал таких. Вот только каков этот молодец в деле?

Димка слегка поежился, встретив прямой и настойчивый взгляд серых, с темной глубиной глаз старшины. «Чего это он так на меня? Жену от него я не уводил. И не увел бы,— признался он сам себе,— не посмел. Бедные солдатики — с таким старшиной не разгуляешься. Тут уж, ясное дело, дисциплинка на высоте. Это уж точно. Как пить дать. Так-то оно так, а вот такой ли он храбрый, когда стреляют?»

Теперь и Димка, в свою очередь, бросил на Дежкова долгий изучающий взгляд. И то ли оттого, что от всей крепкой фигуры старшины веяло собранностью, скрытой силой, то ли Димке понравились его большие смуглые руки с широкими ладонями, руки рабочего человека, не жадные, а ловкие, которые сейчас, отдыхая, свободно и мягко лежали на коленях, то ли от чего другого, о чем трудно сказать словами, но только главный этот вопрос был решен в пользу старшины. Димка улыбнулся и подмигнул старшине: мол, мы знаем, что знаем. Дежков был несколько удивлен этими неожиданными знаками, но не придавал им особого значения и отнес за счет Димки-

ного «шутовства». Он-то склонен был этот вопрос — каков Димка в деле — решать не в его пользу. Но факты, как ему было хорошо известно и как его учили, — упрямая вещь. А этот рыжий вместе с молчаливым летчиком, который ему положительно нравился, только что вернулся оттуда, и на его глазах они чуть не погибли. Так что от окончательного вывода Дежков все-таки воздержался.

— Ладно, — подытожил Кравцов, — будем считать, лейтенант, что рассказ состоялся. Ну, а передний край показать можете? Вот здесь, на этой карте...

— Попробую. — Борис встал и склонился над картой, лежащей на столе. Она была не такая, как у него, и другого масштаба, но, найдя Кюстрин, Борис сразу сориентировался и провел красным карандашом черту Кинитц — Гросс — Ноендорф — Рефельд...

— В этом районе наш первый плацдарм на западном берегу Одера, — сказал он, кладя карандаш. — Семьдесят километров от Берлина...

— Вот мы и в Германии, — задумчиво произнес Кравцов, — и семьдесят километров от Берлина... Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд, — медленно, со вкусом повторил он.

Кинитц, Гросс, Ноендорф, Рефельд — было непривычно для уха, и смысл этих названий, которые сразу, с ходу и не выговоришь, был загадочен. Но для Дежкова и всех, кто находился в комнате, они прозвучали как самая сладкая музыка. И не важно, были ли это деревушки, не имеющие стратегического значения, или укрепленные города, открывающие путь к самому Берлину, — это была Германия, территория врага. Его собственная территория, та самая, откуда война пошла полыхать по всему свету.

— По этому поводу не грех выпить, — проговорил Дежков. И не то чтобы вопросительно, а так, для порядка, взглянул на комроты.

— Действуйте, старшина, — сразу же отозвался Кравцов.

Чай запаздывал, а спирт, разлитый в кружки, появился моментально.

Все встали, молча чокнулись, выпили. Слова были не нужны. Их даже как-то страшно было произносить: то, за что мысленно пили, никогда не было так близко — вот-вот дотянешься рукой. Не спугнуть бы, пока не ухватили...

Молчание затянулось — о чем только не подумаешь в такую минуту! Старшина, как ему и полагалось, опомнился первым. Все-таки здесь он был хозяин, а летчики — гости. Даже его личные гости. И Дежков приступил к выполнению своих обязанностей хозяина. Ловко орудуя финкой, он одну за другой открыл две банки тушенки.

— Закусывайте, товарищи летчики, закусывайте...

— У вас, я смотрю, просто, без плошек-ложек и всего прочего, — сказал Димка, подцепив своей финкой с цветной наборной ручкой из плексигласа кусок мяса и пододвинув банку Борису. — Я лично не возражаю.

— А ты возрази, нам больше достанется, — усмехнулся Борис, беря банку.

После нескольких глотков спирта разговор пошел посвободней. Димка разошелся и, отвечая на как бы невзначай брошенные вопросы Кравцова, в ярких красках, со многими почти невероятными подробностями изобразил воздушный бой с «мессерами» и бомбежку аэродрома. Это было очень похоже, и Борис не стал его прерывать, тем более что Димка в эту минуту, пожалуй, и сам не смог бы отличить бль от небыли в своем рассказе, где все так перемешалось и перепелось.

— Вот ведь вы какие...— сказал Кравцов, вздохнув.— А у нашего брата, пехоты, война другая. Сколько еще земли придется перевозить этими вот руками, сколько километров на брюхе под пулями проползти! Трудно, тяжело, а все-таки...— Он помолчал.— А все-таки победа там, где солдат прошел. Но это к слову. Я о другом... Когда-нибудь скажут о муках пехоты, все вынесшей на своих плечах. Все — и холод, и бомбы, чужие, а когда и свои, и танки, и безвестность. Тогда и увидится ее подвиг...

— Да ведь летчиком не каждый сумеет,— неожиданно поддержал старшина престиж авиации.— До войны мне приходилось на самолетах пассажиром, знаю. Ну, там на совещание какое из района в область — Сибирь-то, она большая, на поезде долго проканителиться. Так иной раз небо с овчинку покажется — земля, к примеру, наверху, а ты внизу. А то камнем вниз летишь и не знаешь, вынесет ли кривая... А тут бой вести надо. А сам-то ты на виду — и ползком не подберешься, и в окоп от пули да снаряда не спрячешься...

— Зачем уж ты так, старшина,— примирительно заявил Димка,— солдат, он везде солдат. Что на земле, что в воздухе — стреляют одинаково.

Димка явно лукавил. Он-то был убежден в превосходстве авиации, в том, что летуны — народ особенный, не чета пехоте. Но хозяева были гостеприимны, с каждым глотком спирта все более симпатичны ему, и он не хотел обижать их. Впрочем, произнося эти слова, Димка не удержался и слегка скосил глаза на Бориса: дескать, ничего не поделаешь, приходится...

— Я понимаю вас, товарищ старший лейтенант,— проговорил Борис.— Очень хорошо понимаю. Я не о победе — она общая. Вот вы сказали — муки. И безвестность... Странно, никогда не думал об этом. — А вам и не полагается,— усмехнулся Кравцов.

— Чего уж там! — Дежков слегка ударил ладонью по столу, как бы заключая разговор.— Так оно и есть, как старший лейтенант сказал. Каких только мук не принял солдат, чтобы победу нашу добыть! Вы, лейтенант, не обижайтесь: не в укор говорится,— повернулся Дежков к Борису.— Когда вы, соколы, в небе, у солдата и сердце радуется и сила прибавляется. А воюем где кому пришлось.

«Ишь как запел,— подумал Димка,— приказали бы тебе на штурмовку слетать — смог бы? Подучили — и смог бы,— ответил он себе.— Это уж точно. А я сам? Если бы пришлось в пехоте? Пошел бы в разведку. Языков брат. Это по мне. А если бы не вышло в разведку? — продолжал он допрашивать себя.— Ну и что? В атаку ходил бы. В рукопашную. Так что вы, товарищ старшина, не очень».

— Где кому пришлось...— повторил Борис, и Димка, хорошо знавший своего командира, почувствовал: какая-то мысль взволновала его.— Послушайте,— тихо сказал Борис, ни к кому не обращаясь.— Ведь если звезды зажигают — значит, это кому-нибудь нужно? Значит, кто-то хочет, чтобы они были?

Вот куда его повело от спирта от этого, а право же, хорошо почитать бы сейчас стихи. Но так же неожиданно Борис замолчал.

Старшина слегка кашлянул, а Кравцов, улыбнувшись, спросил:

— Любите Маяковского?

— У нас учитель литературы был, Алексей Ксенофонович Романовский. Это все его наука: и Маяковский, и Пушкин, и Блок...

Борис оборвал себя, будто сказал нечто такое, о чем не следует знать другим. Слишком уж много стояло для него за всем этим. Он сказал — Блок, а в памяти всплыл с пронзительной ясностью тот сухой ветреный октябрьский вечер, когда он уходил в армию, и они

с Риммой сидели на скамеечке во дворе ее дома на Чистых прудах, и он читал «Май жестокий с белыми ночами...».

— Вы учились у Романовского? — ошеломленно проговорил Кравцов. — У Алексея Ксенофоновича Романовского?

Если бы сейчас перед домом появились немецкие танки, Кравцов был бы меньше потрясен (о привидениях нечего говорить, танки на войне страшнее). Ведь этот парень, который оказался учеником Романовского, в самом прямом смысле свалился с неба. Стоило прошагать тысячи километров по дорогам войны, выходить из окружения в сорок первом, в сорок четвертом под Витебском, чуть-чуть не отдать богу душу от осколочного ранения в правый бок, потерять столько товарищей, чтобы здесь, в польской деревушке, встретить выпускника той самой школы на Кировской, той самой 309-й школы, где в одних классах преподавал Романовский, а в других он сам, Кравцов!

Конечно, десятки раз они сталкивались друг с другом — на обще-школьных вечерах, на уроках Романовского, которые Кравцов посещал при малейшей возможности, наконец просто в школьных коридорах, сталкивались нос к носу, но не обращали внимания друг на друга. Но теперь Кравцов по-иному, другими глазами взглянул на Бориса. Он заново увидел его. Высокий, худой. Темноглазый. С небрежно отброшенными набок коротко остриженными волосами. Его легко представить себе за шахматной доской — скажем, против гроссмейстера Лилиентала, который как раз перед войной в мартовские каникулы давал сеанс в их школе... Кажется, парень он застенчивый, мягкий. А резкая складка посреди лба — это война. И резковатость в движениях — тоже война. В воздухе, в бою, все решают секунды, доли секунд. А лицо у него славное...

Кравцов хорошо знал этих ребят, у которых не так давно пробились усы и не успели затвердеть голоса, порывистых и увальней, все схватывающих на лету и тугодумов, самых обычных и ярко талантливых, — этих золотых московских ребят, запоем читавших книги, удиравших с уроков, отчаянных спорщиков, шахматистов и остряков, готовых судить обо всем на свете. Кто-то из них ухитрялся заниматься в аэроклубах, втайне мечтая об Арктике, о дальних перелетах; кто-то целыми вечерами торчал в кабинетах физики или вошел дома с радиоприемниками; а кто-то пропадал на стадионах и в физкультурных залах, не смущаясь обилием двоек. Они жили горячо, стремительно, жадно — казалось, для них не было невозможного, все было достижимо, все могло свершиться, стоило только по-настоящему захотеть. И это они, ни секунды не раздумывая, пошли добровольцами на фронт в первый же день войны или, будучи уже в армии, встретили врага кто где — на земле, в воздухе, на море, — и дрались до последнего, и умирали, и не сдавались... «На земле, в небесах и на море...» — была такая песенка до войны. И был сорок первый и эти ребята, которые дрались, и умирали, и выстояли.

И этот вот летчик один из них — Кравцов почувствовал это сразу. И еще он оказался учеником самого Алексея Ксенофоновича Романовского, сидел у него в классе за партой, слушал его, и выходил «к доске», и, вероятно, провожал старика, нес до его квартиры тяжеленный, туго набитый книгами портфель, а может быть, и брал у него дома, и ему позволялось рыться в книгах уникальной библиотеки Алексея Ксенофоновича, а потом они со стариком пили крепчайший чай за круглым старинным столом темного орехового дерева...

Но было ли все это? Алексей Ксенофонович, великий знаток XVIII века, автор единственной в своем роде книги о Новикове, кото-

рый так и не удосужился защитить ни докторской диссертации, ни кандидатской и так и не смог уйти из школы, переступив ее порог молодым человеком, сразу после университета... Было ли это — вечера в его тесной от книг комнате, разговоры обо всем на свете за крепчайшим чаем? Черт возьми, но ведь ему, только ему Кравцов читал свои стихи и ему одному дал рукопись, когда составила книжечка, с условием сказать всю жестокую правду, ничего не смягчая. Он даже взял со старика честное слово — чтобы никакой пощадки. А потом ходил около его дома в Кривоколенном переулке, не решаясь войти в подъезд, и подняться на третий этаж, и позвонить, — ведь если бы Романовский сказал «нет», он ни за что не отнес бы рукопись в издательство, хотя ему очень, очень хотелось, чтобы вышла книжка, он был переполнен своими стихами, которые требовали выхода и рвались на простор.

Он ходил около дома, был вечер, уже зажглись фонари, и падал мягкий снежок и светился в голубоватом полумраке, и прохожих было мало, и они не торопились — такой хороший был этот вечер, тихий, с невесомым снежком и легким морозцем. И он все ходил, придумывая новые и новые поводы, чтобы оттянуть эту минуту, когда придется все-таки подняться, и позвонить, и встретиться взглядом с Алексеем Ксенофонтовичем.

«Сначала пройду за угол к телефонной будке, если она свободна — тогда прямо без всяких иду. Если нет — возвращаюсь и начинаю все сначала. Пока не будет свободна». Будка оказалась свободной, и Кравцов решительно зашагал обратно, к дому Романовского. Но против его подъезда ноги сами остановились. Ладно. Пусть сначала мимо пройдут три человека — две женщины и один мужчина.

Прохожие шли, но в другом сочетании. Вот из подъезда выскочила девочка в красной вязаной шапочке, с сумкой, перебежала улицу и скрылась за углом. Две женщины и один мужчина не появились. Как назло (а может, и к лучшему, впрочем, не все ли равно!), два раза подряд прошли двое мужчин и одна женщина. Классический треугольник. У Кравцова начали мерзнуть ноги. Что за малодушные, в самом деле? Как будто от того, когда он войдет, что-нибудь изменится! Но что бы он себе ни говорил, взгляд его продолжал искать среди прохожих тех самых двух женщин и одного мужчину.

Красная шапочка показалась из-за угла (наверно, посылали за хлебом) и, размахивая сумкой, перебежала дорогу и скрылась в подъезде. Вот тут-то и возникли искомые две женщины и один мужчина. Он шел посередине и был очень приметный — дородный, с тростью, в богатой шубе и высокой «боярской» шапке. Довольно редкий экземпляр, видимо реликт старой артистической Москвы. А женщины Кравцову не запомнились — они как-то потерялись на его фоне.

Удивительно вообще, как запомнился ему весь этот вечер в мельчайших подробностях — красная шапочка с сумкой, дородный артист с тростью (не иначе какой-нибудь бас), легкий снежок, крутящийся в зыбком бело-голубоватом свете фонарей, темнота и даже запахи лестницы, по которой он поднимался, когда все-таки решился, и вот неожиданность — приоткрытая дверь квартиры Алексея Ксенофонтовича. «Смелее, — слышался голос Романовского. — Я битый час за вами смотрю, как вы там изучаете прохожих». Вот так так: он и забыл, что окно Алексея Ксенофонтовича выходит прямо в переулок.

Усадив его за этот знакомый круглый столик и не спеша приготовив чай, старик затеял «светский» разговор о том, о сем — он был великий мастер вести подобные беседы. О чем шла речь, Кравцов

не мог сейчас вспомнить, он был занят своими мыслями, гадал, что бы мог значить такой прием, переходил от отчаяния к надежде, то клял, то подбадривал себя и, естественно, слушал Романовского вполуха. В памяти отчетливо осталась та минута, когда он наконец поднялся и начал прощаться. Чай был выпит, обо всем переговорено, о стихах — ни слова. Вот тогда-то Алексей Ксенофонович, подавая ему в передней пальто (чем всегда повергал Кравцова в великое смущение, но все его протесты категорически отклонялись), как бы между прочим заметил: «А я, знаете ли, Евгений Сергеевич, вашу рукопись в издательство отнес, вы уж не обессудьте. Прекрасная будет книга стихов, превосходная. Многих стихов ваших я не знал прежде — не устаивали... — Старик помолчал, усмехнулся: — Вы от меня правду хотели, правду и только правду — так вот получайте!»

Это было сверх всяких ожиданий. О таком Кравцов не мог и мечтать — а ведь было же это! Было ли? Но он уже держал в руках верстку будущей книги, чуть влажную и пахнущую типографской краской, рукопись на удивление легко и быстро пробивала себе дорогу. И уже эта верстка была подписана в печать и отправилась в типографию, где ждала своей очереди, но не дождалась, так как наступило воскресенье 22 июня 1941 года.

Теперь же довоенные стихи, что помнились ему, казались и странными, и наивными, и — пророческими. Он и удивлялся им и любил их больше, чем прежде, как любил ту невероятно далекую жизнь, которая словно бы смутно просвечивала сквозь черный, закрывший небо и стелющийся по земле дым.

Он и сейчас писал стихи, потому что не мог не писать их, но это были другие стихи. Как будто они принадлежали другому человеку.

Почитать бы что-нибудь из тетради в коричневой обложке этому лейтенанту, которого он будто бы знал давным-давно, знал и любил и теперь встретил нежданно-негаданно. Всякое случается на войне! И тетрадь — вот она, всегда под рукой (Кравцов коснулся пальцами ее шероховатого клеенчатого переплета), всегда вместе с картой, на которой обозначен противник. Но мало ли что приходит в голову! Вот если бы они были вдвоем... Но напротив сидел воздушный стрелок с хитрющими всевидящими глазами, и рядом с ним старшина Василий Андронович Дежков, человек серьезный и положительный. Старшине и в голову не может прийти, что командир роты бацается стихами. И слава богу! Лишь бы в него верили, а там пусть случаются и сухарем и службистом — оно и лучше: и командовать и воевать легче.

«Так что уж в другой раз,— решил Кравцов.— А будет ли этот другой раз? Неужто будет, и они вместе с этим летчиком встретятся, скажем, у Почтамта на Кировской, захватят бутылку вина, и пойдут к старику, и будут пить чай и вино за круглым ореховым столиком, и говорить, и читать стихи...»

— На войне загадывать нельзя,— сказал Кравцов, обращаясь к Борису,— а все ж давайте рискнем. Чтобы мы встретились после войны у Алексея Ксенофоновича. За это и выпьем!

Что-то мелькнуло в глазах Кравцова — такое, что у Бориса сжалось сердце. Он молча поднял свой стакан, чокнулся, выпил одним духом. «Хочу, чтобы ты остался жив. Чтобы ты остался жив,— произнес про себя Борис. Он почувствовал, как между ними протянулась нить.— Это Романовский, старче Алексей, божий человек, это он связал нас. И нас и то, что было, с тем, что есть и будет»,— подумал Борис.

Странно, но ему вспомнилось, как они всем классом вместе с Алексеем Ксенофоновичем ходили в Большой театр на «Пиковую даму» и старче угощал их пирожными, а Борису не досталось, он

постеснялся сказать, и они с Риммой ели одно пирожное, и дурили, и затеяли такую игру — кто откусит меньший кусочек. Ерунда какая-то, но сейчас почему-то вспомнилось ему именно это.

— Значит, после войны у Ксенофонтovichа? — повторил Димка как всегда на свой манер. — Возражений не имеется? Принято единогласно.

Кравцов нахмурился. Этот парень ведет себя слишком развязно. Впрочем, может, и к лучшему. Разрядить обстановку не мешает, а то он совсем расчувствовался, так и подмывает поговорить с этим летчиком по душам, рассказать о себе, о детдоме, о том, что значит в его жизни Алексей Ксенофонтovich Романовский. А это ни к чему — только себя разбередишь понапрасну, да еще, чего доброго, жалеть себя начнешь. А на войне это последнее дело. На войне, чтобы воевать, все силы нужны — все, без остатка.

Старшина почувствовал перемену в настроении командира и понял это по-своему: дескать, пора закругляться. Он-то хорошо знал, что на сегодня у командира дел невпроворот.

Деликатно кашлянув, чтобы привлечь внимание, старшина обратился к Кравцову:

— А где, товарищ старший лейтенант, будем размещать товарищей летчиков?

— Сам знаешь, Василий Андронович. Смотри только, чтобы свободно было, чтобы могли отдохнуть хорошенько. И недалеко.

Борис и за ним Димка поднялись. Кравцов их не задерживал, дел у него действительно было невпроворот.

— Спасибо, товарищ старший лейтенант, за хлеб-соль, — сказал Борис.

— Ну уж, — развел руками Кравцов, — это вам спасибо. Правда, правда... — Он хотел сказать — Москве поклонитесь, но вовремя удержался и усмехнулся этой своей шальной мыслью: ребята ведь от правляются туда же, где очень скоро будет и он, — на передний край. И неизвестно, кому из них первому доведется увидеть Москву, да и вообще доведется ли...

— Как бы нам теперь домой добраться? — словно размышляя вслух, сказал Борис. Чем черт не шутит, вдруг командир роты подкинет машину?

— В вашу часть мы сообщим, — ответил Кравцов (ясно, машины не будет), — так что не беспокойтесь.

— Приедут. Никуда не денутся, — заметил Димка откуда-то из угла комнаты, где он натягивал комбинезон. — Николай видел, как мы сели. За сопровождающих мотоциклистов не отвечаю, а полуторка, на которой баллоны с воздухом возят, прибудет. Это уж точно. Как пить дать.

— Тогда... — Борис помедлил, — до Москвы, до встречи в Кривоколенном!

Кравцов молча пожал руку Бориса, и опять в его глазах мелькнуло то самое ускользающее выражение, от которого становится не по себе.

— Значит, до завтра, — повторил Борис и пошел к дверям.

Яркое бело-розовое солнце брызнуло им в глаза, когда они оказались на улице. Надо было остановиться, чтобы после помещения привыкнуть к блеску снега и ослепительному сиянию воздуха.

— Господи боже, благодать-то какая, — проговорил старшина, вздохнув полной грудью.

Димка усмехнулся. Ему, городскому человеку, смысл этих церковных словечек был непонятен.

— Поповщина. Темнота и невежество,— процедил он сквозь зубы, но так, впрочем, чтобы старшина не услышал. «Не мешало бы поддеть его («Один мой знакомый архиерей, большой любитель до этого дела...»), но не будем. Пусть живет. Мужик он вроде свойский».

— Есть тут недалеко свободная хата,— заговорил старшина, когда они тронулись.— Паненка живет. Одна-одинешенька. Мужика своего ждет не дождется. Больно просила не заниматься на постой. Устала, говорит, от войны. От нашего брата отбиваться. Ну я и вошел в положение. Обещался без крайности — никого. А тут крайность. Больше идти вам некуда. Чтобы и свободно и от командира недалеко.

— Не бойсь, старшина, не обидим твою паненку,— многозначительно произнес Димка, подмигнув Борису.

Борис, занятый своими мыслями, не обратил на это внимания. Не шел у него из головы Кравцов — видно, он что-то хотел сказать, да раздумал или не решился. Многое поднялось в душе, когда вспомнили Москву... Потянулись друг к другу, а вот воли себе не дали. Может, и зря. Кто знает, придется ли еще свидеться.

Шли они, кажется, недолго, минут пятнадцать. На углу улицы старшина остановился. За оградой, в глубине двора из-за сугробов, подступивших к самым окнам, виднелся низенький домик. Почти у самой калитки высылось большое раскидистое дерево, ствол которого метрах в двух от земли расходился надвое. Снег белой высокой шапкой накрыл макушку дерева, но не смог удержаться на широко расставленных во все стороны черных ветвях в середине ствола, тускло поблескивающих на солнце легкой изморозью.

Дом был угловой. Здесь кончалась улица, по которой они шли, а другая почти под прямым углом поднималась вверх.

— Подождите покуда,— сказал старшина и толкнул калитку.

Борис огляделся. Кругом было бело. Сразу за домом начиналось поле, метрах в трехстах обрываясь у леса. Похоже, они находились у самой окраины села и поле было то самое. Вблизи все так сверкало, что трудно было смотреть, но чуть подальше белизна гасла и снег становился матовым, с синеватым отливом. Эта часть поля, наверно, попадала в тень леса. Такие длинные расплывающиеся тени бывают во второй половине дня. Они хорошо видны с воздуха.

Только сейчас Борис подумал о времени — с тех пор, как они сели, прошло часа три. Может, и машина за ними выехала. Он все никак не мог надышаться этим воздухом — чистым, холодным, с колющим горло морозцем. Борис прикрыл глаза и будто снова почувствовал, как их потрянуло, как зашуршал снег под фюзеляжем и как с треском, подпрыгивая и покачиваясь, самолет неудержимо несся к лесу и он уже хорошо видел прямо перед собой темные стволы низких раскидистых елей... И ему захотелось посмотреть на свою «пятерку» — сейчас показалось странным, что она там, где-то в поле, отдельно от него, и что это прошло, кончилось и они с Димкой живы. Целы. Живы.

Он пошел от дома, с удовольствием ощущая под ногами упругий поскрипывающий снежок. Поднявшись по дороге, что вела в деревню, остановился. Отсюда было хорошо видно все ослепительно белое поле, чуть синее ближе к лесу. Вглядевшись, Борис заметил неровную прерывистую полосу. Хвост «пятерки» торчал из снега в конце этой полосы, у самых деревьев.

Теперь Борис сразу представил себе, где они, будто увидел все это с воздуха: справа деревню, слева лес и этот белый клочок, зажатый между ними,— спасение, если удастся сесть. А мотор уже заглох, но он успел на снижении повернуть, чтобы сесть по диаго-

нали,— лес косо надвинулся на него так близко, что Борис отчетливо увидел ветви на деревьях. Почти у самой земли удалось выровнять самолет. Потом толчок, и треск, и еще толчок чуть слабее, и шуршание, и снег, и деревья — и вдруг тишина...

Борис не заметил, как та тишина перешла в эту, а он стоит запрокинув голову, и его охватывает то знакомое с детства ощущение, которое приходит, когда долго смотришь в небо и кажется, что ты становишься маленьким, все меньше и меньше, и небо притягивает тебя...

— Эй, товарищ лейтенант, где ты там? — кричал Щепов.

Борис оглянулся. Димка стоял у дома и махал ему рукой. Борису не хотелось уходить. Кругом все сверкало, искрилось и было так тихо. Совсем тихо, ни ветерка. Низенькие, приземистые домишки, разбросанные по склону, темнели на снегу. Кое-где над крышами поднимался голубоватый дымок. А над всем — и полем, и деревней, и войной — стояло высокое, без конца и края небо... «Когда же это кончится — огонь, смерть?..» — подумал Борис, и у него резануло сердце, будто копившаяся изо дня в день усталость всей своей тяжестью навалилась на него.

Боль резанула и исчезла, но тяжесть уходила медленно, растекаясь по всему телу. Чуть кружилась голова, в ушах возник далекий легкий звон. Такое бывало, когда вылеты шли один за другим, и Борис знал, что скоро это пройдет.

Димка, видно потеряв терпение, уже шел к нему, размахивая руками, — где он успел набраться? Вздохнув, Борис двинулся ему навстречу.

— Вы что, товарищ лейтенант, местность изучаете или просто так, природой любуетесь? — поинтересовался Димка, остановившись, однако, на положенной по уставу дистанции от командира.

Когда ему случалось перебраться незаметно от Бориса, он чувствовал некоторое угрызение совести, переходил на вы, «товарищ лейтенант» и вообще всячески старался подчеркнуть, что он не лыком шит и службу знает не хуже других.

— Природой люблюсь, как видите, — в тон ему ответил Борис. — Что же касается вас, товарищ старший сержант, то вы, сдается мне, на такие пустяки время не тратили.

— Это уж точно, — охотно согласился Димка. — Пока вы местностью любовались, я земляка обнаружил.

— У тебя земляки и в джунглях найдутся.

— Точно. Туляк туляка видит издалека. Туляк, он как гвоздь — куда войдет, оттуда и выйдет, — изрек Димка. Его желтые, с золотым отливом глаза, еще более рыжие, чем он сам, масленисто и довольно поблескивали; веснушчатая даже зимой физиономия слегка порозовела; шлемофон был сдвинут на затылок, комбинезон растегнут чуть ли не до пояса. Димка так и сиял благодушной лихостью. В такие минуты на него нападал стих разглагольствования, службистское рвение довольно-таки быстро испарялось и в обращении к своему командиру явно проявлялся тон дружеского превосходства, который обычно Димка старался не выказывать.

Бывший «фабзаяц», потом токарь-расточник, порядочно потерявшийся в рабочей среде, он вообще считал себя человеком многоопытным, которому сам бог велел покровительствовать своему лейтенанту. И хотя Борис был моложе всего лишь на год, но что он мог понимать в жизни, что видел, кроме своих книжек? Десятилетка, один курс института, аэроклуб, летная школа — откуда ему, салаге, знать, какая она, жизнь, на вкус?

— Порядок дня такой, — говорил Димка, стараясь попасть в ногу с командиром, — обед, ну, конечно, как положено по норме, боевые сто грамм...

— Свою норму ты уже перевыполнил.

— Точно. Я всегда нормы перевыполнял. Что на заводе, на гражданке, что здесь, в боевых условиях. На том стоим.

Борис промолчал, и Димка продолжал разглагольствовать:

— Далее краткий отдых. Знакомство с населением. Если будут вопросы насчет обстановки и текущего момента, разъясним. Все как положено. Отбой без расписания...

— Без расписания... Пришлют машину, а тебя ищи-свищи...

— Не пришлют, товарищ лейтенант. Кому охота на ночь глядя ехать? Командованию что главное? Знать, что мы живы и здоровы и готовы к выполнению любых боевых заданий. Командование, оно свое дело туго понимает. Так что, товарищ лейтенант, ждите машину завтра к утру...

Когда они подошли к ограде, старшина уже ждал.

— Идите в хату, товарищи летчики, — сказал он. — Хозяйка сейчас печь затопит. Здесь и заночуете. Ужин пришлю. А коли что, дам знать.

— Родина тебя не забудет, старшина, — покровительственно произнес Димка и осекся, опять встретив, как ему показалось, насмешливо-жестковатый взгляд старшины. «Ну и черт с рогами, уж и пошутить нельзя! Тоже мне генерал-самозванец от инфантерии выискался. Как зыркнул! Еще по команде «мирно» поставит». И уже совсем другим тоном, каким он достаивал разве что старших командиров, Димка добавил: — Разделите компанию, товарищ старшина. Не пожалееете. Тут кое-что имеется, — хлопнул он по карману комбинезона.

Старшина, не выказав ни малейшего удивления по поводу непостижимой расторопности воздушного стрелка (он, кажется, понял, что от этого парня всего можно ожидать), отрицательно покачал головой:

— Уж извините. Недосуг мне. — Чуть помедлив, прибавил: — Ну, отдохайте. Желаю здравствовать. — И, приложив руку к новенькой ушанке, зашагал прочь.

— Сурьезный дядя, — пробормотал Димка.

Борис первым пошел по узенькой, расчищенной от снега дорожке, ведущей к дому. Перед дверью остановились. Борис помедлил немного и постучал. Никто не отозвался. Димка дернул дверь. Она была открыта. Переступив порог, Борис и Димка оказались в полутемных сенцах.

Глава третья

— Проще, панове, входите, — послышался женский голос, и тотчас открылась вторая дверь.

Хозяйку они увидели, когда вошли в просторную и светлую комнату. Она стояла, все еще держась за ручку двери. Димка учтиво поклонился, и это было все, на что он оказался способен. Борис удивился, но, встретившись взглядом с глазами хозяйки, и сам не нашелся что сказать. Это произошло секундой позже, а в первый момент он не разглядел ее лица, так как солнечный луч из окна падал ему прямо в глаза.

— Дзень добрый, панове, — снова заговорила она. — Я смотрела, как вы падали, убивались, и так за вас перепугалась! Матко боска!

Это было очень страшно. Но все кончилось хорошо... Мне на имя Анна...

— Дзень добрый, ясновельможная пани Анна.— Димка наконец обрел дар речи.— Меня зовут Дмитрий.— Он снова поклонился и бросил на Бориса победный взгляд: вот, мол, что значит общение с местным населением.

Она рассмеялась:

— О нет! Я совсем не ясновельможная. Не госпожа. Я простая учительница. Мой муж был звёзковый активиста¹. И... воевал за Польшу...— Она слегка запнулась, но не сказала «погиб», сказала «воевал».

«Надеется, что вернется,— подумал Димка,— наверно, получила плохую вест, да не верит. Не хочет верить. Надеется».

— Я простая учительница,— повторила хозяйка.— Не госпожа, не ясновельможная.— Она улыбнулась. Сейчас она была хозяйкой, ее горести, заботы никого не касались.

Борис назвал себя и чуть пожал протянутую руку. Удивительно, непонятно отчего в памяти всплыло: «И в кольцах узкая рука...» Там, у Блока, еще упругие шелка и шляпа с траурными перьями...

Рука была действительно узкая, с обручальным кольцом, но не было никаких шелков и траурных перьев, а было старое, сильно изношенное синее платье, и серый, накиннутый на плечи платок, и обыкновенное лицо, или нет, милое лицо, и перехваченные синей косынкой темные волосы, худая нежная шея, и не то серые, не то серосиние глаза, и еще что-то такое в улыбке, в голосе, отчего Димка не сразу обрел дар речи, а Борис не нашелся что сказать.

Тяжесть, которая навалилась на него, когда он остался один, медленно уходила. Они с Димкой живы — вот что! Словно только сейчас, увидев эту женщину, Борис по-настоящему понял, из какой передраги они вырвались. Чудом. А ведь вырвались! Значит — им жить! И эта пани, встретившая их на пороге, была из той, предстоявшей им жизни — как ее обещание...

Заметила ли она, как смутился этот высокий худой лейтенант, молча пожавший ее руку? Кажется, да. И это было неожиданно: Анна давно уже отвыкла от того, чтобы мужчины смущались от ее взгляда, улыбки, от ее слов.

Для местных, большей частью пожилых крестьян она была учительница, своя и не совсем своя — пани учительница, приехавшая из города с мужем накануне войны; для связных из леса — человек, которому можно доверять; те же немцы из баузров и полевой жандармерии, кому она нравилась, разумеется, не собирались этого скрывать (какое уж там смущение!), а, наоборот, старались получить то, чего хотели, как можно скорее. Лучше всего сразу же, немедленно. Война приучила их не церемониться. Чтобы противостоять этому, Анне пришлось мобилизовать все силы, всю волю без остатка. Она развила в себе дьявольскую проницательность, научилась змеиной хитрости. И вот эта проницательность сказала ей, что у молодого русского летчика не было (и не могло быть!) в мыслях ничего дурного. Ему стало неловко, потому что он вошел в дом к молодой женщине, это ведь так понятно. Он смутился, встретив ее взгляд, как это бывало в те далекие, немислимо далекие времена, когда, знакомясь с женщиной, мужчины могли бледнеть и не находить слов от волнения. Матко боска, что война делает с людьми — самые естественные человеческие проявления кажутся подозрительными!

¹ Профсоюзный активист.

И все же Анна не позволила себе размагнититься, размякнуть, как ни симпатичны были ей эти русские летчики: она жила одна и еще шла война.

И — Анджей.. Почему она подумала о нем именно сейчас, в эту минуту?

Ну да — эти жолнеже² ее гости. И отныне лишь друзья будут переступать порог ее дома. И люди перестанут бояться друг друга. Вот и начинается жизнь, о которой они мечтали с Анджеем. Только он не придет. Он убит. Верный человек передал. Но кто сказал, сам не видел. И она не поверила. И полгода ждала хотя бы весточки от Анджея. А сейчас Войско Польское воюет здесь, в Польше. Был бы жив, дал бы знать о себе.

Но мало ли как бывает — еще идет война. И нельзя распускаться. Как бы там ни было, а распускаться нельзя.

Так она говорила себе, но опасность появляется там, где ее не ждешь. Опасность или скорей ее предчувствие возникло в ней самой. Тонкой иголочкой кольнуло в самое сердце, когда этот летчик, похожий на студента, пожав ее руку, смутился и опустил глаза. Потом он поспешно сдернул с головы шлем и попытался пригладить коротко стриженные темные волосы. Иголочка была тонкая — кольнуло и прошло. Анна вздохнула с облегчением и поспешила на помощь своим слегка растерявшимся гостям:

— Проще, снимайте ваши рыцарские доспехи, садитесь, отдыхайте.— Она опять почувствовала себя привычно собранной. Ей стало легко, кажется, легче, свободнее, чем обычно, но теперь это ощущение не настораживало — оно нравилось ей.

Анна даже подумала о себе в третьем лице и как бы представила себя со стороны: конечно, платье и весь наряд были не бог весть какие, но не в этом дело.. Не в этом, а в том давно забытом ощущении своей силы, которое появилось в ней. Теперь все будет получаться, ладиться — все, что бы она ни затеяла.

— Где прикажете располагаться, пани Анна? — спросил Димка. Он сбросил свой меховой комбинезон, а Борис куртку.

Комната была чистой и светлой — такой чистой, что страшно входить. Напротив двери под окнами стояла широкая лавка и длинный стол из темного дерева, в углу шкаф с посудой, справа у стены деревянный диванчик, на крашеном полу чистый половик. В левой половине дома, куда вела полуоткрытая дверь, были еще комнаты, одна или две, и, вероятно, печь и кухня.

Анна усадила их на диванчик и вышла, прикрыв за собой эту дверь, которая действительно вела на кухню, так как оттуда послышалось звяканье посуды. Через несколько минут она вернулась.

— Я хочу угостить вас чаем, панове,— слегка запинаясь, сказала она,— я вам сделаю такой очень крепкий чай....

Димка сразу смекнул, что хозяйке нечем их угостить, и попросил яснowelможную пани не беспокоиться — им ничего не нужно, они только из-за стола.

— Дело в том,— прибавил он,— что в честь нашего прибытия командир местного гарнизона дал банкет на сто три персоны. Командир, мы двое и еще сто человек для ровного счета. Сами понимаете, пани Анна, не хотелось его обижать, пришлось отведать всего понемногу.

— Я вам сочувствую,— Анна сделала грустное лицо,— когда много блюд, очень трудно выбрать. Как это... расходятся глаза во все стороны.

² Солдаты.

— Совершенно верно,— подтвердил Димка.— Точно так с нами и произошло. Положение хуже губернаторского.

Он продолжал болтать, упорно называя Анну ясновельможной пани. Она делала вид, что сердится, то хмурилась, то отвечала улыбкой, вроде бы смущенной, а на самом деле лукавой.

Вообще у нее с Димкой как-то сразу установились дружеские отношения, даже заговорщицки-дружеские, словно они заключили тайный союз. Видимо, возникло что-то, объединившее их. Хотя это могло и показаться. Во всяком случае, Борису оставалось только — в который уж раз — удивляться Димкиной неотразимости.

Посмеиваясь, Борис слушал его болтовню. Сам он больше помалкивал и старался не встречаться взглядом с ясновельможной пани Анной. Когда она выходила из комнаты, Борис откидывался на спинку диванчика, закрывал глаза — и сразу вставало перед ним лицо Кравцова с тем непонятным ускользящим выражением, от которого сжимается сердце. Встретятся ли они в Кривоколенном? Ох и длинная же дорога вела в Москву, в Кривоколенный — через Одер, через Берлин!

Подумав об этом, Борис представил ее себе — запруженную всйсками, без конца и начала, уходящую за дымный горизонт. Борис увидел эту дорогу с воздуха: она изгибалась, поднималась в гору, спускалась в лог, упиралась в переправу, в дым, в огонь, кипящую воду, а на другом берегу танки ползли вверх, и за ними бежали люди, и черная земля взрывалась у них под ногами. Борис не смог бы сказать, где и когда это было, но вся дорога, как бы составленная из разных кусков многих дорог, сейчас ясно представилась ему.

— Пан офицер устал?

Борис открыл глаза и увидел близко от себя лицо Анны. Чуть склоняясь, она протягивала ему блюдце с чашкой дымящегося ароматнейшего чая. Он взял чай, обжигаясь, отхлебнул, пробормотал: «Спасибо, большое спасибо...» — снова, торопясь, сделал глоток. Он чувствовал себя как школьник — не знал, что сказать, а молчать было и того хуже.

Анна улыбнулась, и так хорошо, будто смущение Бориса доставило ей удовольствие.

— Чай горячий. Очень горячий,— сказала она.— И у нас много, много времени.

— Чего торопиться,— поддержал ее Димка,— чай не водка, много не выпьешь...

Лицо Анны уже отодвинулось далеко-далеко — она стояла у стола и что-то выкладывала из небольшой банки. Когда по ее настойчивому приглашению с чацками чая в руках они подошли к столу, то увидели, что это была почти пустая банка, на доньшке которой оставалось еще немного меда. Ясно, мед этот хранился для особых случаев. Теперь в красивой вазочке он был подан к чаю.

И Борис и Димка почувствовали, как мягко замкнулся тихий теплый круг. Будто кто-то наколдовал. Там, за чертой этого круга, бушевала война, стлы, занесенные снегом, ее мертвые пространства, а здесь, внутри маленького круга, совсем маленького, вроде светлого пятна, который отбрасывает лампа под абажуром на стол, было так хорошо, так уютно, тепло, что боязно двинуться — как бы не развеялись чары. Но оба понимали: ничего не исчезнет, не развеется, пока ходит по комнате, говорит, улыбается эта женщина, их хозяйка, пани Анна, потому что все от нее — и покой, и тепло, и тишина.

Они пили чай с медом, и брали мед понемножку чайными ложечками, и вели с пани Анной чинную беседу. Как всегда, инициативой владел Димка. Анна ему помогала, и Борису остава-

лось слушать, поддакивать. Иногда ему казалось, что в некоторых фразах, сказанных Анной, содержится потаенный смысл, но пока он пытался понять его и обдумывал ответ, разговор переходил на другое, и опять приходилось помалкивать.

Борис не смотрел на Анну, но видел ее каким-то особым зрением — как она выходила из-за стола, улыбнувшись ему, будто спрашивала разрешения, и шла к двери, ведущей на кухню, исчезала там, потом появлялась и садилась напротив.

«Что это я? — подумал про себя Борис. — Что со мной? Чертовщина какая-то. — Он попробовал посмеяться над собой: — „Довольно, стыдно мне пред гордою полячкой...“» — но досказать строчку не успел, потому что как раз в этот момент Анна вошла. Борис не увидел ее (Димка, сидевший ближе к двери, наклонился к столу и заслонил от него эту часть комнаты), не увидел, но почувствовал, что она вошла, по тому волнению, которое охватило его.

Анна принесла чайник со свежесваренным чаем и теперь, придерживая крышечку чайника пальцами левой руки, наливала по второй чашке — сначала Димке, потом Борису.

Было так хорошо смотреть, как она это делает, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. И Борису представилось, что все это происходит в Москве, на Кировской, в их комнате, и за столом сидят мама и отец, конечно, он сам с Димкой, и Анна разливает им чай, чуть наклонясь над столом, посматривая на них и улыбаясь. Если бы так было! Сердце его сжалось: не будет этого, никогда не будет. «Так вот я о чем, — с удивлением отметил про себя Борис, — как же это началось?»

Может, с той минуты, когда он думал о Кравцове, и вдруг услышал голос Анны («Пан офицер устал?»), и увидел близко от себя, а потом далеко-далеко ее лицо, и возникло это чувство, будто он знает Анну давно, очень давно, и они потерялись, а сейчас он нашел ее и теперь самое главное — снова не потерял ее.

Раздался стук в дверь, и на пороге появился солдат. Шапка, плечи и воротник шинели, как и два узких, чуть изогнутых алюминиевых котелка, которые он держал в левой руке, были в снегу.

— Ужин вам. Старшина прислал, — сказал он, ни к кому не обращаясь.

— Что на дворе, — спросил Димка, принимая котелки, — буран?

— Да буран не буран, а так, метет помаленьку.

— Метет, значит?

— Вроде того.

— Понятно, — глубокомысленно протянул Димка. — Ничего не попишешь — полеты придется отменить. Можете отдыхать, товарищ лейтенант. А старшине передай благодарность от лица службы.

— Есть, — ответил солдат, слегка озадаченный тем, как старший сержант распоряжается лейтенантом. Поди разберись, кто у них, у летчиков, главный. — Старшина велел передать, — сказал он, обращаясь к Димке, — что завтра в семь ноль-ноль придет машина.

— Ясно, — вздохнул Димка.

— Разрешите идти?

— Иди, иди. Гуляй.

Солдат повернулся и шагнул за порог, а Димка остановился у двери, где висел его комбинезон. Вернулся к столу, помахивая бутылкой:

— Земляки не дадут пропасть! Со свиданием да с расставанием.

— Пан, как это... фокусник! — улыбнулась Анна.

— Сам знаменитый Кио. главный маг и волшебник нашей эпохи,

приходил консультироваться. Ну, я — пожалуйста. В свободное от работы время. Почему не помочь человеку?

Борис не успел оглянуться, как Димка с Анной накрыли на стол. И каша с мясом дымилась в тарелках, и водка была налита в рюмки.

Димка сделался серьезным. Он всегда становился серьезным, когда хотел предложить тост. Как будто верил в магическую силу слов, произнесенных как заклинание. Верил не верил, а все легче на душе, когда скажешь: вернее сбудется.

— Чтобы живы были. Ты, Борис, и все мы. — Димка залпом выпил свою рюмку и поставил ее на стол.

Анна поняла: это означало, что пили они за победу и за то, чтобы увидеть ее и узнать, какая она, победа. Чтобы дожить до победы. Неожиданно для себя Анна выпила всю водку до конца, до самого доньшка, и не почувствовала опьянения — только теплее стало. Теплее — и легче, проще. Она уж и забыла, когда последний раз пила вот так сразу, без оглядки. «Что-то слишком разошлась», — промелькнуло у нее. Ну и пусть. Так и надо — поднять голову и ничего не бояться. И почувствовать себя женщиной, и не убивать ее в себе.

Дмитрий. Борис. Они и не подозревают, как помогли ей. Ведь уже началась другая, новая жизнь, а она не может отрешиться от старого — настороженности, страхов. Ничего не надо бояться. И себя тоже.

Анна подняла глаза на лейтенанта. Она была готова встретиться с ним взглядом. Что скажут его глаза? О нем самом. О том, что у него на душе. Но теперь, когда Анна сидела напротив, так близко, Борис почувствовал необъяснимую робость: не смел даже краешком глаза взглянуть на нее.

Анна неожиданно рассмеялась:

— Панове настоящие рыцари... — Она смолкла, потом тихо сказала: — Так направде... Я хотела, — снова начала Анна, — пожелать панам большого счастья... Чтобы их дождались...

— Спасибо, пани Анна. Спасибо, — сказал Борис, протягивая через стол свою рюмку, чтобы чокнуться с ней.

Он поднял глаза — и пропала вся робость. Удивительно, непонятно отчего. Будто кто-то сорвал с него путы, которые сковывали его, и сразу стало легко, и он ощутил свою силу. Пусть она все поймет. Узнает его мысли. Все, в чем он и сам еще не разобрался.

Но взгляд Анны скользнул куда-то мимо него. Нет, глаза их встретились, и Борис почувствовал, что она поняла и испугалась...

— Панове, проше... — сказала Анна. — Когда пьют вино, надо немного поесть.

На ее лице не было и тени испуга. Она говорила спокойно, и улыбка была спокойная, легкая, одинаковая и для Бориса и для Димки. «Неужели показалось? — подумал Борис. — И ничего она не узнала и не поняла?»

Димка, на этот раз молча выпивший свою рюмку, притихший, сказал:

— В самую точку попали вы, пани Анна. А я так скажу: кто ждет, тот дождетсЯ. — Он снова замолчал и потянулся за кисетом, лежавшим на столе.

— Преше, курите, курите, — поспешно проговорила Анна. — Я не боюсь дыма.

Борис, хорошо знающий Димку, с удивлением наблюдал за ним: сворачивая сигарку по всем правилам искусства и стараясь делать это как можно медленнее, Димка заметно волновался. Пальцы его чуть дрожали, и он никак не мог разровнять махорку на бумажке, чтобы сигарка как бы сама собой свернулась и заклеилась. А Димка

был великий мастер на эти фокусы. Наконец он добился своего, зажег сигарку, затянулся.

— Кто ждет, тот дождется...— повторил он.— А если ты понять не можешь, ждут тебя или нет? Что тогда?

Димка сказал это, ни к кому не обращаясь, но Анна женским чутьем своим угадала, что он хочет услышать ответ именно от нее. Кто знает, возможно, она оказалась той единственной женщиной, с которой вот так — за столом и тихим дружеским разговором — судьба свела Дмитрия на дорогах войны?

Анна много пережила и обо многом передумала за эти страшные годы, и она поняла: в жизни человека наступает такой момент, когда ему необходимо, чтобы его выслушали. Иногда просто выслушали. А иногда помогли развеять сомнения, укрепить надежду. И так уж устроены люди: мужчине легче довериться женщине, и притом незнакомой.

— Она пана ждет,— произнесла Анна, смотря на Димку.— То правда. Я немножко колдунья.— Она улыбнулась.

«Колдунья. Конечно, колдунья,— подумал Борис,— вот и Димка: он и мне не говорил такого».

А Димка ждал, что еще скажет Анна. Он забыл затянуться, и сигарка его погасла. Он ловил каждое ее слово — и верил, потому что очень хотел верить. И Анна очень хотела, чтобы так все и было. Она не думала над тем, как говорить, слова возникали сами собой:

— До войны она никого не любила. Только себя, свою гордость. Она очень красивая. Для чего ей любить, когда все кругом ее любят?

— Точно! — вырвалось у Димки.— Все точно!

— А теперь не так...— Анна покачала головой.— Нет... Теперь она полюбила и узнала, что женщина несчастлива, когда сама не любит...— Анна замолчала, словно и забыла, что ее слушают. Длилось это недолго, может быть полминуты или минуту.

Взглянув на Димку, Анна поняла, что он нетерпеливо ждет. Она улыбнулась виновато и грустно одновременно. Вдохнула:

— В эту войну люди много поняли, и про любовь тоже... Что надо ее сберечь... И паненка дождется вас...

— Вы и вправду колдунья, пани Анна,— тихо (и Борису показалось — со страхом) проговорил Димка.— Все знаете... Вот...— Он оборвал себя, видно, собирался что-то прибавить, но не решился.— Все знаете...— после короткой паузы повторил он.

Анна подняла на Димку глаза, как бы поощряя его выговориться до конца. Но Димка молчал — куда делась его прыть? Сказать-то ему хотелось, да что-то мешало. Ладно. Пусть набирается храбрости. Борис знал по себе, так бывает — сразу не скажешь, а потом уж трудно.

— Пани Анна...— Борис остановился. Он почувствовал, как забилось сердце. Ему захотелось еще раз повторить это имя, произнести его вслух. Пани Анна. Пани Анна. Он с трудом сдержался.— А какие предметы вы преподавали здесь в школе?

Анна не заметила, как дрогнул его голос, или сделала вид, что не заметила. Она весело рассмеялась:

— О, пан был бы очень хороший дипломат! Хороший летчик и хороший дипломат? Так не бывает. Пан хороший летчик, так?

— Возможно, есть и получше,— заметил Димка,— но лично я не встречал.

— Так я и думала. У меня был риторический вопрос.— Теперь она открыто улыбнулась Борису.— Так... А преподаю я польский язык и польскую литературу, и еще историю, а еще географию, если нужно. У нас в деревне не хватало учителей.

— А еще магию. Черную и белую. Всех цветов радуги.— Димка уже справился с замешательством.— Так вот...— Он остановился, набрал воздуха, словно собираясь нырнуть.— Так вот... Как коллеге, другу Кио: вы это серьезно про мою девушку? (Ага, набрался все-таки храбрости!) Что она любит. И что ждет. Серьезно или так, для утешения? Пусть, мол, солдат спокойно воюет, а там, после войны, разберемся, любит или не любит. Скажите, пани Анна... Только правду. Как есть. Вы мне, а я никому. Не бойтесь, меня с копыти собьешь. Туляк, он как гвоздь: куда вошел, оттуда и вышел.— Для вящей убедительности Димка подкрепил свою любимую присказку лихим жестом.

Анна ничего не поняла про копыта, про туляка и про гвоздь и решила, что это какая-то шутка, основанная на игре слов, но она видела Димкины глаза — они не смеялись и не шутили. Они требовали ответа. Честного и прямого. Только правду. Чистую правду. И Анна сказала:

— Я не утешаю. Это так.— Лицо ее застыло, как у прорицательницы.— Она любит пана. И больше пан не должен спрашивать.

Анна замолчала. По тому, как она побледнела, Борис почувствовал, какого напряжения стоили ей эти слова. Она заставила поверить в них себя потому, что хотела, чтобы поверили ей. И сделала это ради человека, которого видела в первый и, может быть, последний раз в своей жизни. Удивляться тут нечему — она поступила как медсестра, перевязывающая раны тому, кто в этом нуждается. Удивительно, что у нее хватило сил.

«У тебя худые руки, длинные пальцы, и худая нежная шея, и большие не то серые, не то синие глаза. А ты такая сильная». И опять Борису пришлось сделать над собой усилие, чтобы не произнести ее имя вслух,—мысленно он все повторял его на все лады, со всеми возможными оттенками: Анна, Аня, пани Анна...

Димка сидел, прикрыв глаза рукой. Будто все еще вслушивался в звук ее голоса. Он, наверное, не заметил, что уже несколько минут длилось молчание.

Анна первая нарушила его:

— Тихий ангел пролетел...

— Знаете что, братцы,—заговорил Димка,—это, наверно, сон: Люся меня встречает (он первый раз назвал ее имя, и так, будто Анна и Борис давно его знают), тихо подходит поезд, народу на перроне тьма, а я вижу из окошка вагона, как она стоит с цветами, ищет глазами меня и переживает... Понимаете, я — самый обыкновенный. Парень — как все. Ну, повоевал. А она... Гордая, и душа широкая — все поймет, все сделает, чтобы выручить. Если надо, последнее отдаст... Да что там — второй такой на целом свете не сыщешь! — Димка неожиданно оборвал себя, будто опомнился, потом взял свою сигарку, стряхнул пепел, попытался улыбнуться. Пробормотал: — Ну ладно... Такие, значит, дела... Поехали дальше...

— Пан счастливый,—сказала Анна.— Самый счастливый. Пан не должен искать, ходить по белому свету.— Она помолчала.— А пан Борис? Он тоже нашел свою невесту?

Димка усмехнулся:

— Еще не родилась такая царевна.— Понемногу он уже начал обретать свой обычный тон.— А, пан Борис? Верно я говорю?

— Верно, пан Дмитрий, верно.

— Бедный пан Борис! Мы его должны пожалеть.— Анна притворно-печально опустила глаза.— Пока царевна родится и вырастет, пан Борис сделается совсем старый. Вот с такой бородой.— Анна показала, какая длинная будет борода, до самого пояса.

Она шутила, так комично показывая, какая длинная, до самого пояса, будет у него борода, и голос ее, когда она спросила, нашел ли он свою невесту, прозвучал легко и равнодушно, даже небрежно, — ей-то было все равно, нашел он или нет, она спросила из вежливости, просто так, чтобы заполнить паузу, дать возможность Димке прийти в себя. «Она хозяйка, — подумал Борис, — очень хорошая хозяйка, а мы ее гости. Вот и все». И ничего она не поняла тогда, встретив его взгляд, и не испугалась. А может, и поняла, но сделала вид, что не поняла, потому что ей все равно.

«А ты как хотел? — спросил себя Борис. — Пришел, увидел, победил? А собственно говоря, почему должно быть именно так? У нее своя жизнь, о которой ты ничего не знаешь. И знать тебе не дано. Разлука с мужем. Оккупация. А прошлое? Оно для тебя за семью печатями. Случайно тебя занесло в ее дом — на одну ночь. Что же из этого? Завтра тебя здесь не будет. Был — и нет. А может, и совсем не был. Сколько таких, как ты, стучалось в дверь этого дома, чтобы обогреться или выпить воды? Она даже и не пыталась скрыть, что ей все равно, нашел ты ее, свою царевну, или нет».

— Пан Борис загрузил? Я не обидела пана Бориса?

В голосе Анны послышалась тревога и такая теплота, будто она коснулась его теплой рукой. А самой стало зябко — она передернула плечами, закуталась в платок. Она больше не сказала ни слова и не улыбнулась и как-то вся сникла. Видно, ее силы и впрямь были на исходе. Борис почувствовал, как она устала. Бесконечно устала. От войны. Опасностей. От немцев. От ожидания. От нескончаемых одиноких ночей. От борьбы за то, чтобы сохранить себя. А сейчас наступил предел.

Конечно, такие минуты, когда кажется, что нет сил шевельнуться, пройдут. Борис это знал по себе. Но усталость останется. Удивительно, что он подумал об этом, что такое пришло ему в голову! Да нет — удивительнее другое: как он мог еще минуту назад сомневаться, что она узнала его мысли и все поняла, и предположить, что ей все равно, нашел он свою царевну или нет. У нее не хватило сил вести дальше игру, занимать своих гостей и казаться веселой, потому что она все поняла и не хотела ничего скрывать от него. Не хотела быть лучше — сильнее, увереннее в себе, красивей. Она должна была быть такой, какая есть.

Борис не представлял себе, что будет дальше, и не загадывал, но он знал — настанет минута, когда они смогут все сказать друг другу.

Анна нашла все-таки в себе силы улыбнуться:

— Простите меня, панове, что я такая скучная. Мне очень хорошо с вами. Вы как мои старые, старые друзья.

— Так есть, — торжественно провозгласил Димка, козыряя, как он считал, польским оборотом. — Эх, пани Анна! Неужели мы вот так, как чужие люди, разойдемся? Увезти бы вас — и дело с концом! А то ведь и на свадьбу не приедете.

— Приеду, пан Дмитрий. Обязательно приеду.

— Честное ясновельможное слово?

— Честное, слово гонору.

— Тогда за это самое...

Они выпили, и Димка налил еще по одной, по последней. Анна было запротестовала, но Димка успокоил ее:

— Мы вас не неволим, пани Анна. У нас демократия.

Эту последнюю рюмку они, разумеется, выпили за ясновельможную пани Анну, за Аннушку, за ее счастье, чтобы все у нее было хорошо и чтобы после войны им троем встретиться и в Москве, и в Туле, и в Варшаве.

Потом Анна опять уходила и приходила, убирала со стола, стелила чистую скатерть, зажгла лампу, принесла откуда-то для них с Димкой подушки, простыни, перины...

Что еще надо было ей сделать? Борис мысленно прикидывал. Ведь каждый ее шаг, каждое движение приближали ту минуту, когда они останутся вдвоем. Только они — и больше никого.

Борис смотрел, как Анна уходит, приходит, и отсчитывал время. Теперь время измерялось тем, что еще ей надо было сделать. Его охватило нетерпение. Он поднялся из-за стола, пробормотал, ни к кому не обращаясь:

— Пойду подышу.

У двери остановился, накинул на плечи куртку, оглянулся — Анны в комнате не было, Димка сидел, подперев голову руками. Видно, последняя рюмка, которой в этот день предшествовало множество предпоследних, сделала свое дело.

Очутившись в темных холодных сенях, Борис остановился. Ему показалось, что слабо белеющее, расплывающееся пятно впереди — платок Анны. Он стоял, всмагриваясь в это пятно, боясь шевельнуться, вздохнуть. Во рту стало сухо. Но никакого пятна уже не было — оно расплылось, исчезло. Вместо него в черноте заплескали зеленые искорки. В ушах возник далекий прерывистый звон, будто эти бесчисленные искорки, сталкиваясь и кувыряясь, чуть слышно позванивали, и все звуки сливались в один тонкий и легкий гул, который накатывался обгоняющими друг друга волнами.

Борис закрыл глаза, а когда открыл их, искорки пропали, но пятно опять появилось. Он уже понял, что Анны здесь нет, но все еще не мог прийти в себя: сердце учащенно билось, как после долгого бега.

Пока он стоял так, успокаиваясь, глаза понемногу привыкли к темноте, и по очертаниям можно было догадаться, что смутно белеет какая-то одежда, висящая на стенке возле входной двери. Борис пошел вперед и действительно нащупал овчинный полушубок, а вероятнее всего, то был тулуп, необходимый в деревне, без которого в морозы, да еще на открытых санях, далеко не уедешь. Он толкнул дверь — и холод ударил ему в лицо.

На крыльце было светлее, чем в сенях. Кругом лежали сугробы, которые намело за эти несколько вечерних часов, и от них как бы исходило слабое свечение. Луна еще не взошла, и небо было матово-темное, мгlistое.

Стояла тишина — глубокая, полная. Она окутала землю, разлилась по всей вселенной, остановила время.

Борис спустился с крыльца, запрокинул голову и увидел прямо над собой слабо мерцающую россыпь Млечного Пути, которая не имела ни начала, ни конца. Он закрыл глаза и почувствовал, что как бы перестает существовать и сам становится невесомой частичкой этой тишины, плывущей в вечность.

— Пан Борис не замерзнет? — услышал он.

Голос прозвучал совсем близко, и это был голос Анны, и опять Борис ощутил в нем теплоту, будто она коснулась его теплой рукой. И теперь рядом была Анна, живая Анна, а не призрак. И она хотела увести его в дом, потому что было морозно, а он стоял с непокрытой головой. Борис повернулся — лицо ее оказалось так близко, что он почувствовал ее дыхание, а потом плечи под своей рукой и всю ее, прикишную к нему.

* * *

— Чудно... У тебя была своя жизнь, совсем другая. Неизвестная мне. Если бы не война...

— Все равно бы ты нашел меня. Боже, благодарю тебя... Все снесу,

все, только бы ты был со мной. У тебя сильные руки. Я знаю, ты все сберег для меня. Не бойся ничего, я вся твоя.

— Я тебя не отдам. Никому... Никогда...

— Не надо об этом. Сейчас не надо...

...Она уснула, прикинув лицом к его груди. Он лежал на спине, закинув руку за голову, и земля, тихо покачиваясь, куда-то плыла вместе с ним. Легкий ветер обвевал его, и облака таяли и опять возникали над ним так низко, что можно было дотянуться до них, стоило только поднять руку. Но ему не хотелось двигаться. Тело стало легким, таким легким, почти невесомым, что волны несли его, едва прикасаясь к нему. Они тихо поднимали его все выше, пока дрожащее бледное облако не надвинулось на лицо. Он открыл глаза и не сразу понял, что оказался в полосе лунного света.

Взошла полная луна, и вся комната наполнилась серебристо-голубоватым полумраком. Ее лицо было на его груди — кожей он чувствовал ее теплое дыхание, волосы закрывали шею, и ему стало страшно, что все это сон и стоит ему пошевелиться, как все исчезнет. «Ну, только не уходи, не исчезай. Сейчас я отодвинусь — чуть-чуть, и ты останешься. Я не сплю — разве во сне думают? Нас подбили, и мы дотянули до этой польской деревни. И старший лейтенант Кравцов тоже из Москвы. Мы с ним из одной школы — триста девятой. Ее зовут Анна. Анна. Анна. Ну, теперь можно: это уж точно, что не сплю».

Он тихо отодвинулся, совсем немного, потом еще немного, чтобы увидеть ее всю. Дрожащие лунные блики падали на нее, и тело ее словно струилось, готовое раствориться в этом ускользающем свете. Она была вся перед ним. Беззащитная и счастливая своей беззащитностью.

Первые он видел женщину, так открывшуюся ему. Он смотрел на ее хрупкое плечо и чуть согнутую в локте руку, немного прикрывшую грудь, на ее вытянутые ноги — и никак не мог представить себе, что эта явившаяся из другого мира женщина и есть та самая Анна в старом платье и сером платке, которая смутила их своими синими глазами, красивая, может быть, непонятная, но все-таки обыкновенная женщина, из плоти и крови, похожая на других. Ведь и ее, как и других, захватила война, принесла горе, научила ненавидеть, подавлять страх, скрывать свои чувства. «Война и разлучит нас, — подумал он, — и ничего я не смогу сделать, чтобы удержать ее. Ничего».

Она проснулась от его взгляда, увидела его лицо, поняла его печаль и улыбнулась ему:

— Я долго спала?

— Нет. Совсем немного. Чуть-чуть.

— Не смотри на меня так, а то я заплачу.

— Все равно я тебя не отдам.

— Ты приснился мне — значит, не отдашь. Я увидела тебя из окна вагона. Ты пришел, чтобы встретить меня...

— Встретить?

— То мой любимый сон. Когда я была девочкой, ложась спать, твердила себе: приснись, приснись...

— И получалось?

— Мама крестила меня, гасила свет и уходила, а я закрывала глаза, дышать старалась тихо-тихо, и незаметно начинался сон — не то сон, не то грезы...

Он подождал немного и спросил:

— Тебе не страшно рассказать его?

— Немножко: ты узнаешь, какая я... Но я хочу, чтобы ты

знал... Все мы, поляки, мечтатели.— Она замолчала, вздохнула, улыбнулась чему-то своему...

— Когда я поступила в педагогический институт,— продолжала она,— началась совсем другая жизнь. Часто на хлеб не хватало, но мы, студенты, не унывали... Собирались, спорили, читали вслух. Я познакомилась с Анджеем. Он брал меня с собой на рабочие собрания. Я многое поняла тогда и сама стала вести работу в профсоюзе железнодорожников. Мы с Анджеем начали изучать русский язык, мечтали приехать в Советский Союз... И детский сон мой снился все реже и реже. Но все равно — я любила его. За всю войну он ни разу не приснился, а теперь приснился...— Она опять замолчала.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и ему казалось, что она идет откуда-то издалека. Приближается, останавливается как бы в раздумье и снова идет. И ни слова, а ее голос говорил ему, когда шаги ее замедлялись и когда она останавливалась, а потом делала шаг, и еще один, и еще...

Борис слушал ее голос и ждал, когда она придет к нему. А ведь еще несколько минут назад, увидев, как она спала, беззащитная и счастливая в своей беззащитности, он думал, что она вся открылась ему — вся, до самой последней капельки.

— Вот видишь, — улыбнулась Анна, — хочу рассказать сон, а получается про всю мою жизнь.

Это она остановилась. Сделала шаг и остановилась. Борис попробовал помочь ей:

— Доберемся и до сна, правда?

— Правда, правда...

Ей вдруг вспомнился отец — его худое, изможденное лицо с рыжеватой бородкой, глубоко запавшие глаза. «Прости меня, я загубил твою жизнь», — его прерывающийся голос, когда он говорил это матери. Бедный отец... Гордый, вспыльчивый, талантливый — и неудачливый во всем. Больше жизни он любил маму, мечтал о славе ради нее, а стал маленьким почтовым чиновником. До конца дней отец не мог смириться с этим и страдал от бессилия. Одна мысль, что он загубил мамину жизнь, могла свести его в могилу. Если бы Борис узнал его жизнь, он понял бы многое...

— Мы жили бедно, — сказала Анна. — Очень бедно, на пятом этаже, под самой крышей, в маленькой квартирке. У нас в передней всегда чуть-чуть пахло нафталином, потому что мама доставала из большого сундука, который стоял под вешалкой, разные вещи и перетряхивала их, а что-то откладывала и несла в заклад. Сундук этот достался нам в наследство от бабушки. Мне казалось, что он волшебный, без дна, — мама только и делала, что вынимала оттуда то шаль, то кружевную мантилью, вздыхала и уходила со свертком...

Анна представила себе эту переднюю, обклеенную синими обоями, висячую лампу с белым стеклянным абажуром, похожим на остроконечную китайскую шляпу, и слева от двери под вешалкой, в углублении, низенький и широкий сундук, покрытый старым ковром. И опять будто почувствовала этот слабый запах нафталина...

Может быть, тогда, в передней, когда она смотрела, как мама, вздыхая, что-то достает из сундука, перетряхивает и кладет в сумку, — может быть, тогда и зародилась ее смутная, еще неопределенная мечта или сон, который она сама себе придумала?

— Какая красивая была моя мама в молодости, — тихо произнесла Анна. — Стройная, легкая, пепельные волосы, синие глаза... А ее руки — чуткие, нервные... — Она опять замолчала.

— Эти руки и эти глаза... — Он начал целовать ее руки, едва прикасаясь к ним.

Анна подождала, пока не утих этот легкий ветерок, пробежавший над ними. Ее пальцы, успокаивая его, тихо скользнули по волосам. Он понял и улыбнулся:

— Я перебил тебя. Ты говорила, что твоя мама была очень красивая...

— Я всегда любовалась ею, гордилась. У нее был замечательный голос... Как я любила вечера, когда она играла Шопена, Шуберта, тихонечко напевала... Ведь она училась в Варшавской консерватории, пока не встретила отца... Он тогда был студентом университета. Они полюбили друг друга, но родители мамы, люди состоятельные, не хотели этого брака. Отец был бедняк, круглый сирота, да еще из «простых». Ни богатства, ни связей, ни дворянства — он и мечтать не имел права о такой девушке, как мама! Я знаю, у вас все по-другому, и тебе, наверно, этого не понять, но маме пришлось уйти из дому, чтобы выйти замуж за отца. Они поженились и уехали в Краков, где отцу обещали хорошее место. У вас говорят — работа... Но отца обманули — так и начались их мытарства... А потом родилась я. Когда мне было лет шесть или семь, отец заболел, и мама начала все продавать — посуду, серебро, свои платья, дошла очередь и до фортепьяно, которое подарила ей бабушка. Она очень любила маму и жалела... Из всей маминой семьи только она одна знала, где мы живем, и раз или два в год приезжала к нам из Варшавы. Но последние годы своей жизни она много хворала, и я ее не видела... Когда бабушка умерла, нас даже не известили. Мама собралась ехать в Варшаву, узнать, что с бабушкой, потому что мамины письма к ней пришли обратно нераспечатанными, но в это время мы получили сообщение от нотариуса о смерти бабушки. Там говорилось также, что она завещает нам часть своего имущества. Так появился у нас в передней сундук. А деньги мы быстро прожили.

— Волшебный сундук.

— Да, да! Как ты догадался?

— О простых сундуках не вспоминают.

Анна улыбнулась, закрыла глаза, взяла его руку, крепко прижала к своей щеке. Она не хотела отпускать его от себя.

— Ты знаешь, о чем я хочу рассказать?

— Про сон...

— Сейчас я подумала: наверно, начался он с того вечера на вокзале... Мы с мамой пришли встречать ее подругу, которая возвращалась в Польшу издалека. Я впервые увидела такой красивый поезд, в огнях, строгих кондукторов в форме, и людей, приехавших оттуда. Они были важные, говорили на непонятном языке, носильщики несли за ними большие чемоданы... Значит, есть какой-то другой мир, где все не так, как у нас, и нет нужды, и маме, если бы она жила там, не пришлось бы уносить из дому серебро и вещи, чтобы заплатить доктору и купить папе лекарства, и она бы не плакала втихомолку, когда возвращалась домой с пустыми руками, потому что лавочник не давал ей в долг... И вот я стала мечтать о путешествиях вместе с мамой, о других заморских странах, из которых я все-таки приезжала в Варшаву... Не помню, когда появился в моем сне он. Я увидела его на вокзале. Мы встретились взглядом, и сердце мое оборвалось. С той минуты о нем я думала в моих странствиях. Я не смогла бы сказать, как он выглядит. Помню только свое чувство к нему. А лица не помню... Может быть, лица и не было — ведь тогда я еще не встретила тебя. Но знала, что встречу...

Анна улыбнулась каким-то своим мыслям, замолчала, провела рукой по щеке Бориса, по его плечу, словно хотела убедиться, что он существует и что он здесь, рядом.

Луна спряталась за облаками, и серебристая мгла, наполнявшая комнату, погасла. Анна всем телом прильнула к Борису — что-то встревожило ее, испугалась, что он исчезнет?

Борис обнял ее, и опять ему показалось, что она вся открылась ему. А он сам? Анна ни о чем не спрашивала — будто все о нем знала. Она поняла самое важное: не было у него любви, никого не было, и он шел к ней, потому что она — его любовь. Это ему только казалось, что он влюблялся, а может, и действительно влюблялся, но по-другому. «Май жестокий с белыми ночами...» Борису представился тот ветреный октябрьский вечер, когда они с Риммой сидели на скамеечке во дворе ее дома на Чистых прудах и он грел в своих ладонях ее холодные зябнувшие руки...

Май жестокий с белыми ночами... Он вспомнил об этом с грустью, как о видении далекого детства, ушедшего навсегда. Неужели он так переменялся за годы войны? А может быть, за одну эту ночь?

Каким же он был, к чему стремился? Аэроклуб, экзамены в Энергетический институт... Собирался заниматься радиофизикой, мечтал о дальних перелетах — казалось, все было близко, достижимо, и впереди бесконечно много времени, и все успеется, и все будет...

«Что такое человек?.. Это не ты, не я, не они — нет... Это ты, я, он, они, старик, Наполеон, Магомет — в одном. Понимаешь? Это огромно! В этом все начала и концы»... Костя Петров, чуть покачиваясь, с качаловскими интонациями читает монолог Сатина, и Алексей Ксенофонович Романовский, пряча улыбку в седых усах, смотрит на него со своего учительского места за маленьким столиком, вплотную придвинутым к первой парте, и оранжевый луч из окна, в котором плавают пылинки, разбивается о Костино плечо, оставляя на пиджаке дрожащий радужный кружок, чуть передвигающийся, когда Костя покачивается, то вперед, то назад...

Эх, Костя, Костя, рыцарь без страха и упрека, открытая душа, так и не успевший найти свою звезду: мать написала, что Костя погиб под Москвой. Меньше всего он представлял себя солдатом, но в первый же день войны пошел добровольцем на фронт.

Почему именно сейчас он вспомнил о Косте? Увидел в нем себя? Только не свое отражение, а другое. может быть самое главное — ощущение жизни, той жизни, которая принадлежала им всем и где всего было так много, что глаза разбегались. Выбирай что хочешь... Так они думали. И так жили.

Как рассказать ей об этом? Вот если о Косте — поймет? «Был у меня друг...»

— Как странно, — проговорила Анна, — сейчас я подумала, что прожила много разных жизней и все они не связались в одну... А теперь началась новая жизнь. — Она помолчала. — А потом все вернется...

— Когда потом?

— Когда ты уйдешь.

— Я не уйду. — Он поправился: — Я приеду за тобой. Теперь тебе предстоит прожить еще одну жизнь — со мной.

Борис задохнулся от этой мысли. Сейчас, когда он ее высказал, почувствовал — иначе не может быть.

— Лучше бы мне не знать. — Она опять вся прикинула к нему и начала его целовать. — Лучше бы мне не знать...

— Если знаешь, скажи.

— Не надо, мой коханный, не спрашивай. Нам и так мало осталось. Совсем мало. Ну что же ты...

— Не важно. Сколько бы ни осталось... — Голос Бориса помимо его воли стал холодным, чужим. Впервые в нем шевельнулась обида:

он сказал, что приедет за ней, а она не поверила. Как могла она не поверить!

Анна неожиданно резко отстранилась от него:

— Ты хочешь знать? Хорошо. Я скажу.— Она усмехнулась.— Я ведь колдунья, правда? Да, ты забудешь меня,— Анна остановилась словно для того, чтобы собраться с духом,— забудешь,— повторила она тихо,— и очень скоро... Когда кончится война, ты приедешь в Москву и встретишь девушку. И она чем-то напомнит меня, а может быть, и нет... Ты не захочешь думать обо мне больше, ты устанешь от этих мыслей и будешь благодарен той, которая поможет тебе избавиться от них...— Анна замолчала и вдруг обхватила его голову, прижала к себе.— Нет, нет, я не то говорю. Тебе покажется, что ты забыл меня. Только покажется. Но я буду в тебе, в твоём сердце, в твоих желаньях, в твоих снах. И ты будешь искать в других то, что открыла тебе я, искать меня...

«Как могло мне прийти в голову, что Анна не поверила! — подумал Борис.— Она жизни не верит. Не мне, а жизни».

— Прости меня. Ты колдунья, а я обыкновенный смертный.— Борис запнулся.— И все-таки будет так,— он постарался придать своему голосу твердость,— я приеду за тобой и увезу тебя в Москву.

— А если я не захочу жить в Москве, ты приедешь в Польшу? Ты согласишься жить в Польше?

Борис долго не отвечал, и Анна сжалась над ним:

— Вот видишь... Не надо об этом...— Она помолчала.— Но я все-таки скажу. Я хочу, чтобы ты понял...— Анна опять остановилась, подыскивая слова, те единственные слова, которые она должна произнести.— Если я поверю и буду ждать, а тебя не будет — я умру.

Она сказала это так просто, как давно обдуманное и решенное, о чем не стоит и говорить. Пришлось к слову — вот и сказала. Борису стало страшно: так она и сделает и никто ее не удержит. Он впервые подумал о ней одной — не о себе, не о своем чувстве к ней и не о том, как они будут жить вместе, а о ней, ее судьбе. Сердце его похолодело. Он прижал Анну к себе — так крепко, будто кто-то собирался отнять ее.

Анна поняла его, и ее движение к нему было таким же отчаянным. Целуя его, она что-то шептала по-польски, голос ее то удалялся и совсем пропадал, то приближался, и слова сливались в мелодию, полную напряжения и силы, и эта мелодия, разрастаясь, все больше овладевала им, и увлекала за собой, и не отпускала, и казалось, что восхождение это бесконечно...

Потом он ощутил глубокий покой. Тишина с легким звоном плыла над ним. И время остановилось. В том мире, где они существовали вдвоем с Анной, время могло останавливаться. И никто не мог отнять Анну, и ничто не могло разлучить их.

Постепенно этот мир принимал реальные очертания: матово-серебряные пятна там, где лунный свет просочился сквозь мглу, часть шкафа, выступающая из темного угла, причудливые тени на стене, похожие на беззвучно шевелящиеся ветви деревьев. И по мере того как отчетливей проступали реальные черты комнаты и тишина, со звоном плывущая в бесконечность, становилась обычной чуткой тишиной военной ночи, в которой можно было различить и понять отдельные звуки,— по мере всего этого уходило чувство покоя. Как будто нужно было немедленно действовать — от этого зависит все, жизнь и смерть, а он не может двинуться. Какие-то путы сковывают его, он силится рвануться, разорвать их, но напрасно, а секунды, последние секунды уходят...

Ну да, скоро они расстанутся. Через несколько часов. И что-то надо придумать, решить. Пока еще не поздно, пока они вместе. Именно сейчас — другого времени не будет. Решить. Придумать. Борис твердил эти слова, будто в них самих и заключался выход.

Наверно, он застонал. Анна наклонилась над ним. Лицо Бориса испугало ее: напряженно сведенные брови, глаза, смотрящие в одну точку. Она начала успокаивать его: губами разгладила морщину на лбу, заставила оторвать взгляд от этой горящей точки в пространстве, ответить на ее поцелуи...

— Расскажи мне что-нибудь... — сказала Анна, когда почувствовала, что ей удалось вернуть его в тот мир, где они были вдвоем и где ничто не могло стать между ними. — Что-нибудь... — повторила она. — О себе.

Борис закрыл глаза. Он слушал ее голос, и становилось легко, и начинало казаться, что все устроится, все будет хорошо, он обязательно что-то придумает.

— О себе... — повторила она. — О твоей самой лучшей минуте, когда ты был счастлив...

Как хорошо было слушать этот голос, настойчиво возвращавший его к той немислимо далекой поре, которая теперь казалась счастливой, а тогда он просто жил, радовался, огорчался и не думал, не гадал, что это и есть счастливое время.

Борису увиделся тот жаркий июньский день, когда они сдали последний экзамен и, еще не веря, что окончили школу и впереди долгожданная, неизвестная, манящая своей свободой жизнь, поехали в парк культуры кататься на лодках. На «Кировской», где всегда ждали друг друга, сели в метро и вышли как раз перед самым Крымским мостом. Кто-то купил мороженое, и они всей гурьбой шли по мосту, ели мороженое, болтали, смеялись, острили. Их было шестеро — трое мальчишек и три девочки.

У входа в парк в репродукторах послышался знакомый голос — негромкий, теплый, близкий, который нельзя было спутать ни с каким другим: «Только глянет над Москвою утро вешнее, золотятся помаленьку облака, выезжаем мы с тобою, друг, по-прежнему и, как прежде, поджидаем седока...» Это был Утесов. Улыбаясь и грустя, пел он шутивную песню о старом извозчике, жалующемся верной своей лошадке на метро, которое околдовало всех его седоков, сокрушающемся о том, как все в жизни хитро перепуталось: «Чтоб тебя запрячь, я утром отправляюсь от Сокольников до парка на метро». Все они много раз слышали эту песню и не обратили на нее особенного внимания. Кто-то улыбнулся, кто-то начал тихонечко подпевать. Только и всего. Как будто песни и не было, а вернее, не могло не быть, потому что она естественно стала такой же частью этого дня, как ветер, поднявший пыль на шуршащих, посыпанных красным песком дорожках парка, когда они шли к лодочной пристани, как равномерный скрип уключин, всплеск воды за бортом и неподвижные белые облака в голубом бездонном небе...

Тогда Борис не замечал всего этого: ветер и пыль на дорожках, голос Утесова, облака... Он неторопливо греб, с силой отталкиваясь веслами, и напротив него сидела Римма, чуть наклонясь и спустив одну руку в воду, и солнце било в глаза, и ее лицо то исчезало в радужном слепящем блеске, то возникало, когда он прищуривался, и не было усталости, и казалось, они будут плыть долго-долго...

Удивительно — почти через пять лет все это до мельчайших подробностей неожиданно всплыло в памяти. Чего только не бывает на войне! Могло ли ему прийти в голову, что радисты, приехавшие однажды к ним в полк на крытой, похожей на фургон машине, чтобы

установить радиомаяк, привезут среди других пластинку с той самой «Песней старого извозчика», и по просьбе Бориса «маяком» выберут именно ее, и голос Утесова поведет их на свой аэродром, когда они будут возвращаться с боевого задания? Но все произошло именно так — и голос Утесова воскресил тот июньский день с его светом и шумом, с тем ощущением легкости, даже пустоты, беспричинного волнения и нетерпеливого радостного ожидания. А за этим днем в памяти возникали и другие — когда они ездили кататься на лыжах в Сокольниках и ходили в парк культуры с его первой тогда в Москве парашютной вышкой и открытым Зеленым театром, где бывали массовые вечера поэзии...

Все это и было той немислимо далекой жизнью, о которой просила рассказать Анна, и вся эта жизнь, вся, виделась счастливой и состояла из счастливых минут.

Анна почувствовала его состояние и не мешала ему. Лицо Бориса разгладилось, и опять в нем появилась та мальчишеская открытость, которая так привлекла ее с первого взгляда. Раз или два он чему-то улыбнулся, да так хорошо! Как же много значила для него прежняя жизнь, а она-то вообразила, что прошлое не имеет над ними власти. Ревность к этой неведомой для нее жизни шевельнулась в ней, но Анна сразу же устыдилась этого чувства. Разве он виноват, что шли они разными дорогами? На один только миг судьба свела их... Анна испугалась этой мысли. Неужели она больше не увидит Бориса? Все-таки в глубине души надеялась, что они еще встретятся, и расстаться с этой надеждой было выше ее сил.

Борис почувствовал, что она на него смотрит, и открыл глаза.

— Бывает же такое,— сказал он,— лезет в голову всякая всячина... Вспомнилось вот, как на лодке катались...— Он помолчал.— Но все равно ты была со мной...

— В лодке? — усмехнулась Анна.

— Нет... Это трудно объяснить. Будто вспоминаем мы с тобой вместе...— Он перебил себя: — Знаешь... Что, если ты поедешь со мною в полк? Я поговорю с командиром — он все поймет. В БАО³ тебя пристроим. Там бывают вольнонаемные.

Вот как. В БАО. Интересно, что это такое? Впрочем, не важно. Значит, он думал об этом. Ну, хорошо. Сейчас невозможно. Он не понимает. Не хочет понимать. А когда кончится война?

Анна неожиданно ясно представила себе тот день после войны, когда Борис приедет за ней,— тихий летний солнечный день, и его фигуру на пороге дома, и его счастливые глаза. Нет, нет, такое не сбывается. Мечта всегда остается мечтой. Так устроена жизнь. А тот день был бы для нее больше, чем исполнение всех желаний, больше, чем свершение мечты. Вот почему этого не будет. Не будет — и лучше совсем не думать об этом, а то не хватит сил, чтобы жить. «Матко боска,— мысленно взмолилась Анна,— избавь меня от наваждения. Успокой мою душу... Наваждение? — спросила она себя и испугалась.— Разве любовь — наваждение? И разве я хочу лишиться себя любви? Нет, нет, прости меня, пресвятая мать, просвети и дай силы выдержать все, что принесет мне любовь...»

Анна всегда испытывала глубокую потребность разобраться, что происходит в ее душе, когда ей бывало тяжело, понять себя, беспощадно, до самого конца высказаться перед собой, как бы мучительно это ни было. И чем строже была она к себе в такие минуты, тем легче становилось потом, свободнее дышалось и обретались силы, чтобы пережить и сомнение и отчаяние.

³ Батальон аэродромного обслуживания.

— Все, что принесет мне любовь,— повторила Анна. Она подумала о том, что только сейчас, когда призналась себе в этом, поняла, что любит и что значит это слово — любовь. Не наваждение, а любовь. Она любит, и ей не жалко себя, своей жизни, она сможет все выдержать, все пережить. Ее охватило знакомое состояние душевного подъема, всколыхнувшее в памяти давно забытые минуты.

Было ли это? Таинственный сумрак, за которым чудится беспредельность; черные застывшие тени там, в глубине; слабое мерцание желтого и красного света, пробивающегося сквозь витражи, гулкая тишина... И она одна на коленях в этой необъятности и тишине. Она исповедуется перед собой, и молится, и судит себя, и чувствует, как приходят к ней легкость и ощущение своей силы,— ведь она сумела осудить в себе все дурное, мелкое, эгоистичное, не испугалась правды и теперь уже ничего не испугается, все сумеет, потому что помыслы ее чисты и отныне всегда будут такими.

Сейчас ей еще вспомнилось, как она выходила из костела — с томительным и радостным предчувствием встречи со светом, солнцем, со всем миром. Она шла, сдерживая нетерпение, твердо ступая по каменным плитам, и гул шагов сопровождал ее и отдавался в сводах, замирал и вновь возвращался к ней, и Анне казалось, что она поднимается в гору с поразительной легкостью, не поднимается — взлетает, и нетерпение росло в ней: скорее, скорее! Она открыла тяжелую дверь, ведущую на улицу, и замерла.

Свет ударил ей в глаза, и первое мгновение это был только свет, ослепительное белое сияние, а потом она увидела снег на площади и на крышах, белые, чистые покровы снега, и светлое, голубое, беспредельное небо, и опять крыши и площадь, и угол дома с вывеской, и фигуры двух мальчиков, стоящих перед этой вывеской, — она увидела все это, и малое и большое, весь мир, с которым впервые в своей жизни ощутила такое глубокое единение.

Да, это было — и не ушло, осталось. Тогда ей исполнилось пятнадцать, и она решила начинать жизнь сначала. Потом был Анджей, война и его гибель, бесконечная война, и она вынесла все и вот опять хочет начать новую жизнь.

— Ты приедешь за мной, когда кончится война,— сказала Анна.— Только поскорей. Я буду считать дни и часы.

— Не беспокойся. Тут близко — из Берлина каких-нибудь десять минут лету.— Он улыбнулся.— Да я и пешком дойду.

— Десять минут,— повторила Анна.

Смешно. Десять минут будут разделять их, ее и Бориса. Всего лишь десять минут. Она готова ждать всю жизнь, а Борис будет от нее в десяти минутах полета. Действительно смешно. И страшно. Не расстояния разделяют людей...

— После войны мир будет другим,— сказал Борис, словно угадав ее мысли.— Наверно, это последняя война. Представляешь, какая будет жизнь...

— У многих людей нет куска хлеба, пан рыцарь. И так будет долго. Там, где прошли немцы, остался пепел...

— Да, это так... Я видел. Я такое видел... Трудно придется... И все-таки начнется новая жизнь. Совсем другая!

— Нет, нет, я не ошиблась.— Анна снова наклонилась над Борисом, близко заглянула в глаза.— Я ждала тебя. Одного тебя...

Мерцающие голубоватые отблески, вспыхивающие в полумраке, погасли, будто все затянуло серо-мглистым туманом, который просачивался сквозь окна. Борис не сразу понял: светает! Он еще не хотел верить — закрыл глаза, невольно вслушиваясь в чуткую ночную тишину (все было тихо, ни единого звука), снова открыл глаза и поднял

голову. Стало заметно светлее — черное пятно в углу приняло форму шкафа; на стене обозначились темные прямоугольники фотографий; стул, стоящий рядом с кроватью, был уже хорошо виден... Борис повернулся к Анне: лицо ее было бледно, глаза закрыты. Вероятно, так же, как и он минуту назад, Анна прислушивалась к ночным звукам и так же, как он, не хотела верить, что светает. Близко залаяла собака. Потом послышался скрип шагов по снегу — наверное, разводящий с часовым. Через минуту снова шаги и голоса. В той стороне деревни, где находился командир, заработал мощный мотор, за ним другой, третий — видно, водители прогревали моторы. В комнате стало совсем светло. Туман как бы рассеивался — на окне заблестела изморозь.

— Вот и все,— сказала Анна с отчаянием.— Вот и все.

Она даже не шевельнулась, не открыла глаза, хотела удержать последние секунды этой ночи. Ведь сделать только одно движение — значит, признать, что ночь прошла и начался день...

Но день все-таки начался, и не было такой силы, которая могла бы остановить время.

...Одевшись, они не сговариваясь присели — Анна на кровать, Борис к столу у окна. Они не могли решиться выйти из этой комнаты, которая была их единственным прибежищем. Здесь они были вдвоем — только они одни, а там, за порогом, кончалась их власть друг над другом.

Они присели, как перед дальней дорогой. Анна поднялась первая, подошла к Борису, притянула к себе его голову, потом отодвинула, чтобы посмотреть в лицо, в глаза.

И Борис навсегда запомнил: холодный белый свет зимнего утра, пробивающийся сквозь замороженное стекло, ее лицо с выражением застывшей боли и глаза, с немим вопросом пристально смотрящие на него.

Глава четвертая

«Здравствуй, дорогая Люся!

Пишу тебе на коротком отдыхе из пункта Н. И пункт этот на земле братской Польши, которую мы вместе с польскими воинами освободили от фашистского ига. Самая главная наша новость — мы штурмуем и бомбим подлого врага на его собственной территории! Представляешь?! Поэтому настроение исключительно хорошее. А бои идут [несколько слов зачеркнуто военной цензурой] жестокие. Немец чувствует, что скоро Гитлер капут, и огрызается изо всех своих звериных сил [несколько слов зачеркнуто военной цензурой]. Правда, в последние дни погоды не авиационные — оттепель, туманы, все раскисло. Во время одиночных вылетов из-за тумана мой командир старший лейтенант Волюнин показывает исключительное легкое мастерство, мужество и находчивость. Ты спрашиваешь, как я живу, как воюю, что переживаю во время боя. Трудно ответить на эти вопросы: у нас, у летунов, каждая секунда несет так много невероятного, так много решает (жизнь или смерть), что обо всех секундах не напишешь — во-первых, некогда, а во-вторых, бумаги не хватит. Скажу одно: хотя Гитлер и собирал из своей авиации что мог на этом [два слова зачеркнуты военной цензурой], все равно нашей техники больше — и на земле и в воздухе. Это уж точно. Так что живы будем — не помрем (ну, если, конечно, мотор не обрежет или шальная зенитка не шархнет или «мессера»), но не должно быть! Очень хочется дожить до победы. А будет это скоро. Очень скоро (не называю срок,

сама понимаешь, военная тайна) мы добьем фашистского зверя в его собственном логове, в городе Берлине.

А пока потерпи еще немного, Люся. Думаешь, не понимаю, как трудно вам, героическим труженикам тыла? Сам вкалывал, знаю. А ведь вы круглые сутки с завода не выходите. Да притом то я, рабочий парень, а то ты, артистка. Не обижайся на меня, Люся, что так говорю, я серьезно... Кончится война, будешь ты артисткой. Как в песне поется:

Все, что было загадано,
В свой исполнится срок,
Не погаснет без времени
Золотой огонек.

Между прочим, мне тут одна знакомая польская антифашистка нагадала и про тебя и про меня: все исполнится, о чем мечтаю. Смейся не смейся, а я ей верю. Не такой она человек, чтобы врать.

Эх, Люся... Вот думаю сейчас о тебе — и на душе светлеет. Верно говорю. Знай, что нет у меня ни дня, ни минуты без мысли о тебе. Ты всегда со мной, в каждом бою. Только бы ты нашла свое счастье. А уж мне полслова скажи — весь свет для тебя переверну, всю свою кровь по капельке отдам.

Помнишь, Люся, как мы с тобой после просмотра кинокартины «Цирк» шли домой через парк и заспорили, что такое любовь? Я хоть и спорил с тобой, а уже тогда чувствовал, что ты права. А сейчас говорю: мне просто стыдно за себя. Но будь уверена, такая ерунда мне уже в голову не придет. Бывало, что я и злился на тебя. Да что там вспоминать — многого я не понимал тогда. Все хотел большего, самого большого. А сейчас хоть одним бы глазком посмотреть на тебя! Только бы взглянуть...

Будь здорова и жди, если... А за меня не беспокойся.

С фронтовым приветом, твой до последней капли крови.

Д. Щепов, воздушный стрелок».

Так случилось, что письмо, отправленное в самый разгар боев за Одерский плацдарм, сначала двинулось на запад и оказалось за Одером, совсем близко от Берлина, и только неделю спустя пошло на восток, в тыл. Письмо принесла Люсе сменщица и соседка по квартире тетя Таня, устроившая ее на этот завод, где производилось стрелковое оружие.

Люся получила его 7 апреля, когда заканчивала смену, как раз в тот день ее отпустили домой помыться в бане и выспаться.

Мать ее, работавшая нянечкой в госпитале, дежурила, и Люсе предстояло провести вечер одной. Ей казалось, что она очень любила свою маму, не могла без нее, — может быть, и так, но то была особая любовь, которая лишь принимала другую любовь, не задумываясь и не заботясь о ней. А теперь, когда Люся видела столько горя кругом, она поняла, какую жизнь прожила ее мама, одна, без помощи поставившая ее на ноги, поняла, какой сама была черствой, а то и жестокой в слепом своем эгоизме, и корила себя, и страдала от этого.

Люся вообще многое поняла за эти нескончаемые четыре года войны, которые казались ей целой жизнью, и чувствовала, что стала старше на целую жизнь. Не на пять лет и не на десять, а на целую жизнь. Она очень изменилась и внешне: похудела, стала тоньше и будто уже в плечах; черты лица заострились и как бы отвердели — не осталось в них ничего от недавней мягкости, округлости. А вот глаза, огромные, синие, по-прежнему притягивали своей глубиной, и в эту глубину так и тянуло заглянуть: спокойно, мягко светилась она.

Пожалуй, Димка не сразу узнал бы в ней ту, довоенную Люсю, которая любила больше всего себя и свои мечты, приносившую столько огорчений из-за своего взбалмошного характера, но и умевшую каким-то сверхчутьем, с полуслова понять, что происходит в твоей душе, Люсю того солнечного, с короткими шумными дождями лета сорокового года, когда он уходил в армию, а она собиралась ехать в Москву, чтобы поступить на актерский факультет Государственного института театрального искусства и стать такой же знаменитой артисткой, как Любовь Орлова.

Люся была влюблена в Любовь Орлову, в ее голос, глаза, улыбку. Она считала, что только такой и должна быть настоящая артистка — все уметь: танцевать, петь, переживать. В то лето Люсе и самой все удавалось, как артистке Орловой. Люся не ходила, а летала. Там, где она появлялась (готовая вот-вот вспорхнуть), время убыстряло свое течение, чтобы поспеть за ней. Никогда нельзя было угадать, что ей взбредет в голову в следующую минуту. А уж как хороша она была! Тонкая, гибкая, и глаза синие-пресиние. И коса — как бледное золото. Вот Димка и потерял голову. Впервые в жизни почва заколебалась у него под ногами.

Смешно и глупо, но это было действительно так. Он, Дмитрий Щепов (между прочим, студент вечернего техникума), проработавший целых два года на заводе, расточник высшей квалификации, вел себя с этой девчонкой как школьник, как маменькин сынок — бледнел, краснел (и никто ему по-дружески не спел: капитан, капитан, улыбнитесь...), то напускал на себя полнейшее безразличие, был холоден, неприступен, как Печорин, то, подобно Грушницкому, ловил каждый ее взгляд, каждое слово; то пропадал на несколько дней, то сторожил каждый ее шаг.

Смешно и глупо. Да к тому же не ново. И все же, сознавая это, он тем не менее ничего не мог с собой поделать. Но что самое глупое и самое смешное — Димка ревновал. Да, да — и он вынужден был признаться себе в этом, — ревновал ее ко всем и ко вся! Бешено и слепо. Как последний бай и феодал. Как самый отсталый элемент. А Люсю это забавляло. Когда Димка со всей страстью принимался обличать ее и «выяснять отношения», она не только не отрицала своих мнимых и подлинных прегрешений, но еще и подливала масла в огонь — с самым беспечным видом такое наговаривала на себя, что у Димки дух захватывало. Слава богу, фантазии ей было не занимать. Впрочем, к Димке она относилась милостиво, что-то в нем ей нравилось, да и жалела парня.

Люся каталась с Димкой на лодке, гуляла в парке, ходила в кино — была с ним и не была с ним. Она жила в своем мире, где все ей удавалось, где все, о чем она мечтала, рано или поздно должно было свершиться. И кинокартина, в которой она сыграет главную роль, обязательно такую, чтобы все удивлялись ее таланту и жалели ее, и большая-пребольшая любовь к Нему.

Эту любовь, как пушкинская Татьяна, она пронесет через всю жизнь. Они не смогут быть вместе. Он уедет (куда и зачем — никто не должен знать) надолго, на многие годы. Может быть, навсегда. Она сумеет достойно принять свой удел, и никто из самых знаменитых и умных людей, окружающих ее, никогда не поймет, почему она, известная, любимая артистка, живет так печально и одиноко.

А мне, Онегин, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успехи в вихре света,
Мой модный дом и вечера —
Что в них?..

Любовь Орлова и пушкинская Татьяна — могло ли это совмещаться? Наверное, могло. И артистка, увлекающая веселым талантом, и прекрасная в своей гордой печали Татьяна Ларина, видимо, в равной мере отвечали каким-то стрункам Люсиной души.

Уверенная в своем успехе, Люся отправилась в Москву, но Институт театрального искусства закрыл перед ней двери. Люсю не допустили даже ко второму туру конкурса на актерский факультет. Попросту говоря, она провалилась.

Снова и снова пробившись через толпу жаждущих и страждущих, Люся перечитывала списки допущенных ко второму туру, надеясь, что ошиблась, не углядела, а вот сейчас увидит свою фамилию. Но фамилия так и не появилась, и Люся пошла выяснять в приемную комиссию — она не сомневалась, что где-то просто напутали.

Девушка, с неприступным видом сидевшая за столом в тесной комнате, где с трудом помещался еще один стол и застекленный книжный шкаф, набитый папками, выслушав Люсю, пожала плечами: какая путаница? У них такого не бывает. Но если абитуриент настаивает — пожалуйста, она может посмотреть. Девушка достала папку, но тут зазвонил телефон. Она взяла трубку, небрежно бросила «да» и замерла, потом каким-то другим, упавшим голосом сказала: «И ты этому веришь?» — и опять замолчала и, помедлив немного, ни слова не говоря, тихо положила трубку. Прошло несколько минут, а она все сидела, уставившись в одну точку, видимо забыв о присутствии Люси. Снова зазвонил телефон. Девушка подняла голову, увидела Люсю, вспомнила, зачем она пришла, и принялась лихорадочно листать папку. Телефон надрывался, она не брала трубку и листала папку. «Нет никакой ошибки, — проговорила она наконец и всхлипнула. — Вас... не допустили... не допустили ко... второму туру». Слово «туру» она произнесла с плачем уже у двери. Люся осталась одна. У нее не было сил подняться. Ноги стали ватными, плечи и спина запылились, будто на нее навалили непосильную тяжесть. Она не заметила, как оказалась на улице, но в памяти осталось: у входа в институт стоят три девушки — смеются, болтают, посматривают по сторонам. Люся не слышит слов, но она понимает, почему эти девушки так беззаботно болтают, и весело смеются, и победно посматривают по сторонам: они уже там, за чертой, в том мире, куда Люсе хода нет. Может быть, минуту назад от страха и волнения у девушек все дрожало внутри и пересыхало во рту — они были как все. А теперь они приобщились и стали другими, особенными. Почему-то именно эти девушки окончательно убедили Люсю: то, что не могло произойти, произошло. Она была оглушена, раздавлена, уничтожена...

Если бы теперь кто-нибудь напомнил Люсе об отчаянии, охватившем ее, о тех мыслях, которые бродили в ее голове, она скорее всего не поверила бы. Теперь вся эта история казалась незначительной, а она со своим отчаянием наивной и, пожалуй, немного смешной.

Война все переместила и всему дала свою цену. Сколько такого, что до войны казалось важным, волновало, огорчало, радовало, сейчас потеряло всякий смысл! И все же, принимая от тети Тани письмо, Димкин фронтовой треугольник, Люся подумала: будь она артисткой, обязательно бы поехала с бригадой на фронт и встретила бы там Димку.

По-своему расценив молчание Люси, которая все еще держала письмо, тетя Таня сказала:

— Да ты не бойся! Письмо хорошее — чувствует мое сердце. От суженого, от твоего.

Она попробовала улыбнуться, но улыбка получилась такая, что

Люся внутренне сжалась. Муж тети Тани как ушел на войну, так и сгинул — ни словечка от него, ни весточки. И осталась тетя Таня одна с двумя ребятишками — Мишкой и Гришкой. Со здоровьем у нее было плохо. Люся представить себе не могла, как изо дня в день она простаивала целую смену и еще сколько надо на своих опухших, с набрякшими венами ногах, и очень жалела ее.

Да что было делать, когда на руках двое? Вот и получилось, что они, соседи, жили вроде как бы одной семьей и все у них было общее.

— Спасибо, тетя Таня,— сказала Люся, кладя письмо в карман спецовки.

— Письмо хорошее,— повторила тетя Таня.

— Ну, я пошла. О ребятах не беспокойтесь. Накормлю, уложу. Все сделаю.

— Иди, иди...— Тетя Таня легонько подтолкнула Люсю.

Люся не заметила, как вышла из проходной и направилась к дому. Одно слово, невзначай брошенное тетей Таней, не выходило из головы. Суженый — как просто она сказала! А ведь это значит — судьба.

* * *

Поднялся ветер, и ударило холодом, острым, мокрым. Люся спрятала лицо. Идти было трудно — сверху чуть подмороженный снег с влажным хрустом проваливался под ногами, сразу показывалась вода, и дорожка становилась скользкой. Пришлось немного сбавить шаг.

Оказывается, она уже шла пустырем. Еще немного, и сразу за ним — небольшой овражек с деревянными мостками, а там начинаются заводские дома; третий справа — ее. На пустыре было темно, огоньки виднелись впереди, и ветер так закручивался вокруг Люси, обдавал таким холодом, что захватывало дыхание. Время от времени она останавливалась, поворачивалась спиной к ветру, чтобы передохнуть, и тогда слышались шорохи, шуршание тяжело оседавшего снега, легкий и тонкий звон ломающихся льдинок. Вокруг что-то сдвигалось, менялось, и в самом воздухе появился (или показалось?) тот знакомый, горьковатый хмельной привкус, от которого замирает сердце и кружится голова...

Суженый, суженый. «То в высшем суждено совете... То воля неба: я твоя». Бывшие всегда на памяти, столько раз читанные на школьных вечерах стихи эти вдруг наполнились живым содержанием: будто не пушкинская Татьяна, а она сама написала их. Сама — на том вырванном из тетради в косую линейку листке, на котором она писала письма Димке. Суженый — судьба... Что-то еще стояло за этими словами, что-то происходившее с ней, с ее жизнью. Разлука, горе... Наверно, это. И если суженый — так и должно быть.

Люся прошла мостки и остановилась. Тут казалось тише, виднелись дома и свет в окнах, и все же, повернувшись спиной к ветру и лицом к пустырю, она несколько раз глубоко вздохнула. Там, где она только что шла, была темнота и оседающий под ногами снег. И Люся будто сверху увидела себя — маленькую, согнувшуюся, бредущую наискосок по этому глухому холодному пустырю. И так ей себя стало жалко, что горло дернулось и теплые капли быстро-быстро покатались по щекам и губам стало солоно. Ох и дура же, дура! То ничего она не боится, а то ревет непонятно из-за чего. Тысячу раз ходила она этой дорогой, знала каждый бугорок, а сейчас — нет ей конца.

Ее дом вырос как из-под земли. Дверь на тяжелой пружине, надо придержать, а то хлопнет — как снаряд разорвется.

Внизу горела лампочка. На третьем этаже, где она жила, было темно. Люся достала ключ, негнувшись, деревянными пальцами с

трудом вставила его в замочную скважину, повернула замок. На пороге остановилась, потом зажгла свет в прихожей, опустилась на сундук, стоявший под вешалкой. Ничего ей не надо — только вот так сидеть с закрытыми глазами.

...Потянуло теплым ветерком, и трава мягко касается лица. Кругом густые волны душистой травы. Они колышутся, поднимаются, подступают ближе, ближе, и уже нет ветерка, и трудно дышать, а волны поднимаются, подступают и сейчас сомкнутся над нею... Люся собирает все силы, открывает глаза и видит серую стену и узенькую прихожую с затертым ковриком на крашеном дощатом полу, полуоткрытой дверью на кухню и трехколесным Мишкиным велосипедом в углу.

Сколько времени она просидела так, одетая, на сундуке? Задремала (такое случалось с ней последнее время) или обморок? Ну вот еще — обморок! Просто устала немного, а тут в тепле разморило. Люся окончательно приходит в себя, и что-то настораживает ее. Ну да — тишина. Полная, ни единого звука. Где мальчишки? Она сбрасывает пальто, платок, короткие резиновые боты и в одних шерстяных носках идет в комнату тети Тани. Среди разгрома — сдвинутого стола, опрокинутых стульев, развороченной постели — на одеяле, брошенном на пол, спят Мишка и Гришка друг против друга, голова к голове. Мишка, старший, как и полагается по его характеру, — на спине, широко раскинувшись, а Гришка на боку, подложив руку под голову и подобрав ноги.

Люся решила не будить их. Она разобрала постели, раздела и уложила ребят. Когда переносила их, ужаснулась: какие легкие! Особенно Гришка. Может, еще не так взяла его, узенькие худые руки повисли как неживые, голова на тонкой шейке резко качнулась, и Люся поспешила поддержать ее, перехватив свою руку. Накрыв Гришку, осторожно подоткнув одеяло под ноги, Люся отошла от него, а потом вернулась. Лицо Гришки и во сне было бледным, как у старичка. Люся тихонько коснулась его щеки. Она была теплая, кожа по-детски нежная... Гришка повернул голову, и Люся убрала руку. С минуту она постояла, прислушиваясь. Все было тихо. Еле-еле доносилось, скорее угадывалось ровное дыхание Мишки. Его кровать стояла напротив, и Люся видела Мишкины атаманские, почти льняные вихры. Он был сильнее войны. Сильнее всех. Наверно, его жизненная сила переходила и к Гришке, а то Гришке бы не выдержать. Господи, да когда же она кончится, когда придет конец этой войне?

Подумала об этом или сказала вслух? Она стояла с ладонью, прижатой к губам, будто зажала рот, но по-прежнему было тихо и ребята крепко спали. Подождав еще немного, Люся вышла из комнаты, плотно прикрыв за собой дверь. Теперь можно сесть, прочитать письмо и потом перечитывать сколько захочется, и никто не помешает. Но Люся не хотела вот так, во всем рабочем, непричесанной, с грязными руками, пахнущими машинным маслом, раскрывать Димкино письмо. Она должна почувствовать себя другой, той, прежней Люсей, на которую заглядывались и к которой писал свои письма Димка.

Пока она умывалась, вскипел чайник. Люся достала из кухонного шкафчика жестяную банку, красиво расписанную красными китайскими драконами. Чай там оставалось немного, на самом доньшке. Поколебавшись, Люся взяла четверть ложечки. Чай получился на славу — крепкий, ароматный. С чашкой этого свежего, дымящегося чая Люся пришла в свою комнату, села у окна.

Она отхлебнула глоток чая, аккуратно развернула Димкин треугольник. И сразу же одним духом прочитала письмо. И как это бывает, сначала поняла только, что все хорошо, все хорошо — Дим-

ка воюет и уже близка победа. Потом Люся двумя руками разгладила письмо, вздохнула, прикрыла глаза. Димка жив, и скоро войне конец. Теплота входила в нее, теплота и легкость, и не было мыслей, а только вот это удивительное ощущение согласия и покоя.

На подоконнике неровной стопкой лежали книги, которые Люся любила перелистывать и перечитывать. Давно она к ним не прикасалась. И давно не сидела вот так одна и не чувствовала такой теплоты и уюта этой их комнаты с золотистым абажуром над столом, маминой высокой кроватью, покрытой пикейным одеялом, сверкающим белизной, старинным комодом, отделяющим уголок, где спала она сама. Тепло шло от этих вещей, от всего, что было в комнате и находилось на своих местах.

В комнате стояла тишина, и за окном была тишина. Ветер утих. Все застыло, остановилось. Люся читала письмо, улыбалась, хмурилась, а то вдруг сердце у нее падало: «...ну, если, конечно, мотор не обрежет или шальная зенитка не шарахнет...» Правда, Димка заключил это в скобки, подчеркнув тем самым малую вероятность такого исхода. Но все-таки написал. Значит, так может быть? Глупый вопрос — ведь война... Пусть война. Но этого не будет. Не погиб же Димка в самое тяжкое время. А уж теперь, когда «мессера» соваться бояться и зенитки не те, он и по-прежнему будет жить. И в Берлин придет, и к ней вернется. А осталось немного. Еще немного — и войне конец. Надо верить. Когда веришь, все сбывается.

Люся не раз еще прерывала чтение, откладывала письмо, и ей виделись в черном дымном воздухе грозные штурмовики.

...По мощеной улице маленького польского городка мимо старинного костела идет Димка вместе со своим командиром. На площади уже собралась толпа. Подпольщики-антифашисты встречают их, обнимают, жмут руки. Они рассказывают о своей борьбе, о погибших товарищах. А потом та самая женщина, о которой написал Димка, польская подпольщица-антифашистка, много испытывавшая и много видевшая, глядя ему в глаза, рассказывает, что с ним произойдет. Она сразу угадала Димкин характер и сказала правду, не ошиблась...

Неизвестно, сколько времени Люся просидела бы так, фантазируя, воображая, но именно письмо, от которого она отрывалась, а потом снова брала в руки, возвращало ее к реальной жизни. Вернее, не письмо, а сам Димка, стоявший за ним, живой и невредимый, тот самый, что за словом в карман не полезет, и прихвастнет, и напустит туману при случае, отважный, благородный Димка, который все безропотно сносил от нее, все ее насмешки и глупости. Вот он-то и возвращал Люсю на грешную землю. Она читала между строк, угадывая, что Димка хотел сказать, но не сказал, постеснялся, понимая, где он начал дурить, потому что боялся написать, как ее любил, а все-таки вырвалось несколько слов! А она ему скажет. Все скажет — и не побоится. Теперь она понимает, какой была взбалмошной, пустой девчонкой, которая ничего, кроме себя самой, не видела. Ведь только по письмам она по-настоящему начала узнавать Димку. Люся готова была провалиться сквозь землю, когда вспоминала, как глупо, отвратительно, подло вела себя с ним.

Пусть он забудет это. Она постарается быть достойной его. Она будет очень стараться. И чувствует — сумеет, потому что кое-чему научилась за четыре года войны... Вот так она ему и напишет, этими самыми словами, и сейчас же, немедленно, пока есть слова, пока хватает храбрости.

Люся взяла с подоконника лежащую на книжках свою тетрадку в косую линейку, старую школьную чернильницу, ручку и начала

писать так быстро, что буквы падали на бегу и слова вырывались из строчек, но это было не важно, все было не важно, лишь бы рука поспевала за мыслью, лишь бы она сумела высказать то, что чувствует, что хочет и должна высказать — все, до конца.

Она не заметила, как прорвалась тишина слабым, мягким, быстро исчезнувшим звуком. Тишина поглотила его и сомкнулась над ним — пусть думают, что и не было этого звука, что он почудился. Но через короткое время это повторилось в другом месте и затем еще где-то совсем близко, и звук был смелее, звонче, и — опять, но еще смелее и еще звонче. И уже отступила тишина, и со всех сторон, догоняя друг друга, все быстрее, быстрее падали, ударялись, шлепались капли и капельки, большие и маленькие, и с каждой секундой они множились, и что-то еще разбивалось, раскалывалось, сползало. Все вокруг трещало, звенело на все лады, и эта удивительная музыка росла, ширилась, вбирая в себя новые и новые голоса.

Люся не слышала ее, а если слышала, то особым, внутренним слухом, потому что ей казалось, что все это происходит в ней самой. И она торопилась все написать, пока звучит эта музыка.

Она оторвалась от письма, когда поставила последнюю точку, и услышала звон и шорох за окном, и поняла, что это капель! Весна!

Верь не верь, а пришла весна. Долгожданная. Особенная. Прилетела на больших зеленых крыльях.

Люся встала, приникла к окну. Расплющивая губы, нос, прижалась всем лицом к холодному стеклу: здравствуй, весна! моя весна!

Глава пятая

На следующий день Люся бросила свое письмо в почтовый ящик у проходной завода, и оно отправилось без каких-либо помех туда, на запад, по наезженной, кипучей дороге наступления. Но Димка не получил этого письма. Его получил Борис. В тот момент, когда письмо принесли в общежитие летчиков, Борис со своим звеном находился на КП полка. Дневальный в общежитии летчиков, которого послали передать Борису письмо, увидел его сидящим на скамейке возле входа в землянку, где размещался КП. Старший лейтенант не то дремал, не то задумался.

Дневальный в нерешительности остановился перед ним. Он знал, кому адресовано это письмо. Потоптавшись на месте, собрался с духом и по всей форме обратился к старшему лейтенанту. Однако ему пришлось повторить все еще раз и погромче, чтобы заставить старшего лейтенанта поднять голову.

— Письмо... — сказал дневальный, протягивая конверт.

— Спасибо. — Борис взял письмо, повертел его в руках. — Спасибо.

Дневальный с облегчением повернулся и быстро зашагал прочь. Борис сунул конверт в карман гимнастерки и потянулся за кисетом. Рассыпая табак, с грехом пополам завернул сигарку, но никак не мог зажечь спичку. Наконец, истратив чуть ли не полкоробка, раскурил слегка потрескивающий табак и жадно затянулся крепчайшим горьковатым дымком.

Он понял, что это за письмо. Теперь предстояло прочитать его. Ладно. Только не сразу. И не здесь. Позже, когда их отпустят с КП и он останется один.

Письмо лежало в кармане гимнастерки и похрустывало, когда Борис поворачивался или наклонялся. Он курил, смотрел на голубо-

ватое, начинающее сереть небо, на робко и нежно зеленеющие деревья, окаймлявшие поле, которое они приспособили под аэродром — наверно, последний в этой войне полевой аэродром, — на красные островерхие, причудаивые крыши домиков, виднеющиеся за деревьями, и ему казалось, что все это не реальность, а фантазия, ожившая картинка из книжек его детства. Реальность была в другом — в письме, лежавшем в кармане гимнастерки, в его тяжести.

Но все это было, существовало: война, Германия, ранняя теплая весна и это поле на окраине местечка или городка под названием Шванте, расположенного примерно в сорока километрах северо-западнее Берлина. И существовало письмо, написанное не ему, а он должен его прочитать.

— Летчики свободны! — донеслось до Бориса.

— Пошли? — Кто-то тронул его за плечо.

Борис не отозвался, и больше его не звали. Так уж повелось в последнее время, вернее с тех самых пор, — его не тревожили, когда он уходил в себя.

Выкурив сигарку и тщательно затоптав ее, Борис поднялся и не спеша пошел по краю поля, осторожно ступая на влажную, мягкую землю, выпустившую кое-где нежно-зеленые стрелки молодой травы. Он шел не к общежитию, а в обратную сторону — к городку, к кирхе.

Вечерело. На ветвях деревьев, обозначивших плавный изгиб шоссе, повисла сверкающая полоска заката. Червоное золото плавилось и медленно стекало по бурым и малиновым черепичным крышам ближних домов. После быстрого короткого дождя пахло распускающимися липами.

День уходил неспешно, тишина завершала его, хотя и чуткая, как пугливая птица, — война кружила рядом. О ней бы забыть, поверить тишине, этому золоту, вспыхивающему на крышах, на высветленных готических силуэтах, возвышающихся над ними. Да как забудешь. Напомнит. Хотя бы этим самым письмом.

Незаметно для себя Борис оказался у каменной стены, огораживающей кирху, но входа здесь не было, и он пошел вдоль стены, пока не наткнулся на боковую дверку старинного литья. Видимо, этим входом давно не пользовались: Борис никак не мог открыть заржавевший засов. Попробовал ударить увесистым камнем, валявшимся рядом. Дверь подалась со скрипом и лязгом.

За оградой было еще тише. И еще острее пахло распутившими липовыми почками. От влажной земли шел теплый ток со сладковатым запахом прошлогодних прелых листьев, шуршащих под ногами.

Борис пошел по дорожке, теряющейся среди вековых деревьев. Странно было видеть на старых, черных, корявых ветвях молодые побеги с нежно зеленеющими, только что родившимися листочками. А почему странно? Просто он не замечал этого раньше, не обращал внимания. В Москве весна другая...

Подсыхающие тротуары, залитые теплым солнцем, говор, смех, толкотня, мелькание лиц — особенных, весенних, стук каблучков, мимозы, лежащие на лотках, — можно купить одну веточку, одну, потому что ранние мимозы стоят дорого. Мать в первый же день покупала эту единственную веточку и ставила в свою любимую хрустальную вазу, которую все в доме очень боялись разбить. А во дворе девчонки играют в классы, громяют самодельные самокаты на подшипниках и выкатывается на улицу мяч...

В Москве весна начиналась весело, шумно, разноцветно. Вернется ли то время? Подумав об этом, Борис опять ощутил холодную

тяжесть, которая шла от письма, лежащего в кармане гимнастерки. Может, вернется. А может, и нет, но только Димки в той жизни уже не будет. А сам он? Разве он сумеет забыть войну?

Он понял, вернее почувствовал: ничего не возвращается. Ничего. И не будет уже такой беззаботной, шумной, веселой, разноцветной весны, а будет другое, потому что сам он другой.

Борис сделал еще несколько шагов. Деревья неожиданно расступились — и открылось кладбище. Слабые розоватые отблески падали на кресты, высокие каменные надгробья, и казалось — белый мрамор оживает в этих последних рассеивающихся лучах. Впереди Борис увидел боковую стену кирхи — своим главным входом она была повернута к домам, к центру города. Заметно темнело. Борис сел на каменную скамью, стоявшую как раз там, где кончались деревья, и достал письмо. Аккуратно надорвав конверт, вытащил сложенные пополам листы, развернул их. Это были листы, вырванные из школьной тетради в косую линейку. Сначала почерк был аккуратный, потом, на втором листе, буквы заострились, побежали быстрее, сжимаясь и укорачиваясь на бегу. Третью страницу с первого раза уже не разберешь: она, наверно, очень торопилась, строчки полезли одна на другую. Конечно, это была она, та самая таинственная гордая Люся, о которой Димка однажды сказал, что он умрет, если она не полюбит его. Сказал вроде в шутку, но голос сорвался, и Борис подумал: всерьез. «Не полюбит — заставим, не умеет — научим», — отшутился Борис. «Такую не заставишь», — ответил Димка. Восхищение и гордость, прозвучавшие в этом ответе, отдавали яростным самоуничтожением. «Коли так, плохо твое дело», — хотел сказать Борис, но, посмотрев на Димку, промолчал.

Теперь письмо этой Люси было в его руках. Ну ладно. Хватит тянуть. Все равно надо прочитать.

Письмо оказалось обыкновенным, самым обыкновенным. «А помнишь, Дима...» А он-то ждал другого — даже обидно стало. Не хотелось верить первому впечатлению, и Борис перечитал письмо, а потом, не замечая этого, вернулся к первой странице. Слова были обыкновенные, но ему почудилось — он услышал живой голос. И уже нельзя было не поверить, что Люся любит Димку и будет любить всегда. Борис слышал, как она это говорила, верил ей, и видел убегающую черную землю, и почувствовал, как шасси легко прикоснулось к посадочной полосе именно там, где он и хотел, самолет чуть подпрыгнул, мягко опустился и покатился по прямой. Когда Борис выключил мотор, самолет немного развернуло. Он поторопился выключить мотор, бросил рули, открыл фонарь, отстегнул парашют, выпрыгнул из кабины, а механик уже был там, в кабине стрелка, потому что она была разворочена снарядом, и непонятно, как еще держался в этом месте фюзеляж. «Эй, кто там, помогите!» — крикнул механик, и несколько человек бросились туда, к кабине стрелка. Потом он шел рядом с Димкой, которого несли к санитарной машине, и услышал, как кто-то сказал: «Голову держи, голову!» — рванулся вперед и тут увидел застывшее, белое, без кровинки запрокинутое лицо Димки и понял, что Димка убит.

Он был убит, когда они уходили от цели, оставляя на земле пылающие танки, затянутые клубами черного дыма. Снаряд разорвался рядом с кабиной стрелка, взрывной волной самолет завалило на крыло, и Борису с трудом удалось выровнять его. «Димка! — крикнул он. — Димка! Отвечай! Ну ладно, хватит дурить! Отвечай! Отвечай!» — повторял Борис, а Димка молчал, и все внутри у Бориса полодело, но он надеялся — ранен. Пусть тяжело, но все-таки ранен!

Самолет потерял высоту и плохо слушался рулей, но они уже летели над своей территорией. Борис посадил самолет и пока вылезал из кабины, Димку вынесли, потом он услышал: «Голову держи, голову!» — увидел запрокинутое белое, без кровинки лицо Димки и понял, что он убит.

Снова и снова память возвращала Бориса к этому мгновению. Вот такая чертовщина. Надо посидеть немного. Прийти в себя.

Вечер тихо, мягко спускался на кладбище, будто и не было войны. Ничего не было — только тишина. Глубокая. Бесконечная. Она подкрадывалась незаметно, лишала воли. Не надо было двигаться, думать, чего-то хотеть — только чувствовать эту тишину и подчиняться ей.

Борис посмотрел на дату — она стояла в начале, на первой странице, 7 апреля. Когда Люся отправила свое письмо, Димка был жив. Прийти бы этому письму раньше — может, Димку и не убило бы. Дикая мысль! Димка сказал, что умрет, если Люся не полюбит его. Люся полюбила, а Димки нет. Но что это значит — нет? Для него Димка существует. И для Люси. И для Димкиной матери. Только он останется таким, каким был. В прошлом времени. Может, смерть — это и есть прошлое время? Пока живешь, куда-то движешься, вступаешь в новую жизнь, а те, кто умер, остались там, в той жизни, из которой ты ушел. Может, и так. Но от этого не легче — все равно Димки нет. Как же теперь Люся? Борис впервые подумал о Люсе, живой Люсе, которая любит, ждет, надеется. И он должен сказать ей.

Вот как — еще недавно казалось: кончится война — и жизнь пойдет ясная, без облачка, широкая, быстрая, как большая полноводная река. И ничего не надо будет решать, потому что все уже решено. Сколько же тех, чью судьбу сломала, покалечила война!

Поверить этой тишине — только она и была всегда. Была и будет. И все поглотит, все скроет. Все? И Димку? Борис поднялся со скамьи. Он не мог больше здесь оставаться. Тишина давила его. Хорошо, что песок, которым была посыпана дорожка, шуршал под ногами. Живой, шуршащий песок. Обойдя кирху, Борис оказался у главного входа. Отсюда был виден весь город.

Сумерки погасили краски. Темноватая синева залила дома и густела на глазах, смазывая контуры крыш и превращая их в бесформенные пятна. Надо торопиться — как бы его не хватились. Объясняя потом, что просидел на кладбище и воевал с тишиной. Борис усмехнулся: звучит действительно странно. Чушь. Мистика. Как сказал бы Димка, черная магия. Как трудно иногда объяснить самые простые вещи!

Через центральные ворота Борис вышел за ограду и зашагал к аэродрому. Скоро он увидел за деревьями широкую покатую крышу и по бокам островерхие башенки с флюгерами. Это и был дом, в котором поселили летный состав. Построен он был, должно быть, недавно, хотя выглядел как средневековый замок. Внутри тоже все было сделано «под старину», если не считать удобной планировки комнат и вполне современного комфорта. Вообще страсть немцев к готике, к мрачным романтическим атрибутам средневековья бросалась в глаза. В богатых домах, где довелось побывать Борису, что-нибудь в этом роде обязательно попадалось: шлем с забралом, меч, серебряный рыцарский кубок, красовавшийся на самом видном месте под стеклом. Все же остальное говорило о том, что хозяева более всего пеклись о своих удобствах, о комфорте, который им давала цивилизация середины XX века.

Эти дома, большею частью роскошные особняки, пустовали. Любопытно, что, удирая, их владельцы забирали с собой нечто более

ценное, нежели ржавый тевтонский меч или тяжелый рыцарский крест на цепи. Забирали то, что им могло пригодиться в XX веке, вплоть до посуды. Они были людьми практичными.

Говорили, что дом, в котором жили летчики, принадлежал управляющему угольями, простирающимся к югу от городка. В эти уголья входило и поле, ставшее аэродромом. Видно, этот бюргер, исполнявший роль надсмотрщика над пленными русскими девушками, работавшими на фермах и полях, тоже стремился приобщиться к рыцарству.

Когда Борис подошел к дому, уже совсем стемнело. Благо часовой узнал его по голосу. Борис поднялся на второй этаж, где в большом зале со стрельчатыми сводами размещалась их эскадрилья.

— Ну вот, наконец-то! — сказал комэска, когда Борис открыл дверь. — Где пропадал? — И не дав ответить, продолжал: — Мы тебя тут ждали. Тут, понимаешь, дело есть...

Комэска был несколько смущен, хотя всячески пытался скрыть это, но уж кому, как не Борису знать его — слава богу, два с половиною года бок о бок что в воздухе, что на земле. Командир первой эскадрильи Герой Советского Союза капитан Жигарев, иначе говоря, Алексей, пришел в полк в том же сорок втором году, что и Борис, только он в начале, Борис — в конце. Но именно эти тяжелейшие бои в феврале, марте и апреле, когда погибло больше половины всего летного состава, превратили Алексея, «молодого, необстрелянного», в настоящего аса.

Эти несколько месяцев, может быть, стоили нескольких лет, но так уж считалось, что они с Борисом пришли в полк в один и тот же год, теперь оба стали ветеранами и как бы сравнялись в боевом опыте. Они были товарищами, ничего не скрывали друг от друга, и Борис твердо знал — не могло быть у Алексея причин для смущения. Не могло быть, да были. Алексей хитрить не умел: что на сердце, то на лице.

Этот медлительный человек, которому надо было подумать, прежде чем на любой вопрос ответить «да» или «нет», преобразался, когда сел в кабину. Его сухощавая фигура с крупной головой сливалась с самолетом, движения делались быстрыми, точными, даже голос менялся. Иногда Борису казалось, что Алексей такой медлительный на земле потому, что ему скучно — ведь у него были крылья, а у других людей их не было...

Алексей, конечно, был прирожденным летчиком, летчиком от бога, может быть таким же, как Валерий Чкалов. Кстати, он был из тех же краев, с Волги. «Ладно, — подумал Борис. — Не хочешь сказать сразу, выпутывайся сам. А я погляжу на тебя». Вслух он сказал:

— Я, товарищ капитан, воздухом дышал. Вечер хороший.

— Ну и как — надьщался?

— Надьшался.

Наступило молчание. Борис сел на кровать и начал не спеша сворачивать сигарку.

— Тут, понимаешь, вот какое дело... — Комэска наклонил лобастую голову. — К тебе пополнение... — Он попробовал шутить: — Из резерва Главного Командования...

Шутка не получилась, и комэска поспешил добавить:

— Давай принимай...

Так вот оно что. Теперь все понятно. Значит, пополнение. Теперь его экипаж в полном комплекте. Это главное. А про остальное забудем. Как будто Димки и не существовало. Не было такого. А если был, то можно забыть. Война есть война. Верно. Все правильно.

Новый стрелок, пополнение из резерва Главного Командования, вышел из-за стола (а он-то сразу и не заметил его) и стал по команде «смирно».

— Товарищ старший лейтенант, младший сержант Кожухин при- был в ваше распоряжение...— Он запнулся, словно позабыв, что надо говорить дальше. Губы его беззвучно шевелились. Вспомнил, но понял, что уже говорить не стоит, и все-таки пробормотал упавшим голо- сом:— Для дальнейшего прохождения службы.

«Прибыл»,— повторил про себя Борис. Прибывают поезда, как шутил старшина в училище. А еще некоторые говорили — явился. Но чем это лучше? Можно ответить — являются только видения. Напри- мер: «Передо мной явилась ты, как мимолетное виденье...» Черт знает какая чепуха лезет в голову.

Борис исподлобья смотрел на стоявшего перед ним парень- ка. Ну и ну. Всяких солдат видел, а таких не приходилось. Да ему от силы лет пятнадцать. Как он в армию попал? И еще в авиацию? Как? Очень просто. Взяли мальчишку, выросшего на голодном пайке, вот такого — шуплого, лопоухого, с цыплячьей шеей и огромными глази- щами, выдали ему гимнастерку хабэ, ремень, кирзовые сапоги с широ- ченными голенищами, показали, как обращаться с пулеметом Бере- зина, подучили малость — и получился младший сержант Кожухин. И он «прибыл» на место Димки!

— Ты с какого года, товарищ младший сержант?— спросил Борис.

«А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...» Ну и старым же по- казался сам себе Борис! Будто прожил целых две жизни. Одну довоен- ную — короткую. Другую военную — долгую. Без конца и края, где все уже было. А что видел этот малец? Голодное детство?

— С тысяча девятьсот двадцать восьмого года, товарищ старший лейтенант.

— Свежо предание...

— Как скажу, так все не верят, товарищ старший лейтенант. А потом верят.

— Ишь ты, какой шустрик,— удивился комэска.

— А как тебя звать? — опять спросил Борис.

— Гена, товарищ старший лейтенант.

— Ладно, Гена,— усмехнулся Борис.— Только не стой, пожалуй- ста, по команде «смирно». Не подходит это к тебе.

— Есть не стоять,— недоуменно ответил Гена, не решаясь, однако, ослабить ногу, как это полагалось в положении «вольно».

Он был окончательно сбит с толку. Много раз Гена представлял себе, как он прибудет в часть и представится командиру и какой при этом будет разговор, что командир спросит и что он ответит, а сейчас все было не так. И еще одно обстоятельство приводило Гену в крайнее смущение. Он обнаружил, что не может глаз отвести от золотой звез- дочки, сверкающей на груди капитана. Гена впервые видел живого, самого что ни на есть настоящего Героя Советского Союза, не только видел — разговаривал с ним! Понятно, ему хотелось как следует рас- смотреть капитана, и все было интересно: выражение лица, как гово- рит, смеется, курит. Но Гена стеснялся поднять на него глаза: а вдруг капитан прочтет в них все его мысли? От одного этого предположе- ния Гену бросило в жар. Ведь он не школьник, а младший сержант, воздушный стрелок, и находится в боевой части, под самым Берлином, а не на школьном вечере. Что о нем подумали бы и капитан и этот хмурый старший лейтенант, его будущий командир, если бы они дога- дались, что он заставлял себя не смотреть в лицо капитана, Героя Советского Союза, и поэтому уставился на его звездочку и уже не может оторвать от нее взгляд!

— Да садись ты! Вот сюда,— сжалился над ним комэска, пододвигая стул.— Садись. Привыкай к нашей жизни. У нас ребята хорошие. Не бойся, не съедят.

— Я и не боюсь,— сказал Гена, присаживаясь на самый краешек стула (как он хотел, чтобы капитан увидел его в воздушном бою!).— Я на фронт приехал.

— Верно,— поддержал его комэска.— Немцев бить. Для того и приехал.

Борис вздохнул. Он знал и летчиков и стрелков, которые приходили в полк и вот так же хотели как можно скорей слетать на боевое задание и не возвращались после первого или второго вылета. Там, в школе, они учились преодолевать себя, испытали радость самостоятельного полета, мечтали о подвигах, о целой жизни впереди, а все кончилось в первые же дни приезда на фронт. Наверно, они были не хуже других, и многие из них могли бы воевать и стать асами, как Алексей. Могли, но не стали, потому что воздух, в который они рвались, был заряжен гибелью. Одним обходится, другим нет. А теперь даже имен не вспомнить: их и узнать-то как следует никто не успел. А Гене обойдется. Должно обойтись. Как-никак, а воздух наш.

Сколько же должно было погибнуть тех, чьи имена не вспомнить, и таких, как Димка, чтобы Гене обошлось, чтобы остался он целым и невредимым! И Борис подумал, что в образе этого худенького голубоглазого паренька, выросшего на голодном тыловом пайке, пришло к ним то новое поколение, которое начнет свою главную жизнь после победы. А вот у него и у Алексея самым главным в жизни была и, может быть, навсегда останется война.

Димка погиб, чтобы Гене обошлось. Такие пироги, как говорит Алексей.

— Ты ШМАС⁴ кончил? — спросил комэска, нарушая затянувшееся молчание.

— Ну да — ШМАС.

— Стрелять, конечно, умеешь? И летать не боишься?

— Не боюсь,— сказал Гена.

— А в авиацию как попал? Да ты не обижайся,— поспешил прибавить комэска.— Я вот помню... У нас богатырей заворачивали!

— Меня, товарищ капитан, не пускали. Да нельзя мне без авиации. Мне с фашистом надо встретиться — в воздухе. Чтоб один на один... — Широко распахнутые, светлые, как апрельское небо, глаза Гены сузились, потемнели. Он загнулся, замолчал.

— Счет у тебя к ним? — осторожно спросил комэска.

— Мы с мамой эвакуированные. Отец в партизанах остался. Пока из Новогрудка в Минск шли, по пять раз в день бомбили. Налетят, сбросят бомбы — и давай из пулеметов... Улетят, чай попьют — и опять... А когда патроны кончатся, над головой промчатся, чтоб добить, кто живой остался, воем своим, чтоб на всю жизнь страх этот запомнился... Там и Катюку, сестренку мою, убило...

— Понятно, товарищ младший сержант, понятно... — Комэска помолчал.— Сквигаешься еще с ними. И Гитлера прикончишь. В самом Берлине. Понял меня?

— Понял, товарищ капитан.

— Ну а дальше? — спросил Борис.— До Минска дошли. А потом?

— Потом нас эвакуировали на восток. Эвакуированные мы,— повторил Гена запавшее в душу с той поры словцо, которое все объясняло: бездомность, сиротство — все несчастья, все горести.

⁴ Школа младших авиационных специалистов.

Гена замолчал, стараясь справиться с горячей волной, которая подкатывала к горлу. Вот же как бывает — в самый неподходящий момент... Рассказывать, выходит, хуже, чем на самом деле переживать.

— Закуривай, младший сержант...— Алексей протянул Гене красивый портсигар из плексигласа.

— Спасибо, товарищ капитан. Некурящий я,— ответил Гена и почувствовал, что отлегло, вроде никто ничего не заметил и он может продолжать рассказ.— Попали мы в Киров. Я в школу пошел, маму на фабрику взял. А как стукнуло мне шестнадцать, стал заявления в военкомат писать...

— Ого, шестнадцать! А что скажешь, когда двадцать пять стукнет? — улыбнулся капитан.

— Рассказывай, Гена, рассказывай,— снова вмешался Борис. Он и сам не понимал почему, но хотел узнать всю историю этого паренька. Всю — до конца.

— Я на заявления целую тетрадь извел.— Гена проговорил это с сожалением: тетрадь была большой ценностью.— Целую тетрадь! А ничего не вышло. После один человек помог. Из райкома. Я в летную школу хотел. А набор был в ШМАС...

— Летчик из тебя бы вышел,— сказал комэска, похлопав Гену по плечу.— Точно говорю. У меня глаз на летчиков. После войны пошлем мы тебя в училище, в гражданскую авиацию. И станешь ты пилотом высшего класса. Будешь летать через горы, океаны. Вокруг шарика облетишь. Об этом Чкалов мечтал, да не пришлось ему. А ты облетишь. Всю землю увидишь — не на картинке, своими глазами. А самолеты построят — глаз не оторвешь. Скорости будут считать от звукового барьера. И любая погода нипочем!

— Такой самолет для тебя, Алексей, построят,— сказал Борис.— Ну а Гену мы к тебе вторым пилотом. Возьмешь?

— А как же! Обязательно возьму! Мы еще с тобой, младший сержант Гена, полетаем! — И капитан дружески подмигнул Гене.

«Что у него было? — снова спросил себя Борис.— Голодное детство? Верно. А еще война. Как у солдата. Да нет, Гене было хуже: в него стреляли, его убивали, а у него не было оружия, чтобы защититься. А кругом были женщины, дети. Мать, сестренка... «А кой тебе годик?» — «Шестой миновал...» А у него на глазах сестренку убили».

И опять, как час тому назад на кладбище, Борис подумал, какая эта огромная война. Всех захватила. Никого не обошла. Расшвыряла, уничтожила, задавила. И опять вспомнилась ему череда людей, бредущих по дымной горящей дороге. «Голову, голову держите!» А Гену не убьют. Он должен жить. Он вернется, и его обнимет мама, и сядет напротив него, и будет смотреть, как он ест, и будет знать, что больше не стреляют, что впереди у Гены целая жизнь...

Комэска неожиданно проговорил:

— Вот так-то, Боря. Такие пироги.

Только сейчас Борис понял, почему Алексей сам представил ему нового стрелка. Алексей все брал на себя. Всю вину за то, что как бы первым сказал: погоревал — и хватит, надо дело делать. Гитлер еще не издох там, в Берлине. Принимай на Димкино место другого. Он сказал это и как товарищ и как старший командир, а Борису оставалось одно — подчиниться. Когда трудно решать самому, самое лучшее подчиниться.

Смотря в глаза своему новому стрелку, Борис сказал:

— Иди, младший сержант Кожухин, отдыхай. Завтра с утра покажу тебе наш аэроплан. А там, глядишь, и летаем. Чем черт не шутит.

* * *

Утро начиналось как обычно, когда ожидают вылеты. Еще не рассвело, а механики и мотористы заправляли самолеты горючим и маслом, запускали и опробовали моторы.

Проснувшись от разноголосого гула, доносившегося с аэродрома, Гена вскочил в холодном поту: ему привиделось, что самолеты вырываются на старт, чтобы лететь на боевое задание, а он проспал все на свете и его забыли разбудить. Гена огляделся и увидел спящих товарищей. Сразу отлегло от сердца — никто его, слава богу, не забыл. Опробуют моторы — значит, будут вылеты. Не дожидаясь команды «подъем!», Гена начал одеваться.

После того как он слетал на боевое задание, в разведку, Гена почувствовал себя полноправным членом экипажа, и теперь все, имеющее хотя бы какое-нибудь отношение к полетам, радовало его. Что же говорить о летном снаряжении, на которое так приятно было смотреть и еще приятнее знать, что оно принадлежит тебе по праву! С удовольствием натянув комбинезон, надев сапоги, Гена, нахмурившись, взял ремень с кобурой и пистолетом. Подпоясывался он не торопясь, небрежно, будто кто-то мог наблюдать за ним.

Гена уже и думать забыл, как на следующий день после его приезда в полк командир экипажа, старший лейтенант, полетел с ним в зону и помотал так, что, когда они приземлились, Гену вырвало прямо в кабине, и он очень боялся, что командир заметит! Тогда прости-прощай его боевые вылеты! Но старшему лейтенанту, видно, все это было неинтересно. Спрыгнув на землю, он, ни слова не говоря, махнул Гене рукой и не спеша пошел от самолета. Примерно через час, когда Гена окончательно пришел в себя, старший лейтенант, встретив его у столовой, спросил: «Ну как? Понравилось?» «Конечно! — поспешно ответил Гена. — Очень понравилось!» Ответил так, будто речь шла о катании на карусели. Старший лейтенант усмехнулся и промолчал. После этой встречи Гена ходил как в воду опущенный: неужели догадался? Уж больно ехидной показалась Гене эта усмешка... Но прошел еще день, и они полетели на боевое задание, в разведку, и сразу забылись все эти страхи.

Одевшись и прицепив к поясу шлемофон, Гена счел себя готовым. Пока поднимутся другие стрелки, он решил выйти из дома и поглядеть, не затянуло ли звезды облаками. Стараясь не шуметь, Гена спустился со второго этажа по широкой деревянной лестнице с резными перилами, все время ощущая приятную тяжесть пистолета, чуть-чуть оттянувшего ремень с правого бока. Шлемофон в такт его шагам слегка хлопывал по ноге.

Закрыв за собой массивную входную дверь, Гена оказался на каменной площадке вроде крыльца, на три ступеньки возвышающейся над землей. Остановился. Зажмурившись и запрокинув голову, вдохнул холодный, сырой от рассеивающегося тумана воздух. Потом открыл глаза, огляделся.

Рассветало. Сероватая мгла растекалась, уходила, и в светлом воздухе все ясственней, резче обозначились деревья, дорожка, ведущая от дома, кусты, металлическая ограда. Небо как бы раздвигалось, обнажая бледную голубизну высоты, где уже не было видно звезд. А там из-за волнистой розовой полосы, тихо разлившейся над крышами городка, в желтовато-белом накаленном кольце медленно выплывало солнце.

Замолчали моторы на аэродроме. Набежал и затих предрассветный ветерок. Все замерло, затаило дыхание, пока солнце поднималось все выше и выше, и светлело, и уменьшалось, будто таяло, отдавая тепло и свет.

Прислонившись к дереву, замер и часовой, замороженно глядя туда, на восток.

Стало совсем светло. Небо было чистым, только на западе оно казалось чуть темнее. Наверно, так и должно быть, пока солнце не забралось повыше. Небо чистое. Значит, будут вылеты.

Гена, как старый воздушный волк, цепким, примеривающимся взглядом (а если посмотреть со стороны, небрежным) скользнул по небосводу. Слева направо — по часовой стрелке, потом справа налево и, вернувшись к тому ориентиру, с которого начал обзор (островерхая башенка со шпилем — почти в створе солнца), уже больше не мог оторвать глаз от этого места.

Он смотрел на волнистые, изменчивые переливы света и сияния, на сверкающее солнце, уходящее в вышину, и подумал, что именно там, вот за этой башенкой, и есть тот самый край земли за горами, за долами, откуда оно выплывает в своем бело-золотом ослепительном ореоле...

Заглядевшись, Гена, как и часовой, боялся двинуться, и неизвестно, сколько времени они простояли бы так, но дневальный скомандовал: «Подъем!» — и сразу оборвалась тишина. Дом ожил, наполнился голосами, топотом сапог, заходил ходуном.

Наконец-то! (Будто минуту тому назад Гена не стоял как зачарованный, забыв о своем нетерпении, обо всем на свете.) Наконец-то! Завтрак пройдет быстро — и на аэродром.

Гена не мог ускорить течение времени. Ему казалось, что все делается крайне медленно. Как будто это запасной полк, а не фронтное подразделение, которое в любую минуту может получить боевое задание. Он раньше всех позавтракал и раньше всех оказался возле своей «пятерки».

На летном поле было пустынно. Гена похаживал около самолета, то и дело поглядывая в сторону КП, откуда должны были появиться летчики. Он решил проявить характер и залезть в кабину, когда придет командир. Но летчики не показывались, и нетерпение его росло.

Мимо стоявших в одну линию самолетов эскадрильи, гремя баллонами с воздухом, проехала полуторка. И опять все тихо. Потом, правда в другой стороне (не там, где находился КП), возникла высокая фигура в комбинезоне. Когда фигура немного приблизилась, Гена узнал своего механика. Это был хороший признак. Сначала приходит механик, потом летчик.

Механик слегка кивнул Гене, достал из кармана комбинезона отвертку, открыл нижний бронелюк мотора и засунул туда голову. Что-то он там высматривал или делал, Гена не мог определить, так как видел только его спину, а подойти поближе и заговорить постеснялся. Этот механик, как казалось Гене, был человеком мрачноватым, к тому же намного старше его, лет на десять, а то и больше. Старик стариком. Покопавшись, механик закрыл бронелюк, вытер руки ветошью и, ни слова не говоря, не спеша удалился. А летчики все не шли.

Гена решил снять с себя запрет и забрался в свою кабину. Первым делом он тщательно осмотрел пулемет, по всем правилам, как учили в ШМАСе. Проверил магазинную коробку, положение ленты, предохранитель. Подвигал ствол по вертикали, потом по горизонтали — турель шла, как и полагалось, легко, с мягким, чуть слышным постукиванием. Все в порядке. Он был готов к бою. А вылет почему-то задерживался. Как будто наши наземные войска, добывающие фашистов, не нуждались в поддержке с воздуха! Или, может быть, уже больше не существовало целей для атаки штурмовиков! Например, танковых

колонн противника,двигающихся из глубины обороны к переднему краю? Огневых рубежей? Ближних аэродромов?

Гена уселся поудобнее на широкую брезентовую ленту вроде гамака, упершись ногами, чтобы не раскачиваться, закрыл глаза. Лучше уж думать о чем-нибудь другом. Как он делал дома, когда голодным ложился спать и так сосало под ложечкой, что невозможно было заснуть. И он заставлял себя думать не о еде, не о том куске хлеба и сахаре, которые лежали в шкафике и которые они с матерью съедят утром за чаем, а о том, например, как он садится в истребитель и поднимается в небо и летит на перехват «юнкерсов»... Так и засыпал и, наверно, уже во сне пикировал на черные самолеты с крестами и до боли в пальцах жал на гашетки. Когда Гена просыпался, было уже утро; иногда он не мог вспомнить, видел во сне или нет, как вспыхивает «юнкерс» и в дыму несется к земле.

Но сейчас думать о другом Гена не мог, как ни старался. Мысли все время возвращались к тому вылету — единственному боевому вылету. И каждый раз всплывали новые подробности, которые вроде забылись или сначала казались неважными, но, выходит, нет, не забылись и теперь уже без них нельзя, потому что все нарушается и становится непонятно, почему командир и он сам действовали так, а не по-другому.

...Они полетели в разведку без ведомого — воздух был наш, и Берлин рядышком, и бой шли в самом городе. «За воздухом посматривай», — сказал командир. «Есть», — ответил Гена. А может, и не ответил, только кивнул. Голос плохо слушался, во рту было сухо. Но «посматривай» засело в нем.

Когда рулили на старт, ему казалось, что земля в бугорках и трещинках со старой, выцветшей и зеленой, молодой, упругой травой, наклоненной воздушным потоком, его привычная земля, по которой он ходил, не замечая ее, теперь уже другая и не его, и у Гены сжалось сердце. Ему стало страшно покидать эту землю, отрываться от нее.

Страх прошел, когда они набрали высоту, легли на курс и Гену захватило чувство полета. Кругом все голубело. Солнце стояло почти в зените. Кое-где выше них растекались легкие перистые облачка, сквозь которые просвечивала голубизна. Видимость была отличная. Внизу чуть покачивалась земля — темная полоска леса, кусочки зеленеющих полей, домики, ниточки дорог...

«За воздухом посматривай...» По всем правилам обзора, как их учили, он несколько раз обежал взглядом все видимое пространство и потом снова, но уже не торопясь, методичнее. Все было чисто вокруг, искрилась голубизна, в тишине таяли облачка, и ровно звенел мотор, но холодок тонкими струйками пополз по Гениной спине. «Мессеры» могли свалиться на голову в любую секунду. А он и не заметит — воздух над ними так сверкает, что больно глазам. Смотреть можно несколько секунд, потом перед глазами плывут оранжевые круги. Оторвешь взгляд — а «мессеры» или «фоккеры» тут как тут.

Гена встал — так обзор был лучше, да и действовать сподручнее. Самолет шел ровно, на одной высоте, и Гена понемногу приспособился: пока смотришь вниз, налево, направо, глаза отдыхают, потом вверх и опять вниз, налево, направо...

...Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. Опираясь на палочку, капитан, начальник школы, стоит перед строем, и Гена опускает голову, чтобы не видеть его обожженное лицо с косым шрамом на лбу... Цели надо выискивать. Не ждать, пока тебя пришьют. И опять Гена почувствовал холодок на спине.

Справа мелькнуло темное пятнышко. Мелькнуло и пропало. Почудилось? Ну появись! Давай! Ничего — только искры в глазах. Да

нет, не искры — это воздух такой розовый. Что за черт — розовый! Розовый воздух! А теперь красный! Гена зажмурился, сосчитал до трех, открыл глаза: воздух был красно-розовый! И только над ними все голубело по-прежнему. Посмотрев вниз, понял: красный воздух — это отблески огня, гигантских пожаров, бушевавших там, впереди.

Командир заложил глубокий вираж — земля в серой клубящейся пелене дыма качнулась и пошла вверх. Гену прижало к стенке кабины, он чуть присел, потом почувствовал, что самолет набирает высоту. Когда выровнялись, Гена опять увидел разрезанные дорогами островки леса. Плотная серая завеса дыма с темными растекающимися пятнами, сквозь которые пробивалось пламя, осталась позади. И тут Гена услышал хлопок. Будто лопнул детский воздушный шарик. Один. Второй. Третий. И одновременно справа и слева возникли белые облачка, похожие на маленькие парашютики. Они быстро таяли, но сразу же появлялись новые — все больше и больше и все ближе к ним. Командир начал швырять самолет из стороны в сторону, вверх-вниз, а парашютики не отставали, стараясь дотянуться до них. Дотянуться и уничтожить.

У Гены похолодело внутри, руки стали непослушными. Сколько это длилось? Секунду, две? Он справился с собой, почувствовав боль в пальцах, впившихся в прохладный металл пулемета. Земля то уходила, то надвигалась. Гену мотало, но он все-таки увидел пушки, укрытые в лесу, по пламени, вылетающему из стволов. Гена прилачился и дал одну за другой три коротких очереди по этим желто-красным языкам пламени.

И сразу в шлемофоне встревоженный голос командира:

— Почему стреляешь?

Возможно, Гена промедлил долю секунды, не больше, но тут же последовало резко, требовательно:

— Отвечай!

— Стрелял по зениткам.

— Хорошо.

Это «хорошо» прозвучало с удовлетворением. Как вздох облегчения. Гене показалось, что он и в самом деле услышал этот вздох. Но в тот момент он не подумал обо всем этом. Белые парашютики вспыхивали все ближе, и мысль была одна: скорее вырваться, уйти. А пока бить по пушкам, когда появляется пламя.

А потом, когда лесок уплыл назад и зенитки уже не доставали их, они опять попали в зону пожаров и опять летели в красном светящемся воздухе, но теперь уже под ними был Берлин — дым и пламя, черные дома, черные прямоугольники улиц, черные провалы развалин, вспышки огня. Рядом с самолетом в восходящих токах воздуха крутились кусочки сгоревшей бумаги, крупички сажки, копоты. Казалось, горел сам воздух, и уже трудно было что-нибудь увидеть в этом сплошном огне...

Гена не мог сказать, сколько минут или секунд длился этот полет. Он только заметил, что над ними посветлело, и огонь бледнеет, как бы расстопаетса, и теперь видно — это не огонь, а воздух, розовый от огня; а потом стало еще светлее, и кругом уже была ясная, солнечная голубизна, и внизу зеленели поля, и топорщились крыши домиков, и спокойно, ровно звенел мотор — будто в нескольких километрах от них не горел Берлин, и Гитлер не был в Берлине, и не было на свете никакой войны.

Они летели домой, на свой аэродром, и эти прозрачные, глубокие дали уже не казались Гене опасными. Теперь он имел некоторое представление о том, что такое настоящая опасность.

А вот и их колокольня на краю аэродрома. Командир делает круг и идет на посадку. Земля быстро приближается и убегает назад. Легкий толчок. Еще один, и они не спеша рулят на стоянку. Они дома, вернулись из боевого вылета, и все в порядке!

Командир выключил мотор, но Гена не торопился вылезать из кабины. Голова кружилась, к горлу подступала тошнота. Стоило закрыть глаза — и земля начинала ходить ходуном и раскачиваться под ним. Посидеть бы немного, чтобы все прошло. Гена несколько раз глубоко вдохнул полной грудью — стало полегче. Потом не торопясь закрепил пулемет, накинул на него чехол. Тошнота начала понемногу проходить. «Эй, младший сержант, ты что там закопался, командир зовет!» — крикнул механик. Гена еще раз вдохнул как мог глубже и спрыгнул на землю.

Командир ждал его. Он уже отошел на несколько шагов от самолета, но остановился и ждал, пока Гена подойдет к нему. «Товарищ старший лейтенант...» — начал Гена, подходя к командиру и становясь по команде «смирно». «Ладно, — оборвал его командир и, глядя в глаза, спросил: — Видел, как горит Берлин?» «Видел, товарищ старший лейтенант». «Теперь все. Понял? Войне конец! — Он положил руки на Генины плечи и приблизил его лицо. — И если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы!» Гена промолчал, а про себя удивился: командир всегда сдержанный, словечка лишнего не скажет — и вдруг такое...

...Теперь, сидя в кабине воздушного стрелка и вспоминая минуту за минутой свой боевой вылет, Гена связал два эти разговора с командиром — в воздухе и на земле.

Будто опять услышал Гена голос командира: «Почему стреляешь?» — но только сейчас понял, что встревожило командира. Ведь их могли атаковать «мессеры» и Гена мог стрелять по «мессерам». Вот почему командир сказал «хорошо» со вздохом облегчения, когда Гена ответил, что стреляет по зениткам.

По зениткам, а не по «мессерам»! Нет, командир, конечно, не испугался «мессеров» — видал он их! Просто ему была обидна, очень обидна сама мысль о гибели, когда горит Берлин и войне конец. Так он и сказал, когда они прилетели, — войне конец! И еще сказал: если мотор не обрежет — будем мы с тобой, Гена, живы! А если уж командир все-таки испугался, когда подумал, что Гена бьет по «мессерам», то не за себя, а за него.

Мысль эта появилась неожиданно, неизвестно откуда взялась, но как это бывает с тем, что очевидно, сразу утвердилось, без всяких сомнений, будто Гена знал об этом всю жизнь. Тут и говорить нечего, командир испугался за своего стрелка. Ведь он не хотел его брать, сказал, что полетит один, что ему разрешили лететь одному, а Гена стоял перед ним, и не было у него таких слов, чтобы ответить командиру, потому что остаться, когда его командир улетит на боевое задание, было для Гены хуже смерти. Гена стоял перед командиром, смотрел на него, и молчал, и чувствовал, что у него дрожат губы и он ничего с этим не может сделать.

Наверно, командир понял, что творится у Гены в душе и что не брать его нельзя. Он махнул рукой: черт с тобой, полезай в кабину! А потом, когда они рулили на старт и Гена близко, будто впервые, увидел землю в бугорках и трещинках, с наклоненной воздушным потоком травой попеременно — старой, выцветшей, и молодой, зеленой, ему стало страшно отрываться от этой земли, и он возненавидел себя за этот страх. Но страх прошел, когда они набрали высоту, и легли на курс, и Гену захватило чувство полета, а потом его кольнуло — за воздухом посматривай — и он ждал атаки и боя, а потом...

Но у Гены не было сил снова раскручивать этот клубок и пережить все сначала. Он сдернул с головы шлемофон, вытер рукавом пот со лба. Вот чудеса! Будто он и вправду только что побывал над горящим Берлином, и попал под зенитный огонь, и бил из пулемета по желто-красным языкам пламени, вылетающим из пушек, и до боли в глазах вглядывался в сверкающую синеву, чтобы не упустить тот момент, когда на них свалятся «мессеры» или «фоккеры». Теперь надо успокоиться, прийти в себя.

От сидения в неудобном положении у Гены заныла спина, затекли ноги. Пора размяться. Гена закрепил пулемет и вылез из кабины. Попрыгал, несколько раз присел. Походил около самолета.

Аэродром по-прежнему был пустынным, лишь у нескольких самолетов виднелись фигуры технарей в серо-бурых комбинезонах. Погода установилась самая что ни на есть летная: небо синее, высокое, с редкими неподвижными белыми и пухлыми, как снежные сугробы, облаками. Солнце стояло уже над головой и начало помаленьку припекать. Если торчать тут, на самом солнцепеке, разморит окончательно. А ему лететь. Вернулся к самолету и сел на землю в тень, под крыло. От земли шел густой, влажный, острый, будто горьковатый на вкус дух — весенний дух, такой же, какой бывает и в Белоруссии.

Гена лег на спину, положил руки под голову, закрыл глаза. Ему вспомнилось, с каким нетерпением ждал он весну, замечал по разным приметам, как она приближается, как приходит и начинает хозяйничать — в поле, в лесу, на улице. В такие дни они всем классом, даже девчонки, убегали с последних уроков, а Гена со своим дружкой Петькой шел в лес. Там было сыро, под ногами хлюпало, кое-где в низинках еще лежал снег, темно-серый, почти черный, как земля, а на буграх, покрытых выцветшей прошлогодней ветошью, уже зеленела молодая трава, и даже в чаще было светло, потому что деревья стояли голые, и если запрокинуть голову, сквозь ветви виднелось все небо — синее-синее... Не стовариваясь, они находили свою тропку, узнавали на ней все — низкую разлапистую темно-зеленую ель (она одна выделялась тут среди голых черных стволов), старый мшистый пенёк с выпирающими из земли корявыми корнями, а в стороне от него свежие кротовые норы и кучки выброшенной земли, чуть дальше стоял раскидистый могучий ясень.

Первые птицы уже прилетели, перекликались, в воздухе звенели их песни, и они с Петькой останавливались и угадывали голоса: дрозд, зяблик, крапивник... А тропинка поднималась на пригорок, и что-то незаметно менялось (Гена опять ощутил эту неуловимую изменчивость), они замедляли шаги, с замиранием сердца ожидая, что сейчас это произойдет, но каждый раз оно происходило неожиданно и не так, как раньше. Неожиданно, в долю секунды, расступался лес, и в глаза ударял свет, и в переливах света возникал белый, совсем белый березнячок, и они с Петькой застывали на месте.

Тоненькие березки разбегались во все стороны и будто аукались, прячась друг от друга, выглядывая и опять скрываясь. Они светились, и свет разливался между стволами и уходил в синеву неба...

— А ну, парень, посторонись малость,— услышал Гена над собой густой, чуть хриловатый голос.

Гена вскочил (неужто так замечтался, что не заметил, как человек подошел?) и увидел оружейника, старшину Ермакова. Вчера Гена наблюдал, как Ермаков играючи обращался с «бомбочками», и теперь смотрел на него с почтением и некоторым любопытством. Человек как человек. Роста обыкновенного. В плечах, правда, пошире других, но не так чтобы уж очень... А сила какая! Как схватит своими ручищами, так и все, и пикнуть не успеешь.

Ермаков поочередно открыл бомбовые люки, что-то там проверил, снова закрыл и, выпрямившись, заключил:

— Порядок! Сыпьте их прямо ему на голову.

— Кому на голову?

— Как кому? Гитлеру!

— Значит, летим! — обрадовался Гена.

— Ишь ты какой приткий, — усмехнулся Ермаков. — Мы еще поглядим, годен ли ты к строевой...

— Я серьезно, — обиделся Гена.

— А если серьезно, так загорай. Твое дело такое: прикажут — полетишь. Понял?

— Я думал, вы знаете... — вздохнул Гена.

Ермаков внимательно посмотрел на него:

— Откуда ты такой выискался? Небось года себе приписал?

— Ничего я не приписал.

Гене сразу стало скучно. Слышал он такое. Все одно и то же галдят. Как будто дело в годах. Ну, допустим, и приписал. Что из этого? Гена молчал, но все это было написано на его лице, и Ермаков сказал примирительно:

— Ты, парень, не обижайся. Года — дело наживное. Ну и насчет ума-разума... Тоже прибавится. Так что перспектива у тебя имеется. А это человеку главное — чтобы была перспектива для роста...

Ермаков говорил серьезно, только глаза его посмеивались. Однако Гена никак не отозвался на эти шуточки — не обиделся, не разозлился, — может, до него и не дошло, и Ермаков решил: ни к чему тут разоряться, тем более что и публики-то не было. А главное, ему почему-то расхотелось в таком духе разговаривать с этим лопоухим пареньком, что смотрел на свет божий синими, как у красной девицы, глазами, будто вчера родился, а захотелось провести ладонью по его стриженной голове, похлопать по плечу: так, мол, и так, ты, Гена, не тушуйся, пока я здесь, с тобою будет полный порядок. Но этого Ермаков не сказал, а, наоборот, сделал Гене как бы выговор:

— А почему, между прочим, ты здесь торчишь? Вам, стрелкам, приказано не отлучаться с КП, а не находиться у самолетов.

— Я думал...

— Думать не твоя забота. Иди-ка лучше на КП. Книжку почитай. А то письмецо напиши. Дескать, жив-здоров, чего и вам желаю. Готовьте, дорогая маманя, угощение, скоро буду собственной персоной. Как Гитлер издохнет, так и приеду. А дело это близкое. Может, завтра-послезавтра. Так что ждите, маманя, вскорости.

Проговорив все это, Ермаков на прощанье дружески хлопнул Гену по спине (Гена покачнулся, но устоял на ногах) и пошел к следующему самолету.

Все это было более чем странно. Никто никуда не торопился. В легкую погоду! В тридцати пяти километрах от Берлина! Сегодня. Вчера. Позавчера. Три дня подряд!

Конечно, высшему командованию виднее что к чему. Возможно, оно держит полк в резерве, подумал Гена. Все-таки ему было неприятно иронизировать по поводу высшего командования. Лучше было считать, что их не забыли, но так надо. Резерв есть резерв. Значит, такая судьба. С тяжелым сердцем Гена поплелся на КП.

После обеда стрелки его эскадрильи были отпущены с КП. Гена вместе со всеми пошел в общежитие.

Никто никуда не торопился. Ребята занялись своими делами, кто чем. Гена пробовал и писать и читать, но все бросал на полдороге. Он слонялся по комнатам, выходил на крыльцо. Где был командир, Гена не знал. Ему очень хотелось встретить командира и расспросить его

напрямую. О боевой задаче полка. Проверить свои предположения насчет резерва. Но ни на КП, ни в доме командира не было.

Гена от нечего делать подсел к столу, где играли в шахматы. Здесь было, по крайней мере, не так шумно. Вошел кто-то из стрелков и сказал, что летуны собрались в штабе. Ничего особенного в этом не было, дело обычное, но довольно громкий разговор при этом сообщении прервался на полуслове, а шахматисты многозначительно переглянулись. Впрочем, никто ничего не сказал, и пауза была короткой. В штабе так в штабе. Значит, опять ждать.

Он снова спустился вниз и вышел на улицу. Солнце уже клонилось к горизонту. Порозовел небосклон, засветились золотом края волнистых облаков, сгрудившихся на западе. Наступал вечер. И теперь было ясно: если летчики и получают задание там, в штабе, то на завтра.

Конечно, так и есть. Предполагается массированный налет всего полка на опорные пункты противника. На подготовку этой операции и ушли последние два дня. Срок небольшой, если учесть, что не так просто разработать план взаимодействия с наступающими наземными войсками. Вот в чем дело! А он-то, лопух, не может понять, почему они бездействуют.

Только сейчас, когда все разъяснилось (что дело обстоит именно таким образом, в этом сомнения уже не было), Гена почувствовал, как устал за день. Ничего не делал, а устал, будто на нем воду возили. С трудом поднялся по крутой скрипучей лестнице в зал, где помещались стрелки, стащил сапоги, бухнулся на постель. Какие-то секунды он еще слышал голоса, потом они начали отдаляться, тускнеть, потому что самого его понесло вниз, в черный провал. Его несло, и он не мог ни шевельнуться, ни крикнуть, и ужас сковал все тело, и оно начинало леденеть, и лед добирался до сердца. Только одна мысль вспыхнула и не уходила: рвануться, пока лед не дошел до сердца.

Он собирает всю волю, все силы будто по капле — еще и еще, теперь можно? Нет, надо еще, а то не хватит сил. Пора! Он выпрямляется — и падение останавливается, что-то подкатывает к сердцу и отступает. Становится легко. Он вдыхает полной грудью. Вокруг светлеет, и он ощущает себя в плавном полете. Он парит и кружит, как птица, потом спускается и сквозь застывшие облака видит пустынную дорогу, огибающую лесок. И дорога и лесок чем-то знакомы, он здесь был, только не знает когда. И вот он уже не летит, а идет по этой дороге и не слышит своих шагов, потому что здесь все мертво и свет серый, безжизненный, застывший, как и облака. Сейчас дорога прижмется к лесу, и как раз в этом месте он сядет на обочину, свесив ноги в канаву, на дне которой валяется пустая консервная банка. Все это было — кусочек дороги, подступившей к самому лесу, осыпающаяся канавка с желтым песчаным дном и пустая консервная банка, было... Он знает, что сейчас разорвутся застывшие облака (только это не облака, а клубы пыли), и он свалится в канаву, и консервная банка вдавится в шею, и земля закачается, и на него посыплется песок... Но ничего такого не происходит (или это уже произошло?), он бежит, почти не касаясь земли, бежит изо всех сил, чтобы догнать маму, пока она не скрылась за поворотом дороги, но она сама поворачивается к нему и идет навстречу. И он видит ее лицо, глаза, и сбившуюся косынку, и растрепанные волосы и кричит: «Мама!» И рвется к ней, бежит, но не может приблизиться. «Мама! мама!» — кричит он и чувствует, что его крик тонет в грохоте. Что-то тяжелое, холодное наваливается на грудь. Гена, собрав все силы, двумя руками сбрасывает с себя этот тяжелый камень, садится. Перед глазами как из тумана выплывают кусок сводчатого потолка, узкое вытянутое окно, потом черная люстра с

зажженными лампами, похожая на гигантского паука с множеством горящих глаз. Ну да, это зал, где спят стрелки. И ребята, стуча сапогами, бегут вниз. И там, на улице, грохочут выстрелы. А сам он сидит на кровати, и это уже не сон. Налет на аэродром! Скорее вниз!

Гена лихорадочно натягивает сапоги, застегивает ремень и вслед за другими, также стуча каблуками по деревянным ступенькам, почти скатывается вниз. На крыльце останавливается, пытаясь сообразить, где свои, где немцы: стрельба идет со всех сторон. Кто-то толкает его в спину: «Чего стоишь? Давай! Давай!» — и тут же с ожесточением разряжает в воздух всю обойму.

Гена все еще не понимает, что происходит. Он стоит в нерешительности, и опять кто-то хватается за руку, стаскивает с крыльца и, приплясывая, сорванным голосом кричит что есть мочи:

— Ура-а! Победа! Войне конец!

Голос тонет в общем шуме, криках, трескотне автоматных очередей и пистолетных выстрелов.

Теперь, привыкнув к темноте, Гена различает в сумеречном мерцающем отблеске звезд пляшущие, оружие фигуры. В небе огненным пучком взрывается первая ракета, медленно осыпаясь горящими каплями, и в ее тающем красноватом свете уже видится вся картина — прыгающие на месте, стреляющие в воздух, бегущие к самолетной стоянке люди. Гена срывается с места и бежит вслед за всеми.

Стрельба усиливается. Гена различает глуховатый перестук турельных пулеметов — один, второй, третий, — но вот уже все сливается в сплошной бушующий грохот. Со всех сторон, догоняя друг друга, расходясь и перекрещиваясь, летят во тьму красные и зеленые огоньки трассирующих пуль.

Гена подбегает к своему самолету, забирается в кабину, срывает чехол с пулемета и дает вверх короткую очередь. Небо полыхает разноцветными зарницами. Одна за другой вспыхивают ракеты. В их ослепительном белом, зеленом, красном свете возникают то кусок поля, то фигуры людей, то самолет...

Наверное, никто не смог бы сказать, сколько продолжался этот первый хмельной фейерверк победы. Он начал затухать, по мере того как подходил к концу боезапас — в обоймах, лентах, дисках. Стрельба стихала, и небо гасло, вспыхивая лишь время от времени. Первая волна ликования прошла, наступила пауза, короткая передышка. Что делать дальше? Бежать к дому? Оставаться здесь? Но Гена уже чувствовал, как поднимается в нем непреодолимое желание быть вместе со всеми — чтобы тебя тащили, толкали, хлопали по спине, клали руки на плечи.

Прямо над головой загорелась и повисла ракета, и в ее томительном, нестерпимо белом свете возникла фигура командира с поднятым вверх пистолетом. Гена прыгнул на землю, бросился к нему и остановился, увидев близко его напряженное, сжавшееся, как от внутренней боли, лицо. Гена замер, но командир сам схватил его за шею, прижал к себе, потом оттолкнул и побежал туда, куда бежали все, — к летному полю, где было свободно, где хватит места для всех.

Никто не отдавал никаких команд в эту ночь, но все делали одно и то же, повинувшись тому чувству, которое владело каждым в отдельности и всеми вместе. И Гена бежал за своим командиром и что-то кричал, уже забыв, что минуту назад испугался его лица, на котором проступила боль. Она появилась и исчезла, как воспоминание. Она и была воспоминанием, вспыхнувшим так остро потому, что в этот час рядом с Борисом должен был быть Димка. Не Гена, а Димка. Но боль появилась и отступила — радость была больше, сильнее боли. И Борис прижал к себе Гену и потом побежал туда, куда бежали все.

Боль у каждого была своя, а радость — общая и торжество — общее.

...Пройдет много лет, и многое забудется, а эта ночь у всех, кто был там, останется в памяти до конца дней. В разные моменты жизни, когда хорошо и когда плохо, в минуты удач и в минуты горечи, обид, нежданно, неведомыми путями придет это воспоминание. И каждый увидит свое и себя тогдашнего, молодого, счастливого, — и как негаснущая зарница вспыхнет живой отблеск того чувства, которое владело всеми вместе.

Глава шестая

Четыре дня, прошедшие после победной ночи, слились как бы в один долгий, шумный, разноголосый день с короткими провалами сна, поднимающимися, спадающими и снова накатывающими волнами праздника.

Бориса, как и всех в полку, поднимали эти волны и держали на своем гребне. И так же, как и все другие, за эти четыре дня он сумел лишь написать письма — коротенькое домой, к матери, еще одно к Анне и рапорт с просьбой предоставить ему отпуск на двое суток, который был вроде продолжения письма к Анне. По его подсчетам, еще вчера при всех обстоятельствах рапорт должен был попасть к командиру полка и, следовательно, сегодня все должно решиться.

Выйдя после завтрака на крыльцо покурить, Борис все поспатривал в сторону штаба, откуда должен был явиться посыльный. Впрочем, могло обойтись и без посыльного: если приказ есть, Алексей или адъютант эскадрильи передадут его сами. Еще и поплясать заставят. Посыльный не шел, и Борис решил сам разузнать, как там обстоят дела. Он спустился с крыльца и двинулся по направлению к штабу, но как раз в этот самый момент из-за ограды показался посыльный, веснушчатый и нескладный из-за непомерно высокого роста младший сержант, кажется из второй эскадрильи.

— К командиру? — спросил Борис, прервав обращение посыльного.

— Точно! — ответил слегка удивленный такой осведомленностью младший сержант.

— Спасибо, младший сержант. Удружил. — Борис на радостях хлопнул его по плечу. — Ну, а сам-то он как, ничего?

— Кто? — не понял посыльный.

— Кто-кто. . . Командир, конечно, а не чужой дядя... Как настроение, самочувствие?

Младший сержант ухмыльнулся:

— Настроение бодрое, идем...

— Ясно, — прервал его Борис.

— А вообще-то смеется...

— Что?

— Смеется, говорю, наш командир, — повторил посыльный, — так что давайте топайте, товарищ старший лейтенант, прямо к нему: так, мол, и так, явился не запылится по вашему приказанию...

Командир и вправду смеялся, когда Борис вошел к нему. Он сидел за письменным столом, чуть наклонясь вперед, и смеялся тому, что говорил ему замполит, расхаживавший по комнате.

Яркое утреннее солнце косо било в высокое окно, и вся фигура командира и половина стола были залиты оранжево-золотистым светом. Черт возьми — как здорово было видеть смеющееся лицо командира, и бьющее в окно весеннее солнце, и пылинки, плавающие в его оранжевых лучах, и замполита — комиссара, как они его называли, — жестами подкрепляющего свой веселый рассказ! Все это было продол-

жением праздника, днем пятым после победы, после конца войны, и жизнь, не военная, а другая, еще неведомая, но прекрасная жизнь только начинала открываться, как открывается земля и раздвигаются ее горизонты, когда самолет набирает высоту. Сейчас Борис понял, что хотел сказать посыльный: не важно, чему или из-за чего смеялся командир, — он вообще смеялся! И Борис подумал, что и у него, у них с Анной, все будет хорошо, потому что не может не быть хорошо, еще только пятый день как кончилась война и впереди много, много таких дней.

Увидев Бориса, командир полка, продолжая смеяться, рукой показал ему на стул.

— Проходи, проходи, старший лейтенант, садись,— сказал замполит.

Замполит, майор Кашин, был человеком не «авиационным». Впрочем, таким он пришел в полк, но довольно скоро летчики стали считать его своим. Вот уж кто летал за воздушного стрелка не ради орден, потому что летал он в самое трудное время и столько, сколько было надо. Он мог без конца расспрашивать, как проходили вылеты, доискиваясь до мельчайших подробностей, и был благодарнейшим слушателем, когда начинались бесконечные летные байки; зато мало кто лучше него знал, кто как воюет и кто чего стоит. Удивительное дело: кадровый политработник, прослуживший чуть ли не двадцать лет в армии, он казался самым что ни на есть штатским, словно вчера сменил рабочую спецовку на военную форму,— ходил горбясь, руки в карманы, ко всяким рапортам и командам «смирно» по разным поводам относился как к печальной неизбежности, которая лично ему только мешала разговаривать с людьми. Трудно было представить себе КП перед боевыми вылетами без его высокой сутулой фигуры с большими руками, без его шуточек, без его улыбки на смуглом цыганском лице, обращенной именно к тому, кто более всех в ней нуждался. Естественно, что присутствие майора Кашина в такой момент Борис посчитал за хорошее предзнаменование. Он с готовностью взял стул, который подвинул ему комиссар, и, чуть отставив его от стола командира, молча сел на краешек.

Командир не торопился начинать разговор. Лицо его еще оставалось размягченным от улыбки, блуждавшей в глазах, в уголках губ, и Борис подивился про себя: как же меняется человек! Он-то привык видеть это лицо собранным, жестковатым, с резкими линиями и холодным, твердым взглядом голубых глаз. Командир и летал так — резко, «твердо», без той легкости и артистизма, которыми отличалась манера Алексея, но по-своему тоже очень красиво. А уж в прицельном бомбометании и противозенитном маневре с ним вообще никто не мог сравняться. «Вот вы, оказывается, какой, подполковник Озо-линь,— подумал Борис (он поймал себя на том, что и в мыслях называет его на вы),— вот вы какой, замечательный летчик и командир, с которым сам черт не страшен, такой серьезный и такой смешливый. Поразительно, какой смешливый. Вот этого-то как раз я и не знал».

Но командир уже справился со своей улыбкой. Он испытующе и, как начинало казаться Борису, с некоторым недоумением посмотрел на него. Потом взял со стола рапорт-и, видимо, в который раз перечитал его. Снова положил бумагу на стол, помолчал (Борис слегка насторожился), наконец медленно, медленнее, чем обычно, подбирая слова, произнес:

— Я не совсем хорошо понимаю, что это означает — отпуск по личным делам. Вы москвич. Какие у вас в Польше личные дела?

Борис молчал. Он ждал подобного вопроса и был готов к нему, но он ждал, что вопрос этот будет высказан мимоходом, ради проффор-

мы, а не с таким искренним недоумением. Выходит, и отвечать надо серьезно. Что сказать? Он действительно москвич. А в Польше у него Анна, его жизнь. Да, Анна — это и есть его жизнь. И верно, как глупо: личные дела. Какие у него в Польше могут быть личные дела?

Он молчал, и замполит поспешил ему на помощь:

— В общем, к паненке едешь, старший лейтенант?

Борис кивнул. Что-то на него нашло. Даже слова не мог произнести. Все это было не так, не то, весь разговор, все их предположения, зачем и почему он едет...

— Вот что, парень,— вдруг сказал Кашин,— послушай-ка ты меня, старого воробья, не езжай, брось ты это дело. Видел я такое, знаю, чем кончается...

— Я увезу ее в Москву.— Борис прямо взглянул в лицо Кашину.

Взгляд у него был жесткий, злой, но замполит выдержал его. Усмехнулся, отошел к окну.

— Это-то и скверно, что у тебя, как говаривали в старину, серьезные намерения. Так, проехаться, проветриться — я бы еще понял. Дело молодое... А то — увезу! Да это еще и вопрос, увезешь ли... А вот жизнь испортишь — и себе и ей. Конечно, сейчас ты можешь поехать туда и обратно. А через полгода, а то и раньше будет граница. Государственная граница — и на западе и на востоке, и будешь ты для нее иностранец, хоть и братской страны, а все ж иностранец, и она для тебя иностранка...

Кашин остановился, чтобы дать время понять то, что он сказал. Понять. Почувствовать. Проникнуться. Он не торопил с ответом. Ясное дело, такого разговора этот парень не ожидал. Что ж, пусть пораскинет мозгами. Поймет — хорошо. Не поймет — нахлебается. Он-то, Кашин, не сомневался: время докажет его правоту и предупредить — его прямой долг. Так-то оно так... Но как взглянул этот парень! Прямо ножом резанул. Неужто есть что-то такое... нехорошее в том, что он ему сказал? Может, и есть... Только это как посмотреть, с какой стороны. А как надо смотреть, с какой стороны, он знает. Здесь он не ошибется.

— Тебе учиться надо,— снова заговорил Кашин.— Демобилизуешься, приедешь в Москву, поступишь в институт. А то пошлем тебя в Академию Жуковского.

«Чего он так старается?» — подумал Борис. Горячая волна, обжегшая его, когда он понял, к чему клонит Кашин, и взглянул на него, ушла, откатилась, и теперь он ощущал какую-то холодную пустоту. При чем тут институт, академия? А впрочем, не важно.

Замполит замолчал. Борис поднял глаза — Кашин по-прежнему стоял у окна в той же позе, вполоборота к нему. Как будто Борис только сейчас вошел и увидел смеющееся лицо командира и оранжевый солнечный луч, в котором плавали пылинки, и не было всего этого разговора. А может, его и действительно не было?

Кашин стоял у окна и смотрел на него. Ждал ответа. И командир тоже смотрел на него. Солнечное пятно на письменном столе передвинулось чуть-чуть влево, захватив бронзовый массивный чернильный прибор, на котором загорелось, засверкало множество золотистых огоньков.

— Вы ничего не хотите сказать майору Кашину? — прервал наконец общее молчание командир.— Вы оставляете свой рапорт?

— Да, товарищ подполковник, оставляю.

Командир взглянул на Кашина, тот пожал плечами.

— Решайте, Петр Янович. Возражать не буду. Хотел бы я ошибиться! — прибавил он.— Очень хотел бы!

— Вы, старший лейтенант Волынин, упрямый человек,— сказал

Озолинь, и было непонятно, одобряет он его упрямство или осуждает.— Хорошо,— продолжал он, промолчав,— хорошо, я отдам приказ...

— Спасибо, товарищ подполковник!— Борис вскочил, едва не опрокинув стул, на котором сидел.— Разрешите идти?

Озолинь усмехнулся:

— Не бойтесь, я не меняю своих решений. Документы получите в штабе. Через час отправится за Одер наш инженер, вы можете поехать с ним.

— Есть поехать с ним! — весело проговорил Борис.

— Ну вот и прекрасно,— сказал Озолинь, поднимаясь и протягивая Борису руку.— Я выражаю надежду, что все устроится превосходно.

В ответственных случаях в речи командира появлялись этакие книжные обороты, несколько на старинный лад. Сначала это казалось странным, но постепенно в полку к этому привыкли и даже стали считать, что именно так и нужно говорить о вещах серьезных. Борис, как и все, давно перестал замечать подобные фразы, но сейчас он с трудом сдержал улыбку — как славно у него получилось: выражаю надежду! Снова Борис почувствовал уверенность: все сбудется, раз сам командир надеется!

— Спасибо, товарищ подполковник.

Борис не нашелся, что еще сказать, но Озолинь понял, что творится в душе этого молодого человека (сам он в свои тридцать шесть лет считал себя уже пожившим, многоопытным), понял и улыбнулся ему.

...Инженер полка сидел рядом с шофером и за всю дорогу до самого Одера не проронил ни одного слова. По приказу штаба фронта он был временно откомандирован в распоряжение командования Войска Польского, но чувствовал, что оставляет полк надолго, может быть навсегда. С полком он прошел весь путь до Берлина и свыкся с мыслью, что уже до самой гражданки не расстанется с людьми, ближе и дороже которых у него никого не было. И вот неожиданный приказ.

Молча, нахохлившись, смотрел инженер на бегущую дорогу, изрытые, искореженные снарядами и все-таки зеленеющие первой молодой травой поля, на чужие, незнакомые крыши. Удивительно, но никогда еще он, до войны исколесивший всю Россию и большую часть жизни проживший в Ленинграде, не испытывал такой острой тоски по своим родным рязанским местам, помнившимся с детства... Молчал и Борис, но молчал по-другому, весь отдавшись переполнявшим его чувствам нетерпения, радости, хмельного торжества, сладко кружившим голову. Он молчал, потому что слушал себя, свою музыку — все то, что кипело, бродило в нем.

Опустив боковое стекло, Борис, насколько это было возможно, высунул голову, подставив разгоряченное лицо встречному ветру, который хлестал по щекам, резал глаза, не давал вздохнуть. Дорога, дома, деревья — все смешалось, вытянулось, плыло перед глазами, тонуло в слепящих солнечных пятнах и вновь возникало летящей навстречу живой нескончаемой лентой...

Изгибаясь, обтекая деревни, городки, дорога пошла вверх, на склоны Зееловских высот, и водителю пришлось сбавить скорость. Война словно поджидала их здесь. Затаилась — и поджидала, чтобы напомнить о себе, показать свою былую силу; поваленные телеграфные столбы, спутанные, разорванные провода; по обочинам — брошенные пушки, перевернутые, наполовину сгоревшие машины, искореженные танки, самоходки. Все медленнее продвигались они вперед,

то и дело объезжая воронки и завалы, и все чаще водителю приходилось останавливать машину и идти вперед, чтобы разведать дорогу.

Жутко было смотреть на чудовищную картину разрушения, изуродованные остатки бронированных машин, орудий, словно вобравших в себя всю ярость кипевшего здесь боя. А среди всего этого на возвышениях виднелись расчищенные желтеющие островки свеженасыпанной земли — братские могилы с фанерными, наспех сколоченными пирамидками и красной звездой на вершине. И чем дальше они продвигались, тем больше было таких могил и таких пирамидок.

Сколько же полегло здесь, под самым Берлином, в последние дни войны! Когда шли они на штурм этих высот, всем им уже чудилась близкая победа, тишина над целым миром, дорога домой... У Бориса защемило сердце, будто ему были хорошо знакомы эти ребята, их голоса, лица и было известно, о чем думалось им в то утро перед атакой. Он знал: как бы ни подбирался страх перед боем, а все же надежда, что твоя судьба жить, сильнее всего. И они вот так — мечтали жить, вернуться домой...

Шофер, пожилой сержант с рыжими обвисшими усами, ни слова не говоря, остановил машину перед широким уступом, где виднелась пирамидка со звездой, и они все трое молча вышли и по каменным разбитым ступеням поднялись на этот уступ. У края свежей песчаной насыпи, в центре которой возвышалась пирамидка, остановились.

Чуть дальше, где зеленели молодые дубки и блестела залитая солнцем лужайка, слышался шелест листвы, щебет и пение птиц. И небо было ясное, голубое, с легкими прозрачными облачками, которые незаметно меняли свои очертания, расползались, куда-то двигались, оставляя почти невидимую дымку. Инженер нагнулся и поднял винтовочную гильзу. Близко поднес к глазам. Несколько раз подброял на ладони, положил в карман. На память. Гильза от прощального салюта. Солдаты, отдавшие эту последнюю почесть павшим, стояли здесь, у края могилы...

Дорога еще круче пошла вверх, и еще больше виднелось брошенной изуродованной техники, разбитых, развороченных траншей, укреплений, дотов. Чувствовалось, с каким невероятным упорством цеплялись здесь немцы за каждый клочок земли, каждый выступ.

Они ехали как бы навстречу бою, который начался с другой стороны холмов, на их восточных склонах, и здесь, на вершинах, командующих высотках, достиг наибольшего ожесточения. А кругом зеленели поля, сверкали на солнце красные черепичные крыши, в голубых даях рисовались легкие силуэты остроконечных башенок...

У въезда в Зеелов патруль проверил их документы.

— Все ближе к дому, — сказал старший патруля, коренастый широколицый сержант с медалью «За отвагу», возвращая им предписания.

Низенький веснушчатый паренек с автоматом и в лихо сдвинутой набекрень пилотке, стоявший за спиной сержанта, подмигнул Борису — просто так, оттого, что кончилась война, и он живой остался, и солнышко светило, и что теперь сам черт ему не брат... Не останавливаясь они проехали Зеелов — мимо развалин, завалов из битого кирпича, которые разбирали немцы, мимо разрушенных домов с отбитыми углами, без крыш, с рваными проломами в стенах, мимо группы солдат, со смехом и криками качавших своего товарища, мимо крытых машин, все это уходило назад и вверх, потому что начался спуск к Одеру.

Одер был уже близко: явственно ощущалось его влажное дыхание. Сильный ветер нес с реки клочки тумана, и воздух потерял искрящийся голубоватый блеск. В матовом, приглушенном влажной

пеленой свете раскрывались поля — все шире, свободнее. За этими полями, переходящими в равнину, изрезанную ручьями и каналами, в заливные луга, где еще стояла вода, угадывалась большая река — Одер.

Она тянулась на сотни километров с юга на север, через Чехословакию; по пути вбирая в себя бесчисленные притоки, и, прежде чем войти в море, всей своей массой — глубокой водой и ее ширью, берегами, превращенными в неприступные крепости, — заслонила Берлин с востока.

Там, впереди, на восточном берегу, при впадении в Одер Варты, — Кюстрин, крепость, держащая под ураганным огнем подходы к реке, крепость, и узел железнодорожных мостов, и город, от которого шла прямая железная дорога к Берлину. Там в феврале и марте шли кровавые бои за каждый метр плацдарма и на восточном и на западном берегу. И как раз в самые трудные дни 1 и 2 февраля, когда под бешеным минометным и артиллерийским огнем, под непрерывными бомбежками и атаками с воздуха пехота форсировала Одер, они не смогли взлететь с раскисшего аэродрома, чтобы помочь ей. Накануне шел мокрый снег, потом потеплело, началась распутица, и было ясно, что летунам, даже истребителям, пришлось туго на аэродромах, которые размещались на пашнях.

Все эти дни вместе с командиром они в полной боевой готовности торчали на КП. В землянке было холодно, сыро, со стен и потолка капало, под ногами хлюпало. Печка больше дымила, чем горела. А над взлетным полем, над лесом висел такой туман, что не только неба — человека в двух шагах не увидишь. О полетах нечего было и думать! А тут нет-нет да появлялся начальник штаба и передавал командиру поступающие сверху грозные запросы: когда, когда? Когда наконец самолеты смогут подняться в воздух? Что для этого делается? Немедленно доложить. Немедленно... Командир читал телефонограммы, морщился и выходил смотреть, не рассеивается ли туман. Несколько раз в день заглядывал на КП и инженер полка, который со всеми наличными силами БАО и технарей пытался что-то сделать со взлетной полосой, хотя и сам не верил в успех. И все же, как только чуть-чуть подсыхало и улучшалась видимость, они поднимались в воздух — по одному, по двое.

Борис хорошо помнил, как они с Николаем в те дни, с трудом взлетев, пробивались к Кюстрину сначала над сплошной облачностью, потом сквозь окна в тумане, едва не заблудились, вышли к городу с западной стороны, на шоссе обнаружили, атаковали и подожгли колонну автомашин и бронетранспортеров. Не вспомнить, сколько раз и раньше и потом, когда разгорелись бои за расширение Кюстринского плацдарма на западном берегу, а сама крепость со всеми своими зенитками на восточном берегу еще не была взята, они летали за Одер, бомбили и штурмовали укрепления на рубежах немецкой обороны, эшелоны на железнодорожных станциях, войска с артиллерией и танковые колонны, двигавшиеся из глубины к переднему краю.

Сколько раз эти места Борис видел с воздуха, вглядываясь в них, запоминая: изгиб реки, похожий на лук, обращенный на восток, крепость Кюстрин на островке, образованном слиянием Варты и Одера, а на западе, за Одером, кое-где поросшая лесом, неровная гряда Зееловских высот. Между изрезанной кромкой левого берега и подножием высот — затянута туманом пойма Одера, ручьи, каналы, несколько шоссе-ных дорог. Теперь, на земле, все это выглядело по-другому: общая картина дробилась, ускользала, зато частности неожиданно вырастали, заполняя на какие-то секунды все видимое пространство, как будто именно они определяли характер рельефа.

Промелькнул редкий лесок, оборвавшись у лощинки, на дне ее — ручей, мостик, несколько домиков; еще круче вниз — развороченные траншеи, опоясавшие весь склон, разбитые пушки, воронки от бомб и снарядов, и уже наплывает низина, залитая водой, с кочками, островками, которую легко пролететь, да трудно пройти.

Туман впереди сгустился — это они приблизились к Одеру. Ветер закрутился вокруг них, захлестывая дыхание, оставляя на лице холодные капли. Здесь, в низине, он хозяйничал как хотел. Чуть-чуть потемнело, будто кто-то убавил света. Борис опять вспомнил, как они с Николаем искали окна в тумане. Он поймал себя на том, что пытается прикинуть, как лучше подобраться к Зееловским высотам, чтобы неожиданно свалиться на голову из облаков и тумана и затем уйти боевым разворотом прямо на солнце.

Он поймал себя на этом и усмехнулся. Видно, крепко засела в нем война. Он постарался прогнать мысль о войне. Было это не так уж трудно: волны победы несли его и кругом было одно — победа. И казалось, что вся жизнь, все, что предстоит сделать, совершить, испытать, впереди и только еще начинается или, может быть, начнется завтра, послезавтра. А война в прошлом. Она кончилась, и ее не будет больше.

Пройдут года, и он поймет, что самым главным, самым значительным делом его жизни была война. Он немало испытает, но судьбой его навсегда останется война, те четыре года в юности, без которых не было бы его таким, каким он стал...

Борис поймет это много лет спустя, а пока он ехал по Германии, то освещенной солнцем, в голубом блеске и солнечных пятнах, то в туманной дымке, и ветер крутился вокруг него — ветер, дождичек, туман и солнце, и это была не Германия, а просто земля, по которой он ехал, вся земля, весь мир.

* * *

За Одером, когда они отмахали с ветерком еще километров сорок пять, у поворота шоссе Борис попросил остановить машину. Вдали на пригорке виднелась деревня, и как раз в этом месте, почти перед самым поворотом, начиналась довольно широкая проселочная дорога, которая через поле и редкий березняк вела, видимо, в эту деревню. Борис для верности еще раз взглянул на карту: сомнений быть не могло, та самая деревня.

— Ну вот, — сказал он изменившимся голосом, — здесь я выйду. Разрешите, товарищ инженер, пожелать вам...

Инженер вышел из машины и стиснул руку Борису. Потом обнял его. Борис был для него последним из летчиков полка, с кем он прощался. Инженер был немолод и понимал, что вряд ли он еще встретит людей, с которыми так крепко, всеми помыслами, всей жизнью, свяжет его судьба — и жизнью и смертью. Такое случается один раз.

— Не забывай старика, — сказал он. — А я тебя найду. Бывай...

— Давай, старший лейтенант, погуляй, — тряхнул водитель руку Бориса. — Чтобы все, значит, было в аккурате. До скорого.

— Ну бывай... — повторил инженер, слегка ударил Бориса в грудь, как бы отталкивая его, повернулся и сел в машину, за ним уселся на свое место и водитель.

Мотор заурчал, машина покатила по шоссе и скрылась за поворотом.

Борис остался один. Он остался один на дороге, которая вела к Анне. Через полчаса, а может, и меньше, он ее увидит. «Ну, смелей, воробей», — подхлестнул себя. Борис прыгнул в кювет, выбрался на

другую сторону и наискосок пошел по тропинке, которая привела к проселочной дороге.

Кругом лежало блестевшее после дождя влажной чернотой поле, усеянное воронками от бомб и снарядов, все в неровных складках разметанной земли; кое-где пробилась и зеленела нежная молодая травка. Дорога пересекала поле и скрывалась в березнячке, который был гораздо ближе, чем это показалось с первого взгляда оттуда, с шоссе.

А может, все это он выдумал — и не было никакой Анны и той ночи, ничего не было? Так, приснилось, а он принял за правду. Но ведь сели же они на вынужденную в этой деревне. Тянули через Одер — и сели. И ночевали, и хозяйку звали Анна. Фу ты черт... Он, кажется, убеждает себя, что Анна существует!

Недалеко, возле самой дороги села стая воробьев, защebetала, загомонила, поклевала что-то и неожиданно с шумом поднялась в воздух. Солнечная голубизна неба поглотила ее. А он и не заметил, что снова сияло теплое солнышко и голубело высокое небо. Туман, нудный серенький дождичек, хмарь — все осталось там, на берегах Одера. А здесь щebetали и пели птицы, пахло сырой землей, и было издали видно, как солнечный луч вспыхивал на белых, сияюще-белых стволах берез. Все будет хорошо. Сам этот день с его благостной тишиной, чистыми голубыми далями, со всей этой весенней, радостно-тревожной ширью и свежестью был как обещание удачи, счастья.

Поле незаметно перешло в небольшой и неглубокий овражек в нескольких метрах от дороги, на дне которого Борис увидел родничок. Он подошел к нему и, встав на колени, упершись руками в края влажной мшистой земли, сделал несколько глотков. Вода ломала зубы, чуть горчила, пахивала прелью. Когда поверхность успокоилась, он увидел свое лицо — слегка вытянутое, со смазанными чертами. Так и на душе: все смешалось, смазалось — страх, беспокойство, надежда.

Что может помешать им теперь? Что угодно — отъезд Анны в связи с непредвиденными обстоятельствами, несчастный случай, болезнь... Да мало ли что! Ерунда. Если так рассуждать, вообще нельзя думать о будущем. С любым человеком, где бы он ни находился, может случиться все что угодно. Вот с ним, например. Разве не может быть, что где-нибудь в кустах засел маньяк-эсэсовец, чтобы дать очередь по первому же русскому офицеру, которого он увидит? Мало, что ли, таких сумасшедших разбежалось по окрестным лесам? А мины? Разве исключается, что под ногами окажется одна из тех, что лежат в этой земле? Так что такие случаи в расчет не берутся.

Он поднялся по пологому склону овражка и вошел в лесок, встретивший его многоголосым птичьим гомоном, шелестом упругой, только-только развернувшейся листвы.

Березнячок просвечивался солнцем. Золотистые лучи падали со всех сторон, перекрещивались, сходились, высвечивая то ворохи бурых скрюченных листьев, то торчащие из земли мокрые черные корни, то ответно сверкающую изумрудную россыпь молодой травки. Между стволами солнечно голубело, будто небо начиналось прямо от земли и омывало, обволакивало волнами воздуха и света каждое дерево.

Борис прислонился к тонкому стволу, дрогнувшему и недовольно зашелестевшему, глубоко вздохнул, сорвал фуражку, запрокинул голову. Безбрежная синева опрокинулась на него — и поплыла, и потянула к себе... Потом Борис перевел взгляд и под самым облачком увидел верхушку березы — так уж она встала, вытянувшись до самого неба. И он тоже мог достать до облака — надо было только поднять руку, прищуриться, найти такой угол зрения. Он все мог, и этот омытый солнцем весенний лесок с голосами птиц, которые разливались во

всю ивановскую, был заодно с ним. Борис сошел с дороги и зашагал среди деревьев по мягкой, податливой земле, засыпанной старыми слежалыми листьями, а кое-где обнажившейся и бурно зеленеющей молодым разнотравьем. Он шел от одного приглянувшегося ему местечка к другому, не боясь потерять из виду дорогу — заблудиться здесь было невозможно.

Неожиданно Борис оказался на краю полянки. Вся она была залита солнцем. Здесь совсем не чувствовалось сырости, воздух был теплый, мягкий — так и тянуло остановиться, передохнуть. Борис заметил пенек с нежным мшистым подножием и сел на него, откинув голову и подставляя лицо солнечным лучам. На него вдруг нашла усталость — так бы, кажется, и просидел целый век не шевелясь. Но уже в следующую минуту он признался себе, что это не усталость, а трусость.

Возбуждение, охватившее Бориса в лесу, когда он уверял себя, что все будет хорошо, прошло, и снова вернулось ощущение тревоги, фантастичности всего происходящего. Он заторопился. Надо поскорее дойти. Тут каждая минута дорога, а он прохлаждается. Иногда несколько секунд решают все. А если именно сейчас Анна укладывает вещи в чемодан, и лошадь уже запрягли, чтобы отвезти ее на станцию, и все дело в том, успеет ли он дойти в эти оставшиеся минуты?

Оглядевшись, Борис заметил просвет между деревьями — видимо, там кончился лесок. Он скорым шагом направился в ту сторону и вышел на дорогу.

Деревня открылась сразу вся, как только Борис поднялся на пригорок. С гулко бьющимся сердцем стоял он, напряженно вглядываясь в разбросанные домики, пытаясь найти и не находя хоть что-нибудь знакомое, приметное. Впрочем, так оно и должно быть. Нечего и стараться — тогда была зима, снег и все выглядело иначе. Да, кроме того, он ведь не видел раньше деревню отсюда, с этой точки. С этой нет, а с воздуха видел. Две сходящиеся почти под прямым углом улицы, перед ними снежное поле, сейчас, вероятно, пашня, может, вот эта самая, которая широкой, ломающейся под углом полосой отделяет его от деревни. А за ней полянка, зажатая между деревней и лесом. Туда-то он и плюхнулся. Отсюда за домами она не просматривается, но лес виден хорошо. Если полянка действительно там, тогда дом Анны — крайний на улице, что начинается слева от него.

Борис пытался высмотреть дом Анны, но было слишком далеко, что-то темнело, а что — не разобрать.

Ему придется пройти почти всю улицу мимо дома, где жил старший лейтенант Кравцов, земляк из земляков... Где-то он сейчас? Жив ли? Поход к Романовскому в Кривоколенный, который тогда казался далеким, почти несбыточным, теперь дело вполне реальное. И Кравцов должен быть жив. Обязательно жив, потому что пришло время, когда исполняется все. Исполнится и это.

Борис вспомнил, как они шли втроем от Кравцова по этой улице — впереди старшина, а за ним он с Димкой, и день был солнечный, яркий, какой-то бело-розовый, и кругом блестел снег, и снег хрустел под ногами, и старшина говорил, что вот, дескать, некуда пристроить их на ночь, чтоб близко к командиру, кроме как к одной паненке, а она живет одинокая, ждет не дождется мужика своего, и он, старшина, обещался не занимать ее хату на постой, да делать нечего — больше ночевать им негде.

Старшина говорил что-то в этом духе, а Димка ответил ему: «Не бойсь, старшина, не обидим твою паненку» — и подмигнул Борису. Удивительно, тогда он эти слова вроде и не расслышал или не обратил на них внимания, а сейчас будто только что прозвучал голос Димки: «Не бойсь, старшина, не обидим твою паненку».

Такое случалось с Борисом не однажды: всплывет в памяти Димкина присказка и та минута, когда он ее произносит,— у самолета, в столовой, и его лицо, и хитрющая ухмылка... А бывало, он сам хотел вспомнить Димкино лицо, а оно расплывалось, ускользало, и Борису начинало казаться, что он забыл его. Потом это проходило. Пока он жив, будет жива и его память о Димке.

Они дошли до дома Анны, и старшина попросил их подождать, пока он предупредит хозяйку, и Борис пошел вверх по другой улице, а Димка остался, потом появился, успев порядком хлебнуть, каким образом, непостижимо, потому что и времени-то у него совсем не было, остался и появился, а может, Борису показалось, что не было, или этот момент просто выпал из памяти? Димка позвал его, и они пошли к дому Анны по дорожке между сугробами и, кажется, долго шли...

И опять что-то толкнуло Бориса: скорей, скорей! Давно уже был бы там, если бы не бесконечные остановки! Он рванул вперёд и зашагал как мог быстрее. Ему и в голову не приходило, что без них, этих остановок, он и шагу бы не ступил — душа требовала времени, роздыха, передышки, чтобы привыкнуть к мысли — он идет к Анне и сейчас увидит ее, и это не фантазия и не сон.

Над пашней висел легкий пар, который просвечивался солнцем. Желтел низенький пригорок, где он стоял несколько минут назад, за ним виднелся белоствольный лесок, как бы окутанный облаком света, а над всем этим, расширяясь, расширяясь, голубело небо, радостно открывая себя, свою беспредельность. Нет, ничего не могло случиться в такой день, ничего!

Борис попытался угадать, что же Анна делает — стирает, готовит обед, может быть, шьет или читает? Но не за одним из этих занятий он не мог ее себе представить. А в памяти возникло ее бледное лицо с выражением застывшей боли, каким оно запало ему в душу в тот холодный предрассветный час, когда пришла пора прощаться, ее широко открытые глаза, пристально смотрящие на него, — возникло и исчезло...

Борис закрыл глаза. Но уже в следующую секунду он вздохнул с облегчением — словно пропала надвинувшаяся было тень от большой, черной, тяжело летящей птицы. Надвинулась — и пропала. И мир стал еще лучше, светлее.

Вот чудак — испугался воспоминания. Но что-то в нем еще оставалось, какая-то слабость, как после озноба. Пешеходная тропка, нечто вроде деревенского тротуара, немного возвышалась над проезжей частью дороги и успела хорошо подсохнуть. Идти было легко. Из-за деревьев виднелись приземистые деревенские домики в глубине дворов, обнесенных изгородью, которая почти сплошной ломаной линией тянулась вдоль дороги.

Борис шел, все прибавляя шагу, и в нем росло то возбуждение, которое будто само несло его вперед. Боковым зрением он увидел двух женщин, девочку, потом мужчину в черной широкополой шляпе — лица их промелькнули... Он не шел — летел, и вдруг будто кто-то схватил его за руку: стой, остановись!

Внутренний толчок был таким явственным, что Борис остановился. Ощущение силы, легко и стремительно несущей его, оборвалось. В нескольких шагах от него — невысокая изгородь с чуть приоткрытой калиткой и возле нее большое раскидистое дерево. Оно еще не покрылось сплошной листвой, и светло-коричневые зеленеющие прутики молодых побегов были хорошо видны на широком раздваивающемся стволе, на корявых растопыренных ветвях. Это было то самое дерево с его тускло блестящими, черными, широко расставленными ветвями, на которых не держался снег...

Силы оставили его. Он повернул голову и увидел поле, заросшее

ярко-зеленой травой, и лес был гораздо ближе, чем он ожидал. А на соседней улице, поднимающейся по противоположному склону, стояли деревья, и по краям дороги тянулись кусты — все в белом цвету, и вдоль них шел мальчик с прутиком и сшибал эти цветы.

Оставалось одно — распахнуть калитку и пройти по дорожке, ведущей к дому, постучать в дверь, и дверь, как тогда, окажется незапертой... Или нет, пока он будет идти, Анна сама увидит его и выбежит навстречу...

А может, сначала посмотреть? Отворить калитку, оглядеться, спросить, если кто-нибудь появится, — в конце концов, он мог и ошибиться и это не тот дом. Борис знал, что дом тот самый и что говорит он себе так, чтобы оттянуть время, из малодушия, потому что осталось сделать только один шаг.

Поблизости кто-то колот дрова. Неторопливо, размеренно — кха, кха, кха... Только один шаг. И все равно его надо сделать, что бы там ни было.

Борис открыл калитку и увидел узкий двор, полузаросший мелкой травой, и прямо перед собой низенький домик под тесовой крышей, с двумя подслеповатыми оконцами и крыльцом без перил и навеса.

Дом стоял близко, метрах в двадцати, а ему помнилось, что шли они долго по дорожке между сугробами, и все-таки дом был тот самый — и сомневаться нечего и спрашивать нечего. Борис двинулся вперед и только сейчас заметил в дальнем углу того, кто колот дрова. Человек этот был светловолосый и худой, кожа да кости, солдатские брюки, вправленные в польские сапоги с высокими голенищами, затянуты и перетянуты черным ремешком; нижняя белая рубашка с засученными рукавами болталась на нем как на вешалке. И все ж топор звенел в его жилистых руках, и коротенькие березовые чурки с одного маху разлетались на две половинки. «Вон он где, — подумал Борис, — а по звуку оттуда, из-за ограды, не определишь».

Борис пошел к дому. Сейчас Анна выйдет навстречу и бросится к нему. Он и пяти шагов не успеет сделать. Не может же она не почувствовать, не взглянуть в окно.

Кха, кха, кха... — с сухим глуховатым звоном раскалывалось дерево.

Борис прошел еще два шага или три, и до крыльца было рукой подать, когда он увидел Анну.

Она бросилась к нему — и остановилась. Она побежала, когда заметила Бориса из окна и не поверила себе, но душа ее уже знала, что это он, а потом увидела его с крыльца, близко (глаза не обманули ее), и сердце готово было разорваться, оно стало огромным, больше ее самой, и тугой ветер подхватил ее и вынес навстречу Борису.

Она остановилась в двух шагах от него, и Борис прочел на ее лице надежду, счастье, отчаяние. Мертвая тень уже пала на лицо Анны, но свет еще оставался в глубине глаз, и Борис рванулся к этому свету. Но Анна вскинула руки ладонями к нему — отталкиваясь, защищаясь. Это было последнее движение, на которое у нее хватило силы. Вскинув руки, она тотчас опустила их, и плечи ее опустились, и спина согнулась, но в то же мгновение она подняла голову и взглянула в глаза Борису.

Взглянула открыто, прямо. Чтобы он все понял. И чтобы запомнить его — на всю жизнь. А потом она повернулась, как будто ища поддержки оттуда, со стороны, потому что силы ее исчерпались до самого доньшка. Казалось, Анна вот-вот упадет, но его помощь она не могла принять. Она ждала ее оттуда, со стороны, и Борис повернулся вслед за ней.

Он повернулся и увидел того, кто колот дрова, светловолосого и

худого, в солдатских брюках, заправленных в сапоги, и в нижней белой рубашке с засученными рукавами. Теперь Борис различил его широколобое, обтянутое темной кожей лицо с провалами щек, светлые глаза, устремленные на него, и понял, что это — Анджей, муж Анны, польский жолнеж, которого убили, а он пришел с того света.

Он смотрел на Бориса, и топор застыл в его руках. Потом опустил топор и перевел взгляд на Анну. Решалась его жизнь, а он не двинулся с места. Не бросился, не встал между ней и Борисом — он ждал. Наверно, научился ждать. От одного ее движения зависело все — жить ему или не жить, а он не шелохнулся. Отчаялся, онемел? А может, так надо, так он хотел, чтобы решила она сама, без него?

Он не знал, что она уже решила, когда остановилась перед Борисом и руки ее опустились. Он не знал этого, а Борис знал, и ему оставалось одно — повернуться и уйти.

Борис не видел земли, по которой ступал, и не видел ничего вокруг, а только опять услышал размеренные удары топора — кха, кха, кха...

Глава седьмая

Через час он увидит рейхстаг.

Полуторка шла по оживленной автостраде, мимо пронеслись машины, слышались песни, и они тоже пели, сидя в кузове очень тесно, чуть ли не друг на друге, но никто не замечал этого — они пели, перебрасывались шуточками, придерживали друг друга на поворотах.

Небо было ясное, солнышко пригревало, кругом все зеленело — лучшего дня для поездки в Берлин и не придумаешь. И впервые за последнюю неделю Борис мыслями и настроением был вместе со всеми, и, как и всем, ему не терпелось увидеть рейхстаг, улицы Берлина. Он уже научился шутить, в то время как что-то постоянно точило его. А сейчас эта непрерывная боль впервые за последнюю неделю отпустила.

Борис никому не сказал, и, кажется, никто из товарищей не догадывался о том, что у него произошло с Анной. Догадался бы Димка и помог бы, но Димки не было и справляться приходилось одному. Хуже всего было по ночам, когда в памяти всплывало одно и то же: как он идет по дорожке к ее дому и Анна бросается к нему и останавливается, вся поникнув, безвольно опустив руки, и мертвая тень покрывает ее лицо, гасит свет, притаившийся в глубине глаз, и оно каменеет и умирает, — и потом все начиналось сначала...

Иногда боль утихала, уходила, вот как сейчас, когда они ехали и пели, а то казалось, что Анна близко и что все еще можно поправить. Пока еще можно... Хотя Борис понимал, что все кончено.

А разговоров кругом только и было о доме, об отпусках, о всякого рода перемещениях... Все жили ожиданием скорых перемен. И было ясно, что они коснутся всего и всех, каждого человека, никого не обойдут, потому что уже началась другая, мирная, послевоенная жизнь. И то, что вот так, с песней, они ехали в воскресный солнечный день в Берлин (первое воскресенье июня, первого целиком мирного месяца), было приметой этой новой жизни, ее забот.

Полуторка уже подходила к Берлину. Водителю пришлось сбросить скорость, так как они оказались в довольно плотной колонне машин — легковых и грузовых, украшенных транспарантами и красными флажками, полных солдат и офицеров, также едущих в Берлин, к рейхстагу. С бортов машин встречного потока махали руками, что-то кричали. Отовсюду неслись песни. И они тоже пели и махали в ответ. Гена, опершись рукой на плечо Бориса и не замечая этого,

встал, чтобы лучше видеть, что происходило кругом. Он сорвал с головы пилотку и изо всех сил размахивал ею. Так незаметно для себя они оказались в предместье города — увидели закопченные дома, развалины, трамвайные рельсы на мостовых.

Это была северо-западная окраина Берлина, район Шарлоттенбурга. Они миновали регулировщицу, которая направила всю колонну налево, и когда перед ними открылась старая, типично городская улица с тяжеловесными домами, кое-где уцелевшими вывесками, Борис догадался, что это улица Кайзердам и что они едут к центру, к рейхстагу, со стороны Тиргартена. Теперь надо попасть на Шарлоттенбургер-шоссе, которое прорезает Тиргартен с запада на восток, прикинул Борис, и свернуть налево, на Зигес-аллее, она приведет на Кенигсплац, а оттуда до рейхстага рукой подать, по любой улице направо... Он вспомнил тот туманный, слякотный мартовский день, когда штурман полка привез из штаба дивизии планы Берлина, и серый тоскливый день, такой же беспросветный, как вязкое ватное небо (о полетах, пусть одиночных, нечего было и думать!), стал самым настоящим праздником!

Весть эта распространилась моментально, и когда командир собрал летный состав, казалось, что штурм Берлина начнется чуть ли не завтра и погода будет — даром, что ли, начинало проясняться... Командир, как всегда серьезно и обстоятельно, разъяснил задачу — досконально, до мельчайших подробностей изучить план города, его рельеф. Он подчеркнул это — досконально. Территориальные ориентиры, радиомачты, высокие здания, вокзалы, их характерное расположение. Объекты и подходы к ним. Каждый объект в отдельности. «К выполнению боевых заданий будет допущен лишь тот, кто сдаст зачет по плану Берлина, — сказал он в заключение, — вы должны так знать город, чтобы смогли летать хоть с закрытыми глазами». «Но при этом и видеть, что вокруг делается», — пошутил штурман полка.

А полчаса спустя они с Алексеем уже сидели над планом и, еще не приступив к его изучению, сразу же нашли имперскую канцелярию, рейхстаг, Бранденбургские ворота. Потом оба не сговариваясь закурили. Перед ними был план Берлина. Рейхстаг, имперская канцелярия. К этому надо было привыкнуть...

Машина шла уже по Вагнерштрассе, поворот на Бисмаркштрассе. «Еще один поворот, — отметил про себя Борис, — и мы на Шарлоттенбургер-шоссе».

Справа и слева зазеленели деревья и лужайки Тиргартена — шоссе проходило по самой середине парка. Теперь хорошо были видны следы ожесточенных боев: обуглившиеся деревья без ветвей, с култышками сучьев, деревья со срезанными верхушками, ломаные линии траншей, воронки; и опять и опять развороченная земля, окопы, траншеи; сгоревшая рожица, завалы, которые не успели еще разобрать. Борис вдруг подумал о том, как Анджей пробирался к Анне — сквозь горящий лес, по сожженной земле... Его считали убитым, а он выжил. Может, вырвался из окружения, расстреляв последний патрон — раненный, без крошки хлеба. Или бежал из плена. Вернулся с того света, потому что верил: Анна ждет его. Разве могла она бросить Анджей, уйти, когда он вернулся? Это была бы не Анна — другая... «Она ждала меня и больше всего боялась, что приду: знала — останется с Анджем. Это сильнее ее любви. Это она сама...»

На скамейках, кое-где сохранившихся под зеленой листвой полуобгоревших деревьев, сидели мужчины с газетами в руках, женщины вязали. Рядом бегали дети.

Да, было воскресенье, и пожилые мужчины читали газеты, а

женщины вязали. В первый момент Борис удивился — город лежал в развалинах, а они вязали! Но постепенно начал понимать, что женщины, сидящие на скамейках, беготня детей, степенно прогуливающиеся люди — все это и означает: жизнь начала входить в нормальную колею.

Они проехали несколько небольших перекрестков, и вот-вот должна была появиться широкая Зигес-аллее, где, как полагал Борис, они должны свернуть налево, к Кенигсплац. Но там, впереди, видимо, возник затор, и машины одна за другой сначала притормозили, а потом остановились. Борис, за ним Гена и еще несколько человек спрыгнули на землю. Разминаясь от долгого сидения, Борис прошел немного вперед и свернул на боковую тропинку, ведущую в глубь парка. Здесь почти не чувствовалось того стойкого запаха бензина и отработанных газов, который стоял на шоссе. Немного подалее по обе стороны дорожки высились разросшиеся вязы — удивительно, но этих старых раскидистых деревьев не коснулся ни один снаряд!

Сделав еще несколько шагов, Борис увидел скамейку, на которой сидели пожилая женщина и белобрысый, худой, низкорослый паренек в темной рубашке и новеньких, щегольских, явно широких для него светло-коричневых брюках. Борис безошибочно определил: мать и сын. Они ели хлеб, но ел, пожалуй, один паренек, жадно откусывая от аккуратно отрезанного ломтя, а мать больше смотрела на него, кивая головой (ешь, мол, сынок, ешь), и ее маленький кусок, который она держала в руках, по-видимому, так и оставался нетронутым.

Ему было лет пятнадцать — в апреле таких ребят из гитлерюгенда брали в фольксштурм, вооружали автоматами, фауст-патронами, гранатами, и они дрались на улицах Берлина, убивали, умирали, так и не понимая, что происходит. Понимали матери, не могли не понять бессмысленности гибели своих мальчишек, и, может, кое-кому удалось их спрятать или вовремя отправить из Берлина куда-нибудь подалее.

Кое-кому, может, и удалось. И этот низкорослый паренек не из тех ли счастливых, что только сейчас, когда все кончилось, вернулся в Берлин, к своей маме целый и невредимый, и она никак не нагадывается на него? Или он дрался и остался жив, а в последний момент одумался и прибежал к своей маме, и она переодела, умыла, успокоила его, и вот сколько дней прошло, а все не привыкнет к своей радости: жив ее Ганс, жив и война окончена?

Борис подумал: то, что связывало мать и сына, было сильнее ее страха, сильнее Гитлера, сильнее ее самой. Ганс благополучно умял свой кусок хлеба и, бурно жестикулируя, принялся с жаром что-то рассказывать матери; она заметила Бориса и, бросив искоса на него встревоженный взгляд, положила руку на колено сына, как бы предостерегая. Борис повернулся и пошел обратно к шоссе.

— По коням! — услышал Борис.

— Товарищ старший лейтенант, где вы? — крикнул Гена.

Борис вышел на шоссе. Полуторка стояла, прижавшись к обочине. Колонна уже тронулась, и машины объезжали ее. Борису помогли взобраться в кузов, потеснились.

— Вперед!

— Поехали!

— На Берлин!

Водитель выбрал момент, когда в колонне образовался просвет, вклинился. Ехали медленно, потом передние машины прибавили скорость. Замелькали черные пятна на зеленом — перекопанная земля,

обгоревшие деревья. А вот и широкая Зигес-аллее, под прямым углом пересекающая шоссе. Регулировщица на возвышении показывает флажками — прямо, прямо. На скорости они проезжают перекресток. Так, значит, они едут не через Кенигсплац. Ну что ж, можно и по-другому — прямо до Паризенплац, потом налево, мимо Бранденбургских ворот. Снова передние машины замедляют ход — почти у самой Паризенплац останавливаются. Солдатик с красной повязкой на рукаве показывает место стоянки. Отсюда рукой подать до рейхстага.

— Приехали!

Водитель выключает мотор. Летчики с шумом прыгают на землю.

— Даешь рейхстаг!

— Братцы, а ведь здесь, на Паризенплац, были парады фашистов!

— Это и есть Бранденбургские ворота?

— А ты что думал?

— Один только коняга и остался наверху, да и то смотри, как накренился: вот-вот сверзится.

— А вот и рейхстаг!

— Смотрите, братцы, во все глаза — рейхстаг же!

— Ну, славяне, чего только не придумают! Посмотри, куда забрался, к самому куполу!

— Правильно! На куполе распишется!

Площадь перед рейхстагом полна народу. Группа летчиков попала в самую гущу и постепенно уменьшалась — то одного оттеснят, то другого, удержаться в такой толчее всем вместе было невозможно. Но Гена как пришитый следовал за своим командиром.

Вот он, рейхстаг, длинное разбитое здание с зияющими провалами и проломами, в центре купол с обнажившимися перекрытиями, у подножия груды камней. Мелькают фигуры солдат, слышатся голоса. Борис, за ним Гена поднялись по каменным ступенькам фасада и остановились под колоннадой. Солдаты со всех сторон облепили каждую колонну — искали местечко, чтобы нацарапать свою фамилию. Центральный вход за колоннадой, окна в два этажа по всему фасаду — все было разворочено, разрушено; не двери и не окна, а рваные черные проемы, битый кирпич, камень, сквозняк гулял по всему зданию; оттуда, из глубины, тянуло гарью..

— Ну вот, Гена,— сказал Борис,— давай и мы с тобой распишемся. Ищи место и пиши фамилию. И город свой не забудь — Новогрудок, верно? Чтобы все знали: есть такой город в Белоруссии.

«А еще есть такой город Тула,— подумал Борис.— Туляк туляка видит издалека». Он будто услышал Димкин голос и обернулся. Но чуда не произошло — сзади него стоял Гена и примеривался, куда бы протиснуться, чтобы нацарапать свою фамилию. А Димка не дошел — всего лишь несколько шагов.

18 апреля. А 26 апреля авиация почти прекратила боевые действия в Берлине — бои шли в самом центре: дом наш, дом их... 18 апреля. 18 апреля. Уже два дня шел штурм Зееловских высот, и два дня шестерками и восьмерками они штурмовали и бомбили эти проклятые высоты, сплошь утыканные зенитками всех калибров. В то утро 18 апреля, как только рассвело, они поднялись в воздух шестеркой, которую вел Алексей, с задачей уничтожить огневые опорные пункты в районе Врицена, скопление танков и живой силы. Как раз над Одером их атаковали «фокке-вульфы»; шестерка по команде Алексея стала в круг, и началась карусель. «Фоккеры» маневрировали, чтобы не попасть под огонь стрелков, уходили и возвращались, и все-таки Димка подловил одного и поджег длинной очередью, а второй «фоккер», его ведомый, с перепагу проскочил вперед и угодил прямо под пушки и пулеметы Бориса, попал в самое

перекрестье прицела: он вспыхнул на глазах. Остальные «фоккеры» отвалили, и они вышли на Врицен и увидели на шоссе, на западной стороне городка, колонну танков. «Атакуем танки!» — скомандовал Алексей.

Зенитки открыли бешеный огонь, и они пикировали на танки в сплошных разрывах. А потом, сбросив бомбы, снова зашли на цель и потом еще раз на бреющем... Танки горели, как костры в черном дыму, затянувшем землю, клубы дыма поднимались вверх и расплывались в воздухе. Небо было в пятнах и полосах дыма. После третьей атаки Борис ушел боевым разворотом и успел набрать высоту, когда с грохотом рядом, чуть сзади, разорвался снаряд и взрывной волной самолет завалило на крыло. Борис с трудом выровнял самолет и крикнул: «Димка! Отвечай! Отвечай!» Самолет побалтывало, он начал терять высоту и плохо слушался рулей, но они перетянули через Одер и летели над своей территорией, и аэродром был близко; Димка не отвечал, но Борис надеялся: ранен. «Димка! Отвечай! — кричал Борис. — Отвечай!» Он посадил самолет и надеялся — ранен. Не убит — ранен. Но все понял, когда увидел запрокинутое белое лицо Димки... 18 апреля. А 26 апреля их полк прекратил боевые вылеты на Берлин.

— Товарищ старший лейтенант, — позвал Гена, — идите сюда, тут место есть. А я уже расписался.

Борис подошел и там, где показывал Гена, написал: старший сержант Дмитрий Щепов, а потом и свою фамилию.

— А теперь посмотрим, как там внутри, — сказал Борис.

Они вошли в здание. Проломленные стены и потолки, отбитые углы, битый кирпич вперемешку со штукатуркой и каким-то хламом. Где-то рядом раздавались гулкие шаги, слышались голоса. Они прошли несколько разрушенных комнат и остановились на краю глубокого провала — в этом месте, вероятно, находился большой зал.

— Может, хватит? — спросил Борис.

— И я так думаю, — ответил Гена. — Все ясно, товарищ старший лейтенант.

— Тогда пошли обратно.

Выйдя из здания, Борис остановился и взглянул на площадь, надеясь увидеть кого-нибудь из своих. Гена, незаметно для себя повторявший каждое движение командира, стал рядом с ним и несколько раз как можно тщательнее, переводя взгляд от одного ориентира к другому, осмотрел видимое пространство. Знакомых они не нашли. В ответ на вопросительный взгляд командира Гена огорченно пожал плечами.

— Ладно. Пошли, — сказал Борис и уже спустился на одну ступеньку, как вдруг услышал свою фамилию.

Кто-то настойчиво звал его. Борис посмотрел в ту сторону, откуда раздавался голос, и увидел энергично пробиравшегося к нему человека. Пока соображал, кто бы это мог быть, перед ним предстал коренастый старшина в офицерской фуражке, с орденом Отечественной войны на груди. Лицо его, загорелое, с крупными резкими чертами и светлыми пронзительными глазами, красивое какой-то необычной диковатой красотой, показалось Борису знакомым.

— Не признаете? — обрадованно улыбаясь, спросил старшина, и Борис сразу вспомнил его, и весь тот день в польской деревне, и все, что было потом...

— Старшина!

— Точно! Дежков. Он самый.

— Живой!

— Точно, живой!

— Вот и свиделись!

— Ну а вы-то как?

— Что мне делается? Жив-здоров, как видишь.

— Вижу,— усмехнулся старшина, глазами показывая на ордена Бориса.— Славное дело... А войне-то конец, а, старшой? — неожиданно проговорил он, видимо в который уже раз повторяя эту фразу и все по-новому радуясь и удивляясь ей.— Скоро домой поедем. По домам, значит. Ты, старший лейтенант, часом, про демобилизацию не слыхивал?

— Вроде поговаривают.

— То-то и оно. России мужик нужен. Руки рабочие. Да и то: нельзя больше бабам одним с ребятишками. Значит, скоро.— Он счастливо вздохнул и, словно вспомнив что-то веселое, сдвинул фуражку на затылок: — Ну, а рыжий-то, рыжий где? — И, увидев потемневшее лицо Бориса, осекся: — Ясно... А мне мнилось, не сработали еще такую пулю, чтоб его достала. А оно вот как выходит...

Они замолчали. Борис спросил:

— Ты, старшина, приехал на рейхстаге расписаться или стоите здесь, в Берлине?

— Здесь мы, в Берлине, в Карлхорсте то есть,— ответил Дежков.

— Понятно...

Борис не задал ему того вопроса, который возник словно сам собой, как только он узнал старшину и вспомнил все, что произошло в тот день, не задал, не успел. Так пошел разговор, что сразу, с ходу не получилось, а теперь ему трудно было спросить о Кравцове — что-то удерживало его, мешало, и Борис ждал, когда старшина сам скажет. Пусть сам скажет. Не может же он не сказать.

Почувствовав, что старший лейтенант не то расстроился, не то задумался, Дежков, в свою очередь, немного замялся: как тут разговор вести? Неловко человека тормозить, когда у него свое на душе. Ловко или неловко, однако надо. Помолчав, он проговорил:

— А у меня к тебе, старшой, дело. Я, коли правду сказать, тебя, почитай, неделю разыскиваю. Не веришь? — Старшина усмехнулся.— Вроде засады тут, у рейхстага, устроил. Право слово. Чужалось — тут тебя и повстречаю. Так оно и вышло. Кто воевал в этих краях, тому рейхстага не миновать. Должен солдат посмотреть на рейхстаг на этот и детям своим рассказать.

— Понял, Гена? — сказал Борис, обняв его за плечи.— Смотри. Запоминай.

Старшина, похоже еще раньше смекнувший, кто такой Гена, который в продолжение всего разговора молча стоял чуть сзади своего командира, обратился к нему:

— Сам-то ты, малец, откуда, из каких краев?

— Из Новогрудка,— ответил Гена.— Есть такой город в Белоруссии.

У него заныло сердце, когда он сказал — Новогрудок, будто в одном этом слове заключалась вся его жизнь. Вчера вот тоже в сумерках ему почему-то взгрустнулось и вспомнилось, как тепло и хорошо бывало в их доме, когда за окном мело и он сидел за уроками или читал чего-нибудь, а мать собирала ужинать и укордкой посматривала на него...

Гена вздохнул, а старшина с сожалением покачал головой: ему бы хотелось, чтобы этот нескладный тощий малец с такими чистыми и синими, как родник, глазами был бы из его краев. Повстречать земляка на чужой стороне — считай, большая удача. Земляк, он вроде как из той твоей, довоенной жизни, и разговор с ним особый, другим непонятный. А уж этот паренек был бы ему как младший бра-

тишка. Глядишь, и демобилизовались бы вместе и махнули бы к нему в Чистоозерск... Но тут Дежков остановил себя — чего это он раз-мечтался: если бы да кабы... И чтобы уж окончательно все стало на свои места, полушутливо заметил:

— Поди, балует тебя командир. Вон и подворотничок кое-как пришит, и заправочка хромает.

Гена промолчал. Хотя он и почувствовал шутливые нотки в словах старшины, но невольно поежился от того резковатого тона, каким они были произнесены. Видно, говорить по-другому старшина не привык. Ну и ладно. Ему-то какое дело? Пусть командует над своими пехотинцами, а он, Гена, как-никак — авиация. Воздушный стрелок, а не хухры-мухры, как недавно объявил ему Николай Ермаков, самый главный оружейник в их эскадрилье. Вспомнив о своем новом друге, который по званию тоже был старшина, Гена усмехнулся: вот уж тот бы спуску не дал!

Ему снова стало весело. А в лицо старшины Гена не вглядывался, в голос не вслушивался и ничего, кроме «заправочки» да «подворотничка», не разобрал в его словах. Но слова были скучные, на них и отвечать-то нечего. И как только старшина обратился к командиру, Гена незаметно отошел в сторону.

Куда-то шли, встречались, останавливались, разговаривали, смеялись солдаты и офицеры всех званий и родов войск, но вся эта разноголосая и разноликая толпа, где у каждого было свое дело, своя забота, жила и волновалась одним ликующим чувством, которое поглощало все дела и все заботы. Гена смотрел на живой, неубывающий поток людей и не слышал, как Борис спросил у старшины: «Так какое, говоришь, у тебя ко мне дело?» — и как, чуть замаявшись, вместо ответа Дежков предложил: «Давай, старшой, отойдем куда... Где потише». Гена не слышал этого, он только заметил, что они пошли — впереди старшина, потом командир, — и двинулся вслед за ними.

Старшина направился чуть наискосок к Бранденбургским воротам, над которыми бился на ветру красный флаг. Подойдя ближе и скользнув по ним взглядом, Борис испытал легкое разочарование: ничего величественного в этих Бранденбургских воротах, о которых он столько слышал, не было — иссеченные пулями и осколками колонны, арка с отбитой штукатуркой и выщербленными кирпичами, чудом уцелевший железный конь, накренившийся набок. Как видно, и здесь под аркой была баррикада, одна из тех, что перекрывали подходы к центру; сейчас ее разобрали, но следы все же остались.

— С танками выковыривали... — сказал старшина, кивнув на воронки от снарядов возле колонн, уже засыпанные землей. — Эх и жарко было! — добавил он.

Борис промолчал. Он знал, что творилось в те дни в Берлине, — им приходилось по команде с земли бомбить, штурмовать, поливать огнем с бредущего чуть ли не каждый дом, каждую баррикаду.

С воздуха Берлин, рассеченный улицами на темные прямоугольники с зияющими провалами, обуглившимися скелетами зданий, горами развалин, объятый бушующим пламенем, затянутый черными клубами дыма, серой мглой, кое-где светившийся кроваво-красным цветом, со вспышками огня из тысяч стволов, опутанный со всех сторон равными нитями трассирующих пуль, — с воздуха Берлин был весь пламя, дым, грохочущая бездна. И трудно было поверить, что в этом аду оставались люди. Но они оставались. Вели бой. Указывали по радио цели. Продвигались вперед — и ничто не могло их остановить.

А теперь вроде бы и не верилось, что все эти улицы и площади, шумные от праздничного многолюдья, и есть тот самый Берлин, и над ним чистое синее небо и белые-белые облака.

Впрочем, не то чтобы не верилось (Берлин, разумеется, был тот самый, никуда ему не деться, и облака над ним белые, самые настоящие), а просто не остыло еще, не притушилось то чувство, которое несло с собой короткое слово — победа. Оно было таким большим и так много заключало в себе, что все кругом освещало по-новому, по-своему, заставляя беспрестанно удивляться и радоваться каждому своему проявлению. И город Борис узнавал как бы заново, замечая то, что нельзя было ни представить себе по плану, ни увидеть с воздуха.

Унтер-ден-Линден, открывшаяся им у Бранденбургских ворот, широкая и прямая, как стрела, была вся запружена машинами. Нескончаемой колонной они продвигались к центру, обтекая регулировщицу, стоявшую на возвышении впереди Бранденбургских ворот. Они пошли по правой стороне мимо разрушенных, обгоревших домов. «Может, к Кравцову ведет? — спросил себя Борис. — Но лучше не гадать. А старшина ведь был в той деревне и хорошо знал Анну... Но лучше не гадать. И о Кравцове пусть сам скажет. Сам...»

Старшина пропустил поворот на Вильгельмштрассе, которая пересекала Унтер-ден-Линден. Странная мысль пришла в голову Борису. Странная, дикая — у него даже похолодело внутри. Мало ли чего не бывает? Старшина хорошо знал Анну — и вот теперь... Неделю Дежков искал его, а с тех пор, как он сам видел Анну, прошло ровно девять дней. Ну и что? Ну и что? Борис понимал, что нельзя поддаваться этой мысли, и гнал ее от себя — с тем покончено. Навсегда. Он гнал от себя эту мысль, но нетерпение его все росло.

Наконец на большом оживленном перекрестке, где возвышалась регулировщица, миловидная девушка с измученным и счастливым лицом, уставшая отвечать на шуточки и соленые словечки солдат с проезжающих машин, Дежков остановился. С минуту подумав, свернул направо, на Фридрихштрассе. Здесь на самом углу был вкопан указатель с названиями берлинских улиц, написанных по-русски, какие ставились на фронтовых дорогах. Гена потрогал довольно грубо отесанный столбик, к которому были прибиты дощечки, изображающие стрелы, — как-никак русский указатель в самом центре Берлина! Дежков прибавил шагу, вероятно почувствовав нетерпение Бориса.

Разрушения стирают особенности — с первого взгляда довольно трудно было отличить одну улицу от другой. Рядом с целыми, хотя и пострадавшими зданиями торчали полуобвалившиеся стены, а то и вовсе зияли провалы с горами покореженного металла, битого кирпича и стекла... Да теперь Борис и не пытался это делать. Занятый своими мыслями, он уже ничего не замечал вокруг. Ни прохожих, ни машин, двигавшихся навстречу им, к центру. В кузове одной из них сидели и стояли летчики, и кто-то, может знакомый, махнул Борису рукой. Гена, единственный из трех глазевший по сторонам и заметивший этот жест, махнул в ответ. Они прошли еще несколько шагов, и за домом с отбитой штукатуркой и развороченными окнами на верхнем этаже старшина повернул за угол — и они оказались на небольшой, сравнительно узкой и тихой улочке.

Здесь бы можно и остановиться, никто им не помешает, но Дежков продолжал идти. Он поймал себя на том, что оттягивает разговор со старшим лейтенантом. Можно бы и пораньше найти место, где потише, а он вот привел старшего сюда. Зачем? Не все ли равно где — там ли, здесь ли? Нет, не все равно, ответил себе Дежков. Надо, чтоб и не помешал кто, и минуту особую подстеречь. И сказать он должен такими словами, чтобы старшой проникся — все забыл, а это помнил. Потому и шел он так долго, что слов подходящих не находил — нету у него таких слов. А сказать, однако, надо.

Решительно свернув под низенькую арку ближайшего дома (так решительно, будто именно сюда он и шел), старшина остановился.

— Ладно, — проговорил он, оглядывая небольшой, сжатый со всех сторон домами двор, в углу которого были аккуратно сложены бревна, скорее всего от разобранной баррикады, — можно и здесь... Сядем, что ли, — кивнул он на эти бревна.

Они подошли к ним, сели, закурили. Гена, которому сразу же стало скучно, встал и, пока они молча курили, прошелся по двору, с любопытством поглядывая на окна, за которыми шла неведомая ему жизнь. Вот за белой занавеской на втором этаже мелькнуло женское лицо — выглянуло и спряталось, — вот кто-то задернул тяжелые темные шторы. Гена не спеша возвратился к бревнам. Командир и старшина по-прежнему курили и молчали. Он присел рядом.

— Дело-то, видишь, старшой, вот какое, — сказал Дежков, бросив сигарку и затоптав ее каблуком. — Вот какое дело... командира нашего убило. Двадцать восьмого апреля. За два дня до взятия рейхстага. Когда вокзал этот, Ангальский, очищали. Очередью автоматной прошло. Я к нему, а он...

Борис уже знал, что именно это скажет ему старшина. Он ощутил непонятную тревогу еще там, у рейхстага, — неспроста же Дежков ни слова не промолвил о Кравцове, а пока шли сюда, это ощущение превратилось в предчувствие несчастья. Борис не хотел верить ему — о чем он только не передумал, пытаясь угадать, какое у Дежкова к нему дело! И даже сейчас, пока Дежков не сказал, оставалась надежда. Хотя Борис все понял, лишь только старшина произнес первые слова, а все ж оставалась надежда, пока он не сказал. А теперь ничего не оставалось. И не встретятся они с Кравцовым на Кировской, у Почтамта, и не пойдут к Романовскому, к старче, в Кривоколенный. И не будет разговоров, стихов, воспоминаний. Ничего не будет.

Стало холодно от этой мысли — ничего не будет. Ему вспомнилось лицо Кравцова, когда напоследок они выпили за встречу в Кривоколенном, и то ускользящее выражение в его глазах, от которого Борису стало не по себе. Как будто он увидел, как промелькнула в них смертельная тень, и тогда уже знал, что Кравцова убьют. Но он не захотел этого знать и тут же постарался уверить себя: почудилось, показалось. Мало ли что может показаться! Так оно было проще, спокойнее. А если бы он не испугался этой тени, может, и получился бы у них разговор, которого не будет уже никогда. Ведь хотел же Кравцов (Борис почувствовал это безошибочно) поговорить с ним по душам, что-то сказать. Хотел, да раздумал. Борис не мог вспомнить сейчас, почему не вышло разговора, кто в этом виноват, но вину приписал себе. Кравцова убило, а он жив...

— Ты послушай, что я тебе скажу, — проговорил Дежков, решившись наконец прервать молчание.

Встретившись взглядом с Борисом и убедившись, что он готов его выслушать со всем вниманием, Дежков сказал:

— Аккурат через неделю, как вы уехали, пришел приказ, и двинулись мы аж туда, к Балтийскому морю, догонять войска Третьей ударной армии. А первого марта перешли в наступление. Бой был тяжелый, видно, немцы приказ такой от Гитлера получили: не отходить... А тут распутица, дождь, туман. У нас в роте, почитай, половина людей полегла. А все ж в тот день из первых траншей немцев выбили. Ну а как стемнело и бой утих, командир подзывает меня: табачок, говорит, имеется? Закурили, он и говорит: есть у меня к тебе, Василий Андронович, просьба. Обещаешь исполнить? Как, отвечаю, не исполнить просьбу своего командира? Ну вот и хорошо, говорит. Раз сказал — сделаешь. А просьба вот какая: если меня убьют,

возьми в моем планшете тетрадь, вот эту самую, и как война кончится, отдай тому летчику, земляку моему. Найди его и отдай. А уж он знает, что с этой тетрадкой делать. Тут вот, говорит, на последней странице фамилия его, часть. А коли не найдешь земляка моего или что случится (сам знаешь, война), перешли по этому адресу. Видишь, здесь написан — Москва, Кривоколенный переулок, дом шесть, квартира двадцать три, Романовскому А. К. Прочитал он этот адрес — я его и запомнил. Ночью разбуди — скажу. Да, слава богу, не понадобился. Оно, знаешь, вернее, когда сам отдаешь да видишь — кому.

Старшина открыл свою офицерскую сумку и достал обыкновенную общую тетрадь в коричневом клеенчатом переплете. Подержав в руках, передал Борису.

— Так ты уж, старший лейтенант, сделай что надо. Разбейся, а сделай.

— Сделаю, — сказал Борис. — Будь спокоен, старшина. Все сделаю.

Он не знал и не догадывался, что же должен сделать, — сама тетрадь подсказет. Почувствовав неровную, в бугорках, поверхность переплета, снова подумал о Романовском, о школе. И будто опять потянуло смешанным запахом масляной и клеевой краски, который стойко держался в коридорах и классах после летнего ремонта, и услышал звонок, и стихающий гул голосов, и крик: «Старче идет!» — и положил на парту чистую общую тетрадь в клеенчатом коричневом переплете, первые страницы которой будут заполнены красиво и аккуратно, и почувствовал радость, нетерпение, любопытство оттого, что сейчас увидит Алексея Ксенофоновича Романовского...

Борис провел пальцами по обложке тетради и открыл последнюю страницу, сначала последнюю, и действительно вверху, в правом ее углу увидел свою фамилию и номер части, а чуть ниже (на тот случай, если что с ним случится) адрес Романовского, его фамилию, инициалы. Борис захлопнул тетрадь, а потом снова раскрыл уже на первой странице — там в центре листа крупными печатными буквами в две клетки было выведено «Евгений Кравцов», а в самом низу, как это бывает в книгах, стояла дата: 17 февраля 1943 года. На следующей странице Борис увидел тщательно вычерченную чернильным карандашом схему огневых точек, по-видимому переднего края противника, и ниже пояснения к ней. Потом шли чистые листы, и вдруг — быстро набросанные строчки стихотворения с зачеркнутыми и вновь написанными словами то крупно, то мельчайшими буквами, то полностью, то в сокращении. Прочитать их было очень трудно, Борис свободно разобрал только первую строчку:

Кончится война, и на пригорке...

По этой строчке он и понял, что на другой странице переписано набело это же стихотворение, уместившееся в одно четверостишие:

Кончится война, и на пригорке,
там, где друг мой принял смертный бой,
в сказочной зеленой гимнастерке
вытянется тополь-часовой...

Борис закрыл тетрадь. Дежков пристально смотрел на него, но Борис не видел его взгляда — он опустил голову, рука его машинально поглаживала обложку тетради, лежавшей на коленях. Потом старший лейтенант начал листать страницы одну за другой, то задерживаясь надолго, то почти не глядя переворачивая их.

Тетрадь вся была заполнена стихами, тщательно переписанными, брошенными на подороге, а то и совсем оборванными после двух-

трех строк в черновом виде. Редко-редко между ними вклинивались записи, которые Борис почти не мог разобрать, и опять схемы расположения огневых точек. Тетрадь предназначалась для стихов, это ясно, только для стихов, лишь в самых крайних случаях сюда заносилось то, что требовала обстановка. «Кончится война, и на пригорке...» — строчка эта не выходила из головы, не давала покоя, будто в ней была разгадка какой-то тайны, которую во что бы то ни стало нужно было раскрыть.

«Кончится война, и на пригорке, там, где друг мой принял смертный бой...» Но он сам, не его неизвестный друг, а он сам погиб в этом последнем бою. Он погиб, а Борис жив, и у него в руках эта тетрадь. Как завещание. Кравцов просил передать ее ему, Борису. Он сказал старшине, что его земляк знает, что делать с этой тетрадкой. «...в сказочной зеленой гимнастерке вытянется тополь-часовой...» Кравцова убило, а он остался. Значит, он, больше никому, должен сделать так, чтобы люди узнали о Кравцове — как жил, как воевал.

— Вот какое дело... — проговорил Дежков, отвечая на какие-то свои мысли. Теперь-то он был уверен: все, что требуется, старший лейтенант сделает. Расшибется, а сделает. Борис, услышав голос старшины, поднял голову, но взгляд его скользнул как бы сквозь Дежкова. Старшина больше ничего не сказал, и Борис снова уткнулся в тетрадь.

Гена опять почувствовал неодолимое желание размяться, подвигаться, поглядеть на людей. Рассказ старшины Гена слышал вполуха, отдельные слова до него не доходили, и он так и не понял, почему оба они надолго замолчали и командир не может оторваться от этой тетради. Он встал и сначала прошелся по двору, а потом вышел за ворота, на улицу.

Сержант в начищенных сапожках и лихо заломленной пилотке, шагавший по мостовой, увидев Гену, выходящего со двора, ухмыльнулся и подмигнул ему: моа, давай, давай, не тушуйся. Вслед за ним, оживленно и громко болтая, прошли две немки. Потом, опираясь на палку, проковылял старик в черном костюме и серой шляпе.

Поколебавшись, Гена направился в сторону, противоположную той, куда ушли две немки. Через несколько шагов перешел на другую сторону улицы, чтобы держать в поле зрения ворота, откуда выйдут командир и старшина. Пройдя еще немного, уперся в хвост небольшой очереди.

Это была очередь за хлебом, который население Берлина получало по карточкам, выданным советской комендатурой. Сквозь стеклянную витрину было видно, как ловко орудует солдат, отпуская буханки и полбуханки армейского образца.

Гена окинул взглядом очередь и увидел пацаненка лет шести или семи, который никак не мог устоять на месте и, наверно, давно бы ускакал, если бы мать не держала его крепко за руку. Мальчонка был забавный — белобрый, конопатый, большеглазый, с оттопыренными ушами. Вроде лягушонка. Заметив Гену, с любопытством уставился на него. Гена подмигнул, и мальчонка, подумав немного, подмигнул в ответ. Гена постоял еще и пошел обратно. Обернувшись, увидел, что мальчуган машет ему. Гена тоже помахал и двинулся дальше. Возле арки никого не было.

Наверное, командир и старшина все еще сидели там, во дворе, на бревнах.



ПО СТРАНИЦАМ ФРОНТОВЫХ ГАЗЕТ И СТАРЫХ БЛОКНОТОВ

Много стихов, «пропавших без вести», осталось в старых фронтовых блокнотах и в записных книжках первых послевоенных лет. Но многое из этого наследия в последние годы приходит к читателю. Это и сборник «Сквозь время», вышедший еще в 1964 году,— сборник, с которым связано, по сути, второе рождение поэтов, погибших на войне молодыми, таких, как Коган, Кульчицкий, Майоров, Отрада; это и коллективные сборники «Имена на поверке», «Двадцать лет спустя», «Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне», том 78 «Литературного наследства», серия «Пять обелисков», выходящая в издательстве «Советская Россия». Можно назвать и любовно составленные Леонидом Решетниковым сборники Бориса Богаткова и Георгия Суворова, книги Василия Кубанева, «Ветер мужества» Владислава и Германа Занаворовых. Есть новые публикации и в последнем «Дне поэзии». И все же сколько еще не дошло до современного читателя!

Это относится отнюдь не только к стихам поэтов, павших на фронте. И у поэтов, скончавшихся после войны, и у живых, активно действующих поныне, есть немало стихов тех лет, не вошедших ни в какие сборники. Стихи эти затерялись на страницах армейских газет, блокнотов, и сами авторы успели забыть об их существовании.

Некоторые стихи, публикующиеся ниже, принадлежат поэтам, начинавшим свою фронтовую страду на Северо-Западном фронте, группировавшимся вокруг редакции фронтовой газеты «За Родину» (позднее — «Фронтовая правда» II Белорусского фронта). Это поэты С. Щипачев, М. Матусовский. В армейских газетах того же фронта печатались М. Светлов, М. Соболев. Стихи С. Болотина публиковались в газетах Западного фронта.

Читатель познакомится и со стихотворением погибшего в 1942 году на Юго-Западном фронте поэта Джека Алтаузена. Стихотворение не нуждалось бы в дополнительных комментариях, если бы не особые обстоятельства дальнейшей судьбы автора. Оно написано за два месяца до его гибели (сотрудник армейской газеты 6-й армии «Боевая красноармейская» поэт Джек Алтаузен попал под фашистский танк во время тяжелых боев под Харьковом). Судьба автора как бы предваряется судьбой героя и сливается с ней, и этот — теперь уже двойной! — свет высокой трагедии озаряет все стихотворение. Идеино и ритмически оно перекликается с его же стихотворением «Партбилет», написанным уже буквально за несколько дней до гибели, 9 мая 1942 года.

Подборку составили и подготовили А. Коган и С. Савельев.

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

*Фронтовые будни*

На землянках прошлогодних
 Прошлогодняя листва,
 Дождик льет и льет сегодня,
 Мокнет смятая трава.

Под ветвями мокнут танки
 На исходном рубеже,
 И вода в консервной банке
 Плещется на блиндаже.

И часами без движенья
 Снайперы лежат тайком —
 И зеленые мишени
 Падают в траву ничком.

Длинные стволы орудий
 Чуть заметны в серой мгле...
 На века запомнят люди
 Эти будни на земле.

Тяжела ты, фронтовая
 Грязь на мокрых сапогах!
 Но бойцы не унывают,
 Наступленья ждут в полках.

Что нам этот дождь с рассвета,
 Этот нудный водолей,
 Если впереди победа
 Солнца вечного светлей.

*(Газета Северо-Западного фронта
 «За Родину», 25 июня 1942 года)*

МИХАИЛ СВЕТЛОВ

*Праздник*

Когда в едином празднике сольются
 Гудки Москвы и грохот канонад,
 Замолкнет строй, и годы революции,
 Как двадцать шесть салютов, прозвучат.

Во имя Родины мы на болоте жили,
 Делили смерть и хлеба каравай...
 Мы этот праздник честно заслужили!
 Полнее фляги! Ну-ка, наливай!

...За близких, за родителей в тылу,
 За девушек, за воина в пылу,

За нас с тобой, за то, чтобы в сраженьи
Пружиной развернулось наступление!

Пробьемся к солнцу через толщу мрака,
Перешагнем через кошмар болот...
Звучит приказ. И нас опять в атаку
Благословенье Родины ведет!

(Газета 34-й армии «Героический штурм»,
7 ноября 1943 год)

МИХАИЛ МАТУСОВСКИЙ



Три баллады

В основу всех трех баллад, написанных в
годы войны, положены подлинные факты.

Баллада о возвращении

Горело небо, горела земля,
Горел неубранный хлеб,
Когда Ковальчук упал ничком
И понял, что он ослеп.
Вокруг него на десятки верст
Стояла стеной темнота:
Ни ночи, ни дня, ни вспышки огня,
Ни проблеска — ни черта!
И стало в небе темным-темно,
Последний закат погас,
Как будто это не он, Ковальчук,
А небо лишилось глаз.
Тогда Ковальчук перевел к земле
Невидящий тусклый взгляд,
Потом непривычной рукой слепца
На ощупь нашел приклад.
Он полз по земле совсем один.
Дорога была мертва.
И был от него направо Берлин,
Налево была Москва.
Осколки снарядов, колья и пни,
Стоявшие начеку,
Ориентирами в этом пути
Служили Ковальчуку.
Тянуло сыростью от озер,
От северо-западных рек.
Бездомная кошка в пустом блиндаже
Кричала, как человек.
Устроив короткий ночной привал
В овраге с песчаным дном,
Не знаю, долго ли он проспал
И было ли это сном?!

Но он проснулся от тишины
И понял, что смерти нет.
И он догадался, что это рассвет.

И был на земле рассвет.
 И он различил средь бескрайней тьмы,
 Как тихо поет ручей.
 Направо—немцы, налево—мы,
 А этот ручей—ничей.
 Боец на мокрые камни ступил,
 Губами припал к ручью
 И долго и жадно воду пил
 Студеную и ничью.
 Двенадцать часов он шел наугад
 С винтовкой наперевес.
 Двенадцать раз Ковальчук погибал
 И столько же раз воскрес.
 То он броском продвигался вперед,
 То отползал назад.
 Шестое чувство — чувство бойца
 Заменяло ему глаза.
 И словно металл в побежалых цветах
 Стояли вокруг леса,
 Когда он услышал где-то вблизи
 Знакомые голоса.
 Тогда, привстав на дрожащих руках,
 Уже почти в забытьи,
 Одними губами он прошептал:
 «Товарищи, здесь—свои...»
 ...Мы слушали ночью этот рассказ
 В штабном блиндаже полка.
 Над нашим передним краем шли
 Тяжелые облака.
 Была столбами прожекторов
 Полночь ослеплена.
 Гремела из всех калибров своих
 Отечественная война.
 Но мы находили к Родине путь —
 Попробуй останови —
 По компасу мужественных сердец,
 По азимуту любви.

*(Газета Северо-Западного фронта
 «За Родину», 25 октября 1942 года)*

Баллада о танке капитана Половчини

Тяжелый танк вступает в бой,
 Он обгоняет пламя,
 Мостя дорогу за собой
 Фашистскими телами.

Как мертвецов на берега
 Выносит в час прибоя,
 Их смерть бросает на снега
 В застывших позах боя.

Вот этот лег, упав вперед,—
 Пришла к нему расплата:
 Землей набит открытый рот,
 Земля в руке зажата...

...Но танк уже исчез в дыму,
Где след его найдете?
Враги подобрались к нему
На трудном повороте.

Мотор заглох как неживой,
И, пользуясь моментом,
Его накрыли с головой
Пылающим брезентом.

Но чтоб не думали враги,
Что сдастся он без боя,
Водитель сдвинул рычаги
Слабеющей рукою.

Танкистов мучила жара,
И немцам страшно стало,
Когда пошла на них гора
Горящего метала.

Он взял рубеж рывком одним,
Он шел неудержимо.
Летели по ветру за ним
Седые космы дыма...

Отброшен враг, огонь погас,
И бой притих в долине.
Из уст в уста идет рассказ
О танке Половчини.

Он возникает тут и там
Как мститель в самой гуще,
И настигает капитан
Идущих и бегущих.

Клубится в поле снежный прах
На узком перекрестке.
Трещат у танка на зубах
Машины и повозки.

Он через рвы летит вперед —
В глазах мелькают пятна.
И землю ту, что он берет,
Он не отдаст обратно.

Ты различишь его в огне
По свету славы вечной,
По насеченной на броне
Звезде пятиконечной.

*(Газета Северо-Западного фронта
«За Родину», 30 января 1942 года)*

Баллада о партизанской мести

Глухие взрывы за рекой,
До фронта здесь подать рукой.
В низинах мертвая вода и северный туман.
Обшарив за ночь весь район,

Вступив в поселок с трех сторон,
Настигли немцы пятерых советских партизан.

Фашист взялся за них всерьез,
Фашист умело вел допрос.
Но не добившись нужных слов, их вывели во двор.
И, повернув лицом к стене,
Связали руки на спине,
И лично обер-лейтенант прочел им приговор.

Земля была совсем близка —
От ног всего лишь два вершка.
Всю ночь, качаясь на ветру, они висели там.
Пять ржавых крючьев, пять узлов,
Пять человеческих голов,
И дождь со снегом пополам хлестал по их телам...

Когда же утром патрули
На место казни вновь пришли —
Все так же низкий небосвод был безнадежно сер.
Но им одно пришлось учесть:
Где было пять, там стало шесть —
Шестым качался на столбе фашистский офицер.

*(Газета Северо-Западного фронта
«За Родину», 20 октября 1943 года)*

Хороший денек

В снегу все пути и проходы,
Все сосны — от пят до вершин.
Два дня в ожиданьи погоды
Пилоты сидят у машин.

К дежурной землянке шагают
Два дня и две ночи подряд,
Синоптика дружно ругают,
Как будто бы он виноват.

Посмотришь — не видно площадки,
Ни звезд, ни кустов, ни полян,
А в сводках — «туман и осадки»,
«Осадки» и снова «туман»...

Но, веря счастливой примете,
Мы спать в непогоду легли,
И встали на раннем рассвете,
И вот не узнали земли.

Вся в бледном мерцанье и блеске,
Вся в чистых огнях хрусталя,
Развесив на солнце подвески,
Сияла и пела земля.

Прозрачен был лес низкорослый,
Поляны до боли чисты.

Я в жизни ни до и ни после
Не видел такой красоты.

И вдруг, это была или небыль,
Над белым покровом снегов
Как будто бы сдвинулось небо
И с гулом пошло на врагов.

И слушая эти раскаты,
Я долго с волнением стою.
Чего пожелать вам, ребята?
Надежной удачи в бою!

Чтоб шла боевая машина
Покорно под вашей рукой.
До самого вам до Берлина
Желаю погоды такой!

(Газета II Белорусского фронта «Фронтная правда», 17 января 1945 года)

ДЖЕК АЛТАУЗЕН

★

Гимн

Глубоким снегом площадь занесло.
Фашистские солдаты утром рано
Прикладами согнали все село
Смотреть, как будут вешать партизана.

В одном белье, без шапки, босиком,
Еще живой, еще для всех угроза —
Он шел... Его подталкивал штыком
Конвойный рыжий, ежась от мороза.

Враги сверкали касками вокруг.
Взглянув на них, не вымолвив ни слова,
Он подошел к петле своей и вдруг
Запел наш гимн спокойно и сурово.

Мела пурга. Морозный снег скрипел.
Сжав кулаки, с неповторимой силой,
Закинув гордо голову, он пел.
Пел — в полный рост, пел над своей могилой.

И те, кого согнали посмотреть,
Как страшен он и сколько ран на теле,
Как, умирая, будет он хрипеть, —
В одном порыве вместе с ним запели.

Запели грозным хором старики
И женщины с ребятами грудными.
Их не могли остановить штыки,
На этот миг не властные над ними.

Уже замолк, застыв навеки, он.
 Уже давно в петле его качало.
 Но, попирая смерть, со всех сторон
 В бессмертном гимне жизнь его звучала.

(Газета «Боевая красноармейская»,
 24 марта 1942 года)

МАРК СОБОЛЬ

★

Сыну

За окнами петух, наряжен и грудаст,
 в кромешной тьме зарю выкликает гулко...
 Мир состоит из трех огромных государств:
 твой дом, твой детский сад, кусочек переуллка.

Там то, что я забыл: покой и тишина;
 сменяя тихий день, приходит тихий вечер.
 Когда, играя в бой, ты говоришь — «война»,
 у бабушки твоей чуть вздрагивают плечи.

А здесь иная жизнь. Здесь мой негромкий стих
 в графе «боезапас» у старшины записан...
 Два года знаю я из четырех твоих,
 по каплям в два других ты выискан из писем.

Мой мальчик, я — отец. Я бесконечно прав,
 сражаясь как солдат. В багровых клочьях дыма
 из тысячи мостов и шатких переправ
 одна наведена неизбежно и зримо —

в грядущее твое! Я вижу день, когда,
 открыто веселясь от бешеной погони,
 твой в зеленый май одетые года
 меня, за плечи взяв, неслышно перегонят.

Я славлю этот день. Он легок, точно мысль,
 он радостью звенит, как песенка девичья,
 он ясен, как хрусталь. В нем сокровенный смысл
 сегодняшнего дня — во всем его величьи.

Веселый и большой, с тобой он входит в стих,
 и толща многих лет становится сквозная...
 Два года знаю я из четырех твоих,
 но это пустяки — я будущее знаю!

1943.

* * *

В бой! —
 запевали фанфары когда-то, призывно трубя.
 В бой! —
 и тараны громят крепостные ворота...

Жизнь

Позарастали стежки-дорожки...

Звенит перебором тальянка
Про дальние стежки-дорожки..
В оставленных нами землянках
Живут одичавшие кошки.

Крутые дороги солдата
Оделись зеленой оправой,
Пробились сквозь бревна наката
Лесные пахучие травы.

Мы видели: мир неоглядный
Изломан войной и расштан.
Но в луже воронки снарядной
Уже завелись лягушата.

И жизни великая сила
Осыпала наши траншеи,
И шепчётся с ветром осина,
От ласки его хорошея.

Есть истина в мире простая,
Что раны — они зарастают,
И жизнь всегда побеждает,
И люди свое наверстают.

(«Фронтовая правда», 2 июня 1945 года)

На Днепре

Гребли усталые гребцы,
кругом была беда..
Черным-черна, как антрацит,
днепровская вода.

И вдруг ударило. И вдруг
уже водой несло
из чьих-то вмиг ослабших рук
упавшее весло.

И ветер этой ночью жег
ударами хлыста.
Но берег, вечером чужой,
наутро нашим стал.

И красный флаг на берег наш
сапер тогда вкопал.
А я вошел в пустой блиндаж,
качнулся и упал.

Кругом шумели голоса,
но был мой сон глубок.

Я спал огромных три часа
и выспался как бог.

Осенний день, холодный день
маячил впереди...
Я затянул тогда ремень,
винтовку зарядил.

А над рекой безмолвно стыл
свинцовый небосвод...
Здесь был уже глубокий тыл,
и я ушел вперед.

1943.

С. БОЛОТИН



Баллада о нонпарели

По ветру летит плащ-палатки брезент,
на сторону каблуки...
Обходит военный корреспондент
подведомственные полки.
В походной сумке три сухаря,
сахар и воблы кусок,
но корреспондент экономит не зря
свой слишком сухой паек.
Сегодня пешком, как пешком и вчера:
ведь сколько рукой ни маши,
проклятое племя — шофера —
не стопорят машин.
Пятнадцать холмов на его пути
и пятнадцать лощин, а меж тем
он должен к вечеру нынче найти
десяток газетных тем.
И такого героя притом повстречать,
о каком не писал никто —
ни центральная, ни фронтовая печать —
нонпарели строчек на сто.
Сто строк! Что за цифра! Какой простор!
Давнишних мечтаний предмет.
Не втиснешь в рамки заметки простой
глубоких сердца замет.
Его статейки были сперва
полны небывалых красот.
Весенним лугом пестрели слова
примерно строк на пятьсот.
Но редактор красоты черкал всегда,
сердито бурча: «Вода!»
И оставался обглоданный факт:
кто — кого — когда.
Вот эта вынужденная немота
бывала всего тяжелей.
«У меня не «Таймс»! На ус намотай
и каждую строчку жалей.

Обидно тебе, что слова должны
 ложиться на ложе прокрустово?
 Так что же — искусство для войны
 или война для искусства?»
 Теперь он форму искал в существе,
 чтоб без крикливости в тембре:
 просто, как Пушкин, мягко, как Твен,
 с неожиданной концовкой по Генри.
 Но рубленых строк пулеметная трель
 раздражала: хотелось ругаться.
 А нынче его ждала нонпарель,
 сто строк! Какое богатство!
 Он шел вдоль выжженного села,
 где лишь остовы труб торчат,
 по улице, что, словно речка, несла
 под вечер толпы девчат,
 где пела гармонь, где, вернувшись с лугов,
 призывно мычали стада
 и пахло не гарью, а сеном стогов
 в забытые те года.
 Он шел мимо рощи, где прятался фриц,
 где ночью разведчики прядали.
 В листе не свистали уж стаи птиц,
 распуганные снарядами.
 Он издали видит овражек тот,
 куда он направлен газетой.
 Как, каким он чутьем узнает,
 что овраг этот — именно этот?
 Поесть бы! Прилечь бы! Но цель уж близка —
 склоняется солнце к закату.
 В кармане нащупала жадно рука
 листочек продаттестата.

Он прошел по знакомой, чуть видной тропе.
 Боль в ногах вдруг стала острее:
 блиндаж, где был полковой КП,
 чернел без снятых дверей.
 Тропинка уже зарастала травой,
 в лощине кругом — ни души,
 и лишь шуршали увядшей листвой
 брошенные шалаши.
 Он поплелся назад. Перекресток широк,
 похож на узор паутины
 от страшных, размытых, неясных дорог,
 где в пыли отпечатались шины.
 Ноги — две гири. Болит спина.
 Коленки размякли, как вата.
 Смята в руке, уже не нужна
 бумажка продаттестата.
 Куда же теперь? Без конца, без межи
 поля перезрелой ржи.
 Прямо к закату дорога лежит —
 туда, значит, путь держи.

Еще пять оврагов и восемь лощин,
 а солнце уже багровеет...

Где хочешь теперь материал ищи —
 без него он вернуться не смеет.
 Один закон у людей из газет:
 давай заметку в печать!
 А если материала нет,
 так надо изобретать.
 Где-то влево, вдали от него
 ракеты шар засиял.
 Артиллерийское торжество
 уже запевало хорал.
 В небе маячит чей-то патруль...
 Высоко? Или невысоко?
 А! Старый знакомец — «фокке-вульф»,
 а по-солдатски — «фока»!
 Он может хлестнуть пулеметной струей —
 ты мишень для него на дороге.
 Но все тяжелей перед новой горой,
 все медлительней движутся ноги.

Еще один неотличимый лог...
 В кустах шевелится листва.
 Часовой. Скупой фронтовой диалог:
 пропуск — «Мушка», отзыв — «Москва».
 Дверь блиндажа раскрылась рывком,
 луч пробежал по кустам.
 «Скорее вниз! — сказал военком. —
 Место газетчика там».
 «Но я ничего еще не записал,
 зачем мне под землю лезть?»
 «Простите, — сухо прервал комиссар, —
 ваше место здесь».

...И вот он накормлен, согрет и сыт
 и может снять сапоги.
 Но пока материал еще не добыт —
 крепись! Отдыхать не моги!
 Трех героев к нему привели.
 Как всегда, разговор с ними труден.
 Как подвиг они отличить бы могли
 от обычных траншейных буден?
 «Ну так как же? — торопит корреспондент. —
 Там был взвод, ты — гранатой с размаху...»
 «Нет, товарищ майор, я в этот момент
 их гранатой-то просто со страху...»
 «Ничего не помню, — твердит второй, —
 вы, товарищ майор, извините.
 Командир приказал нам, а я не герой.
 Обо мне ничего не пишете».
 Третий молча пилотку в руках помял —
 видно только, что верх прострелен...
 Но в планшетке уже лежит материал
 на всю сотню строк непарели.
 «Вас проводят до поля, — ворчит военком, —
 а там два шага до дороги.
 Чуть тревога — вы наземь и в рожь ползком.
 Ум откажет — так вывезут ноги!»

...И вот опять перезрелая рожь,
проводимый остался у кромки.
Хорошо, когда на ночлег бредешь
домой с материалом в котомке!
До закатной полоски — всё волны ржи,
аж в глазах рябит от колосьев.
Друг над ухом пули: жжи... жжи... жжи...
Сапоги точно гири, хоть брось их!
Автоматчики где-то засели вблизи.
Он пригнулся, не соображая:
надо лечь... Нет пилотки, лицо в грязи,
а одна рука как чужая...
...Через двое суток его нашли,
отвезли на КП в повозке.
Плащ в лохмотьях, серые щеки в пыли,
а в планшетке — бумаги полоски.
В газете кипел сумасшедший день,
на пять тактов стучала машина.
Привезли полоски. На первой — тень,
будто пуля ее прошила.
Хоть и суровы законы войны,
но жизнь — это жизнь везде.
Сердца у газетчиков боли полны,
но чем тут поможешь беде?
Верно, много бедняга вложил труда —
строк на двести место готовь!
Сдвинув брови, требователен, как всегда,
редактор хотел сказать: «Вода!..»
НО ЭТО БЫЛА КРОВЬ.

1942.

Западный фронт.



АНАТОЛИЙ АНАНЬЕВ

★

ГОДЫ БЕЗ ВОЙНЫ*

Роман

XVI

Тот заставило Семена торопливо выйти из кухни, Сергей Иванович не знал; несколько удивившись, что разговор так неожиданно прервался, он встал из-за стола и подошел к окну, возле которого еще недавно стоял Семен, и сырой воздух со всеми запахами двора, как и Семену, показался ему наполненным ночной свежестью. Перед ним открылся тот же мир уличных фонарей, крыши и очистившегося над ними звездного неба, как только что он виделся Семену Дорогомилину, и точно так же, всматриваясь, Сергей Иванович не разглядывал ничего отдельно; просто ночной мир за окном производил на него то впечатление целостности жизни, какое теперь, после всего услышанного и пережитого за вечер, особенно необходимо было почувствовать ему. Прежде разрозненные мысли сейчас как бы соединялись в нем, и он с удовлетворением, какою-то будто теплотою разливавшимся по телу, думал, что не зря приехал в Пензу и что хорошо, что время не меняет людей. Ему приятно было думать так о Семене, и в эти минуты он испытывал к нему почти то же чувство, какое испытывал к Павлу и Степану, когда вместе с ними через овсяное поле возвращался с снокоса в деревню. «Хорошие люди, что говорить», — про себя решил он, представив всех сразу: и Павла, и Степана, и Семена Дорогомилина. То, что Семен задерживался и не появлялся на кухне, не волновало Сергея Ивановича; ему хорошо было стоять у окна, и он умиротворенно улыбался в ночную темень, лежавшую за окном.

Он не заметил смятения на лице Семена, когда тот вернулся на кухню.

— Ну что ж, спать так спать, — согласился он, как только Семен сказал, что постель приготовлена для него. — Утро вечера мудренее.

— В гостиной комнате тебе постелили, не возражаешь?

— В гостиной так в гостиной, какой разговор, — опять согласно ответил Сергей Иванович.

Он был в том расположении духа, когда готов был принять все, что бы ни предложили ему. Следом за Семеном он вышел в прихожую, где было теперь тускло, потому что светилось только одно бра на стене, и вошел в гостиную комнату, где было еще более тускло от задернутых штор, потушенных люстр и горевшего красного ночника, который стоял на белом пианино и заливал полированные бока и крышку его кровавым стекающим светом. С минуту Сергей Иванович оглядывался, как только остался один возле застеленного простынею

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

и одеялом дивана; ему показалось, что все здесь теперь было незнакомо ему; от того блеска, от платьев, галстуков, костюмов и лиц, наполнявших еще час назад комнату, остался лишь сладковатый запах духов, щекотавший теперь ноздри Сергею Ивановичу. Но, приглядевшись, он узнал и павловское кресло, на котором восседал Казанцев, и пианино, и высокие тумбы у стены, еще более, чем при ярком свете, напоминавшие сейчас греческие колонны, и узнал гарднеровские статуэтки на них и большой круглый стол с пепельницей и вазой из богемского стекла, в которой лежали еще конфеты и печенье, подававшееся гостям к чаю и не убранное Евдокией. На мгновение он представил себе всех тех людей, с которыми знакомила его здесь Вера Николаевна и которые — каждый со своей степенью учтивости и холодности — протягивали ему руку и оглядывали его; но теперь, после столь приятного разговора с Семеном, у Сергея Ивановича уже не было того чувства к ним, какое испытывал он в первые часы, когда только появился в доме Дорогомилиных; теперь, когда не раздавалось вокруг ни речей профессора Рукавишника, ни реплик Никитина и Казанцева, он не только не противопоставлял все лукьяновское, деревенское им, но, напротив, думал, что между всеми людьми есть что-то роднящее, объединяющее. что мир в сути своей неделим, что все в нем естественно, целесообразно и что надо только не противиться общему течению жизни и не считать, что больше всего забот и страданий выпадает на твою долю. «У меня свое,—мысленно проговорил он, впервые мягко, беззлобно подумав о дочери и впервые ясно почувствовав, что может понять и простить ее.— У него свое,—подумал он о Семене Дорогомилине и о Мите, судьба которого заинтересовала Сергея Ивановича.— У всех свое»,—заклучил он, снова и не спеша пройдясь взглядом по креслам и стульям, одиноко стоявшим теперь вдоль темной стены.

Пока он раздевался и укладывался на диване, который скрипел под тяжестью его как будто огрузневшего за вечер тела, постепенно мысли его опять начали дробиться, распадаться, и дробление это было и незаметно и приятно ему. Он то думал о Дорогомилине, лежа на спине с заложенными за голову руками и улыбаясь своим добрым чувствам к нему; то думал о Мите, которого не мог представить, как тот выглядел, и все время вспоминал его отца, как тот с обожженными будто, бесцветными бровями и с автоматом на груди стоял перед строем солдат, когда батальон в Прейс-Эйлау готовился к погрузке в эшелон; то все это вдруг проваливалось, и перед глазами вырастало сырое от прошедшего дождя утро, когда Сергей Иванович, выйдя вместе с Юлией в Каменке на перрон, обнимался с Павлом и ехал затем с ним на его машине в деревню. Хлеба, лежавшие по обе стороны дороги, и темные клинья отдохавшей земли — все это, перемежавшееся и уходившее к горизонту, вновь вызывало у Сергея Ивановича знакомое уже ему чувство новизны и красоты жизни, и он думал теперь о Павле так, как будто никогда не осуждал его; и точно так же думал о Юлии, которая была сестрой Павла и основательностью характера была похожа на него. «Нет, нет, что говорить, я славно прожил с нею жизнь»,—мысленно рассуждал Сергей Иванович, словно кто-то убеждал его в обратном. Теперь он думал уже только о Юлии—с тем чувством доброты и тем опасением за ее жизнь, как думал о ней, когда она лежала в больнице; он вспоминал лукьяновский двор, избу, Екатерину, Павла и Юлию с ними, и в душе его как бы восстанавливалось то ощущение прочности жизни, какое было утрачено им в день ухода Наташи из дому и смерти и похорон матери. «Какие перемены? Какая старость? То ли было пережито!»—мысленно продолжал он, в то время как глаза его закрывались; но заснуть мешали ему голоса,

доносившиеся то будто сверху, словно кто-то спорил там, то будто из-за стены, словно кто-то смотрел спектакль, включив на всю громкость телевизор; и в то же время голоса эти казались странно знакомыми Сергею Ивановичу, так что, приподнявшись на локтях, он несколько раз прислушивался к ним; но кроме того, что речь шла о птицах и каком-то обмане, ничего понять не мог и в конце концов, сказав себе, что жизнь в больших домах везде одинакова, что в Москве, что в Пензе (имея в виду слышимость от соседей), перестал обращать внимание на эти мешавшие ему звуки, доносившиеся, впрочем, не сверху и не от соседей из-за стены.

В спальне Семен Дорогомилин вел с женою тот самый разговор, которого опасался весь день и который был начат не им, а Ольгою, с упреком бросившей ему: «Я давно ко всему привыкла, но эту новость могла бы услышать от тебя, а не от Буреевой».

XVII

Митя Гаврилов и Лукашова вышли от Дорогомилиных, как только там появился Тимонин; воспользовавшись общим вниманием к нему, они выскользнули из гостиной так незаметно, что, очутившись на лестничной клетке, едва лишь захлопнулась за ними обитая дерматином дверь, посмотрели друг на друга с таким озорным весельем, как дети, сотворившие шалость и знавшие, что шалость эта не только будет прощена им, но и одобрена взрослыми. С этим же озорным весельем в глазах они вышли на улицу, держась за руки, тоже как дети; два фотоаппарата разных марок в кожаных чехлах, блиц с батарейкою и сумочка, висевшие, как всегда, на плече у Лукашовой, сейчас не только не мешали ей, но, напротив, придавали всему внешнему виду ее, и она знала это, особую привлекательность. Она говорила Мите, то и дело заглядывая в его глаза и улыбаясь ему, что рада будет посмотреть эскизы к его будущей картине, и ей действительно казалось, что вся цель ее визита к нему заключена только в этом; но цель ее, и это она тоже хорошо знала, состояла в другом, что, с одной стороны, было как будто несбыточным, но в то же время было и вполне возможным потому, что самые различные браки совершаются на земле, и, главное, потому, что, несмотря на различие в возрасте, она чувствовала, что только она одна может дать счастье ему. Ей хотелось, чтобы Митя понял это, и она всеми силами старалась передать это свое чувство ему; но, кроме интереса к его будущей картине, она не видела, чем можно было еще привлечь его, и боялась заговорить о чем-либо другом, не имевшем отношения к этому его делу.

Пока они шли по улице, они были веселы; но едва только Митя, пропустив вперед Лукашова, перешагнул порог своей квартиры,—различие между тем, как было в доме Дорогомилиных и как было в его квартире, часто и прежде болезненно замечавшееся им, показалось ему теперь особенно разительным; нахмурившись и проведя Лукашова через тесный коридор в комнату, он сейчас же начал торопливо усаживать ее, сперва предложив стул, потом жесткое кресло, стоявшее возле письменного стола, потом принялся ладонью вытирать пыль с настольного стекла, собирать бумаги, карандаши и, смущаясь и не зная, для чего делает это, предложил ей консервированные голубцы, которых был у него целый склад в холодильнике. В ожидании, что ответит Лукашова, он стоял перед ней, неуклюже выставив вперед огромные, с толстыми, собранными теперь в кулаках пальцами руки, и все простовато-крестьянское безбровое лицо его выражало извинение, что он не может ничего лучшего сделать для нее. Ему казалось,

что она должна быть недовольна, что пришла к нему, потому что привычней для нее был другой, дорогомиллинский мир, где он познакомился с ней; но Лукашова не только не была недовольна, но, напротив, радовалась тому, что увидела в его квартире, и чувство, что она будет нужна Мите и что вполне может принести ему счастье,— чувство это сильнее, чем когда-либо, волновало ее. По выражению лица его и по тому, как он предлагал ей консервированные голубцы, она вдруг поняла, что перед нею был не сформировавшийся мужчина, каким она воспринимала Митю раньше, а стоял мальчик с большими руками и широкой грудью, не знавший жизни и не знавший женщин; она вдруг совершенно ясно почувствовала, что цель ее не только достижима, но что осталось сделать лишь последний шаг и что как женщина она подарит ему тот мир наслаждений, за который он всегда будет любить ее. Она вдруг увидела перед собою материал (как скульптор глину), из которого она могла вылепить себе мужа по образцу, какой только мог в самом лучшем варианте представиться ей, и от сознания этого неожиданно привалившего ей счастья, как ловец, боящийся спугнуть птиц, она лишь изумленно и молча смотрела на Митю. Она не думала о том житейском, к чему можно было приложить руки в его холостяцкой квартире; за спиною Мити стояло огромное, как экран, белое полотно, прислоненное к стене, и лежали, сваленные грудю в угол, эскизы и зарисовки к будущей картине, замысел которой она хорошо знала, и вместе с тем как она смотрела на Митю, она видела и полотно и грудю бумаг, и в душе ее все это — и Митя, и полотно, и бумаги — складывалось в одно целое, как будто уже с этой минуты принадлежавшее ей. Она не вспоминала, как она пересказывала у Дорогомиллиных всем, что Митя говорил ей одной о себе; ей казалось, что она всегда думала о Мите так, как думала о нем сейчас. Запоздало она почувствовала себя оскорбленною за насмешки, которые слышала от Казанцева и аспиранта Никитина в адрес Мити, и тот ореол загадочности, какой сама создавала вокруг него (и в который затем поверила), теперь, казалось ей, существовал сам собою, давно и давно привлекал ее. В неярком платье, как она одевалась всегда, не лучшим из ее нарядов, худая, она сейчас более чем когда-либо прежде производила впечатление застенчивой девушки, и глаза ее, обычно выражавшие заинтересованность, как только она оказывалась среди мужчин (и как только встречалась с Митей),— глаза ее как бы излучали тот чистый свет, каким была переполнена сейчас вся ее душа. Она не горбилась, и лопатки не выпирали под платьем и не выдавали ложно-модную худобу ее тела; что-то, что было выше ее сил, заставляло ее сидеть прямо, и по взгляду Мити она чувствовала, что нравится ему.

— Я верю в твой успех, Митя,— сказала она, вместо того чтобы ответить на вопрос, который Митя только что задал ей.

— До успеха еще так далеко,— возразил он.

— Придет, Митя!

— Ты просто добра ко мне.

— Нет, не в доброту дело.

— Мертвецы, скелеты... кому интересно? — Он усмехнулся, проговорив это, той своей нехорошей усмешкою, которую Лукашова и прежде замечала на его лице и которая, она знала, относилась не к ней, а к людям (главное, к Дорогомиллину), не понимавшим его.— Да я и не задаюсь целью ублажать публику,— добавил он.— Красота, которую выставляют в галереях, только усыпляет людей. Да, да,— как будто она намеревалась что-то возразить ему, поспешно подтвердил он.— Я говорю, что есть на самом деле и чего мы не хотим замечать. Не хотим признаться, что все мы понимаем это,

Для него не было новым то, о чем он говорил теперь Лукашовой; он десятки раз произносил эти фразы, оставаясь один в квартире и споря со всеми теми творцами искусства, философии и жизни, которым противопоставлял себя. Как большинство людей, поверхностно знакомых с предметом, о котором берутся рассуждать, но обремененных навязчивой идеей создать нечто, что потрясло бы мир, Митя судил обо всем резко и признавал за художником лишь право будить человечество. Прежде, до знакомства с Казанцевым, Рукавишниковым и Никитиным, он не был так категоричен и думал только о возможности открыть людям глаза на самое непостижимое их безумие — на войны; но после разговоров, которых он наслушался в дорогомиллинской гостиной (и где главным признавалось только то, что противостояло общему течению жизни), он почувствовал себя как бы вдруг вышедшим из избы на воздух, где можно свободно размахивать руками, потому что вокруг нет стен, а есть только постоянно раздвигающийся горизонт, в каком бы направлении ни вздумал идти; эта открывшаяся возможность наслаждаться свободой так увлекла его, что он, о чем бы ни говорил теперь, менее всего думал об аргументации и заботился лишь, чтобы все, что бы ни произносил он, было красиво и звучно. Он давно уже не вспоминал ни деревню, ни свое сиротское детство, ни те зимние вечера, когда с печи, отвернув уголок ситцевой занавески, он смотрел затаив дыхание, как бабушка, разложив перед образом похоронные и запалив тонкие свечки (по числу покойных), молилась, крестясь, кланяясь и большой горбатой тенью застывая на бревенчатой стене. Та тень уже не будила его по ночам и он не вставал и не ходил по комнате; прошлое было для него как бы за рекою, с которой снята переправа. Как человек, никогда не носивший хороших вещей и вдруг надевший новый костюм, он рад был теперь показаться в нем перед Лукашовой, и, раскладывая перед нею на полу и вдоль стены свои эскизы и зарисовки (все то, что показывал когда-то Дорогомиллину), принялся говорить о будущей картине. Сперва он хотел лишь пояснить, чего не говорил ей раньше; но начав, уже не мог остановиться и неожиданно для себя произнес тот свой монолог, который давно и красиво был сложен в его голове и просился на люди.

— Самая страшная болезнь человечества — войны. — Эти первые слова Митя проговорил еще спокойно. — Они происходят бесконечно, сколько помнит история. Почему? Говорят, что войны развязываются не людьми, не простым народом, а разными придуманными гнусными идеями, в которые заставляют верить всех. Очевидно, так оно и есть. Никакие сумасбродные идеи не представляли бы силы и не были бы опасны, если бы не находились исполнители их. Но если мы не можем остановить процесс возникновения зловещих идей, то заставить человечество оглянуться на свои деяния можем и должны. А как это сделать? Написать книгу, в которой была бы рассказана вся наша история, вернее, история человечества? Может быть, это возможно, и придет время — кто-нибудь возьмется и напишет, но книга всего-навсего только книга, она не способна дать того зримого представления, какое встряхнуло бы наши умы. Музыка? Но у нее свои, и тоже ограниченные, возможности. Скульптура? И здесь существует круг, за пределы которого никакой ваятель не в силах перешагнуть. Остается одно — живопись, художественное полотно, на котором можно создать и объем, и глубину, и, главное, то самое впечатление, что вот она, разом вся перед тобою история, ужасная, несправедливая, злая, и выбирай сам: либо будешь продолжать творить зло, либо жить мирно и украшать землю. Дело еще в том, что память человеческая не непрерывна, а, как восходящие ступени лестницы, расчлeнена на отвесы и плоскости; каждое поколение уносит с собой свои страдания, а следующему при-

ходится испытывать все сначала, потому что — как ни страшна война в пересказах, но пережитое стариками для молодых людей остается абстракцией, и я не исключение, нет-нет! — перебивая себя, воскликнул Митя. — Самой настоящей абстракцией, тем, что принимается рассудком, но не чувствами, и потому не может быть и не становится сдерживающей силой, которая в нужный момент заставила бы человека сказать себе: «Стоп! Этого делать нельзя! Нельзя убивать ближнего только из-за того, что кому-то из собратьев твоих показалось, что тебе тесно и неудобно живется на земле». Именно тебе, а не ему, ибо без этого величайшего обмана ты и сам никогда не возьмешь в руки оружие. Нужна картина, Аня, стоя перед которой, каждый бы трезвел и хватался за голову. И я не первый думаю об этом. Во всяком случае, полагаю, что не первый. Так думали многие, даже пытались создать нечто. Груда черепов, например; или еще: гробы с мертвецами, повисшие один над другим... Но мне хочется не частности, а обобщений, не отдельное зло, а всю эволюцию его, весь процесс в разрезе: и черепа, и гробы с мертвецами, и витающие над всем этим (для каждой эпохи свои!) злые, но облаченные в благородство идеи, и оружие — от каменных топоров, колчанов и стрел до зловещего атомного гриба над Хиросимой, и страдания, эта неизмеримая, но все же чем-то можно ее измерить, раз она существует, человеческая боль. Один бывший фронтовик как-то сказал мне, что вся моя затея — бред, ерунда, глупость, что зло неистребимо и что никакие художественные полотна не способны изменить образ мыслей и жизнь человечества. «Зло в другом», — сказал он. Но в чем? в чем? — повторил сейчас Митя. Он на секунду замолчал, вспомнив, как после встречи с Дорогомилиным, которая происходила здесь же, в этой комнате, он долго не мог заснуть, ходил из угла в угол, останавливался перед белым полотном и снова ходил, мучительно проверяя и перепроверяя то, как сам он понимал жизнь и движение жизни; он мысленно спорил тогда с Дорогомилиным, доказывая, что причина зла (не вообще зла, а того, какое он имеет в виду: когда люди берут в руки автоматы и идут покорять другие народы и земли), — причина прежде всего в неведении; в незнании истории, ужасов, страданий; но Дорогомилина не было в комнате, и Митя лишь доказывал себе, что и без того было очевидно и ясно ему. А что имел в виду Дорогомилин, говоря: «...в другом», — так и осталось для Мити невыясненным, и потому сейчас, после секундного молчания, повернувшись к Лукашовой и взглянув на нее, он еще раз повторил: — В чем? Ему, видимо, зло действительно представлялось неистребимым, а я говорю о тысячах, миллионах, у которых нет в душе зла, но которые вынуждены страдать из-за того горя, какое приносят нашествия и войны. Это зло едино для всех, я убежден, и раз оно едино, оно может быть уничтожено, если наступит прозрение. Я не боюсь неудачи. Всякое может случиться. Но я не отступлюсь, потому что все это надо людям, понимаешь, Аня, людям, нам. Я перебрал десятки вариантов, набрасывая схему будущей картины. Было и решение горизонтальное, что ли, если так можно сказать, и елочное, когда каждая отходящая от стержня ветвь должна была представлять собою эпоху, но самое лучшее, на чем пока остановился, это — как бы разрез земной коры с напластованными эпохами. Все полотно я разделил на полосы, нарастающие вверх, на столетия, и одинаковыми для каждого столетия будут лишь черепа и кости, кровь, слезы и страдания, и разными, для каждого времени свои, витающие над людьми зловещие идеи и свое оружие уничтожения.

Эскизы и зарисовки были уже давно разложены им, он стоял возле большого белого полотна для будущей картины и говорил, почти не прерываясь, то глядя на полотно, то оборачиваясь и глядя на стран-

но похорошевшую (он замечал это) и сидевшую тихо Лукашову, и не думал, что был уже поздний час и что пора было ей уходить домой. Ему хотелось еще рассказать о цифрах, которые он собирался поместить на картине, и он говорил:

— Они не помешают, а только усилят впечатление, да я и не собираюсь выдерживать все в строгой, классической, скажем, форме, у меня другая задача.— Почти прислонясь к белому холсту, он начал показывать рукою, где он намеревался расположить эти пока еще хранившиеся в архивах, не выписанные и не обработанные им разные статистические данные о всех известных истории минувших войнах.— Сотни погибших, тысячи, миллионы, десятки миллионов унесенных войнами жизней — что может быть нагляднее и ужаснее этого возрастающего потока смертей? И хотя, я понимаю, не так просто узнать эти цифры, придется перерыть тома разных сообщений, может быть, заглянуть в летописи или еще, я не знаю пока, в какие источники, но любые трудности — это всего лишь очередной барьер, который только кажется высоким, потому что у страха глаза велики, но на самом деле его можно преодолеть. Меня ничто не пугает, Аня, впереди целая жизнь, и, право же, если стремиться, кое-что можно успеть в ней.

Удовлетворенный тем, что высказал все наболевшее, что жило в нем, и добавив в заключение: «Ну вот», Митя принялся расправлять эскизы, лежавшие на полу, концы которых скручивались, так что нельзя было ничего разглядеть; Лукашова же, которой показалось (несмотря на то, что она как будто знала все о картине) необыкновенным все, что она услышала сейчас от Мити,— она продолжала смотреть на белое полотно, прислоненное к стене; она чувствовала себя как бы перенесенной из маленькой, будничной, где все ограничено (то ли стенами и потолком, когда в комнате, то ли фасадами зданий, когда на улице) и все движется по какому-то замкнутому кругу — ночь, день, работа, сон,— в иную, огромную, с ощущением бесконечности пространства и времени жизнь, и ей было приятно и страшно оттого, что произошло с ней это. Она не вникала, да и не могла вникнуть в суть того, о чем говорил Митя, но ей вполне понятно было главное — что он желает добра людям и что желание это в нем настолько сильно и так благородно, что невозможно ни возразить, ни противостоять ему; ей снова и еще яснее, чем прежде, казалось, что она встретила человека удивительного, не похожего ни на кого из всех других ее знакомых, и то, что он сам пригласил ее к себе (она верила теперь в это) и что был откровенен сейчас с ней, лишь подтверждало, что она нравится ему, и она вся как будто горела от мысли, что именно он, Митя, может стать ее мужем. Она встала, продолжая, однако, смотреть на полотно, когда Митя подошел к ней. Он хотел что-то еще сказать ей, но, притронувшись к ее руке и почувствовав близко перед собою ее лицо, он не то чтобы увидел, но понял, что выражали ее глаза, и неожиданно смутился под этим ее тревожно-радостным и счастливым взглядом. «Нет. Нет, нет,— сказал он себе, опровергая то, о чем не просто подумал, но что как бы само собою вдруг открылось ему — возможность близости с Лукашовой.— Нет»,— повторил он, посмотрев на нее уже другим, оценивающим взглядом. Он был теперь так близко от нее, что, казалось, слышал ее дыхание; он видел ее худое плечо, грудь, белую шею и видел лицо, сверху и ярко освещенное светом, и хотя не говорил себе: «Что-то есть в ней особенное», но сознавал именно это; он ладонью обхватил ее сухую руку и, испытывая желание теперь же, сию минуту сделать для нее что-то хорошее, но не находя, что можно бы сделать, лишь слегка наклонился к ее лицу и спросил:

— Тебе было интересно?

— Да,— ответила Лукашова, не отстраняясь и не высвобождая руку из его горячей, как ей казалось, ладони.

— Ты что-нибудь поняла?

— Да,— снова проговорила Лукашова.— У меня такое ощущение, что картина уже написана.

— Ну что ж,— отпуская ее руку и уже не испытывая к ней того чувства, как минуту назад (может быть, потому, что опять разговор зашел о картине и он, как и Аня, смотрел на полотно), сказал Митя привычным, спокойным тоном,— это только подтверждает мою мысль, что такая картина нужна людям и что она никого не оставит равнодушным.

— Полотно белое, а я как будто все вижу на нем. Ты говорил так, словно сам прожил все эти столетия.

— Если бы это было так! А впрочем, каждый человек от рождения своего и до смерти в какой-то мере проходит весь путь развития человечества. Развитие человеческой мысли,— поправил себя Митя.— Да, в какой-то мере... путь развития человеческой мысли.

XVIII

Мертвые лица ото всех углов комнаты смотрели на Лукашову с Митиных эскизов и вызвали в ней чувство, от которого становилось не по себе; она попросила убрать их, и пока Митя собирал, отошла к двери и, прислонившись спиной к косяку, наблюдала за ним. Потом они сидели на кухне, где Митя готовил по своему методу консервированные голубцы — он все же упросил Аню поужинать с ним,— и разговор о картине, совсем затихший было, оживился вновь. Митя решил, что он не сказал ей главного — как зарождался замысел картины; но, начав со слов: «Откуда пошло все», он вдруг обнаружил, что не может с точностью установить, откуда же именно пошло все, и принялся рассказывать, как он жил в деревне и как по вечерам, когда у бабушки собирались гости, о чем бы ни затевали они беседу, неизменно заканчивали тем, что большая половина мужиков не вернулась с войны. «И в девятьсот пятом, в японскую, было так, и в первую германскую», — говорил он, как говорила тогда бабушка. Он вспоминал еще и еще разные события, поглядывая на Лукашову с улыбкой, какую прежде никто не видел на его лице (улыбка эта, однако, не имела отношения к его разговору, а происходила от другой мысли, которую он не высказывал, но которая с большей, как видно, силою занимала его); он принес из комнаты ларчик, в котором лежала теперь и бабушкина похоронная, и хотя Ане давно пора было уходить, продолжал занимать ее разговором. Он не вполне отдавал себе отчет, для чего делал это, и, казалось, не думал о близости с нею; но вместе с тем он задерживал ее именно для того, чтобы она осталась у него, и по выражению глаз ее и всему поведению видел, что она была согласна и что, в сущности, они давно говорят не о картине, а о том, что как будто еще с первых минут, как только они очутились в Митиной комнате, начало волновать их. Митя чувствовал, что в этом бессловесном разговоре было еще больше взаимопонимания, чем в том, какой они вели вслух, и каждый раз, когда вставал из-за стола, чтобы принести что-то, непременно старался пройти мимо Ани и, проходя за ее спиной, приостанавливался и, будто в знак какого-то поощрения, пожимал ее плечи.

Но несмотря на все это взаимопонимание, какое, казалось Мите, было между ним и Лукашовой, он должен был все же сказать ей,

чтобы она осталась, и обычные житейские слова, какие в другом случае произнес бы просто и естественно, как всякий гостеприимный хозяин, он не мог сейчас выдать из себя; он чувствовал, что они прозвучат ложно и обнажат его тайные мысли.

— Уже поздно, может быть, ты переночуешь у меня? — наконец проговорил он.

— Ты так считаешь?

— Да.

— Где ты меня положишь?

— На диване.

— А сам?

— Что сам? Найду,— сказал Митя, краснея оттого, что говорит неправду и что в однокомнатной квартире его нет другого места, где еще можно было бы пристроиться на ночь.— Обо мне ли речь? — добавил он и, в то время как произносил это, ясно почувствовал, что именно теперь настала минута, когда он был как бы оголен перед Лукашовой; он посмотрел на нее тем взглядом ожидания и надежды, что не будет осужден, какого, впрочем, она ждала от него и какой был приятен ей.

— Ну vedi,— сказала она, вставая и вся как бы отдаваясь Мите.— Vedi,— повторила она, как будто незаметно, но по-своему пристально вглядываясь в него. «Боже, он мальчик, дите»,— снова подумала она, видя, как Митя смущается и робеет. Она знала, что мальчик этот сделает сейчас для нее все, что только она захочет, и хотя она, как ей казалось, ничего не хотела и не просила у него, но сознание власти над ним вызывало в ней то особое чувство гордости, когда помимо желания и воли человек совершает совсем не то, что подсказывает рассудок. Она вдруг снова вернулась к тому своему чувству игры с Митей, как она относилась к нему прежде, в первые дни знакомства, и, присев на диване, куда Митя теперь подвел ее, вытянула перед собою ноги и сказала:— Сними, пожалуйста, туфли с меня.

Митя покорно принялся разувать ее, опустившись перед нею на колени, и в то время как снимал с нее расхожие лакированные туфли, смотрел не на свои руки, что делал, а на Лукашову; он видел ее глаза, которые были как будто те же, что он видел перед собою весь этот вечер, и вместе с тем он чувствовал, что не может понять, что выражали теперь эти глаза; он видел, что лицо Лукашовой было сейчас еще более красивым, чем оно всегда представлялось ему, но вместе с тем — это же лицо было как будто неизвестным, чужим, и перемена в Лукашовой, несмотря на все возбуждение от предстоящей близости с нею, какую-то странною тревогой отдавалась сейчас в душе Мити. Как человек, только что спешивший в ночи на огонек и вдруг потерявший из виду этот единственный ориентир, Митя всматривался в Анины глаза, отыскивая то взаимопонимание, какое только что, казалось, ясно читал в них. Когда он снял с нее туфли, Лукашова попросила снять и чулки, спущенные ею до колен, и он все так же, не глядя на свои руки, принялся выполнять ее просьбу, краснел и глупо улыбался ей.

— Теперь оставь меня на минуту,— сказала Лукашова, косясь на его ладони, которыми он обнимал ее голые колени.

— Да, конечно,— ответил Митя; он только и мог сказать ей лишь эти слова.

— Может быть, ты все же оставишь меня? — повторила Аня.

— Что за вопрос? — Все так же глупо улыбаясь, он встал и вышел на кухню.

«Для чего? Зачем? Что я делаю?» — подумал Митя. Он задал себе те самые вопросы, которые рано или поздно должны были возникнуть в его голове; но, как одинокие кусты в наплывающем с луга тумане, вопросы эти сейчас же потонули в общем радостном чувстве, еще сильнее будто теперь, когда он вышел от Лукашовой, охватившем его; стоя посреди комнаты с Аниным чулком на плече, который, стянув с ее ноги, повесил еще там, у дивана, и не снял, выходя из комнаты, и не замечал сейчас, он весь, казалось, прислушивался к тому, что делалось за дверью; он знал, что она раздевалась и укладывалась под одеялом, но в воображении представлял ее себе такой, какой она помнилась ему в лучшие минуты встреч и разговоров у Дорогомилинных. Он как бы отвечал этим на свои вопросы «для чего?» и «зачем?», вспоминая ее красивую худую шею, плечи и руки с белыми длинными пальцами, которые всегда казались ему признаком благородства; но видел он все это на фоне горевших люстр, вишневых обоев с тройчатыми золотыми подсвечниками, ковров, стульев и кресел, как если бы смотрел на икону, обрамленную ризой; риза была богаче, чем икона, затмевала собой все, и Митя чувствовал, что более нравились ему обстановка и атмосфера духа в дорогомилинской гостиной; он все лучшее, что находил в Лукашовой, связывал именно с этой гостиной и, сближаясь с Аней, как бы сближался со всем тем возвышенным миром, который казался недоступным и потому привлекательным ему. Он невольно подтягивал все свои дальнейшие планы к этому своему чувству, какое испытывал сейчас к Лукашовой, и перед мысленным взглядом его с ясностью, как все, что в этот вечер являлось его воображению, будто открывалась галерея стеклянных колонн, и, по мере того как он входил в нее, колонны раздвигались и пропускали его; на мгновение, так как счастье всегда было для Мити лишь отвлеченным понятием, лишь словом, в которое все жаждущие чего-то лучшего люди вкладывают свои мечты, — на мгновение ему показалось, что счастье как раз и состоит из этого ряда воображенных стеклянных колонн, за которыми он не видел сейчас что стояло и висело, но чувствовал, что была та самая возвышенная атмосфера духа, как у Дорогомилиных в гостиной. «Ну, что там, уже тихо», — подумал он, вдруг как бы возвращаясь от счастливых грез на землю и прислушиваясь к тому, что делалось за спиной. Повернувшись, он подошел к двери; и хотя она была открыта, не сразу вошел в комнату; он еще несколько раз отходил к столу, на котором остывали на тарелке не доеденные Аней консервированные голубцы, и возвращался к двери, прислушиваясь, словно должен был уловить какой-то условный знак; но, не дождавшись ничего, наконец, приподнимаясь на носках, вошел в комнату и остановился перед лежащей на диване Лукашовой.

— Ты не спишь? — спросил он, чтобы сказать что-то.

— Нет.

Он подсел к ней на край постели, взял ее вытянутую поверх одеяла руку и принялся молча гладить ее. Он чувствовал, что его теперь еще сильнее, чем только что, когда входил сюда, охватывало то странное волнение, будто его незаслуженно одаривали чем-то ценным, и он хотел и стыдился принять дар; и хотя он продолжал неотрывно смотреть на Аню, на ее лицо, которое в комнатном полусумраке почти сливалось с белой подушкой и было заметно только потому, что вдоль щек и шеи лежали распущенные волосы, — перед ним то и дело опять словно вырастали те самые ряды стеклянных колонн, которые лишь минуту назад, на кухне, впервые как бы открылись и обступили его; он не мог бы сказать теперь, было ли у него деревенское детство, были ли шкатулка с похоронными, белое полотно для

картины и все те эскизы и зарисовки, которые он в этот вечер с увлечением показывал Лукашовой; вся жизнь, и прошлая и в еще большей степени будущая, представлялась ему сейчас заключенной в центре этих колонн, которые, перемещаясь, издавали непривычный хрустальный звон; Митя отчетливо слышал этот звон, глупо улыбался ему и смотрел на Аню. Он не думал, что в том положении, в каком Лукашова лежала теперь перед ним, когда невозможно было различить ни морщин, ни складок, а вырисовывались только общие контуры оголенных плеч и шеи, любая женщина выглядела бы привлекательной, ему казалось, что перед ним была та единственная, лучше которой нет и не может быть на свете, и он весь затихал от сознания, что Аня не только не отстранялась от него, а, напротив, доверчиво отдавалась ему. Он смотрел на нее молча и только в мыслях непрерывно говорил ей: «Я люблю тебя, Аня! Слышишь, люблю!» Но позднее ему всегда казалось, что он сказал ей эти слова; сказал прежде, чем, наклонившись, поцеловал, и прежде, чем, почувствовав на спине ее руку, ощутил то движение, будто она потянула его к себе.

ХІХ

Почти под самое утро Лукашова, оставив крепко спавшего на диване Митю, оделась и вышла из дому. Прежде, когда она ночевала у аспиранта Никитина, она не уходила от него так рано и не опасалась, что кто-то увидит ее; даже от профессора Рукавишников, когда однажды, отправив жену к сестре, он прямо от Дорогомилиных привел Аню к себе и оставил на ночь, она ушла в тот час, когда автобусы и троллейбусы были уже полны народу; но от Мити — что-то словно подсказывало ей: «Уходи!» — и, в то время как она прислушивалась к этим будто вне ее раздававшимся словам, она точно знала, почему ей нельзя оставаться у Мити; она боялась, что утром, при свете, будет выглядеть иначе, чем теперь, и Митя увидит, как она стара и некрасива. Она боялась нарушить то счастье, какое, казалось, было уже у нее в руках, и чувствовала себя так, как случилось с ней в детстве, когда отец, забавляя ее, подавал лоснившийся мыльный пузырь на соломинке. Он говорил обычно: «Тихо, спокойно, не шевелись», — и Аня замирала, беря из рук отца соломинку и во все глаза глядя на приближающееся чудо. Главным было — не изменить того положения, в каком она стояла, чтобы чудо не сорвалось и не улетило или не лопнуло тут же, и тогда счастье смотреть на него, казалось, могло быть вечным. В сознании ее все происшедшее с нею в этот вечер округлялось во что-то хрупкое и ненадежное, что при малейшем неверном движении могло сорваться и улечь, и она ушла именно потому, что хотела сохранить в Митиной памяти все таким, как было с вечера.

Когда она, спустившись по лестнице, вышла из подъезда на улицу, был тот предрассветный час, когда чернота ночи, как будто готовясь к обороне и не желая отступить перед светом, стекалась во все самые теневые углы и подступы к зданиям, и когда кирпичные стены домов, асфальт и камень, уже отдав к полуночи все накопленное за день тепло, дышали холодом и сыростью, и все вокруг было неприветливо, мрачно, как неприветливо, мрачно и сыро бывает между каменными глыбами, куда никогда не проникают лучи солнца. Электрические фонари, горевшие на столбах, лишь огромными желтыми пятнами освещали асфальт и только усиливали впечатление безжизненной тишины ночного города. Лукашова несколько мгновений, пожевываясь, стояла у подъезда, думая, куда ей пойти теперь: к подругам (у нее было несколько адресов) или домой? Ей одинаково непри-

ятно было идти и домой и к подругам: **домой** — потому, что она не любила своих стариков, отца и мать, была с ними груба и считала их повинными во всей своей неудавшейся жизни, к подругам же — потому, что пришлось бы объяснять свое появление, что-то придумывать, лгать, а правду о сегодняшней ночи она не хотела говорить никому. В конце концов, так как воображение ее было более занято Митею, чем домом и подругами, она двинулась в том направлении, к окраине Пензы, где среди почерневших от времени изб, окруженных изгородами и заслоненных от посторонних взглядов палисадниками, стояла и ее родная изба. Она шла одна по пустынным улицам, странно не боясь ни безлюдья, ни тишины и удивляясь этому; она то попадала в желтое пятно электрического света, и тогда вся ее худенькая фигура словно покрывалась белым налетом и тень, возникавшая сначала за спиною, укорачиваясь, бросалась под ноги и появлялась уже впереди, вырастая в длинную жердь, расплываясь и тая; то вдруг, когда она входила в неосвещенную полосу, все исчезало, и не было ни обгонявшей тени, ни того белесоватого налета, который как будто придавливал ее плечи; и почти точно так же, как она сама двигалась, то входя в тень, то снова выходя на свет, двигались ее мысли, то поворачиваясь ясной стороною, когда она вспоминала, как Митя держался и что говорил ей, то неожиданно — будто тучи смыкались над головой, и она начинала сомневаться, что счастье наконец подвернулось ей и она может быть счастливой. «Так неприятны его мертвецы, зачем он рисует их?» — думала она, стараясь отогнать эти волновавшие ее мысли. Но вместе с тем как она говорила себе, что «мертвецы» неприятны ей, была рада именно тому, что видела Митины эскизы. «Боже мой, он талантлив. Он сам не знает, как он талантлив!» — восклицала она.

XX

Жизнь Лукашовой не была однозначной; она состояла как бы из трех параллельно бегущих линий, которые настолько отличались друг от друга, что Лукашову, какой она представлялась всем в дорогомиллинской гостинице, невозможно было узнать, какой она бывала дома, и еще более невозможно было узнать, когда она, затворившись в темной (без окон) крохотной редакционной фотолаборатории, оставалась наедине с собой. У Дорогомиллиных, в обществе Казанцева, Рукавишниковой, Никитина, Ольги, Веры Николаевны и Светланы, она старалась быть похожей на них; ей хотелось, чтобы все думали, что и она тоже происходит не из крестьянской, малообеспеченной и необразованной, а другой, интеллигентной, как принято говорить теперь, семьи; она стеснялась того, как жила, своего неустроенного (без удобств) быта, потому что именно по быту, как ей казалось, а не по делам угадывалось теперь общественное положение людей. «Все давно живут по-человечески, а вы! Вы не заработали себе даже квартиру, чтобы не выглядеть белыми воронами», — выговаривала она не раз отцу и матери за то, что они не сообразили в свое время избавиться от собственного дома, не уловили самого духа времени и остались на той же низшей ступени (главное, оставили ее), с какой начали свой путь. Ей казалось унижительным жить в наше время в собственном доме, если бы он даже выглядел лучше, чем тот, что был у них, и потому ни в редакции, где она работала внештатно, по трудовому соглашению, ни у Дорогомиллиных она никому ничего не рассказывала о себе; среди всех своих знакомых она сумела поставить себя так, что все как будто знали все о ней, и в то же время никто не мог ничего определенного сказать про нее; чтобы быть на виду и хо-

рошо принятой всюду, нужно поддерживать о себе мнение как о человеке, вполне удовлетворенном жизнью, и тогда никто не будет интересоваться подробностями; она усвоила эту нехитрую философию и следовала ей с такой настойчивостью, что теперь уже не составляло ей труда улыбаться, когда это надо было, быть внимательной, когда требовали обстоятельства, говорить или слушать заведомую глупость с умным выражением, курить или не курить, в зависимости от того, куда она попадала и что требовалось для того, чтобы выглядеть вполне современной эмансипированной молодой женщиной. Но она уставала от этой постоянной игры, и когда приходила домой, в ней вдруг просыпалась ненависть ко всем тем людям, кому она подражала, и ненависть эта, которую она не могла удержать в себе, обрушивалась на стариков. Они были виноваты во всем. Они жили не так, как этого хотелось Лукашовой, — садили огород, сушили валенки на плите и вывешивали перину на заборе. «О боже, ископаемые», — про себя говорила она. Когда она возвращалась от Дорогомилиных, ей всегда казалось, будто она попадала из одного века в другой; особенно она не могла видеть ситцевые занавески у себя на окнах; белые с желтыми и коричневыми разводами, они были так противоположны темно-вишневым дорогомиллинским и так простили все в доме, что в один из вечеров, войдя в комнату, она сорвала их с окон и, скомкав, бросила под ноги матери: «Ненавижу!» Она с неделю после этого не жила дома, а когда, успокоившись, вернулась, ситцевые занавески, выстиранные, заштопанные и отутюженные, снова висели на окнах. Аня ничего не сказала матери, и мать тоже ничего не сказала ей; но с того дня между ними установилась какая-то молчаливая внутренняя борьба, от которой всем тяжело было в доме.

С отцом Аня считалась еще меньше, чем с матерью; она не представляла его себе иначе чем в рубашке и кальсонах слезающим с печи, и ей казалось, что вся фронтовая судьба его — ранения и награды — была придумана им, что такой человек, как он, который даже кирпича не может достать, чтобы вымостить во дворе дорожку, — где уж было ему идти против немцев. «Называется, мужчина в доме», — думала она, с нескрываемым осуждением, как и на мать, глядя на отца. Ей не нравилось, как одевалась мать — в однотонные, длинные и мешковато сидевшие на ней платья, — но еще более не нравилось, как выглядел отец; на нем почему-то всегда были линейные рубашки, и носил он их поверх брюк, которые тоже, как считала Аня, ни стирать, ни гладить уже не было смысла. По старой фронтовой привычке, хотя война была давно позади, отец продолжал курить самокрутки, и это особенно раздражало Аню; она брезгливо морщилась, видя его до желтизны прокуренные пальцы, и как только слышала, что он снова отрывает газету для сигарки, бросала ему на стол сигареты, которые доставала из сумочки, но он, лишь молча покосившись на них, вставал и выходил в сенцы, потом на крыльцо, и оттуда долго затем доносился его глухой, как будто простуженный кашель. «Наградил же бог родителей», — думала Аня. Когда привозили уголь и надо было ведрами через двор носить его, она сейчас же уходила из дому; она и в редакции бралась не за всякую работу и не выезжала ни на посевную, ни на уборку; она делала большей частью лирические, как сама называла их, сюжеты, и вся ее крохотная редакционная фотолаборатория точно так же, как бывают мужские холостяцкие квартиры оклеены зазывными личиками актрис, была увешана разными прошедшими через печать и не прошедшими снимками. Она подолгу иногда, включив верхний свет и затворившись, стояла перед запечатленными ею мгновениями чужой жизни; но она не завидовала этой чужой жизни, как завидовала Ольге, Светлане и

Вере Николаевне; мир снимков был для нее тем миром, который она создавала сама, как художник картину или писатель книгу, и в этом созданном ею мире и люди и природа — все было пронизано тем возвышенным чувством, какое, сколько она помнила себя, жило в ней. Когда ее посылали сфотографировать новое здание, она старалась снять его так, чтобы на переднем плане непременно виднелось что-то особенно лирическое: либо падающие с деревьев листья (если осень), либо опущенные снегом подоконники и перила балконов (если зимой), либо еще что-нибудь, но такое, на что невозможно было бы не обратить внимания; когда же приходилось снимать людей, стремилась поймать момент, чтобы движение было в их лицах; но более она предпочитала фотографировать влюбленных, со спины, когда они сидели где-нибудь на скамейке в сквере или, поднявшись и держась за руки, уходили в глубину сада, и такие снимки, она знала, лучше всего удавались ей. Она создавала этот мир красоты и любви не только потому, что нужно было зарабатывать деньги, но находила в занятии этим то удовлетворение, какого не получала ни у Дорогомилиных, ни дома; у Дорогомилиных она лишь подстраивалась под общий и не ею задаваемый тон, дома постоянно боролась с тем, что было противно ее представлениям о жизни, и только среди снимков наконец становилась сама собой; она иногда чувствовала в себе желание и силы сделать что-то большее, чем снимки, ее тянуло к письменному столу, но она не решалась сесть за него, порыв угасал, не найдя выхода, и она снова, как только наступал вечер, отправлялась к Дорогомилиным... Она принадлежала к той категории нынешних молодых людей, которые, получив образование, не могли толком уяснить себе, чего они хотят от жизни и что сами могут вложить в нее; когда она, окончив педагогическое училище, поступила младшим корректором в газету, она в силу определенных причин оказалась перед выбором, как распорядиться собой: принять ли то модное направление, что современный человек должен быть лишен всяких предрассудков, что бесстыдства нет, а есть простота нравов, и что только полная освобожденность женщины от семейных уз даст ей наконец равное во всех отношениях место с мужчиной, или выйти замуж, обзавестись детьми и жить, как все, привычной, естественной, но устарелой (по мнению тех же молодых людей) жизнью? Так как первое — простота нравов — представлялось взлетом и даже в какой-то степени вызовом обществу, Лукашова без оглядки приняла именно эту линию; но с годами, чем больше расширялся у нее круг знакомых, тем очевиднее становилось ей, что она совершила ошибку; она, как зверек, добровольно вошедший в клетку и вдруг обнаруживший, что выхода из нее нет, начала метаться, хватаясь за все, что подворачивалось ей; была у Никитина, у Рукавишникова; но она еще никогда не чувствовала себя так близко к цели, как в эту ночь, возвращаясь от Мити.

XXI

Она не знала, что в эту же ночь ей предстояло пережить еще одно событие, которое надолго должно было сохраниться в памяти. Пока она была у Мити, в доме ее случилось несчастье — умер отец. Он не был болен и даже не жаловался на обычное свое недомогание; с утра отгораживал угол для поросенка в дровяном сарае, потом окучивал картофель на огороде; лишь под вечер, сказав: «Что-то устал я», — прилег на кушетку под байковое одеяло, и когда Александра (так звали мать Ани), еще с детства, от родителей усвоившая, что на закате солнца спать нельзя, что это вредно и не к добру, пошла раз-

будить его, он был мертв и уже начал остывать всем телом. Она кинулась к соседям, бледная и не знавшая, что делать; вызывать «скорую» было бессмысленно, так как ему уже ничто не могло помочь. Он умер от осколков, бродивших в его теле и проникших в сердце (так позднее установили, при вскрытии); но от чего бы ни умер он, для Александры одинаково непостижимо и тяжело было горе; как будто сброшенная с крыши, она лишь бессмысленно просила: «Пустите меня к нему, пустите», — когда женщины, пришедшие в несчастье помочь ей, обмывали покойного. Его уложили затем на стол, выдвинутый к середине комнаты. Гроба не было; одетый во все новое, он лежал под простынею, прикрывавшей его до пояса, и видны были только руки в крахмально-белой рубашке с манжетами, скрещенные на груди, морщинистое лицо и еще более морщинистая шея, обхваченная тоже крахмальным и жестким, как манжеты, воротником. Так как Александру нельзя было оставить одну с умершим, те же самые женщины, что обмывали покойного, молча затем расселись вдоль стен; они сидели всю ночь, лишь иногда поднимаясь, чтобы поправить горевшую в руках покойного свечу. Под утро сделалось плохо Александре, ее уложили на кушетку, и в это время пришла Аня. В первую минуту, остановившись у порога, она подумала, что попала к чужим и что надо поскорее уйти отсюда; но лицо покойника, она ясно увидела, было лицом отца, и все вещи вокруг были теми домашними вещами, которые она привыкла всегда видеть в своем доме; она обвела взглядом женщин и снова посмотрела на мертвеца, лежавшего на столе; что произошло непоправимое, она поняла вдруг как удар, как стук, который ясно послышался ей, и она, вскрикнув, обхватила руками грудь и шею, как будто ей трудно стало дышать. На мгновенье она перестала различать, что было в комнате; предметы, люди, покойник на столе — все слилось в одно колеблющееся (от свечного пламени) желтое пятно, и она лишь старалась выделиться в этом пятне, что было страшно и в то же время как будто непременно нужно было увидеть ей. Привыкшая к тому, что все, что делалось в доме, делалось лишь для того, чтобы выставить напоказ ее дурные поступки, она и смерть отца восприняла так, словно он хотел сказать ей: «Ну, видишь, какова цена твоего счастья», и оттого в душе ее болезненнее, чем когда-либо прежде, вспыхнуло чувство протеста, что она не виновата ни перед кем и что счастье ее не может зависеть ни от отца, ни от кого бы то ни было из людей. «Нет», — проговорила она, бледнея и подаваясь вперед; все поднималось в ней не против того, что умер отец (осознание горя придет позднее), а против того, что кто-то будто несправедливо и жестоко наказывает ее. «Не-ет!» — затем почти истерично и с какою-то словно мольбою и отчаянием вскрикнула она и бросилась к отцу. Она остановилась у его изголовья и, впившись пальцами в стол, продолжала произносить: «Не-ет! Не-ет! Не-ет!» — как будто что-то могло измениться от этого. Вздрагивая худыми, съезженными, словно озябшими с улицы плечами, она ниже и ниже наклонялась над отцом, и от ее движений, дыхания и плача пламя свечи колебалось. «Нет! Нет!» — продолжала она, не помня уже, что делает, а лишь мучимая болью, что все лучшее всегда рушилось в ее жизни. Она производила то благоприятное впечатление на сидевших вокруг пожилых женщин, как будто и в самом деле любила и жалела отца; по-соседски знавшие и не одобрявшие поведение ее и с осуждением встретившие, когда она появилась на пороге («Отец на смертном одре, а ее черт по любовникам носит», — было общее мнение их), они теперь с удовлетворением смотрели на нее, давая ей выплакаться, и, переглядываясь, обменивались чуть заметными и приличествующими минуте одобрительными кивками. Для

Александры тоже было неожиданным, что дочь так близко к сердцу приняла случившееся; приподнявшись на кушетке, она взглянула на нее и не то чтобы сейчас же поняла, что слезы дочери были не теми слезами (не по умершему отцу), но почувствовала, что не может даже теперь, в горе, простить ей что-то большее, и отвернулась от нее. Она уже не слышала, как Аню почти силой оторвали от стола и, успокаивая, усадили на стул; ей было все равно, что делала дочь и что делали женщины с нею; она глядела перед собой в пустоту, и та минута, когда она, подойдя вечером к мужу, чтобы разбудить его, приоткрыла к его плечу и впервые почувствовала, что он мертв,— та минута снова начала как бы повторяться для нее, и она мысленно вскрикивала, видя, как опять и опять, соскальзывая с кушетки, неестественно и безжизненно повисала над полом холодная рука мужа. Нескольким раз она впадала в забытие, затем открывала глаза, чтобы все ужасное пережить заново; как и Аня, она думала, что все случившееся было наказанием, но только еще меньше, чем дочь, понимала, за что, и, перебирая в памяти прошлое, искала и не находила в своей жизни ничего, что хоть как-то порочило бы ее; ей тоже казалось, что произошла несправедливость, и она поминутно произносила: «Господи, за что?!»

Над городом между тем занималось утро. Оно было обычным, теплым и ласковым для всех людей, и необычным, тяжелым для Лукашовых. Несмотря на подавленное состояние, в каком находились они, с наступлением дня к их душевным терзаниям прибавлялись теперь еще заботы по похоронам, без которых нельзя обойтись, и так как мать, ослабевшая за ночь, не могла даже подняться с кушетки, все предстояло взять на себя Ане. Но она никак не могла понять, что все это надо было делать ей, и в то время как сидевшая рядом женщина, соседка и приятельница их дома, хорошо знавшая, что и как делается при похоронах, говорила ей: «Позвать, кого нынче позовешь, а идти надо, надо начинать, а то и к завтраму не успеешь»,— Аня, словно не слыша ее, продолжала молча смотреть на отца. Она не плакала; с той минуты, как ее усадили на стул, она будто переменилась, присмирела, обмякла, и только в глазах было заметно что-то жесткое и отчуждавшее ее от всех в доме. Она временами, забываясь, старалась отыскать в себе тот светлый ручеек, который переливался в ней, когда она шла от Мити, но вместо ручейка ей то и дело теперь являлись Митины эскизы с мертвыми лицами, и между этими эскизами, смертью отца и всем, что происходило сейчас в доме, она чувствовала, была связь, которую она ясно сознавала, но не могла уловить, в чем она заключалась. И тогда ей начинало казаться, что в мире никогда не было, нет и не будет справедливости, что радоваться нельзя, потому что за всякую радость надо платить, и что напрасно многие полагают, что есть на свете счастье, его нет, все — обман, обман, обман!.. «Для чего жить? Чего я жду от жизни?» — спрашивала она себя. Но как ни было тяжело ей переживать случившееся и как ни чувствовала она себя в эти минуты растерянной перед жизнью, в сознании постепенно начал пробиваться лучик, который говорил ей, что не только все обойдется, станет на свои места, но что теперь свободнее будет дышаться ей и что счастье не потеряно, а, напротив, будет еще более возможным для нее; она всячески старалась ухватиться за эту мысль о счастье, понимая, что сейчас, при покойнике, нехорошо думать о себе, и тревожно оглядывалась на женщину и мать. Потом снова переводила взгляд на стол и отца на нем. Мертвое лицо его, прежде освещавшееся только свечью, было залито ярким утренним светом, тепло наполнявшим комнату, и оттого особенно жалкими казались мертвенно ссохшиеся голова и шея отца, об-

хваченная не по размеру **большим, жестким** и упирившимся в подбородок крахмальным воротником; Аню ужасало именно это — вид ссохшейся шеи и огромного ворота, и несмотря на всю ту жалость, какую она испытывала сейчас к отцу, она никак не могла отделаться от впечатления, что вот так же, как новая рубашка с крахмальным воротником и манжетами, не по росту, наверное, была ему и эта жизнь, в какой он жил. «Что он уносит с собой? Что оставил, какую радость?» — думала она с тем незримо давившим ее тяжелым чувством, какое вновь и вновь заставляло ее смотреть на отца.

XXII

После громкого **ночного разговора**, который произошел в спальне между Семеном и Ольгой (и который глухо доносился до Сергея Ивановича, засыпавшего на диване в гостиной комнате), утром в доме Дорогомилиных было как будто спокойно и тихо. Семен встал рано и тотчас же, вызвав машину, уехал на работу, не позавтракав, даже не выпив кофе, который был приготовлен ему и стоял на столе на кухне, остывая; почти следом за мужем поднялась Ольга и тоже, сказав, что она договорилась встретиться сегодня с Тимониным по разным своим писательским делам, ушла из дому и, уходя, прихватила для видимости рукопись; лишь Вера Николаевна долго оставалась в постели; она слышала весь возбужденный разговор между дочерью и зятем, почти не спала ночь и теперь была больной и разбитой. То она просила Евдокию принести ей грелку на печень, то подать влажное полотенце, чтобы приложить к раскалывающейся от боли голове, то для успокоения хотела выпить таблетку седуксена, которого в доме не было (и который все труднее становилось доставать без рецептов), то, наконец, просила дать ей хотя бы анальгин, которого тоже, как оказалось, не было ни одной таблетки в доме. «Опять поглотади все», — про себя проговорила Евдокия. Она взяла деньги и сумочку, и, пока ходила по аптекам, доставая, что нужно было для Веры Николаевны, проснулся Сергей Иванович.

Он сразу же, как только оделся и вышел в прихожую, почувствовал, что он будто один в огромной пустой квартире. Он заглянул на кухню, потом в гостиную комнату и снова вернулся в прихожую; идти в ту половину дома, где была спальня (он догадывался об этом) и где с грелкой на животе и полотенцем на голове в полузабытии лежала Вера Николаевна, Сергей Иванович не решился; мысленно проговорив: «Пирог» — слово, какое никогда прежде не произносил в таком значении и слышал только в Мокше не то от Степана, не то от шурина, — еще раз прошелся по комнатам, и все хорошее настроение, с каким встал, вдруг словно бы остановилось в нем, как поток машин перед светофором; несколько мгновений он стоял посреди гостиной, расставив ноги и оглядываясь вокруг себя, затем принялся ходить из конца в конец, прислушиваясь, не раздастся ли какой звук; но он ничего не слышал, кроме собственных шагов, и невольно, потому что надо было чем-то занять свое внимание, начал присматриваться к обстановке и убранству гостиной, ко всему тому, что вчера показалось ему необычным, торжественным, богатым и что теперь, при утреннем солнечном свете, лившемся сквозь окна в комнату, не производило как будто того, вчерашнего впечатления. Шторы были какого-то неопределенного, темного цвета, и на них уже нельзя было разглядеть рисунка дворцовой обивочной ткани; собранные по краям высоких и успешных запылиться за лето окон, они мрачно свисали к самому полу, упираясь бахромою в покрытый лаком, но уже исшарканный туфлями паркет, и бахрома эта местами, казалось, была то ли притоптана, то

ли изъедена молью. «Вот так, так», — подумал Сергей Иванович отчего-то с сожалением, что в доме Дорогомилиных все выглядело теперь не так, как вчера. Обои на стенах тоже смотрелись по-другому, были светлее и вроде не вишневого оттенка, и трехпалые подсвечники из золотистой фольги на них и витые свечи с язычками пламени, так живо будто горевшими вчера, при зажженных хрустальных люстре и бра с матовыми миньонами, — эти подсвечники и свечи из золотистой фольги теперь еле проглядывали на общем рыжеватом-кирпичном фоне, особенно в тех местах (на уровне спинок стульев), где обои были потерты; обои были потерты и возле павловского кресла, и белого пианино, и еще более у дверных косяков и отдавали ветхостью; да и люстра и бра с запыленными хрусталиками, миньонами и бронзой, и тумбы с гарднеровскими статуэтками, и стол, скатерть и даже ваза из богемского стекла с недоеденными конфетами и шоколадными вафлями — все в безлюдной теперь гостиной, казалось Сергею Ивановичу, было как будто помечено печатью старения. «Вот так, так», — снова проговорил он и, продолжая оглядывать все вокруг, то ли улыбнулся, то ли усмехнулся всем своим еще розовым после хорошего сна лицом.

Несмотря на неудачно как будто начавшееся для него утро, он все же был настроен добродушно. Не то чтобы он хотел теперь привести в порядок все свои вчерашние разрозненные впечатления и мысли, но, как пассажир, погулявший по перрону и снова взявшийся за поручни вагона, он независимо от желания и воли все более подключался к прерванному сном событиям. С тем добродушием, какое как раз и не позволяло ему особенно вдаваться в подробности, он прежде всего вспомнил о Семене, как сидел с ним на кухне, и воспоминание это сейчас же вызвало в нем точно те же чувства, какие испытывал он вчера, когда возбужденно и не давая Семену перебить себя рассказывал о забытых будто, но отчетливо воскресавших в памяти фронтowych эпизодах; как и вчера (как, впрочем, и в Москве, когда после удачно написанной страницы фронтowych воспоминаний вдруг вставал из-за стола и принимался ходить из угла в угол по комнате), он был теперь не только возбужден, но чувствовал себя человеком деятельным, человеком нужным для общества, как будто, как в прошлые времена, что-то опять определенное и важное зависело от него. С тех пор как он вышел в отставку, ему постоянно не хватало именно этого чувства деятельности; он искал, чем можно было возместить его, и в Мокше рад был сенокосу, Степану и Павлу, с которыми вместе чуть свет уходил к лугам; и точно так же, хотя никакой деятельности не было у него сейчас, а были только воспоминания, радовался просто чувству и мыслям, которые возвращали его к минувшим годам, когда он был у дел и когда от его умения и сообразительности зависела судьба людей. «А старшину жаль, жаль», — между тем говорил он себе, думая, однако, не столько о старшине, сколько о Семене и том добром деле, какое Семен сделал для сына старшины, Мити; и Сергею Ивановичу самому тоже хотелось теперь сделать что-то хорошее для Мити, которого он как будто еще не видел, и самые различные и неопределенные планы добрых дел зароились в его голове. Можно было, живо прикидывал он, пригласить Митю в Москву и попытаться устроить в какое-нибудь художественное училище, поскольку, что ж, парень способный, стремится сделать что-то (что — Сергей Иванович не вполне представлял себе, да и не так важно было сейчас это); можно было уже здесь, в Пензе, показать Митины рисунки какому-нибудь художнику, и Сергей Иванович готов был сегодня же заняться этим делом и опять прикидывал, как и с чего пришлось бы начинать ему; и нужно было, сам себя убеждал он,

рассказать Мите все об отце, это окрылит парня. «Кто сделает это? Никто, кроме нас», — думал он, продолжая неторопливо и с заложёнными за спину руками, как было привычно ему, ходить по комнате; и в то время как он отчетливо представлял себе весь вчерашний разговор с Семеном, так же отчетливо представлял, как будет говорить с Митей, когда встретится с ним, и представлял мальчишеское лицо, глазами и простовато-деревенским выражением напоминавшее лицо старшины. Но чем дольше ходил Сергей Иванович по комнате, тем чаще мысли его переключались только на Семена, и тогда он с изумлением чувствовал, что не может вполне представить теперешней жизни его. В Мокше, когда впервые увидел его, все как будто было понятно, как жил он; теперь же Сергей Иванович не только не мог вернуться к прежней ясности, но все более будто отдалялся от нее. Отчего происходило это, он не думал; но то вчерашнее впечатление, как был принят в этом доме (сглаженное затем Семеном), и отдающие все же излишней роскошью обои, хрусталики, бронза, белое пианино, павловское кресло, колонны и гарднеровские статуэтки на них, на что невольно продолжал обращать внимание, опять пробуждали в нем чувство своей несовместимости со всем этим дорогомиллинским миром, какое он уже испытал вчера, и неприятное чувство это мешало ему теперь думать только хорошее о Семене. Сквозь добродушное настроение, в каком он все еще находился, проступали теперь, как выпады фехтующего человека, то приближенно, то отдаленно, все те картины, которые накануне раздражали Сергея Ивановича; он старался отделаться от впечатления, какое осталось у него от дорогомиллинских завсегдатаев, наполнивших вечером гостиную комнату, но люди эти — то Казанцев, то Никитин, то немолодые уже Светлана и Ольга в кожаных юбках, укороченных так, что Сергей Иванович до сих пор чувствовал неловкость оттого, что видел их оголенные колени, — люди эти поочередно являлись перед ним в воображении и заставляли морщиться. «Служители искусства, — по-своему он произнес теперь слова Семена. — Им нужен салон, нужно общение, без этого они не могут... Но о чем они говорили, какое служение?» Он не помнил точно, о чем они говорили; в сознании сохранилось лишь, что говорили что-то будто подмывающее фундамент общего здания, и это ощущение подмыва никак не вязалось с тем пониманием, как должен был, по мнению Сергея Ивановича, думать и жить всякий советский человек, тем более работник обкома. «Не может быть, — вместе с тем говорил он себе, как будто хотел снять какое-то обвинение с Семена Дорогомиллина; но точно так же, как не мог припомнить вчерашних гостиных разговоров (от которых, чтобы не слышать их, ушел на балкон), не мог вразумительно сказать себе, в чем подозревал Семена и от чего должен был защищать теперь. — Нет, тут что-то не то», — продолжил он, прерывая то движение мыслей в себе, которое вело к непременному осуждению Семена. Странными Сергею Ивановичу казались семейные отношения в дорогомиллинском доме, насколько он сумел уловить их, как будто здесь жили не муж с женою и тещею, а совершенно разные, каждый со своим интересом, люди, и не было между ними ни теплоты, ни согласия, и прежде всего к нему, приглашенному отставному полковнику, который с хозяином этого дома прошел почти через всю войну, сквозь поземку пуль и осколков; странным и чуждым казалось, что по вечерам праздно толпились среди этих стен, штор и трехпалых подсвечников из фольги гости, тогда как дом — место покоя, и отдыха, и возможности сосредоточиться для дальнейших и общественно полезных занятий; и, главное, странной представлялась Сергею Ивановичу вся та атмосфера прихожей и гостиной, какую он невольно восстанавли-

вал сейчас в памяти, и молодой человек и женщина, которых он застал вчера на балконе, как они прикуривали от одной спички, пошловато смеясь и говоря что-то друг другу, и затем, когда он отвернулся, обнимались и целовались за его спиной,— в глазах Сергея Ивановича являлись как бы венцом всего того чуждого и неприемлемого, что он успел разглядеть и понять здесь. И хотя он вполне ясно сознавал сейчас, что нехорошо было ему, гостю, пусть даже мысленно, вмешиваться в чужую жизнь, тем более осуждать ее, и что никогда и ничего не скажет Семену, что думает о нем, но — начинался день, и нужна была деятельность Сергею Ивановичу, и так как он не мог занять себя физически, невольно отдавался размышлениям; это было не первое подобное утро для него, когда деятельность полезная подменялась в нем деятельностью бессмысленной, и покоившиеся за спиною руки, безлюдье в квартире, тишина и равномерное вышагивание от стены к двери и обратно теплично настраивали его на это.

XXIII

Когда вернулась Евдокия, Сергей Иванович продолжал еще вышагивать по гостиной. Он услышал, как хлопнула дверь, и торопливо направился в прихожую, надеясь увидеть Семена; но он увидел пожилую женщину, ту самую (он не знал, кем она доводилась Дорогомилыным), которая вчера накрывала на кухне стол и подавала ужин, и, громко поздоровавшись с ней, спросил:

— Где Семен Игнатьевич?

— погоди, миленький, дай управлюсь, и все будет,— суетливо в ответ заговорила Евдокия, у которой были свои неотложные дела и заботы.— Все будет, только погоди, Христа ради.— Она принялась торопливо расшнуровывать и снимать ботинки, в которых ходила по городу, и переобуваться в меховые домашние тапочки; оттого, наверное, что в молодости она носила тесную обувь, ноги ее казались изуродованными, и под чулками неприятно бугрились огромные костные наросты.— Вера Николаевна-то заждалась, поди.— И, говоря это, постарушечьи мелко перебирая ногами, она засеменила на кухню и затем со стаканом воды и таблетками в руках прошла в глубину коридора, к двери, за которой была, как и полагал Сергей Иванович, спальня и где, мучимая головной болью, лежала Вера Николаевна.

Сергею Ивановичу показалось, что прошло почти четверть часа, прежде чем он снова увидел Евдокию. Все эти минуты он стоял в прихожей и прислушивался к тому, что делалось за дверью, за которой скрылась она; он различал голоса и ясно, как ему казалось, слышал, как кто-то глотал таблетки и запивал водой, и звуки эти были настолько знакомы Сергею Ивановичу, что он живо и с болезненной сморщенностью вспомнил мать, как ухаживал за ней, когда она была больна, и вспомнил о той гнетущей обстановке, какая невольно установилась тогда в доме и чувствовалась всеми и завершилась затем ссорой с дочерью, сердечным приступом у Юлии, смертью и похоронами матери — в общем, всем тем, от чего он вынужден был, заперев московскую квартиру, уехать в Мокшу; но он не перебирал сейчас в памяти те события, мысленный взгляд его ни на чем как будто не задерживался отдельно: ни на том, как застал мертвою мать и кинулся всматриваться в ее глаза, ни на том, как гроб с телом матери, покачнувшись, медленно поплыл под органную музыку в открывшуюся словно могильную яму; все пережитое вдруг как бы одною картиной встало перед ним, и когда Евдокия, вышедшая от Веры Николаевны, подошла к нему, он был еще более мрачен, чем несколько минут назад, когда прохаживался по гостиной.

— Кто болен? — спросил он, чувствуя, что надо спросить об этом. — Может, помочь чем?

— Да чем помочь можно? Какая ихняя болезни! Поболят, поболят и перестанут, и опять на ногах. Таблетки есть, а что еще? Идемте, я вас завтраком покормлю. — И она пригласила Сергея Ивановича на кухню.

— Так кто болен-то? — снова спросил Сергей Иванович, когда уже сидел за столом и Евдокия ставила перед ним хлеб, масло и ломтики вареной колбасы на тарелке.

— Вера Николаевна, кто же еще у нас.

— А-а, — протянул он, как будто услышанное имя действительно что-то говорило ему. — А сам-то где? Семен Игнатьевич? На работе?

— Давно уже. Ни свет ни заря укатил. Да и Ольга, господи, у них тут сегодня кто во что, — заговорщицки продолжила она, оглянувшись на дверь. — И Вера Николаевна отчего, думаете, больна? Все оттого же, что между ими происходит, а что — и богу неведомо. Теперь на неделю, а то на две... И не до вас им. — Еще несколько минут назад она не думала, что скажет Сергею Ивановичу это. Привыкшая жить молча и хорошо усвоившая, что не следует ничего говорить никому, что происходит в доме, она теперь вдруг, как это бывает с людьми, только что обиженными кем-то, не просто отступила от привычного своего правила, но сделала это с той скрытой радостью, какую в народе принято называть злой. «Вы мне так, а я вам — вот, ешьте!» — чувствовалось за ее словами и было обращено к Вере Николаевне, которая дважды в это утро обрушивалась с несправедливыми упреками на нее. Упреки заключались в том, что Евдокия будто бы в последнее время жила барыней, что в доме грязь и что, главное, нет нужных лекарств, в то время как давно было сказано, чтобы, в се было в доме. «Аптека рядом, а вас где носит?» — первое, что спросила Вера Николаевна, как только Евдокия вошла к ней с таблетками и стаканом воды. И затем, не желая слушать никаких объяснений, намекнула своей домработнице, что, видимо, та сама пристрастилась к таблеткам и теперь ссылается на аптеки, и это особенно оскорбило Евдокию; тем более что она знала, отчего была больна Вера Николаевна и что было причиной всей неприятно-напряженной обстановки в доме в это утро. Евдокия тоже не спала ночь, но не потому, что мешали громкие голоса Ольги и Семена; у нее был свой повод не спать; с вечера наслушавшись воспоминаний о войне, она так растрогалась, что и ей захотелось повспоминать о своей жизни, и так как поговорить было не с кем, она разговаривала сама с собой мысленно, лежа одна в темной комнате под одеялом. Перед ней вставала ее жизнь, которая не была богата событиями; в двадцать первом, голодном для Поволжья году ее чуть живую вместе с другими крестьянскими детьми привезли в подмосковный приют, который размещался в усадьбе бывшего графа Абrikосова; Евдокия была тогда так слаба, что не помнила, как все происходило, и лишь в отдалении, как будто сквозь белый луговой туман, возникали иногда вдруг перед ней знакомая деревенская улица, бревенчатые избы и подводы, на которых укладывали ребятшек, и мать и отец, стоящие у ворот перед домом (они не дожили до весны и умерли в том же двадцать первом голодном году); и хотя событие это было главным и поворотным в ее судьбе, но внимание ее обычно более всего задерживалось на другом: как из-за нее, когда она была уже девушкой, детдомовские ребята из ревности (потому что Евдокия была красивой) повесили заводского парнишку Степана, который был влюблен в нее и провожал до ворот приюта; и повесили не где-нибудь, а на крыльце дома, где он жил, и мать, выйдя утром, увидела перед дверью на веревке сына. Для Евдокии

это было потрясением, которое она так и не смогла перенести. Она не ходила тогда смотреть, как вынимали из петли Степана, как лежал он, обмытый, синий и наряженный, в крашеном, красном гробу, и не слышала ни причитаний его матери, ни вздохов и пересудов соседок; лишь спустя почти месяц после похорон посидела возле его могилы на кладбище и потом навсегда ушла из приюта; но с годами Евдокии от чего-то все более начинало казаться, что она видела и труп и истерзанную горем мать Степана, и каждый раз мучительнее и больнее переживала это. Когда Сергей Иванович рассказывал вчера, как видел Семена безжизненно лежавшим среди мертвых солдатских тел, Евдокии представилось именно мертвое тело Степана; и всю ночь — то будто во сне, то наяву — она видела, как снова и снова вынимали из петли его и как затем он лежал на дощатом полу, вытянутый во всю длину узких фанерных сенцев. Евдокии страшно было вспоминать это; страшно было тем, что на душе ее лежал этот грех; она хорошо знала, кто совершил убийство, но никому — ни следователю, ни даже близким подругам — не сказала этого. «Одна смерть... зачем же еще?» — думала она тогда. Но она лишь оправдывала ту свою душевную трусость, которая мешала ей выйти на люди и сказать все; она боялась, что все сейчас же покажут на нее пальцем: «Убивица! Убивица!» — и, как закрывают на Востоке женщины лицо, молчаливой и покорной жизнью своей как будто наглухо заслонилась от этих указующих перстов и криков; она боялась расплаты тогда, хотя не чувствовала себя ни в чем виноватой, и затем боялась расплаты всю свою жизнь — за каждый недозволенный пустяк, за любое самое незначительное проявление самостоятельности или воли. Только что сказав Сергею Ивановичу: «...и не до вас им», — она сейчас же, спохватившись, пожалела об этом. Как ни была обижена она Верой Николаевной и как ни хотелось отплатить ей — «...вот, ешьте!», — Евдокия чувствовала, что нельзя было ей отвечать на зло злом. — Семена Игнатича куда-то посылают, он ведь у нас большой человек, — сказала она, стараясь теперь же исправить то впечатление, какое, как ей казалось, произвели на Сергея Ивановича все ее предыдущие фразы. — Вы так вчера хорошо говорили о нем, а ведь он никогда ничего не рассказывал о себе. Все молча, все тихо, а вот и убитым был, господи, чего только жизнь над людьми не творит. У каждого оно свое, горе. Я вот гляжу на вас, и сердце заходит, да вы кушайте, кушайте, сколько, видно, и вам пережить пришлось!

Она произносила слова с той ложной интонацией заискивания и доверительности, какая всегда бывает неприятна в людях и выдает их; но, начав так, она уже не могла преодолеть в себе эту интонацию и суетливостью своею, желанием выказать расположение лишь более и более отвращала Сергея Ивановича; пододвигая ему хлеб, она приговаривала: «Мякенький»; предлагая подлить сливок в кофе, добавляла: «Свеженькие»; она чувствовала себя как будто повинной в том мрачном настроении, в каком находился Сергей Иванович, и, оправдываясь за себя и за хозяев, старалась вдвойне угодить ему. Не зная, что еще сказать о Семене Дорогомилине (она, в сущности, только и помнила, что он большой человек), постепенно стала говорить о себе; и постепенно же, в то время как рассказывала о себе, исчезала заискивающая интонация, и Сергей Иванович, как он ни был занят своими мыслями, невольно и все более прислушивался к ней. На какое-то время он тоже забыл о Семене и живо и с удивлением посмотрел на пожилую женщину, стоявшую возле газовой плиты со сложенными под грудью руками; он почувствовал странную сопричастность своей судьбы с судьбою этой женщины (и вообще — сопричастность судеб всех людей, потому что у каждого есть свой надлом в жизни), и как затем

ни старался отделаться от этого чувства, оно весь день мучительно донимало его. «Да, что только жизнь не творит над людьми»,— мысленно проговорил он, не заметив, что лишь повторил слова Евдокии.

— Жестоко,— сказал он, глядя на Евдокию с тем сочувствием, будто все произошло с нею вчера и было свежо и болезненно.

— Уж куда жесточе-то.

— Ну а с ними потом виделись?

— С приютскими?

— Да.

— Как ушла, а ушла я в Москву, город большой, так и отрезало, и никого больше не видела. Сватались потом, другие, да уж я не могла.

— И ни семьи, ни детей?

— Никого. С ими вот: с Семеном Игнатьичем, да с Ольгой, да с Верой Николавной...

XXIV

Как будто не было сделано в это утро никаких незаслуженных упреков ей, и как будто вообще Евдокия, сколько прожила у Дорогомилиных, никогда не обижалась ни на Веру Николаевну, ни на Ольгу, ни на Семена,— с такой старательной теплотой принялась она рассказывать о них Сергею Ивановичу. Она не умела ясно выразить, что хотелось сказать ей, и не умела расположить события, чтобы они воспринимались значительными, но слушать ее было интересно, и Сергей Иванович, уже позавтракавший, все не выходил из-за стола. Ему было любопытно, как Вера Николаевна еще до войны, когда жила в Москве и когда Оленька ее еще ходила в школу и носила косички и голубые бантики над ушами,— как она обласкала и приютила у себя Евдокию. «А Семен-то появился позднее, о-о, куда позднее, после войны»,— перебивая себя, вставляла Евдокия. На кухне было солнечно, тихо; Сергею Ивановичу не нужно было куда-то торопиться; в какие-то минуты ему тоже захотелось (и невольно) рассказать о себе, но едва только он начал: «Что говорить: жизнь прожить — не поле перейти», как в прихожей раздался телефонный звонок. Евдокия пошла, чтобы поднять трубку, и сейчас же оттуда послышалось:

— Вас просят!

— Меня? — переспросил Сергей Иванович.— Сейчас иду.

Еще более погрузившийся как будто лишь за вчерашний вечер и сегодняшнее утро, он неохотно и тяжело поднялся из-за стола и направился к телефону. Пока он шел, он не думал, кто мог звонить ему, и машинально, как делал это в Москве, дома, когда жена или дочь звали его, взяв трубку из рук Евдокии, с сухостью проговорил:

— Да, слушаю.

— Это Коростылев? Сергей Иванович? — спросил молодой женский голос.

— Да.

— С вами говорят из обкома.

— Слушаю,— еще раз повторил Сергей Иванович.

— От Семена Игнатьевича. Он выехал в район и просил передать вам, что за вами придет машина.

— Какая машина? Для чего?

— Очевидно,— пояснил все тот же молодой женский голос.— отвезти вас. Минуточку, у меня записано: к четырем часам... в Мокшу. Ждите, машина к четырем будет. До свиданья.— И в обкомовском кабинете положили трубку.

Посмотрев на Евдокию, которая во все время этого короткого разговора стояла рядом с Сергеем Ивановичем, он тоже положил

трубку. «Почему секретарша?» — подумал он с тем тревожным недоумением, какое сейчас же отразилось на его лице. Он все утро сдерживал себя, чтобы не осуждать Семена; но он снова почувствовал сейчас, как давление воды на плотину, давление всех тех нехороших мыслей; поморщившись и спохватившись, словно сделал что-то неуместное в присутствии других, он тут же, повторно и торопливо взглянув на Евдокию и сказав ей: «Идемте», пошел на кухню. Он хотел продолжить, что было прервано звонком из обкома, и Евдокия, у которой не было никаких срочных дел (Ольга еще не возвращалась от Тимонина, а Вера Николаевна, приняв таблетки, спала теперь насильственно-глубоким сном), — Евдокия с охотой, войдя на кухню и пристроившись возле газовой плиты, как только что стояла и как было удобно ей, опять принялась рассказывать о себе; но Сергей Иванович уже не мог с прежним вниманием слушать ее и то и дело мысленно возвращался к телефонному звонку (и ко всему тому, как был принят в этом доме); он еще старался чем-то оправдать Семена, но не находил в душе ничего, чем можно было бы объяснить теперешний поступок его, и невольно обращался к прошлому — было ли когда-либо в Семене Дорогомилине это, что проявилось теперь? И, к изумлению своему, вдруг ясно почувствовал, что да, было; в каких мелочах, стоило ли уточнять, важно, что было и что наконец-то с полнотою обнаружилось в нем. «Вот так так, вот пироги,— повторял Сергей Иванович.— Ну хорошо, в командировку... но зачем так-то сразу — машину? Это все равно что сказать: «Вон!»...» Но хотя он и говорил себе так, он с охотой изменил бы свое мнение, если бы вдруг сейчас увидел перед собой Семена, и потому время от времени поглядывал на дверь, будто и в самом деле Семен мог неожиданно появиться в ней. Несколько раз, прерывая Евдокию, он спрашивал: «Где все-таки хозяин? Куда уехал? Не сказал?» — и так как Евдокия действительно не знала, куда уехал Семен Дорогомилин, и отвечала: «По делам, куда еще. Он у нас почти всегда в разъездах: неделю дома. две по районам, работа такая», — в конце концов, не выдержав, встал и, как всегда, когда находило раздражение (и чтобы унять его), принялся шагать по кухне.

— Пошли бы город посмотрели, вон на улице день какой,— сказала Евдокия, заметившая наконец, что Сергею Ивановичу неинтересно слушать ее.

— В четыре машина за мной придет.

— До четырех-то, батюшки.

— Да, пожалуй, пройдусь.

Полагая, что он еще вернется сюда, и потому не прощаясь, Сергей Иванович вышел из дорогомиллинского дома. Не то чтобы он сейчас же почувствовал, что легче ему стало дышать на улице, но он был вполне доволен, что воспользовался предложением Евдокии, и в первые минуты, казалось, неприятные мысли действительно оставили его. Он направился к скверу и пошел по аллее, то щурясь и закрывая ладонью от солнца, когда выходил из-под тени деревьев на открытую площадку, то снова закладывая руки за спину, когда над головою, как козырек, смыкались зеленые листья. Он не чувствовал себя ни одиноким, ни затерянным среди потока людей и потока машин, мчавшихся по обе стороны сквера, и среди бесчисленного количества окон, балконов, дверей и витрин, на которые он смотрел; все окружавшее было для него той обычной жизнью, какую он постоянно наблюдал, живя в Москве, и в какой, как человеку в прошлом военному, ему казалось, было больше бессмыслицы, чем смысла. Толпы людей шли в одну сторону, и точно такие же

толпы людей двигались в другую — для чего? Одни машины, груженные кирпичом (или контейнерами, или бетонными блоками, или еще чем-либо), мчались в одну сторону, а другие, груженные точно таким же красным кирпичом (или контейнерами, или бетонными блоками, или еще чем-либо), мчались в обратном направлении; для чего все это делалось, по чьему указанию, или именно в силу того, что не было указания и каждый сам себе задавал работу, — это второе, казалось Сергею Ивановичу, определяло все. Идя теперь по скверу и поглядывая по сторонам, он, впрочем, не думал, было ли в Пензе точно так же, как в Москве (как вообще во всех больших городах); он просто чувствовал, что на глазах у него происходила та бестолковая суета, к какой он с тех пор, как вышел в отставку, не мог привыкнуть; и, как и в Москве, он казался себе свободным от всей этой суеты, тогда как на самом деле — он только не замечал — еще более, чем люди на улице, суетился сам, душой, и эта своя, душевная ая суета так занимала его, что он, в сущности, не видел ничего вокруг. Позднее, ни в Мокше, ни в Москве, он не мог сказать, как выглядели пензенские улицы, по которым он проходил; но зато он совершенно отчетливо помнил минуту, когда вдруг увидел медленно прогуливавшихся по скверу Ольгу и Тимонина. Они шли навстречу ему, занятые разговором; Ольга держала под руку Тимонина и, вскидывая то и дело свою маленькую головку с заостренным личиком, смотрела на него. Она была в желтом кримпленовом платье, коротком и хорошо сидевшем на ней, и с желтой, модным полумесяцем, сумочкой на плече; редкие волосы, как и вчера, прямо и свободно спадали на грудь и плечи и молодили ее; было видно, что она ждала от Тимонина чего-то, что он должен был важное и решающее сказать ей, — так Сергей Иванович понял выражение ее лица; но еще прежде чем он рассмотрел лицо Ольги и вообще прежде чем увидел и узнал ее, увидел и узнал Тимонина. На какое-то мгновение звонкой искоркой сверкнули полированные агаты в тимонинских серебряных запонках, и Сергей Иванович, словно что-то подтолкнуло его, взглянул на эти запонки, на белые твердые манжеты и расцветенный красными, синими и желтыми разводами галстук, который был широк и закрывал почти всю грудь, затем взглянул на лицо, красивое, молодое, свежее, обрамленное как будто бакенбардами — низко подбритыми густыми темными волосами на висках, и сейчас же вспомнил, где и когда видел все это; точно так же Тимонин выглядел на лугу, когда, приехав на сенокос и отрекомендовавшись московским корреспондентом, разговаривал с Павлом (только тогда галстука как будто не было на нем), и точно так же выглядел вчера в гостиной комнате Дорогомилиных; Сергей Иванович ясно видел его, когда вслед за Семеном от балконной двери проходил на кухню. У Сергея Ивановича не было как будто никаких очевидных причин нехорошо думать о Тимонине; но вместе с тем, как и на лугу, что-то неприятное мгновенно вспыхнуло в нем, едва взглянул на него; и неприятное чувство это еще сильнее охватило, когда Тимонин и Ольга, поравнявшись с ним, и не замечая его, и не отвечая на его приветствие, прошли мимо. Несколько секунд он смотрел им вслед, для чего-то ожидая, что кто-нибудь из них все же обернется и скажет что-то; но они не оглядываясь уходили все дальше и дальше, и Сергею Ивановичу ничего не оставалось, как с усмешкою бросить себе: «Влип, голубчик. Влип, чего уж». Решив, что он больше не вернется к Дорогомилиным, что никакой машины от них ему не надо, что он вполне может доехать поездом до Каменки, а там на попутной добраться до Мокши, он направился к вокзалу и спустя час уже с билетом в кармане стоял на широкой и шумной привокзальной площади.

Поезд его отправлялся в десять вечера.

Ехать до Каменки было чуть больше часа.

«Может быть, сходить к Мите Гаврилову»,— подумал Сергей Иванович. Но, прежде чем пойти к Мите, адрес которого он долго и с трудом припоминал, он пообедал в привокзальном ресторане; только к пяти вечера наконец добрался до нужной улицы и с волнением, точно таким же, как ехал к Дорогомилину в Пензу, поднявшись по лестнице и остановившись перед дверью Митиной квартиры, нажал на кнопку звонка.

XXV

Когда Митя услышал звонок, он опрёмтью бросился к двери, чтобы сейчас же открыть ее. Он весь этот день жил словно в неведомости. Все случившееся вчера то представлялось ему счастливым сном, и тогда хотелось, чтобы сон повторился снова и снова, то вдруг его охватывало беспокойство, будто он был обладателем клада, о котором еще никто ничего не знал, и что до вечера, пока закончится смена, так как следы к кладу не были им достаточно замаскированы, кто-нибудь мог обнаружить сокровище и присвоить себе; на самом же деле беспокойство его заключалось в том, что он не знал, отчего Аня ушла так рано, не разбудив и ничего не сказав ему. Митя несколько раз днем пытался позвонить ей; но он не мог найти, куда можно было позвонить еще, кроме редакции, где ему холодно как будто и с неопределенностью ответили, что ее сегодня нет на месте и что неизвестно, будет или не будет она. Всегда считавший, что он все знает о Лукашовой, он с удивлением вдруг обнаружил, что он, в сущности, ничего не знал о ней и не имел даже малейшего представления, где она живет и где можно искать ее. Отпросившись, он ушел из типографии раньше, чем положено; но дома, где все опять и опять напоминало ему о вчерашнем вечере, он еще более не находил себе места, не находил, чем заняться, и думал о ней. В квартире было не убрано, так как утром он едва успел умыться и пожевать холодные голубцы, остававшиеся на столе, как надо было бежать на троллейбус; но он ничего не прибирал и теперь: ни со стола, ни с дивана, где лежали смятые подушки и одеяло; со странным и незнакомым ему прежде волнением ходил он по квартире, оставиваясь то посреди кухни, то посреди комнаты, и все вокруг, привычное и надоевшее ему, было как будто наполнено новым смыслом; здесь была она, и все до сих пор словно дышало ею, запахом ее волос, движением рук, ее голосом и теплом ее тела — первого женского тела, познанного Митей; и как только он начинал думать об этом, по лицу его, по спине, по всем суставам и жилам пробегал тот окрыляющий ветерок, который как будто приподнимал его над землей и над людьми, в занятости своей не знавшими того счастья, какое узнал он. Лукашова рисовалась ему теперь в воображении еще более красочной, чем она была в жизни; по той искренности чувств, какие он испытывал к ней, и той сдерживающей причине, что было все же что-то не совсем пристойное — представлять ее лежащей на диване с распущенными волосами, он видел Аню в блеске горевших люстр, в той возвышенной атмосфере разговоров, жестов, улыбок, двигавшихся костюмов, галстуков, коротких юбок, платьев, золотых колец, сережек и коле с камнями, крупными и мелкими, подсвеченными теплотою темно-вишневых обоев и штор, что всегда, и теперь особенно, поражало его воображение. Он ждал вечера, когда можно будет пойти к Дорогомилиным, чтобы увидеть Лукашovu; но вместе с тем что-то будто подсказывало, что

Аня придет к нему, и оттого он так торопливо кинулся открывать дверь.

Но он увидел не Лукашову, а пожилого мужчину, который, пока Митя удивленно смотрел на него (и с тем чувством, словно уже видел где-то), спросил:

— Здесь живет Дмитрий Гаврилов?

— Да,— ответил Митя.— Я.

— Вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю,— продолжил Сергей Иванович, прежде назвав себя и сказав, что он полковник в отставке и в Пензе проездом.— Я многое слышал о вас, а ваш отец служил у меня в батальоне и погиб на моих глазах. Вот сколько я сразу наговорил вам, а пришел я...

— Вы проходите,— сказал Митя, отступая на шаг и пропуская вперед Сергея Ивановича. Встреча эта была некстати и не нужна Мите; лишь из учтивости, потому что нельзя было не пригласить человека, который знал отца, он провел Сергея Ивановича в комнату и предложил сесть на стул (напротив большого, как экран, белого полотна для будущей картины), на котором вчера, как только вошла сюда, сидела Аня; и пока Сергей Иванович устраивался, Митя, наблюдавший за ним, вспомнил наконец, где видел его. «У Дорогомилиных, ну да, там, вчера, когда Вера Николаевна...» И в памяти его сейчас же воскресла сцена, как Вера Николаевна, представлявшая Сергея Ивановича всем в гостиной комнате, подвела его к той группе, где вел разговор профессор Рукавишников и где в эти минуты стоял он с Аней; он вспомнил, как Аня, когда уже Сергей Иванович, повернувшись спиной, отходил от них, с улыбкой, которую точно так же можно было принять за усмешку, как и за улыбку, заметила, что новый дорогомиллинский гость, как деревенский увалень, явился в помятом костюме. Этот же неотвисевшийся и неотутюженный после дороги костюм был и теперь на Сергее Ивановиче; и волосы были также не причесаны, а приглажены пальцами; и загорелое лицо, как будто он только вот с пашни, и плотная и грузная фигура его — все, как и вчера, живо напомнило в нем деревенского человека; но у Мити теперь, когда не было рядом Ани и не было ни хрустальных люстр, ни темно-вишневых обоев, штор и всего, что делало Сергея Ивановича смешным и лишним,— у Мити не возникло того вчерашнего чувства осуждения; напротив, чем-то будто знакомым-знакомым вдруг повеяло от Сергея Ивановича, и отдаленные, неясные воспоминания детства, деревни на мгновение приятно шевельнулись в нем.— Я знаю, как погиб мой отец,— вместе с тем проговорил Митя, подавляя в себе шевельнувшиеся воспоминания и стараясь направить разговор так, чтобы он не затянулся; вот-вот могла появиться Аня, и вот-вот подходило время идти к Дорогомилиным; то, что он мог прийти туда первым, не смущало его.— Да, я знаю, как погиб мой отец,— повторил он.— Геройски. Но мне всегда кажется, что лучше бы он не погибал геройски, а остался жить.

— Да, это было бы лучше,— согласился Сергей Иванович.— А еще лучше, если бы совсем не было войны,— добавил он.

Он уже успел оглядеть Митину комнату и теперь, всматриваясь в Митю, старался найти в нем сходство с тем старшиной, который погиб при штурме Берлина; но, к изумлению своему, не находил этого сходства; было что-то внешнее, сближавшее их,— светлые брови и светлые волосы, но не было того внутреннего родства, той живости во взгляде и во всем выражении лица Мити, что было, Сергей Иванович помнил, в глазах и лице старшины. Но в то время как

Сергей Иванович не находил сходства, по которому сейчас же можно было узнать в Мите сына погибшего старшины, все более признавал в нем того молодого человека, которого видел вчера на балконе с женщиной, и всю неприязнь, какую испытывал к Семену Дорогомилину, переносил теперь на Митю; он чувствовал в Мите частицу того дорогомиллинского мира, от которого хотелось поскорее уехать к себе, и даже не в Мокшу, а в Москву, где все было (по крайней мере, до ссоры с дочерью) и спокойно, и понятно, и приемлемо ему, но он не мог встать и уйти, как не мог преодолеть неприязни к Мите, и лишь чаще и пристальнее вглядывался теперь в приклоненное к стене огромное, как экран, полотно для будущей картины.

— Но ведь и не от нас зависят войны, а если уж напали, то наш долг...— Сергей Иванович не закончил фразы; его внимание привлекли эскизы и зарисовки, грудюю лежавшие в углу комнаты, и он спросил: — Мертвецы?

— Вы знаете? — удивился Митя.— Да, заготовки к картине,— добавил он.— Хотите посмотреть? — Он произнес это непроизвольно, потому что все, кто приходил к нему (даже приезжавший из Терентьевки старик Вахрушев), интересовались эскизами, и Митя с охотою показывал их; что ему не следовало делать этого теперь, он не подумал; когда же спохватился, отказывать было поздно, и он, медленно прошагав в угол комнаты, кипюю, как лежали скрученные и не скрученные листы, принес их и бросил на стол.— Наверное, Семен Игнатич наговорил вам обо мне,— сказал Митя, уже раскладывая нарисованные на белых листах мертвые и производившие неприятное впечатление своей, может быть, излишней натуралистичностью головы разных, в большинстве пожилых людей.— Вы, по-моему, знакомы с Семеном Игнатичем. Он тоже служил с моим отцом.

— Знаком, как же.

— Он говорил, наверное, что я не на том пути.

— Что-то вроде этого было, да.

— Он, в общем-то, добрый, но... ему подавай классику. А тут!.. А я, знаете,— затем добавил Митя,— в первую минуту, когда увидел вас, подумал, не от Вахрушева ли человек приехал.

— От Вахрушева? — переспросил Сергей Иванович, как будто фамилия эта могла что-то напомнить ему.— От какого Вахрушева?

— Вы его не знаете. Да и Семен Игнатич не знает. В деревне у нас, где я жил, в Терентьевке, есть баптистская секта, так этот Вахрушев, старый-старый уже старец, у них там во главе всего, пресвитер. Дело тут давнее, он все нашу избу под молельню просил. Вот уже раза три приезжал, а избу, как бабушка умерла, я заколотил, ну и — отдай и отдай, говорит, что делать, взял и отдал, один черт пустует, так пусть в память о бабушке. Мне-то теперь изба к чему?— И Митя усмехнулся, намереваясь на этом закончить разговор. Он ждал деньги, которые должны были привезти за избу от Вахрушева, и деньги эти как нельзя кстати были ему теперь.

— Так бабушка что, баптисткой была? — спросил Сергей Иванович, все с тем же нехорошим чувством, словно попал в морг или на кладбище, где разрывали могилы, продолжая рассматривать Митины эскизы и зарисовки. «Ну вот, ясно,— вместе с тем сам себе сказал он, живо вспомнив разговор с Семеном на кухне.— Вот где собака зарыта».

— Была,— ответил Митя.

— А ты... как?

— Я?.. Я не дорос еще.— И Митя опять усмехнулся.

XXVI

Ему пора было идти к Дорогомилиным, и он не был настроен вспоминать что-либо; но в то время как он смотрел на Сергея Ивановича, наклонившегося над столом (над эскизами и зарисовками), — отдаленно и беспричинно будто снова вставали перед ним картины детства, деревни, и приятное и тревожное чувство охватывало его. Он родился в холодный ноябрьский день 1942 года. В тот час, когда за окном тихо и плавно в безветрии падал на землю крупными хлопьями снег, убирая все безжизненным белым саваном (так накрывают белой простынею обезображенное желтизною лицо покойника перед тем, как заколотить гроб), в ту самую минуту, когда, вообраз первый глоток воздуха, розовый и сморщенный, Митя вдруг огласил родильную комнату хотя и робким, но по-младенчески звонким голосом, оповещая о своем явлении, и уже требуя внимания и места в жизни, и вызывая добрые улыбки на лицах женщин, принимавших его, — мать Мити, Настасья, лежавшая с бескровным лицом и с проступившими капельками пота у подбородка, над верхней губою и на лбу, почти неслышно выдохнула последнюю порцию воздуха и так и застыла, будто изумленная тем, что произошло; в открытых глазах ее было то выражение, словно она прислушивалась, как жизнь постепенно покидала ее и переходила в другое существо, и процесс этот был и страшен, и удивителен ей. Митя же узнал, как умерла его мать, много лет спустя от бабушки, и не в подробностях, так как Антиповна и сама не знала их; она сказала лишь: «При родах. Сердце остановилось». Маленького, морщинистого и кричащего, Митю унесли в то утро в младенческую, а над матерью долго еще сутились женщины в белых халатах, с иглами и кислородной подушкой, но старания их были напрасны, и пятистенный, до жары натопленный бабушкин деревянный дом наполнился не радостью новой жизни, а прежде — той особенной, гнетущей тишиною, когда в доме появляется покойник. Антиповна, как ни трудно было в ту военную зиму, не хотела, чтобы сноху увезли на кладбище прямо из районного морга, и решила похоронить по-людски, как она сказала, — чтобы выносили из дому с плачем, почестями, а затем — поминки; она выпросила в колхозе подводу и четырнадцать верст ехала одна по засугробленной дороге до районного центра и потом те же четырнадцать верст ехала обратно в Терентьевку, и в санях на сене лежала укрытая (как будто она была живая и Антиповна боялась простудить ее) старым, мужним еще тулупом, посиневшая и застывшая Настасья. Поздно вечером, когда сани, последний раз скрипнув полозьями, остановились у крыльца, соседи помогли Антиповне внести покойницу в избу, обмыть, одеть во все чистое и уложить в белый, сколоченный из оструганных досок соседом Вахрушевым гроб (тогда Вахрушев не был еще пресвитером, да и ни о какой баптистской общине никто и слыхом не слыхивал в Терентьевке). Гроб с покойницей всю ночь простоял в доме. Может быть, потому, что к тому времени Антиповна уже получила две похоронные — на мужа, которого брали в рабочий батальон, но он сам попросился на фронт, когда немцы подошли к Москве, и на младшего сына, — она смотрела на покойницу сухими, отупевшими глазами, пугая оставшихся у нее горевать соседок, и лишь только наутро, когда приподняли на плечи и начали выносить гроб из дому, по щекам Антиповны покатались, поблескивая в оконном свете, слезы; но она не замечала, что плачет, и не вытирала платком глаза и щеки; когда шагала за похоронными санями по кривой деревенской улице, она не пожелала, чтобы ее поддерживали под руки; лишь когда гроб

опустили в мерзлую могилу и первые комья земли ударили о крышку, силы наконец покинули ее, она припала на колени и запричитала, теребя на себе платок и волосы; когда ее подняли и повели к саням, на том месте, где она стояла, остались два подтаявших под коленями пятна на снегу. Сама Антиповна не видела и не помнила этого и не рассказывала внуку, и если бы не Вахрушев, который, будучи уже пресвитером, не поведал бы Мите об этих подтаявших пятнах на белом кладбищенском снегу, все было бы для Мити и здесь неведомо и глухо. Бабушка только каждый год — либо в последних числах апреля, либо в начале мая, когда наступал родительский день, — водила его на могилу матери, предварительно готовясь к этому выходу словно к празднику, ставила сдобное тесто, пекла сладкие пряники и непременно брала с собой в узелок каких-нибудь в бумажной обертке конфет, расстилала платок на траве возле могилы, ела сама пряники и заставляла есть внука и была особенно довольна, если удавалось раздать угощения знакомым и незнакомым, встреченным на кладбище деревенским людям. Митя же, пока был маленьким, бегал по траве вокруг могилки и ловил светлокрылых весенних бабочек, затем, становясь взрослее, просто сидел рядом с бабушкой, слушая, как она вспоминала не только о его матери, Настасье, но и о сыновьях и муже; а еще позднее уже каждый раз приносил баночку с краской и, пока бабушка раздавала пряники и конфеты, укреплял и подновлял возвышавшийся над могилой невысокий деревянный крест, сколоченный в свое время тем же Вахрушевым. Он думал и о погибшем отце, и о матери, и о бабушке, которую почти всегда видел возле себя; и хотя она никогда не говорила ему, как тяжело было ей поставить его на ноги, но с каждым годом жизнь сама словно бы раскрывала перед Митей свои страницы. То бабушка вдруг вспоминала: «Вот здесь тогда стоял дровяной навес», — и эта как бы мимоходом оброненная фраза вызывала в сознании Мити картину, как во дворе, где теперь росли (они всегда растут на развалинах, и притом буйно) бурьян и крапива, возвышался крепко сколоченный дровяной навес, который затем, в долгие холодные военные зимы, был испилен, порублен и сожжен в огромной, занимавшей чуть ли не половину избы русской печи; то бабушка однажды, было это уже после войны, решила продать белую комолую козу, которая старела и все меньше и меньше давала молока, и купить другую, и когда в один из воскресных дней, собравшись наконец, повела козу на базар, — перед тем как вывести со двора, скормила ей несколько корочек хлеба, велела и внуку протянуть в ладони корку, и в то время как маленький Митя, чувствуя рукою мягкие и теплые козьи губы, удивленно и радостно вскидывал глазенки то на бабушку, то на белую, с острой и шевелившейся на ветру бородкой козью морду, Антиповна тоном причитания (то ли внуку, то ли козе) поясняла: «Спасительница наша, что бы мы делали, как бы росли, где бы молоко теплое брали», — и Митя, вспоминая об этом воскресном утре, ясно и без особого напряжения представлял, как и что было в ту зиму, когда бабушка привезла его из родильного дома закутанного в простынку, и одеяльце, и все в тот же старый, уже послуживший покойной матери покрывалом в санях тулуп. Митя многое додумывал, подрастая и вглядываясь в окружающий мир; но он не мог восстановить все ушедшие подробности, а бабушка чем более старела, тем сильнее становилась на разговоры. «Что вспоминать! Мало ли что было в жизни. Ну было и было, и былцем поросло, зачем же переживать все сызнова?» Она не хотела ворошить память, чтобы именно не переживать все сызнова — как отправляла на фронт сыновей и мужа, как начали посту-

пать похоронные в Терентьевку, и одной из первых пришла похоронная ей.

Антиповна хотя и считалась колхозницей, но работала в школе: убирала и топила классы. Еще до войны, при муже и сыновьях, определили ее туда, она сперва не хотела, но потом привыкла и всю войну и после, до самой старости, когда была уже положена ей пенсия, продолжала по утрам на зорьке подметать школьный двор, а когда после уроков длинное, как барак, бревенчатое здание затихало и смолкали детские голоса, брала ведро, тряпку и принималась мыть полы. Она всегда приносила с собой маленького Митю, усаживала либо в классе, либо в учительской (что делала реже, только в сильные морозы и только потому, что учительская была самой теплой комнатой во всем здании), и он молча ползал по полу, думая свои младенческие думы и делая свои младенческие открытия; он рос спокойным, тихим, некрикливым мальчиком, как будто уже тогда знал о своем сиротстве и старался не создавать лишних хлопот бабушке, и Антиповна, обычно прислушивавшаяся к тому, что делает оставленный ею внук, вдруг иногда спохватывалась и как была с подоткнутым подолом юбки, с засученными рукавами и тряпкою или веником в руке опростетью бежала к совершенно, как ей казалось, притихшему Мите и лишь на пороге, видя, как внук сосредоточенно расставляет пустые катушки вдоль парт, останавливалась и, произнося: «Го-осподи», медленно, чтобы не встревожить его, отступала от двери. Она любила Митю так же, как когда-то росших такими же смиренными, небалованными своих сыновей, и, наверное, не пережила бы, если бы вдруг что-либо приключилось с ним. Она никому не говорила об этом и никогда не жаловалась на жизнь; каждую весну, когда колхоз вспахивал ей огород, она сажала картошку; обычно дотемна на черной пахоте виднелась ее не очень высокая и не очень полная, в платке, длинной юбке и мужском стеганом ватнике, как большинство женщин одевалось тогда, словно в земном поклоне сторбленная фигура; в пору сенокоса, опять же прихватив с собою уже бегавшего Митю, бралась подгрести, ворошить и копнить колхозное сено, чтобы потом, по осени, когда станут свозить его к ферме, так же, как и всем другим, ей тоже завезли бы во двор арбу пахучего и не выцветшего в стогах за лето низинного сена; рядом с амбаром она метала стог, огораживала его жердями и, спокойная, что в зиму есть корм (коза хоть и малая животина, а есть просит!), принималась за другие хозяйские дела. Она еще помогала колхозу убирать картошку, иногда вместе со всею школой, особенно со старшекласниками, выезжая в поле, и помогала срезать кочаны капусты с колхозных грядок; но самой приятной все же оставалась для нее пора сенокоса, она не просто любила, но умела по-мужски разумно и хватко (она и сама не знала, когда и откуда родилось в ней это умение) вершить стога; она бывала довольна, когда бригадир, а вместе с ним и работавшие в бригаде мужики и бабы просили ее: «Давай-ка, Антиповна, полезай», — и, вся с ног до головы обсыпанная зеленым сеном, принимая навильник за навильником, командно покрикивала сверху: «Сюда подавай! Вот сюда!» Она жила, как все, обще со всеми жизнью (по крайней мере, до тех пор, пока однажды не переступила порог вахрушевской избы), и, казалось, забывала о своем горе — погибших на фронте сыновьях и муже. Да и у нее ли одной было такое горе? Со стороны всегда кажется, что люди забывают о горе, тогда как до конца жизни Антиповна так и не смогла привыкнуть к некогда шумному, и затем опустевшему и осиротевшему — только внучек и она — дому. Она лишь таила от сельчан, что было невыносимо и больно ей; тай-

ла и от внука эти свои чувства; но если на людях еще могла держаться и, увлеченная разговором, действительно забывалась, то дома, особенно в долгие зимние вечера, когда под окнами наметало белые сугробы,— под похоронное завывание метели, под недобрый стук почти срываемых с петель ветром ставень тревожно и тяжело было думать о прошлом; она не могла спать в такие ночи, стояла возле посапывавшего на печи внука, закутавшись в шаль и все же ежась от гулявшего будто по комнате студеного дыхания, и единственным утешением было для нее то, что, слава богу, внук ее ничего не знает и что в жизни ему, конечно, уже не выпадет такая судьба. Говоря ничего, она подразумевала не смерть Митиной матери, не гибель отца — это-то он знал и должен был знать,— а другое: как самой ей трудно смириться с горем. Но она ошибалась, полагая, что Митя рос беззаботным мальчиком; как рыба, перенесенная из реки в море или из моря в реку, не может не почувствовать всей изменившейся для нее среды жизни, так и Митя постоянно чувствовал невольно создававшую бабушкой беспокойную атмосферу в доме. Сначала он думал, что грустное настроение бабушки и все ее слезы происходят лишь оттого, что она достает из комода маленькую деревянную шкатулку и пересматривает в ней какие-то бумаги; он заметил, что именно каждый раз после того, как она брала в руки шкатулку, она будто переставала замечать Митю, делалась странной и чужой ему; он ненавидел шкатулку и однажды, чтобы пресечь это — казавшееся в его мальчишеском воображении злом,— незаметно, пока бабушка окучивала картошку на огороде, вынес шкатулку за пазухой из избы и спрятал в бурьяне под стеной амбара. Он был доволен и рад тому, что сделал, и весь вечер широко открытыми глазенками поглядывал на бабушку.

— Ты чего это, Митя, что с тобой? — спросила Антиповна. — Натворил что?

— Ничего.

— Ох вижу! Молоко опрокинул?

— А чего мне молоко, оно там и стоит.

— Опять Фетисиного петуха гонял?

— На что он мне сдался, петух ихний.

— Ох, что-то же натворил, чует мое сердце,— добродушно заключила Антиповна, заранее зная, что ничего особенно дурного внук ее не может сделать, а что детскую шалость так или иначе она всегда простит ему.

Она обнаружила пропажу на следующий день и сразу догадалась, чьих рук это дело; взволнованная и побледневшая, она кинулась искать внука.

— Ты взял? — сказала она, найдя Митю во дворе и поглядев на него так, что он не мог не понять, о чем бабушка спрашивала его.

— Я,— ответил он, моргая глазами.

— Куда дел?

— Там, возле амбара.

— А ну веди, показывай!

Когда подошли к амбару, она снова прикрикнула:

— Ну, где?

— Ты опять будешь плакать,— вместо того чтобы показать, где шкатулка, сказал Митя.

— А ну говори сейчас же — где?

— Не скажу. Не скажу! — Он вырвал руку и убежал на улицу.

Он вернулся поздно, когда Антиповна уже потушила в избе свет. Но она именно для того и потушила, чтобы внук, увидев, что бабушка спит, решился войти в избу; она села на деревянную скамейку

в затененной стороне, у окна, и не шевелилась, ничем не выдала себя, что не в кровати, что не спит и ждет появления внука, когда, чуть скрипнув, приоткрылась входная дверь и в образовавшуюся щель осторожно протиснулся низкорослый и худощавый, как он выглядел тогда, Митя. Босой — ботинки он держал в руках, — озирающийся по сторонам и ничего не видящий в темной после лунного двора избе, он пробрался на цыпочках вдоль шестка и, в штанах и рубашке, во всем том, в чем был на улице (даже прихватив с собою ботинки), взобрался на печь.

— Ты где был? Ты почему не приходил? — спросила Антиповна, когда Митя уже улегся и притих.

Он ничего не ответил.

— Ты ужинать будешь? — снова спросила она. — Молока хоть выпей, я сейчас принесу.

Она включила свет, принесла из сеней прохладного, в глиняной кружке молока и подала Мите. Он молча выпил и опять лег, подтянув к подбородку колени и накрыв голову одеялом.

— Митя, — постояв с минуту, начала Антиповна, — ты уже большой, все понимаешь, ты послушай, что я тебе скажу. Не трогай больше шкатулку, в ней похоронные на твоего отца, на мать, на дядю и дедушку. — Она сходила в переднюю, взяла с комода шкатулку и, опять подойдя к внуку, заговорила: — Ты не должен ничего трогать здесь, Митя, слышишь? Посмотри сюда, ну посмотри, — просила она, и когда он, высунув голову из-под одеяла, взглянул на нее, продолжила: — Вот все, что осталось от твоего отца. — Крупными, дрожащими и какими-то будто неестественно белесыми от падавшего на них прямого верхнего света пальцами она достала похоронную на своего старшего сына, Митино отца; затем вынула все остальные похоронные сразу (три одинаковые, присланные с фронта, и четвертая — выданное сельским Советом свидетельство о смерти Настасьи) и повторила тише: — Вот все, что осталось от твоего отца, от матери и от дяди и дедушки, которых ты никогда не видел, но они у тебя были. Ты слышишь, Митя, что я тебе говорю? Скажи, что никогда больше не тронешь шкатулку.

Митя смотрел на бабушку и ничего не говорил; он так и не ответил ей, тронет еще или не тронет шкатулку; лишь утром, как будто похудевший после памятной для него и теперь той далекой летней ночи, подойдя к Антиповне и стоя перед ней с понуро опущенной головою, негромко произнес: «Не буду» — и потом, прижавшись к ее груди, терпеливо ждал, пока она гладила его светлые и редкие, словно выцветшие от летнего солнца волосы. Он не сказал бабушке, что почти не спал ночь, что, после того как она ушла от него, закрыв и унеся шкатулку, и он остался лежать на печи, каждый раз, как только смыкал глаза, ему виделась одна и та же страшная, повторяющаяся картина: будто отец, мать, дядя и дедушка, которых он знал лишь по фотографиям над комодом, как живые шагали к нему из непроглядной темноты, белые, и чем ближе подходили, чем яснее он видел их лица, тем будто отчетливее нависали над ними огромные и еще более неестественно белесые, чем они были на самом деле, бабушкины пальцы; в какое-то мгновение отец, мать, дядя и дедушка — все вдруг оказывались в этих бабушкиных пальцах прижатые голова к голове и даже — не голова к голове, и будто это были уже не люди, а пожелтевшие от времени бумажки, и бабушка, потрясая ими перед глазами Мити, твердила, но не своим голосом, а будто раздававшимся на лесной поляне эхом: «Вот все, что осталось от них». Ему было жутко оттого, что люди превращались в бумажки. Он открывал глаза, и все исчезало; лишь прорисо-

вывалились подсвеченные косым оконным светом (на дворе было так лунно, что даже сквозь занавески, казалось, просачивался в избу белый и холодный свет летней ночи) темные, никогда не крашенные и не беленные доски потолка, и лишь слышно было, как где-то, будто за печью, особенно напористо скреблись в сухой бревенчатой стене мыши, пробиваясь к окованному оцинкованными листами бабушкиному хлебному ларю. Митя натягивал одеяло на голову; но сон и днем несколько раз вдруг как бы являлся ему, и тогда он совсем не по-детски, отупленно смотрел перед собой, будто вглядывался в неестественно белесые бабушкины пальцы и прислушивался к будто звучащим за спиною словам: «Все, все, что осталось!..» Этот сон так врезался в память Мити, что временами, особенно после родительского дня, когда возвращались с кладбища и он видел, как бабушка, достав из комода шкатулку и пристроившись у окна, принималась перебирать похоронные (сам Митя, даже будучи уже школьником, старался не смотреть на шкатулку и меньше бывать возле красного и потертого бабушкиного комода),— вдруг взглянув на бабушкины руки, улавливал на пальцах тот самый запомнившийся ему неестественно белесый оттенок. Он знал, что люди умирают, что их хоронят и что никакого превращения людей в бумажки нет и не может быть, но в то же время знал и другое — что родным умершего вручают свидетельство о смерти, бумагу, документ, и что в конце концов от человека остается именно это — бумага,— и это придавало мучительным снам Мити странное и угнетающее правдоподобие. Он никогда никому не рассказывал о своих сновидениях: ни в детстве, ни тем более позднее, когда повзрослел, и Антиповна до конца дней так и оставалась в неведении, как, когда и какую тревогу внесла она в душу внука. У нее было свое неизживное материнское горе, и горе это так или иначе должно было затронуть холодную тень внука; даже когда он, закончив училище, стал жить отдельно, в городе, и работать в типографии, ушедшее будто в прошлое детство время от времени пробуждалось в нем именно этим — с белесыми бабушкиными пальцами и шелестящими в них пожелтевшими бумажками — сном. Особенно вновь сновидение начало мучить Митю после того, как он вместе с Дорогомилыным ездил в Терентьевку хоронить бабушку; из всех вещей в доме он взял себе лишь деревянную шкатулку, добавив к четырем лежавшим в ней еще одно свидетельство о смерти.

XXVII

Митя не знал, когда и как бабушка вступила в секту; в детстве ему казалось, что она всегда, по крайней мере, с того времени, как он начал понимать и помнить, ходила по понедельникам и четвергам на моления к Вахрушеву, где собиралось еще десятка полтора таких же, как и Антиповна, пожилых и носивших темные платки и темные и длинные юбки женщин; ему в те годы казалось, что так же, как бабушкин деревянный дом, в котором он жил, как все избы в деревне, палисадники, огороды, река за огородами, зеленая пойма и хлебные поля дальше, за поймой, по длинному и пологому, убегающему к горизонту взгорью, как все вокруг: правление колхоза, школа, клуб, сельсоветская изба,— издавна, неизменно и равно со всеми существовала в Терентьевке баптистская община; он думал, что жизнь всегда оставалась такой, какой он застал и увидел ее, и тем мучительнее и больнее было ему потом и за себя, и за бабушку, и за всех тех, кто собирался на еженедельные бдения у старика Вахрушева. Митя не знал, да и мало кто теперь уже в Терентьевке

помнил, как сосед Антиповны, заколотив досками крест-накрест окна и дверь своей избы, вместе с женой Ефросиньей Евдокимовной полуденным, обеденным часом покинул деревню, подавшись за длинным рублем в северные края; по размякшей от прошумевшего накануне дождя и черной среди кустившихся хлебов дороге ушли они, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, к степной (со взгорья хорошо, как на ладони видна была красная кирпичная водокачка) железнодорожной станции, и долго почти в центре деревни сиротливо стояла их обезлюдевшая изба; еще менее оставалось теперь в Терентьевке людей, кто помнил, как однажды и тоже по размякшей после грозы дороге, но поздно вечером, когда все вокруг было уже окутано густыми сумерками, вернулся в деревню старик Вахрушев один, без жены (Ефросинью Евдокимовну он похоронил там, на севере), и, поклонившись родному порогу и поставив перед заколоченной дверью черный потертый чемодан, пришел к Антиповне и попросил топор... Может быть, если бы люди могли предугадывать события, они бы не разрешили вновь поселиться Вахрушеву в Терентьевке; но никто даже не подозревал, с чем вернулся в родную деревню бывший правленческий конюх, в свое время подпадавший под раскулачивание, но — кто об этом помнил? — раз не раскулачили тогда, значит, прав, значит, не было ничего; ну вернулся, ну так — куда же теперь деваться человеку? Не укоротили приусадебный участок, не обрезали огород, пусть пользуется; и он, старый, как будто немощный, с крупными и розовыми складками на щеках, не как прежде, а по-иному начал поглядывать на своих соседей-сельчан; на Оби, в Ярцеве, куда уезжал он за длинным рублем, надоумили его, как надо жить. И надоумил бывший земляк, в тридцатом высланный из Терентьевки вместе со всей семьей, Федор Филимонович Коровин. В Ярцеве, что особенно удивило и поразило Вахрушева, был у Коровина дом не хуже и не беднее, чем когда-то в Терентьевке: и скотина разная во дворе, и амбар полон хлеба, и даже лошаденка с бричкой для поездок по делам, богу и общине угодным, как выразился сам Федор Филимонович.

— Ан рубль-то длинный не здесь нынче, — сказал он Вахрушеву в первый же вечер, когда они встретились. Они сидели в избе возле затянутого белой марлей окна (была самая середина таежного комариного лета), и старик Вахрушев все не переставал удивляться достатку, в каком жил теперь изгнанный из деревни бывший его земляк. — Глуп и несведущ люд, — между тем продолжал Коровин, — знать не знает своей золотой жилы.

— О чем это ты, Федор Филимоныч?

— А о том, что и ты глуп и несведущ. Дома твой длинный рубль нынче, дома, а не здесь.

— Но ты?..

— Что я? Меня не равняй. Я — куда брошу взгляд, там и хлеб растет. Так-то. Да и то сказать, время было иное, и не своей волею здесь. А ты-то чего? По избам теперь только сироты да вдовы, и не каши, а более душевного успокоения просят, к богу взоры обращены, а бог нашими устами глаголет, так чего же еще тебе надо?

— Что-то в толк не возьму, Филимоныч.

— Умом ты и прежде не отличался, знаю, но — не о том. Если хочешь, так слушай. Сколько в войну народу полегло? Не считал? Миллионы, и все больше наш, деревенский человек. А теперь прикинь, сколько сирот и вдов, сколько матерей... э-э, велико это женское страдальческое племя, велико и безбрежно, и ты только повернись к ним лицом, обратись с теплым словом, да не от себя, а от бога, и все они будут молиться на тебя.

— Так верующих-то...

— Нет? Есть страждущие.

— А церкви по деревням...

— Разрушены? Ну и что? Не в серебряной ризе, а в слове сила. Не думал ли ты, отчего церкви разрушены? Не божья ли воля была на все?

— Ты что говоришь, Филимоньч?

— Не в блеске ему, всевышнему, нужна служба, а в простоте и скромности, потому и направил он разрушающую руку на никчемные храмы свои. Вот где правда, которую и я не знал и никто не знал, так что ты оглядись вокруг.

— Но я...

— В церковь не ходил? Помню. Да оно и лучше, что не ходил. Читать умеешь?

— По слогам.

— Хоть и по слогам, лишь бы умел, да голос поставить. В чем наша служба? Собрал страждущих, прочитал страницу из Евангелия, да так, чтобы самого слезою прошибло, помолился, воздал осанну богу — и все довольны.

— А жить на что?

— Малиновый ковш по рядам.

— А власти?

— Что власти? Баптистская церковь — она от верху и до низу, от Москвы веревочка к нам, а от нас в Москву и дальше. Открыта она, дурья твоя башка, и никто запретить ее не может. Нет такого закону. Только не зарывайся, а в пределах, от и до, и — все тебе, сыр в масле, ясно? Поживи у меня, присмотришь, нам нужны люди, а примешь веру — и Евангелием снабдим, и всем что нужно.

— Господи!

— Решил, что ли?

— Учи, Филимоньч, уму-разуму.

— Полагаю первое испытание: в чулане будешь жить, иного места пока не дам. Воздай богу прежде, посла и он воздаст тебе.

Больше года прожил Вахрушев в доме бывшего своего земляка и не богу воздал (богу что? — помолился, наложил крест, с тем и за стол или на покой), а самому Федору Филимоновичу: и сено косил, и за сухостоем в тайгу ездил, и за лошаденкой ухаживал, в общем, батрачил и понимал, что батрачил, да терпел, приглядывался, набирался ума, как надо теперь жить; читал Евангелие по ночам, подражая пре... пре... («Тьфу, черт,— ругался он,— слово-то какое выдумали, враз и не скажешь!») пресвитеру и брату во Христе Федору Коровину. Громко читал, голос ставил и не ведал того, что не он первым, да, видно, и не последним проходил эту науку у Коровина. В самый разгар короткого сибирского лета, на переломе июля, когда тайга, казалось, вся гудела и шевелилась от гнуса, на коровинской же бричке поехал Вахрушев за Большие камни к Светлому озерцу принимать крещение; вернее, не сам поехал, а повез его Федор Филимонович и вместе с ним еще двух пожилых женщин из ближней от Ярцева деревеньки. Бричку поставили за камнями, лошадь спутали и пустили тут же на лугу; затем помолились, и Федор Филимонович предложил всем раздеться. Вахрушев хорошо помнил эти неприятные минуты, пока босой, в рубашке и кальсонах стоял на холодном песчаном берегу, ожидая, когда Коровин закончит все положенные приготовления. Чуть в стороне, тоже раздетые, босые, оставшиеся только в широких и светлых, то ли ситцевых, то ли льняных, с кружевными подолами рубашках, жались друг к другу

женщины; какою-то будто неживою, пергаментною белизною отливали на солнце их оголенные, худые, с дряблою старческою кожею плечи и руки. «Господи, что же это за вера такая?» — думал Вахрушев, отчаянно отмахиваясь от круживших над лицом и оголенной шеей комаров; была минута, когда он, казалось, готов был плюнуть на все, надеть брюки, пиджак и бежать от всего этого сраму, какой, казалось, проделывал Коровин над ним и женщинами («Насмеяется? Ай нет?») — беспокойно спрашивал себя Вахрушев, ни на секунду не спуская глаз с Федора Филимоновича), даже, наклонясь, поднял было с земли брюки, но в этот самый момент Коровин подал знак, чтобы следовать за ним, и небольшая цепочка пожилых, лишь в нижнем белье людей двинулась к озеру. Вахрушев шагал за пресвитером, медленно и боязливо погружая ноги в холодную воду; за спиной он слышал шумное дыхание женщин, а впереди, перед глазами покачивались широкие плечи Коровина. Чем глубже входил Вахрушев в воду, тем сильнее будто надувалась и топорщилась на нем нательная рубашка; от холода, от того гнетущего чувства, что он делал что-то нехорошее, противоестественное не только человеку, но, как ему представлялось в эти минуты, и богу, он как оглушенный лишь смотрел на шевелившиеся губы Коровина, но, в сущности, не слыша, о чем тот говорил ему; на сиявшей розовой лысиной голове он вдруг ощутил теплую ладонь Коровина, и ладонь эта с такой силой пригнула его, что он по самую макушку опустил в обжигающую, вызывавшую дрожь воду, а еще через секунду весь посиневший беспомощно стоял на берегу, глядя, как с прилипших к телу кальсон и рубашки стекает к босым ногам вода. Он долго не мог отогреться после этого купания; даже ночью, под тулупом, в тесном, душном и теплом чулане его трясло от одного лишь воспоминания об озере, которое действительно было светлым, как и называли его, и открывалось взгляду сразу за огромными обомшелыми камнями. Но дело было сделано, и в глубине души он радовался, что срок испытаний позади и что осенью с последним пароходом по Оби отправит его Федор Филимонович из Ярцева домой, снабдив переписанными в тетрадь молитвами и Евангелием, в общем, всем, что нужно для основания баптистской общины в Терентьевке.

В день отъезда Федор Филимонович пригласил Вахрушева к себе.

— Ну, с богом, — сказал он, кладя свои огромные и когда-то сильные крестьянские руки на плечи Вахрушеву и заставляя его присесть перед дорогой. — Помни, вера наша крепка и незыблема и веревочка от верха до низу. Цепь. Цепь! — добавил он, для внушительности вытянув и помахав указательным пальцем. — Приедешь, сперва осмотришь, не торопи время, по одному, по два собирай у себя, да только так, чтобы сами шли, сами будто к богу тянутся, а ты отказать не можешь. К тебе придут, обязательно придут и скажут: «Брось народ морочить». А ты стой на своем: «Вера, и все тут. И запрет на нашу веру не положен». Они опять к тебе, а ты на своем. Скажут: «Нельзя тайно, община не зарегистрирована». А ты: «Регистрируйте» — и начинай хлопоты. Отпиши мне, поможем. У нас тоже-ть есть верха, нажем оттуда: дескать, где такой закон, чтобы поперек становиться, ежели народ веру отправлять желает? А? Нет такого. Человека пришлем, но и сам жми — и все свершится. Помаленьку, полегоньку, понял?

— Как не понять.

— С богом. Ну, с богом, — еще раз повторил Федор Филимонович и трижды, блюдя старый деревенский обычай, обнял и поцеловал в щеку поднявшегося уже с табуретки Вахрушева.

В Терентьевке все так и получилось, как предсказывал Федор Филимонович: и верующие нашлись, и парторг колхозный приходил с запретом, и сельсоветское, а потом и райисполкомовское начальство навещалось не раз, предлагая прекратить «сборища», но Вахрушев отвечал лишь: «Худого не делаем, а на веру в бога запрета нет». И человек от баптистской церкви из области приезжал, некто Феодосий Афанасьевич Полещук, и в конце концов Вахрушева с его верующими старушками оставили в покое. «Как в воду глядел,— думал потом старик Вахрушев, вспоминая особенно свой последний разговор с Коровиным.— Вот уж действительно: куда посмотрит, там и хлеб растет. Ай это не хлеб?» — продолжал он, оглядывая свою с белыми тюлевыми занавесками на окнах, натопленную и уютно прибранную избу и вдыхая кислородный запах заведенного теста; он жил один, но сам почти ни к чему не притрагивался в доме, а все делали приходившие сестры во Христе: и обед готовили, и хлеба пекли, и полы мыли, и убирала в комнатах, и даже на огороде — сажали, окучивали, пололи, и среди этих приходивших женщин была Антиповна. Как сам Вахрушев еще недавно, живя у Федора Коровина и помогая ему в хозяйстве, в сущности, батрачил на него, так теперь Антиповна батрачила на Вахрушева, но с той только разницей, что ей и невдомек было, что она батрачит; она делала все искренне, от души, веря, что просто помогает брату во Христе, как должны, между прочим, все люди на земле помогать друг другу. Именно ее Вахрушев одной из первых втянул в секту. Он недолго присматривался к ней; он знал всю ее жизнь, знал сыновей и мужа, которые не вернулись с войны (да и сноха умерла, а внушек — как ежедневное напоминание!), и знал, что Антиповна не сумела снять с сердца это горе, постоянно и тяжело переживала утрату (Вахрушев замечал все: и как она готовилась с наступлением весны к родительскому дню и вместе с Митей затем почти целый день проводила на кладбище, и то, как она, присаживаясь у окна по вечерам, принималась перебирать похоронные, да и многое другое, главное, стоило только напомнить, ее разговоры о сыновьях и муже); к тому же она работала не в бригаде, не в поле среди людей, где легче забыться, а в школе, одна, сама с собой, и все это было как нельзя лучше для старика Вахрушева. В сумерках или уже утром, когда он видел хлопотавшую во дворе Антиповну, он подходил к жердевой ограде и негромко, степенно, чему научился от Федора Коровина, произносил: «Бог в помощь», — и если соседка отвечала «спасибо», незаметно, будто исподволь, как само собой разумеющееся вставлял фразу либо о ее муже, либо о сыновьях, а если она возражала: «Да бог-то где?» — начинал назидательно и в то же время осторожно, с оглядкой рассуждать о боге и вере.

— Да ты попом заделался, что ли? — заметила ему однажды Антиповна.

— Попом не попом, а многое мне открылось теперь.

— Что же тебе открылось?

— Э-э, повидал мир, поездил, вот и открылось. В страданиях, в тоске по ближнему своему живут нынче люди, а отчего? Вот скажи мне, отчего ты душою успокоиться не можешь? Не скажешь, потому как не знаешь. Ну, допустим, поговорила ты с Фетисихой, да не маши, чего уж, изба-то и у нее большая, а что в избе? Одни похоронные. Так вот, допустим, поговорила ты с Фетисихой, вроде и легче, а на другой-то день что? Опять, сызнова, да еще больше — душа-то, звона, будто плугом разворочена. А все оттого, что человек у человека боль принять не может, так как он — человек, у каждого сво-

их забот под завязку. Нужно высшее существо, перед кем изливать душу, а мы забыли об этом, суетно погрязши в делах земных.

— Существо или бог?

— Не кощунствуй, Антиповна, добра желаю, не худа.

— Может, ты и прав, раньше-то вон — веками люди в церковь ходили. Отчего-то же да ходили?

— А я об чем?

Только к осени, когда заморосили окладные дожди и, продуваемые холодными северными ветрами, обезлюдели, опустели дворы, огороды и улицы Терентьевки,— в один из таких особенно сырых и мрачных предзимних вечеров пригласил Вахрушев к себе в избу Антиповну; но он не стал ей читать Евангелие; Священное писание лежало перед ним на столе, и во все время разговора с Антиповной Вахрушев даже ни разу не раскрыл его; лишь рука, освещенная тусклым светом, то и дело ложилась на переплет, и тогда была отчетливо заметна худоба длинных, костлявых, будто высыхающих стариковских пальцев. Вахрушев вел беседу неторопливо, в той же манере, как и Федор Филимонович Коровин когда-то с ним, и неуловимо, заметно лишь самому себе направлял в нужное русло; он не говорил о бренности жизни, нет, зачем же? — человек должен жить и радоваться! — но говорил о том, что более всего необходимо человеку душевное успокоение и что успокоение это приходит лишь после общения с тем, кто стоит высоко над нами и недосягаем для человеческого познания. «Через святое слово»,— добавлял он, в очередной раз кладя ладонь и пальцы на черный переплет Библии. Хотя он вовсе не собирался рассказывать Антиповне о своей встрече с Коровиным, но именно в этот первый вечер он почувствовал, что надо рассказать как раз это, о встрече (для убедительности, потому что должно же что-то возвысить его в глазах никогда и никуда не выезжавшей соседки!), и он еще медленнее и степеннее, чем это, может быть, нужно было, тщательно подбирая слова и выражения (Антиповне же казалось, что просто по старости тяжело Вахрушеву вести столь долгую беседу), поведал, как в Ярцеве неожиданно встретился с удивительным человеком (но он не назвал фамилию этого человека), и как тот удивительный человек познакомил его с другими, тоже удивительными и добрыми людьми, которые именовали друг друга братьями и сестрами во Христе, и что жизнь их показалась ему дружной, хорошей, по крайней мере полной душевного успокоения.

— Да в чем жизнь-то их? — переспросила, однако, Антиповна.

— Да в том же: на работе, дома как все люди, и в избах как у всех — скромно, небогато. Так ведь и не в богатстве дело. Душа покойна, Антиповна, и сам я, скажу, будто обновился, пожив возле них. Ведь почему церковь поразрушены? — Подумав минуту, он затем пересказал Антиповне всю ту историю о «никчемных храмах божьих», как слышал ее от Коровина.— Насильной вера была, вот что. Хочешь не хочешь, а тебя, младенца несмышленного, р-раз в купель — и все тут. А настоящая вера — это когда в разуме человек, когда у него на все свое понятие есть, да и купелью не церковная посудина должна быть, а река аль озеро какое, чтобы, так сказать, от естества первозданного.

— И ты что же, сызнова принял крещение?

— Принял, Антиповна. В Светлом озере, в тайге, и, скажу тебе, благодать познал. У меня ведь тоже, сама знаешь, Иван не вернулся с войны, так в германских полях и лежит, да и Ефросинья вот тоже, сама видишь, а помолюсь, пообщаюсь с богом — и будто они, и Фросюшка, да и Ваня, со мной побывали, вот, рядом, и душа оттаивает. Да и им, видно, покойнее лежится в сырой-то земле. Человек, он

езде человек, а то — что же мучиться? Жизнь, она ведь дается единожды и надо сообразовать ее. Об одном жалею — что поздно прозрение пришло, что Светлое озерцо звона где оказалось, за тридцать земель, а не здесь, не за нашей околицей, а если рассудить, так ведь и у нас речка есть, Господка, и вода чистая и дно галишное, да только вступали мы в нее не с божьим словом. Так-то, Антиповна. Вот так, — добавил он, смежая будто усталые веки.

В странном и приятном душевном волнении вернулась в тот вечер Антиповна домой. Она включила свет и, не снимая телогрейки, лишь развязав и спустив на плечи платок, прямо от порога, как осталась войдя, долго оглядывала комнату; из всего, что услышала от Вахрушева, она принесла теперь с собою главное: что человек может быть успокоенным и что успокоение вовсе не в том, чтобы забыть; можно думать о дорогих ей сыновьях, о муже, о снохе Настасье, можно мысленно пообщаться с ними, и это отнюдь не растревожит, а, напротив, утишит, облегчит боль. Антиповна смотрела вокруг себя так, будто перед нею была не безлюдная и тихая (лишь Митя посапывал на печи и чмокал во сне губами), какой стала после войны, ее высокая пятистенная бревенчатая изба, а словно вдруг вернулось в дом и ожило прошлое, когда вот в такие же дождливые и мрачные предзимние вечера, отужинав, все подолгу не выходили из-за стола, шумно разговаривали, обсуждая разные деревенские и колхозные новости; сама Антиповна обычно не вмешивалась в мужские, как ей казалось, дела, да и Настасья большей частью только слушала, как ее Петр, вернувшийся с курсов с правами тракториста, но еще не получивший трактора, доказывал отцу, как мала лошадиная и как велика тракторная сила; Антиповна же ни тогда, ни теперь, когда ей лишь виделось то безвозвратно ушедшее время, не вникала в споры сыновей и мужа (надо сказать, младший, Саня, всегда поддерживал старшего брата), не думала и не хотела думать, кто прав и кто не прав; в этих спорах она видела лишь движение жизни, вернее суть жизни, и ей приятно было смотреть на разгоряченные лица Петра и Сани, и пока она следила за ними и слушала их, была убеждена, что они правы, и гордилась, что вот они какие, ее сыновья, но едва только начинал говорить муж, с той же гордостью, что и он в о т к а к о й, смотрела уже на него; ту самую гордость и ощущение сути жизни она испытывала и сейчас, глядя от порога на выскобленный до белизны ножом пустой, но ей казавшийся прежним, заполненным и шумным, стол, и на губах ее, как в те давние времена, словно светилась довольная улыбка. Она чувствовала, что ей хорошо в эти минуты, но вместе с тем она волновалась, и волновалась именно потому, что ей было хорошо; как бы очнувшись ото сна, проведя ладонью по лицу и произнеся: «О господи», — она наконец отошла от двери, сняла телогрейку, сбросила с плеч платок и, поднявшись на скамейку, взглянула на спавшего на печи внука. В избе (теперь — за ее спиной), ей казалось, все еще жило прошлое, до слуха поминутно будто долетали знакомые голоса сыновей и мужа, и, в то время как она смотрела на розовое и спокойное лицо спавшего внука, чувствами, мыслью, всем существом своим была там, в ожившем прошлом; она выключила свет и легла в постель с тем же ощущением, что все-все в доме живы, что одинокая жизнь ее с внуком — это только долгий и нехороший сон, который лишь предстоит увидеть ей, но от которого она однажды, проснувшись, избавится навсегда и все потечет для нее в прежнем и привычном ритме дней; засыпая, она будто ясно слышала, как муж, только что выходявший по морозцу с зажженной «летучей мышью» в руках в сарай посмотреть и подложить корма на ночь в ясли корове, уже раздевшийся, босой, скрипя поло-

вицами, подходил теперь к кровати, неся с собою запах сена, овчинного полушубка и студеное дыхание заиндевелого зимнего коровника, и она будто тем же негромким, как обычно, голосом спросила: «Подстилку-то сменил? Бока не застудила бы». Она знала, как и что он ответит: «Все сделано, спи, чего там»,— ей казалось, что она слышала и эти его слова, и, спокойная за все, забылась глубоким и ровным сном. Утром же, когда открыла глаза, она не увидела того, что представлялось ей ночью; в избе было тихо, пустынно и одиноко, Митя еще спал, и она принялась за хозяйские дела; но вчерашнее странное и приятное душевное волнение постепенно снова как бы вернулось к ней, особенно когда она заметила выходявшего со двора старика Вахрушева. Стоя в тени, в сарае, невидимая для Вахрушева, она следила за ним взглядом, пока он не скрылся за соседней избою. «О господи, какое же это успокоение?» — подумала она, продолжая еще смотреть на опустевшую улицу. Несколько дней затем она боялась встречаться с соседом; ей казалось, что было что-то нехорошее в том, как она теперь думала о сыновьях и муже, и она старалась избавиться от тех чувств, какие пережила после разговора с Вахрушевым; но в то же время (как младенец, узнавший вкус сладкого, опять и опять протягивает маленькую пухлую руку) ей хотелось, чтобы все повторилось, и она, подогреваемая этим желанием и уже не думая, что будто творит что-то нехорошее, в один из вечеров уже сама, без приглашения, пришла к старику Вахрушеву. Потом стала приходить к нему по понедельникам и четвергам, как установил он; иногда брала Митю и, усадив на колени, следила за каждым движением Вахрушева, как он неторопливо и бережно доставал и укладывал перед собою на столе Библию, отыскивал и раскрывал нужную страницу, и затем, совершенно притихнув и прижимая к груди согрешшего и сразу же начинавшего дремать внука, слушала, как Вахрушев каким-то будто вдруг не своим, не обычным, естественным, а вроде потусторонним (такое впечатление, что и в самом деле кто-то иной говорил устами знакомого ей, с каких лет, соседа), протяжным, певучим голосом принимался читать либо выдержки из Евангелия, либо из книг Моисея. Ей казалось, что будто открывались перед нею неведомые прежде дали. «И явилось облако,— читал Вахрушев, растягивая слова,— осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И внезапно посмотревши вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы,— продолжал он читать,— Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых». Для Антиповны самыми важными были слова «воскреснуть из мертвых», они пробуждали в ней надежды, и хотя она вполне ясно сознавала, что надежды эти несбыточны, но все же оттого, что они возникали, легче было жить и переносить горе. Ожидание чего-нибудь пусть даже несбыточного, но доброго всегда приносит человеку успокоение. Так казалось и Антиповне. После каждого чтения она все сильнее втягивалась в какую-то новую, будто замедленную, но приятную для нее жизнь, где главным было не солнце, не трава, не избы деревни, не все то привычное, что с детских лет окружало и радовало Антиповну и что как раз и принято называть жизнью, а другое, что рисовало ей как будто успокоенное, но на самом деле возбужденное воображение и что было как бы окольцовано ее памятью, было миром, который жил в ней (ей же казалось, что мир этот был вокруг нее); она все более замыкалась в этом вообразенном мире и со стороны представлялась тихой, безро-

потной и безвредной, доживавшей век и никого не стеснявшей своею жизнью старушкой. Она с умилением слушала Вахрушева, а когда вместе с нею стала приходиться Фетисиха и еще другие, тоже пожилые и знакомые деревенские женщины, жизнь и вовсе как бы замкнулась для Антиповны в еженедельных и еще больше умилявших душу бдениях. Когда она отправлялась в дом к Вахрушеву, надевала темную юбку, кофту и темный платок; впрочем, все женщины, приходившие к Вахрушеву, были одеты одинаково в темное, и это нравилось Антиповне; тусклый свет над старческой лысой головою Вахрушева, его неподвижно склоненная над Библией сухая, с торчащими углами лопаток под рубашкой фигура, наклоненные спины сидящих на скамьях женщин в этом же тусклом, падавшем с потолка свете и надрывно-приглушенный голос Вахрушева — все-все как бы приближало Антиповну к тому царствию, в каком давно уже пребывали ее муж, сыновья, сноха Настасья, и впечатление это усиливалось особенно, когда Вахрушев вдруг, прервав чтение, перечислял имена безвременно ушедших (он знал тех, о ком хотели бы помолиться старухи), прося у господина покоя и милости им. В самый разгар лета, когда уже были скошены луга, сложено в скирды сено, а хлеба только наливали колос, ни секунды не колеблясь, вслед за стариком Вахрушевым вошла Антиповна одной из первых в холодную воду Господку. Крещение происходило далеко за Терентьевкой, под высокой стеною глинистого яра, скрытно от посторонних глаз. Из деревни вышли чуть свет, едва ранняя летняя заря узкою полоской прорезалась на востоке, и так как Митю не с кем было оставить, Антиповна то несла его на руках, то вела за руку, уговаривая не хныкать и не отставать, не позорить на весь белый свет бабушку; она боялась в то утро только одного — что пока будет принимать крещение, чтобы Митя не соскользнул в воду, и потом, уже стоя по грудь в реке рядом с надрывно читавшим молитву Вахрушевым, то и дело оглядывалась на внука. Но все обошлось благополучно, и она, возвращаясь домой, была рада всему, что произошло с ней в этот торжественный для нее день.

Внешне для Антиповны, казалось, ничего не изменилось после крещения, она продолжала подметать школьный двор, убирать класы и так же, как прежде, делала все по дому; разве только приходилось теперь следить еще и за вахрушевским хозяйством. Но внутренний мир ее стал совершенно иным, чем раньше; раз доверившись, она уже не могла отступить назад; у нее хватило лишь ума не приобщать к молениям подраставшего внука. «Не ты ли сам говорил, что веру человек должен принимать при полном разумении, когда у него на все свое понятие есть? — возразила она как-то Вахрушеву. — Пусть учится, набирается ума, перебивать и перечить не буду. Вырастет, сам поймет». И больше не разрешала заводить разговор о внуке.

Для Мити же, хотя бабушка и брала его с собой, когда отправлялась в дом к Вахрушеву на первые чтения, и водила на Господку, под крутую глинистую стену яра, когда принимала крещение, все это было как бы предысторией, лежавшей за чертой его памяти; ему казалось, что жизнь в Терентьевке, и прежде всего жизнь бабушки, была всегда такою, какой он застал и увидел ее; так же, как он не любил деревянную шкатулку с похоронными, которая, будто бабушка специально делала это, иногда лежала на самом виду на комод, не любил он вахрушевскую избу, самого старика, за мягкими и добрыми словами которого, за будто добрым стариковским взглядом скрывалось, и это ясно чувствовал Митя (взрослые часто бывают ослеплены словом, тогда как дети интуитивно и почти всегда безоши-

бочно улавливают расположение или нерасположение к ним человека, что-то недоброжелательное, злое; он видел, что каждый раз, когда бабушка возвращалась с моления, хотя и не плакала, но так же, как после того, когда брала в руки шкатулку, весь вечер, да и на следующее утро была какою-то отдаленной от него, чужой; но в то время как шкатулку Митя мог, однажды собравшись, вынести за пазухой из комнаты и спрятать под стену амбара, ни со стариком Вахрушевым, ни с его избою ничего поделать не мог и часто, притаившись в бурьянах у жердевой изгороди, прищуренно, зло следил сквозь стебли и листья за сгорбленно ходившим по двору или одиноко сидевшим на крыльце своей избы нехорошим соседом. Однако — нет ничего вечного на земле. Так же как в лунную летнюю ночь вдруг открылось Мите содержание шкатулки и от всей неприязни и ненависти к ней остался в памяти лишь не дающий покоя сон с хрусткими бумажками вместо людей, так в сухой и ясный летний полдень, когда солнце, казалось, висело над самой головой и короткие, будто подрезанные тени прятались под босые загорелые ноги, неожиданно раскрылось Мите и это, для чего бабушка дважды в неделю по вечерам вместе с другими деревенскими женщинами ходила в дом к Вахрушеву. Митя, подкравшись, как обычно, к жердевой изгороди и засев в подсыхающих, высоких и колких кустах репейника, наблюдал за стариком Вахрушевым; положив на давно уже растрескавшуюся изгородь свою палку, он поводил ею, как стволом автомата, целясь и мысленно отправляя пулю за пулей в ненавистного ему старика. Мите казалось, что Вахрушев не видит его, но это было не так; в какую-то минуту, не успев Митя как следует сообразить, что произошло, прямо перед ним во весь рост, словно вдруг поднявшись из земли, явилась худощавая и сутулая фигура соседа. Митя кинулся было бежать, но резкий и угрожающе-властный окрик старика: «Стой!» — задержал его.

— Погоди, — затем мягче, подавляя в себе неприязненное чувство, какое возникало от постоянного непочтения к нему этого соседского мальчишки, внука Антиповны (Вахрушев, впрочем, не раз уже замечал Митю в бурьянах у изгороди и ловил на себе колкие взгляды прищуренных детских глаз), и переходя на обычный, будто доброжелательный и степенный тон, произнес он, хотя — что же ему было унижаться перед этим мальчишкой? — Погоди, — повторил он, стараясь уже не только тоном, но и доброму улыбкой на лице вызвать расположение Мити. — Давно хотел потолковать с тобой. Чего это ты волчонком глядишь на меня, а? Да не бойся, чего пятишься, аль думаешь, бабушке скажу, а? Нет. У нее и без тебя забот хватает, и ты не злись и не смотри волчонком. Я ведь и отца твоего хорошо знал, и мать твою, и дедушку, да и дядю твоего, Саню. Хочешь, расскажу про отца, ну подойди ближе, не бойся, А это что у тебя, ружье? — спросил он, кивком головы указав на палку, которую и в самом деле, как ружье, наперевес держал Митя.

— Автомат, — ответил он.

— Выкинь и никогда больше не бери в руки. Вст и отец твой в недобрый для себя час...

— Он фашистов бил, — возразил Митя.

— А ты не перебивай старших.

— Он фашистов бил!

— Не перебивай, говорю. Разве я спорю с тобой? Ты вот что пойми, Митя: для бабушки твоей он был сыном, и сердце-то у нее болит за сына, за отца-то твоего, как ты думаешь? Болит. И хочется ей иногда пообщаться с сыном, вот так, как сейчас мы с тобой, поговорить, а как же? И с матерью твоею...

— Она на кладбище, в могиле, а люди из могил не выходят.

— Правильно, не выходят, но они в то же время живут в нас — в тебе, во мне, в бабушке, и в определенный час можно вызвать их перед собой и поговорить. Душа-то, Митя, успокоения просит, вот бабушка твоя и приходит ко мне, да и другие, чтобы через божье слово вызвать образы ближних, а ты осуждаешь, прямо-таки, ты уж извини меня, старика, истинно волчонком смотришь.

— А люди из могил не выходят,— снова сказал Митя.

— Заладил: не выходят, не выходят... Эх умный какой. А ежели выходят?

— Нет,— возразил Митя.— Нет! — тут же испуганно закричал он, будто Вахрушев предложил ему посмотреть, как мертвецы поднимаются из могил.— Не-ет! — еще более громко и надрывно повторил он и опрометью побежал от старика Вахрушева через двор за бревенчатую стену амбара.

Он присидел там долго, почти до позднего вечера, размышляя своим еще совсем почти детским, но уже обостренным умом над тем, что услышал от Вахрушева; даже когда бабушка, вернувшись с работы, стала звать его, не сразу откликнулся и вышел к ней. Он ничего не сказал ей о разговоре со стариком-соседом, как не говорил о приснившемся однажды сне, но разговор этот, как, впрочем, и тот сон, глубоко и надолго запал в детскую душу. Как ни представлялось Мите неправдоподобным, что мертвецы в какой-то час могут выходить из могил (он знал, что отец его похоронен в Берлине, что, как и могила матери на деревенском кладбище, куда они с бабушкой каждую весну ходят с цветами, конфетами, сладкими и сдобными пряниками, есть могила и там, под Берлином, только, наверное, неухоженная, заросшая лебедой, как думал он, и это далеко-далеко от Терентьевки, и как же оттуда может являться к бабушке его отец, а потом снова уходить туда?), — да, как ни представлялось неправдоподобным Мите, что мертвецы могут выходить из могил, он все же не мог не поверить старому и потому, несомненно, хоть и ненавистному, но мудрому (видно, так уж положила природа, чтобы малые верили старым) соседу. Он думал: «А ну как и в самом деле выйдут?» — и стал следить за бабушкой, особенно в те вечера, когда она возвращалась от Вахрушева; он даже не спал однажды всю ночь, глядя с печи в темноту комнаты и прислушиваясь к каждому малейшему звуку; он весь холодел, и маленькое мальчишеское сердце, казалось, переставало биться, когда вдруг, услышав, что в темных сенцах будто кто-то отодвигает засов (не так слышались звуки отодвигаемого засова, как дыхание словно запыхавшегося, бежавшего издали человека, потому что — шутка ли, пока от кладбища доберешься до избы!), представлял, как серой, может быть, даже прозрачной тенью пройдут мимо печи в бабушкину комнату либо отец, либо мать; но звуки затихали, никто не входил, и Митя опять напряженно и долго прислушивался и всматривался в густую черноту ночи. Когда начало светать, он все же не выдержал, заснул, и Антиповна утром долго не могла разбудить его, недоумевая и опасаясь, уж не заболел ли ее внук и не сбежать ли хотя бы за школьной медицинской сестрой. Но ей не пришлось идти за медицинской сестрой. «Не надо, я здоров», — сказал Митя, слезая с печи и не по-детски хмуро глядя на бабушку; заарканив белую комолую (бабушка почему-то всегда держала комолых) козу, он, как обычно, повел ее на низинный луг и потом почти до захода солнца плескался с друзьями в прозрачной и теплой в те июльские дни Господке. Однако он не отказался от желания во что бы то ни стало увидеть, как являются образы ближних к людям, и на следующий и еще на следующий день продол-

жал наблюдать за бабушкой; ему казалось, что если отец явится к бабушке, то непременно увидит и его, Митю, и он заранее представлял, как выйдет к отцу из своего укрытия, и сочинял в уме фразы, какие скажет ему; когда же наблюдения за бабушкой не привели ни к чему, он решил, что образы являются ей, да и всем, кто ходит на моления, прямо в вахрушевской избе, и, с вечера заползая под изгородь, в бурьяны, начал следить оттуда, что происходило у Вахрушева. Закатное солнце в этот час только-только касалось земли; оно опускалось за Господкой, за огромным низинным лугом и хлебными полями по взгорью, и длинная тень от вахрушевской избы закрывала весь небольшой двор словно для того, чтобы менее заметны были собиравшиеся в нем все в одинаковом, темном, женщины, среди которых Митя сейчас же отыскивал и узнавал бабушку. Она не пропускала ни одного моления, и каждый раз что-то торжественное, праздничное было в ее лице, когда она отправлялась к Вахрушеву; она приходила обычно первой и затем с Фетисихой или еще с кем-либо, пристроившись в тени под стеною, молча и терпеливо ожидала, пока Вахрушев, появившись на крыльце, поклоном пригласит всех в избу. Женщины обычно разговаривали мало, больше молчали, а если и говорили, то настолько тихо, что, как ни напрягал Митя слух, кроме отдельных слов, ничего разобрать не мог; лежа на животе на земле, он смотрел из-под жердевой изгороди на этот мрачный и казавшийся ему таинственным мир теней, и когда все заходили в избу, двор пустел, а вечерние сумерки сгущались в синюю ночь, старался лишь не прозевать момент, когда один за другим в те же ворота, по крыльцу и в избу начнут стекаться образы ближних... Когда он позднее вспоминал об этом, всегда чувствовал, что ему не просто были близки и понятны страдания бабушки, но, удесяттеренные видом всех собиравшихся на моления женщин, страдания эти жили в нем самом, и он чем более вырослел, тем упорнее искал избавления от них; искал не для себя, так думал, а для всех в Терентьевке и в других деревнях и городах; он говорил себе, что страдания эти от войны, оттого, что тысячи отцов, сыновей, мужей не вернулись с фронта, что на земле больше могил насильственно убитых, чем умерших своею смертью, от старости, и что если бы солдат хоронили не в братских, а каждого в отдельности, рядом с деревнями и городами шумели бы не зеленые леса, а безжизненно чернели бы частоколы покосившихся крестов; он вычитывал, находил и видел в жизни то, что было созвучно с этой главной его болью, и потому с годами лишь утверждался в мысли, что кто-то же должен наконец открыть людям глаза на их же собственное безумие, на бесконечные войны, и что, может быть, как раз и предстоит это сделать ему.

XXVIII

«Черт возьми, а он действительно талантлив»,— думал Сергей Иванович, с брезгливостью, однако, перекладывая нарисованные головы мертвецов. Он то вскидывал взгляд на Митю, то снова смотрел на эскизы, и все более и более возникало в душе то тревожное чувство, как будто он сам, как художник, постоянно жил в мире этих покойников.

— У вас хорошая рука,— наконец сказал он, отстраняясь от стола и пристальнее вглядываясь в Митю, на лице которого все еще блуждала усмешка, вызванная разговором о Вахрушеве.— Но скажите мне, для чего вам все это нужно?

— Между прочим, все спрашивают об этом.

— А как тут не спросить?

— Ничего необычного, все это нужно мне для картины. Есть у меня замысел.— Сказав это, он посмотрел на прислоненное к стене, как экран, большое белое полотно и посмотрел на дверь и на часы, потому что Аня все не появлялась и пора было идти к Дорогомильным; и он покраснел до ушей оттого, что ему более хотелось думать об Ане и что Сергей Иванович своим присутствием мешал ему и тяготил его. Но не видя, как можно выпроводить Сергея Ивановича, Митя с неохотой и не пространно, как вчера Лукашовой, а коротко, сохраняя лишь суть всего, все же рассказал ему о своем замысле.— Но холст пока еще чист,— поспешно вставил он, заключая рассказ,— и говорить, собственно, еще не о чем.

— Почему же? — возразил Сергей Иванович.— Вы, я вижу, куда-то торопитесь? — Он давно уже наблюдал за Митей и давно понял, что Митя куда-то торопился идти, и теперь спросил его об этом.

— Откровенно говоря, да.

— Очень жаль. Но если у вас есть хотя бы десять — пятнадцать минут...

— Разумеется,— сказал Митя, опять и живо взглянув на дверь и на часы.— Я слушаю. Но если вы хотите в чем-то переубедить меня, то... скажу вам заранее: напрасно. С точки зрения Семена Игнатича или еще кого там, я на неверном пути; но я не на неверном пути. Я просто хочу сделать то, чего еще никто не делал до меня, но что необходимо людям, если хотите, необходимо всему человечеству.

— А не громко ли?

— Это как посмотреть.

— Эволюция войн?

— Да.

— Не убий?

— По Библии: не убивай, если вы это имеете в виду. Но мне уже говорили подобное,— сейчас же добавил Митя.— И как бы вам ни хотелось подтянуть меня под этот библейский лозунг, ничего не выйдет. Я не нахожу никаких параллелей. А если бы они даже и были, я не изменю своего решения. Нет и нет,— подтвердил Митя (более для себя, чем для Сергея Ивановича). Что в основе его будущей картины лежало библейское «не убивай!», давно и неприятно волновало Митю; но он ни перед кем не хотел признавать, что то, что составляло его гордость, было когда-то и кем-то открыто, особенно не хотел признавать этого теперь, перед незнакомым, в сущности, человеком, и нахмуренно смотрел на Сергея Ивановича. «Я слышал уже это, да, да, тысячу раз слышал и не согласен и не соглашусь»,— говорило выражение его лица.

Впервые об этой библейской заповеди Митя услышал от старика Вахрушева. Было это лет шесть назад, когда Митя приезжал на каникулы домой из Пензы. Вахрушев тоном, не допускавшим прекословия, утверждал, что все погибшие на войне, в том числе и отец Мити, п р и н я л и смерть лишь потому, что не выполнили будто бы первой заповеди божьей, гласившей: «Не убивай!»

— Что же по-вашему,— говорил Митя,— немцы пришли к нам грабить и убивать, а мы — не бери в руки оружие? Так, что ли?

— Заповеди божьи писаны для всех людей,— как бы поправляя хотя и взрослого, но все же несмышленного в этих вопросах внука Ангиповны, ответил Вахрушев.

— Но все же?

— Не должны.

— Но жизнь-то показала: они с оружием пришли на нашу землю, так или не так?

— Не должны,— в третий раз подтвердил Вахрушев.

— А все же? — не унимался Митя, хотя бабушка уже несколько раз пыталась остановить его, потому что ей не хотелось, чтобы внук ссорился с соседом-пресвитером.

— Мрак, зло и неверие в твоей душе угнездились,— заметно следя за собою (как он, впрочем, делал это всегда), чтобы все оставалось степенным и пристойным, снова заговорил Вахрушев.— Черный мир черные люди творят, да еще перстом указывают на ближнего, а мы не должны уподобляться тем людям. Ты перстом-то оным да в свою душу, потому что каждый за собою следить должен, за своими деяниями, каждый. вразумей это, и тогда разольется среди людей всеобщее благоденствие. Не преступи ты — не преступит и другой.

— Ну а все же — они преступили, так что же было делать нам?

— Не богохульствуй над святыми словами, в том и сила их, что писаны они для всех. Не убивай... Не кради... Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего,— начал Вахрушев так, будто перед ним лежала раскрытая Библия.

Спор этот не был окончен, и Митя не согласился с Вахрушевым; но позднее, когда начал работать над картиной, непроизвольно как будто пришел точно к тому же, что, чтобы пресечь зло (пресечь войны), нужно обратиться ко всем людям сразу. «Божье слово — что? — думал он, не соглашаясь с Вахрушевым, но уже и не споря с ним, как шесть лет назад.— Нужно полотно, на котором бы люди разом увидели плоды своих страшных дел!» Митя не задумывался над тем, что отличало замысел его картины от библейского «не убивай!», но всегда, казалось ему, ясно чувствовал, что есть различие, и потому, когда Семен Дорогомилин, а вслед за ним и геолог Бочарников, сосед по подъезду и лестничной клетке, начали говорить, что от замысла картины «попахивает чем-то церковным», это удивило и насторожило Митю.

Разговор с Бочарниковым был совсем еще свеж в памяти Мити. Произошел он неожиданно, с месяц назад, когда Бочарников только только вернулся из очередной своей — он был где-то на Печоре — поисковой экспедиции.

Митя встретился с ним в подъезде дома, у лифта, вечером, когда возвращался с работы.

— Ну, как ваши творческие дела? — спросил Бочарников. Перед своей поездкой на Печору он заходил к Мите и все знал о его картине.— Как ваша идея вселенского благоденствия? Да, кстати, тогда я не успел вам сказать: что касается собственно идеи, она, в общем-то, не нова. Идея всеобщего добра и благоденствия по меньшей мере имеет двадцати- или тридцативековую давность и захватывала, если хотите знать, умы каждого поколения. Вы удивлены? — Он внимательно посмотрел на Митю.— Нет? Возьмите хотя бы библейское «не убивай!». Да, да, хотя бы это: «Не убивай!» Чего бы, казалось, проще... да устами божьими... а войны продолжают одна за другой. Так что подумайте, юный мой сосед, пока еще не начали картину, есть ли нужда повторять даже такую, понимаете, т а к у ю бессмыслицу!

— Почему же бессмыслицу? — возразил Митя.

— А потому, что душа человеческая постоянно колеблется, как маятник, от добра к злу и обратно, и остановить этот маятник невозможно, как невозможно остановить жизнь.

— Я не согласен с вами.

— Вы можете не соглашаться, ваше право, но поверьте, я постарше вас: нет общего источника зла и потому нельзя перекрыть то, чего не существует в природе. Вам непонятно? Ничего, поймете со временем. Да, да, со временем все поймете.

Мите действительно непонятны были слова Бочарникова. «Что за маятник, что за колебания от добра к злу и обратно? — подумал он, войдя в тот вечер к себе в комнату и остановившись перед белым холстом. — Ну хорошо, допустим, мой замысел совпадает с библейской заповедью, но... что же плохого в этих словах «не убивай!»? Ведь они содержат запрет не только для тех, кто идет защищаться и берет в руки оружие, но обращены прежде всего к тем, кто первый протягивает руки к автоматам, чтобы творить зло и насилие. Ведь вот в чем вся соль: упредить!» Он видел, что не было никакой нужды отгораживаться ему от этой библейской заповеди, потому что ничего как будто вредного не заключалось в ней; но вместе с тем потому, что слова «не убивай!» в представлении Мити постоянно связывались с воспоминаниями о Вахрушewe, он не хотел и не мог принять их и при встречах с Дорогомилиным и с Бочарниковым снова и снова продолжал спорить с ними; и он готов был к точно такому же разговору с Сергеем Ивановичем.

XXIX

— Я не собираюсь поучать вас, — сказал Сергей Иванович, глядя на стоявшего перед ним и решительно настроенного защищаться Митю. — И не собираюсь подтягивать ни под какие библейские, как выразились вы, лозунги. Я не педагог, не учитель, а просто отставной полковник, который пишет воспоминания о войне и приехал в Пензу, чтобы повидаться с фронтовым товарищем своим, я имею в виду Семена Дорогомилина, да-да, именно с Семеном Игнатьевичем, и, разумеется, с вами, сыном геройски погибшего старшины Гаврилова. Геройски, — повторил Сергей Иванович, чтобы подчеркнуть значительность того, о чем он говорил. Степенностью, как он начал, он все более как бы обезоруживал Митю и заставлял его прислушиваться к своим словам. — Я вот думаю, что бы сказал ваш отец, увидев все это. — Он кивком головы указал на эскизы и зарисовки, частью разложенные еще, частью собранные уже в стопу на столе. Изображенные на бумаге мертвые лица людей, дощатые стенки гробов с трещинками в тех местах, где вколачивались гвозди, белые стружки под уголками холодных белых простынь — на все это по-прежнему неприятно было смотреть Сергею Ивановичу; он отворачивался; но, отвернувшись, вдруг начинал чувствовать запах мертвых тел, как будто Митина комната и в самом деле была наполнена покойниками. — Отец ваш...

— Он ничего бы не сказал, если был бы жив. А геройская смерть — это ведь только громкие слова.

— Как вы можете так о своем отце?

— Я не о нем.

— О ком бы то ни было, как вы можете?! — Сергей Иванович на секунду растерялся — что он должен был ответить Мите? Ему никогда не приходило в голову, что можно осуждать тех, кто погиб на войне; солдатская смерть, смерть в бою, никогда не казалась ему трагедией; напротив, все это представлялось ему славой, представлялось, как ни странно, жизнью, вернее, тем непременно звеном в общей и нескончаемой никогда жизни людей, без которого не было бы ни истории, ни страны, ни народа; и это совершенно ясно ему он не находил теперь, как можно было выразить Мите. — Вы не вправе осуждать отца, тем более думать за него, — наконец сказал Сергей Иванович. — Когда выпадет на вашу долю такое испытание, не приведи, конечно, ничего этого, вот тогда и будете выбирать, умереть ли геройской смертью или жить на коленях и с рабской колодой на шее — что лучше? Защита отечества и пацифизм — вещи разные, и вы уж извините, что я говорю вам это, напросились, а пришел я вовсе не затем, чтобы спорить с вами.

Я действительно хорошо знал вашего отца, и он, поверьте, действительно был человеком смелым, решительным. И убежденным,— добавил Сергей Иванович.— И, естественно, мне очень хотелось познакомиться с вами, да и просто посмотреть, как живет сын солдата. Солдата, я подчеркиваю. Вы же одаренный человек. В самом деле, кто может сказать, что это плохо нарисовано? — проговорил Сергей Иванович, обернувшись к столу и взяв первый попавшийся под руку рисунок с гробом и мертвой юной головкой в нем и не глядя на этот рисунок, так как сейчас же пришлось бы брезгливо сморщиться ему.— Но для чего? Во имя чего? Это ни объяснить, ни понять невозможно. Кому нужны ваши мертвецы? — И Сергей Иванович, так и не взглянув на рисунок, положил его обратно в стопу, возвышавшуюся на столе.

— В таком виде — да, они никому не нужны. А собранные вместе, когда они составят определенную мысль, что я хочу выразить...

— Что вы хотите выразить?

— Я уже говорил.

— Дмитрий, дорогой, я вижу, баптисты основательно поработали с вами.

— При чем тут баптисты?

— Ну, кто-то еще.

— Вы ошибаетесь.

— Дай, как говорится, бог, чтобы я ошибался. Дай бог. Идея всеобщего мира, она красива, заманчива, но если когда-либо и установится всеобщий мир на земле, то в основе его будет лежать нечто другое, более значительное, существенное, что ли, чтобы понятнее, чем какая-нибудь взывающая к людским сердцам картина. Я не готов говорить с вами на эту тему и все же не могу не возразить вам. «Не убий!» или как там по Библии, как вы говорите: «Не убивай», во всех церквах и веками...

— Это я знаю.

— Тогда я могу привести другой пример. Существуют в каждом государстве законы. Хорошие или плохие, я не об этом сейчас. Возьмем у нас — разумные законы, охраняющие наш труд, имущество, покой. Почему бы, скажем, всем людям не соблюдать их? Просто и хорошо. Но есть ли город или село, где так или иначе не нарушались бы правила общежития? И это при том условии, что закон — не слова на бумаге, не добровольное обращение или взывание к совести, за всем этим стоит сила, стоит государство. И если сила не может удержать людей, то что же еще может удержать их? Ну, в данном случае отдельные люди, а в другом это могут быть отдельные государства.

— Сила всегда вызывает желание освободиться от нее, — сказал Митя.— И есть разница, когда человек что-либо делает или не делает по своей воле и когда по принуждению.

— Значит, не убедил я вас.

— И не можете, потому что чувства человеческие всегда были и будут выше разума и нет ничего, что могло бы противостоять духовной силе.

— Не знаю, не знаю,— ответил Сергей Иванович. Он и в самом деле не знал, что можно было возразить Мите.— Я бы не осмелился так категорично утверждать. Наверное, есть какая-то правда в том, что вы говорите, но в жизни, я не как ученый, а как практик сужу, все далеко и далеко не так. Вы присядьте, — предложил он Мите.— Я знаю, вы торопитесь, да и мне скоро к поезду, но присядьте еще на минуту.— И когда Митя присел, продолжил: — Не берусь говорить за ученых, но по-простому, как я понимаю, нельзя у народа отнимать историю, тем более героическую. Народ, у которого нет истории, нет традиций, бери голыми руками.

— Разве я отбираю у народа историю? — изумленно сказал Митя. — Меня как раз интересует прошлое во имя будущего, во имя жизни.

— Да, но вас интересуют смерти, а не подвиги. Вас интересуют страдания, ущербная сторона, а не величие человеческих дел.

— Страдания не исключают величия.

— Но сопутствуют, а не определяют.

— А разве есть что-либо порочное в том, что я хочу избавить человечество от подобного сопутствия? Я имею на это право? Это плохо?

— Я не сказал: плохо.

— Ну вот!

— Погодите, в чем вы ошибаетесь, я вижу, только не могу сформулировать как следует. Рядом с вашей идеей всеобщего благоденствия лежит другая, и весьма и весьма опасная, — идея духовного разоружения народа. Да, да, и не смотрите на меня так. Допустим, мы ужаснемся, глядя на вашу картину, и скажем себе: «Никогда не возьмем в руки оружие и не будем воевать». А там, на другом конце земли, сожгут вашу картину, и возьмут оружие, и опять двинут на нас грабить и убивать — и что тогда? Вот тогда что?

— Воздействие должно быть одинаковым на всех, и пока я не добьюсь этого, не вынесу картину из этих стен.

— На этом все и кончится. А годы труда? А талант? — Всматриваясь в Митино лицо, освещенное оконным светом, Сергей Иванович снова заговорил об эскизах и зарисовках, которые все так же лежали на столе. Ему хотелось теперь же понять, откуда у Мити эта вселенская озабоченность, и он опять и опять то приписывал все влиянию Вахрушева (влиянию баптистов), то мысленно переносился в дорогомиллинскую гостиную, где вчера видел Митю в обществе Казанцева, Рукавишникова, Никитина — людей, по мнению Сергея Ивановича, странных и нехороших, которые вместо спасительной веревки способны бросить камень, если человек будет тонуть. «Там тоже весь вечер рассуждали о человечестве и катастрофах», — думал Сергей Иванович, стараясь упростить до этого дурного влияния все то сложное, что привело Митю к замыслу картины; и, упрощая, яснее как будто понимал, что надо было говорить ему. — Было много желающих, — он продолжал прямо смотреть на Митю, — выколотить патриотический дух из нас, представить его квасным и прочим, но разве народ позволит обокрасть себя? Этого никогда не произойдет, кто бы и где бы ни хотел этого. На нас многие лезли, и не одно столетие, но, к чести сказать, мы умели постоять за свою землю, да и не только за свою. По всей Европе возвышаются памятники нашим солдатам как освободителям. А есть ли хоть один подобный памятник чужеземному солдату у нас? Нет. На нас только нападали.

Он продолжал еще и еще, все более увлекаясь, и если бы Митя не ждал Лукашова (и не пора было ему отправляться к Дорогомиллиным, где, опять же, он надеялся встретиться с ней) и если бы с первых же минут не настроился решительно защищать замысел своей картины, может быть, задумался бы сейчас над тем, что говорил ему Сергей Иванович, и нашел бы многое убедительным и верным; но он не то чтобы не понимал Сергея Ивановича, но в силу именно с в о и х причин не хотел понимать его и слышал лишь возвышенные слова о патриотизме, отечестве, которые как раз потому, что были возвышенными, не воспринимались им и казались лишенными смысла; он следил не за тем, что старался внушить ему отставной полковник, когда-то служивший вместе с его отцом, а за своею мыслью, которая все более и более как будто прояснялась в сознании Мити и которую можно было выразить так: «Я не хочу вдаваться в подробности, но вижу, что все вы

против меня (все: Дорогомилин, Бочарников и вместе с ними Сергей Иванович); и только она (Аня) все понимает, и хотя она в сравнении с вами будто бы никто, но я верю ей, а не вам, и вам не понять этого». Как человек, долго смотревший на лунную дорожку на воде, повернувшись, продолжает еще видеть ее перед собою, хотя впереди уже не река, а луг с черной кромкою леса по горизонту, Митя продолжал видеть то свое, что все эти годы представлялось ему откровением (и что вчера одобрила Аня), и чем дольше слушал Сергея Ивановича, тем решительнее был не согласен с ним; но он уже все реже и реже возражал, и все чаще и чаще посматривал на часы и на дверь, и наконец, поднявшись со стула и перебивая Сергея Ивановича, сказал:

— Мне пора.

— Да, я заговорился.— Сергей Иванович тоже встал; но ему не хотелось вот так, ничем, заканчивать разговор, и он спросил: — Вы не к Дорогомилиным ли спешите?

— К ним, а что? Вы откуда знаете?

— Ничего, я просто спросил.

— Семен Игнатич, он ведь славный человек, в общем-то.

— Но публика у них там...

— А что публика?

— Вы их знаете? — И пока Митя собирался ответить что-то, Сергей Иванович, прощально окинув взглядом комнату, невольно опять задержался на прислоненном к стене огромном белом полотне и на эскизах и зарисовках, все еще стопою лежавших на столе, и яснее, чем минуту назад, снова почувствовал, что была несомненная связь между тем, что он видел и слышал вчера у Дорогомилиных, и этим, что видел сейчас здесь. Он много говорил Мите поучительного, но ему показалось теперь, что он не сказал главного, что надо было сказать сыну погибшего старшины, и торопливо добавил: — Вы хорошо знаете их?

— Мне пора, извините,— сказал Митя.

XXX

Выполнив все необходимые формальности, связанные с похоронами отца, побывав на кладбище и подобрав могилу (их роют теперь заранее, по несколько ям, на выбор) и окончательно утомившись и обессилив, через центр города Аня возвращалась домой. Ей предстояло еще ночь просидеть у гроба отца и на виду у старух-соседей, которые, казалось, только затем и были в доме, чтобы не спускать с нее глаз; она чувствовала их испытующие взгляды все утро: и когда сидела рядом с задремавшей на кушетке матерью, и когда затем вышла из дому, чтобы начать похоронные хлопоты; взгляды эти и теперь, когда, сидя в троллейбусе, отвернувшись к окну и ничего не видя за стеклом, она ехала домой,— взгляды эти опять заставляли мучительно съезжаться Аню, как будто ее обнаженную проводили перед толпой. Когда она на самом деле раздетая донага лежала перед Никитиным (и однажды перед Рукавишниковым), она не испытывала ни чувства стыда, ни стеснения; она знала, что она худа и красива и что ею любят, и какое-то странное и сладкое удовлетворение поднималось в ней; теперь же, когда она была одета и была среди людей, чувство наготы ни на секунду, казалось, не покидало ее. Она оглядывалась на свою жизнь и стеснялась ее; как заяц от настигающего волка, она готова была бежать от своего прошлого, но в самый тот момент, когда тяжелых прыжков волка уже как будто не было слышно за спиной, впереди вдруг вырастала невзрачная стариковская фигура отца, его лицо, желтое, с закрытыми белыми веками вместо глаз (как оно выглядело в гробу), и Аня, как будто все происходило не в воображении, а наяву, пугливо

откидывала голову и заслонялась, как от яркого света, ладонью; и видение это повторялось и изнуряло ее. Она не думала, что смерть отца была для нее укором, но чувствовала это и на всех, кто обращался к ней, смотрела отсутствующими глазами; она не понимала, что происходило с нею, и временами с большей, чем когда-либо, ненавистью думала о своем доме, о матери и об отце, который, конечно же, потому только и умер, что хотел сделать ей больно; но на самом деле главной причиной душевного беспокойства было другое — ее близость с Митей, который ничем на поминал ни Никитина, ни Рукавишникова, был с нею робок и представлялся ей настолько чистым и неиспорченным любящим существом, что возле него и сама она чувствовала себя чистой, не знавшей ничьих рук девчонкой, какой она впервые появилась в дорогомиллинской гостиной комнате. Ей так приятно было сознавать себя в том мире ожидания любви и счастья, который навсегда уже как будто ушел от нее, что она все сохранившеюся силою души старалась ухватиться теперь за эту вдруг вновь открывшуюся ей возможность. Несмотря на то, что весь день она занималась похоронными делами, она ни на минуту, казалось, не забывала о вчерашнем вечере; она не вспоминала Митины эскизы и зарисовки (мертвецов, на которых неприятно было смотреть ей) и не вспоминала о картине, замысел которой так взволновал ее; что Митя талантлив и что впереди у него будущее — это было всего лишь счастливым дополнением к тому главному, что она думала о нем: «Он совсем еще мальчик и ничего-то еще не знает в жизни!» — и от этого и ч е г о-т о, что сама она хорошо знала, она как раз и хотела его уберечь и сделать и себя и его счастливыми. Лишь временами, как толчок, ей вдруг приходило в голову, что между Митиными мертвецами и тем, что случилось у нее в доме — смертью отца, — есть какая-то нехорошая связь, что связь эта проходит через нее, и что если бы она не взглянула на Митиных покойников (на мертвые головы в гробах), ничего бы не случилось с отцом, и не лежал бы он на столе с пожелтевшим мертвым лицом, и не было бы женщин вокруг, и не бугрилась бы простыня от его скрещенных на груди рук, и не горела бы свеча в изголовье; но Аня сейчас же, как только являлась ей эта мысль, начинала беззвучно повторять: «Нет! Нет!» — точно так же, как она кричала, подбегая к мертвому отцу и впиваясь пальцами в стол, когда под утро перешагнула порог своего дома; ей не хотелось этой с в я з и, которая бы затем всю жизнь мучила ее, и она, снова и снова повторяя: «Нет, нет!» — испуганно прислушивалась к тому, что поднималось в ней; и ей снова начинало казаться, что что-то роковое было над нею, что постоянно лишало ее радости. «Нет! Нет!» — опять и опять говорила она себе, отбрасывая все связанное с Митиными покойниками и смертью отца и воображая наклоняющееся лицо Мити, его глаза, ищущие ее взгляда; она перебирала подробности вчерашнего вечера, и ей ясно было, что Митя влюблен в нее и что она сразу бы разгадала ложное чувство, будь оно у него, и не волновалась бы и не переживала теперь.

Троллейбус, то останавливаясь, то снова набирая скорость, двигался по той улице, по которой Аня вчера вечером шла вместе с Митею к нему домой (и по которой не раз ходила прежде — и с Митею и без Мити — и знала все витрины, киоски и кафе на ней); и взгляд ее невольно не то чтобы улавливал знакомые очертания подъездов и зданий, но живо как бы воссоздавал в памяти вчерашний вечер, и весь вчерашний разговор, и веселое лицо Мити, когда, останавливаясь у освещенных витрин, они смотрели не на товары за стеклом, а друг на друга; и чем яснее она вспоминала подробности вчерашнего вечера, тем сильнее возникало в ней безотчетное желание повидать Митю — сейчас же, не откладывая, и она сошла с троллейбуса на остановке,

от которой нужно было только свернуть за угол, чтобы сразу же очутиться возле Митино дома. «Боже мой, зачем я это делаю? В таком виде!.. Сейчас!..» — говорила она себе, подходя к тому самому зданию, за которое предстояло свернуть ей; но как ни казалось ей, что она выглядела теперь не лучшим образом и что не следовало бы появляться ей сейчас перед Митей, но чувство, какое руководило ею, было выше всех разумных рассуждений; ей необходимо было увидеть Митю, чтобы убедиться, что все, что она думала о нем, было правдой, и она шла к нему, не замечая ничего вокруг, как изголодавшийся человек устремляется к куску хлеба, вдруг увиденному им. Но у подъезда, прежде чем войти в него, она на минуту остановилась, чтобы оглядеть себя; она была в коричневом платье, сшитом давно, затем укороченном и оттого казавшемся модным, и платье это хорошо облегалo ее по-девичьи худенькую фигуру: декольте сильно открывало шею и грудь, и если бы не черный кружевной шарфик, накинутый на плечи (концы его спускались вдоль оголенных рук), ничего траурного даже отдаленно не было бы в ее наряде. Но Аню беспокоило не платье, как оно сидело на ней, и не то, есть что-либо траурное в ее наряде или нет; торопливо достав из сумочки зеркальце, она взглянула на свое лицо, на котором после бессонной ночи и всех волнений и переживаний еще резче должны были проступить все те мятости и морщинки, старившие ее; она преувеличивала значение морщинок, которые отыскивала возле глаз и в уголках губ, как преувеличивают все женщины, и теперь особенно панически боялась, что молодость уходит от нее; но то, что она увидела в зеркальце, не испугало ее. Несмотря на горе и волнение, несмотря на все страдания, которые, казалось, весь день угнетали ее, лицо Ани было более живым и красивым, чем когда-либо прежде; в ней как будто проснулись силы, которые молодили ее, и она чувствовала это и с затаенной радостью рассматривала себя. Затем она кончиками пальцев подправила брови и, спрятав зеркальце в сумочку, вошла в подъезд. Она не стала дожидаться лифта и пошла пешком по лестнице, останавливаясь на площадках, чтобы передохнуть; она старалась унять волнение и не могла, понимая, что что-то важное должно было решиться для нее теперь, что изменит всю ее жизнь. Вечернее солнце ярко заливало своим красноватым светом все лестничные площадки, ступени, перила, стены и проволочную решетку лифта; и свет этот то освещал спину Ани, то падал на грудь, лицо, волосы и черный шарфик, сквозь который ясно проглядывала белизна ее оголенных шей и рук.

(Окончание следует)



ПУБЛИЦИСТИКА

Н. НОВИКОВ

★

ПОДВИГ

(Из блокнота журналиста)

Этот солнечный майский день почему-то запомнился мне особенно. В Чехословакии я бывал свидетелем многих торжеств, посвященных чехословацко-советской дружбе, Дню освобождения. Но события того майского дня возникают перед глазами так, словно происходили они только вчера. Вероятно, из-за передаваемой теплоты и сердечности этой встречи.

Пражский град. Светлая, скромно обставленная рабочая комната президента Чехословацкой Социалистической Республики Людвика Свободы. И вдруг обычную здесь тишину нарушили радостные возгласы. Прямо с Рузынского аэродрома маршалы И. С. Конев и К. С. Москаленко, генералы Д. Д. Лелюшенко, А. И. Родимцев, К. В. Крайнюков, А. И. Покрышкин, И. Н. Кожедуб и другие члены советской военной делегации — участники боев за освобождение Чехословакии заполнили кабинет Свободы, тепло приветствуя своего давнего боевого товарища. Ведь 1-й Чехословацкий армейский корпус, командиром которого был генерал Л. Свобода, входил в 38-ю армию. Ею командовал К. С. Москаленко. А эта армия находилась в составе I Украинского фронта, возглавлявшегося И. С. Коневым. Встретились люди, не один год знающие друг друга, соратники, побратимы, плечом к плечу прошедшие дорогами войны.

Людвик Свобода стоял посреди комнаты, широко раскрыв объятия.

— Иван Степанович, я рад приветствовать вас сегодня в Праге. Для пражан вы такой же дорогой гость, как и в сорок пятом году, когда молниеносно пришли на помощь восставшим, — говорил Л. Свобода, крепко, по-мужски обнимая маршала Конева.

— Людвик Иванович! — отвечал маршал. — Наша делегация горячо поздравляет вас с избранием на пост президента республики. Мы поздравляем вас, весь чехословацкий народ с праздником освобождения. Можете быть уверены, советские люди были и всегда будут верными друзьями братского народа.

...Завязалась дружеская беседа, «бойцы вспоминали минувшие дни».

— Помните, Иван Степанович, как вы ругали меня по телефону, когда на Дукле во время боя за высоту я пошел в передовые порядки пехоты?

— Помню! — откликается Конев. — Только я вас, Людвик Иванович, не ругал, а предупреждал, что командир корпуса не должен превращаться в рядового автоматчика, что вы нужны Чехословакии как командир корпуса.

...Короткий визит подходил к концу.

— Я хочу сказать вам, — президент республики обвел всех долгим внимательным взглядом, — что, несмотря ни на что, наша дружба останется нерушимой. Ничто не может поколебать ее. Она скреплена кровью. Ведь союз между нашими народами выковывался на фронтах Великой Отечественной войны. Мы всегда бу-

дем благодарны советским людям, Советской Армии за освобождение нашей страны. Опыт подтверждает, что независимость и безопасность Чехословакии, само ее существование неразрывно связаны с нашим союзом и сотрудничеством с СССР.

Все были взволнованы этой встречей.

На другой день Л. Свобода и И. С. Конев выступали в парке имени Фучика на митинге чехословацко-советской дружбы. В то напряженное и тревожное время, когда правые оппортунисты и антисоциалистические элементы усиливали нападки на КПЧ, на социализм, на дружбу с Советским Союзом, речь президента республики звучала горячим призывом дать отпор проискам врагов, крепить чехословацко-советское братство, защищать завоевания социализма.

Смешно и противно было наблюдать, как враждебные элементы пытались помешать нормальному ходу митинга. То вдруг что-то «портилось» и репродукторы умолкали, то опять включались и снова выключались через минуту. И так на протяжении всего митинга. И все же слово о дружбе заглушить не удалось. Было это в мае 1968 года.

В своем старом блокноте я нашел запись выступления генерала армии Людвика Свободы в декабре 1958 года на торжественном заседании в Праге, посвященном пятидесятилетию советско-чехословацкого Договора о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве. Искреннее и твердое признание исторических заслуг Советского Союза в разгроме гитлеровского фашизма, страстное напоминание о том, что дружбу между народами надо беречь, дорожить ею.

Почему я пишу об этом? Людвик Свобода кажется мне олицетворением чехословацко-советской дружбы. В дни захвата Чехословакии гитлеровцами он не эмигрировал в Париж или в Лондон, как очень многие офицеры и генералы старой чехословацкой армии, а выбрал Советский Союз. Он стал одним из активнейших участников создания чехословацкой воинской части на советской территории и возглавил эту часть — отдельный батальон. Затем вопреки предупреждениям и даже запретам эмигрантского правительства в Лондоне он настоял на том, чтобы батальон под его командованием принял непосредственное участие — рядом с советскими войсками — в боях за освобождение советской земли от немецких оккупантов. Он остался непоколебимо верным нашей дружбе и решительно отстаивал ее во время кризисного развития в Чехословакии в 1968—1969 годах. Видимо, потому так и запечатлелся в памяти тот майский день в Пражском граде.

...Ярослав Прохазка прошел рядом с Людвиком Свободой весь путь от Бузулука Оренбургской области, где формировался чехословацкий отдельный батальон, до Праги. В Бузулук его направил Клемент Готвальд, возглавлявший руководящий центр Компартии Чехословакии, находившийся во время войны в Москве. Ярослав Прохазка стал начальником политико-просветительного отдела и руководителем парторганизации батальона, затем отдельной чехословацкой бригады, когда батальон вырос в бригаду, и в 1944 году — накануне Карпатско-Дукельской операции — начальником политотдела 1-го чехословацкого армейского корпуса.

Мне посчастливилось не раз встречаться с профессором Я. Прохазкой. Был он в то время ректором Карлова университета. Как-то во время одной из бесед, вспомнив годы войны, первое боевое крещение чехословацкого батальона в битве под Соколовом, бои за Киев, наконец, ожесточенные сражения на Дукельском перевале, Прохазка сказал:

— Знаете ли вы, какое огромное моральное воздействие на чехословацких солдат и офицеров оказывал массовый героизм советских воинов? Они всегда чувствовали дружеский локоть ваших людей. Перед нами всегда был живой пример беззаветной преданности советского народа своей Родине. На этом примере чехи и словаки учились стойкости. Нам, политработникам, это очень облегчало работу.

— Вы, конечно, бывали на Дукле?— спросил Ярослав Прохазка.— Найдете время, попробуйте еще раз проехать с востока на запад по пути, которым шли советские войска и наш корпус. Всмотритесь в каждую возвышенность, в каждую

лощину, лес — и вы почувствуете, какой требовался героизм, чтобы преодолеть здесь сопротивление врага.

Вместе с секретарем Восточно-Словацкого областного национального комитета Юраем Кремпой я однажды проделал такой путь от Дукли на запад через Вышний Комарник, Свидник, Бардеёв, Прешов... Прошло много лет. Но все здесь дышало воспоминаниями о тех грозных и славных днях. Высятся величественные памятники советским и чехословацким воинам на Дукле, в Свиднике, в других местах. Заросли кустарником и травой воронки, окопы, траншеи. На месте разрушенных и сожженных немецкими фашистами сел и деревень поднялись новые. Но человек не может забыть, какие жертвы принесены здесь во имя свободы и мира. Раны, нанесенные войной, всегда напоминают о себе.

— Видите, там гора, поросшая лесом, — показывает Кремпа. — В народе ее теперь называют Гроудовой высотой, в память погибшего на ней чехословацкого офицера Гроуды. А вот там высота Жироша. В бою за эту высоту погиб чехословацкий воин Жирош...

Забегая вперед скажу, что такое же щемящее чувство испытываешь всякий раз, когда едешь по местам Словацкого национального восстания, особенно вдоль Грона и Вага. Здесь словацкие и советские партизаны вели неравные бои с гитлеровцами, облегчая продвижение Советской Армии. Словенская Люпча. Небольшое село. У дороги две липы. На них венки с национальными лентами. 24 декабря 1944 года на этих липах немцы повесили словацких партизан Юрая Маера и Франтишека Мазура, доставлявших боеприпасы в партизанский отряд. Едем дальше. Село Медзиброд. На одном из домов мемориальная доска с именами словацких и советского партизан, повешенных фашистами 29 декабря 1944 года: Рудольфа Слоснарика, Яна Дроппа, Яна Загорского и старшего лейтенанта Ивана Сержея. Надпись на доске: «Героической была ваша борьба, героически вы погибли». К сожалению, местные жители не ручаются за то, что фамилия советского офицера названа правильно. Он приходил в село из партизанского отряда и вместе со здешними коммунистами организовывал взрыв мостов, завалы на дорогах, чтобы задержать немецкие войска, наседавшие на партизан. Вот село Утенач. Скромная могила. В ней похоронены партизаны: русский — Петров и словак из Гандлова — Миттер. Отряду поставили задачу: ударить фашистам с тыла и облегчить наступление советских войск на Драгов. Задача была выполнена. В завязавшемся бою Петров и Миттер погибли. Говорят, что они славились как смелые и дерзкие разведчики. Едешь дальше: Черный Балог, Подбрэзова, Брэзно, Немецка, Кремничка — всюду горькое напоминание о погибших на войне.

Вернемся, однако, ближе к Дукле, где вели наступление советские войска и в их рядах чехословацкий корпус под командованием Людвика Свободы. Коммунистическая партия Словакии вела широкую подготовку к вооруженному восстанию народа против немецких фашистов и их ставленников. Непосредственно этой подготовкой руководил пятый подпольный ЦК компартии, возглавлявшийся товарищами Каролом Шмидке, Густавом Гусаком и Ладиславом Новомеским. Большую помощь в организации партизанского движения оказывали группы советских партизан, заброшенные в Словакию. Наша авиация доставляла им пополнение, оружие, боеприпасы, медикаменты, продовольствие. Восстание в тылу гитлеровцев должно было помочь Советской Армии преодолеть сопротивление противника. Не все вышло, как планировалось, но это особый разговор.

Получив директиву готовиться к восстанию, нелегальная организация компартии в Бардеёвском районе решила создать где-либо в укромном месте тайный госпиталь. Этому научил случай с советским десантником Петром Лисовским. В одном из боев он был тяжело ранен. Лесник Ян Грофик, сыгравший большую роль в налаживании помощи раненым словацким и советским партизанам, вынес Лисовского с поля боя и укрыл в своей деревне. Но положение раненого становилось критическим. Грофик привез его в Бардеёв. Словацким патриотам пришлось идти на смертельный риск. Врач Душан Чайка положил Лисовского в единственную в городе больницу под вымышленным именем. В любой момент гитлеровцы

могли даже по характеру ранения догадаться, в чем дело, и тогда бы многим несдобровать.

Вот что потом рассказывал сам Петр Лисовский:

— Осколок совершенно разбил колено. В больнице мне ампутировали ногу. Десять дней я лежал в палате среди немцев. Понимаете мое состояние? Врачей Душана Чайку и Франтишека Радача уже подозревали в связях с партизанами. Чтобы подалше от греха, Грофик забрал меня из больницы как своего родственника и перевез к себе в Львовскую Гуту.

Организацию госпиталя поручили леснику Йозефу Марцинеку. Лесник знал все непроходимые места, тайные тропы и облюбовал склон одной из гор, поросших дремучим лесом. Вот здесь-то и вырыли для госпиталя две большие землянки. Предполагали ли тогда Марцинек и помогавшие ему жители близлежащих деревень Львов и Львовская Гута Михал и Ян Джмура, Алексей, Йозеф и Ян Фецко, Ян Молчан и многие другие, что эти землянки скоро станут свидетелями подлинного героизма и самоотверженности многих людей, что тайный госпиталь станет местом событий, которые и сейчас, спустя тридцать лет, нельзя вспоминать без волнения...

Бомбардировщик, на котором штурманом летел младший лейтенант В. И. Шевяков, был подбит гитлеровцами над Восточной Словакией где-то между Прешовом и Бардеёвом. Экипажу пришлось покинуть самолет на парашютах. Шевяков приземлился в лесу и получил ранение. Стояла непроглядная ночь, лил холодный сентябрьский дождь. Пробовал отыскать кого-либо из членов экипажа — безуспешно. Словом, штурман остался один. Решил, ориентируясь по звездам и солнцу, пробираться к линии фронта. Она проходила примерно в ста пятидесяти километрах к востоку от места аварии.

Можно долго рассказывать обо всех злоключениях Шевякова. Пять суток, голодный, больной, преодолевал он горы, лесную чащобу. На шестой день с трудом вскарабкался на гору Чергов высотой более тысячи метров над уровнем моря. Здесь штурмана заметил патруль партизанского соединения имени Чапаева. Шевяков очень хотел вернуться в свою часть, поэтому его доставили к действовавшему в этих местах советским разведчикам. Вместе с ними он три раза пытался перейти линию фронта — не удалось. Разведчикам пришлось отойти в расположение советского партизанского отряда имени Кирова. Дальше Шевяков не мог продолжать путь с ними. Вот из этого отряда и доставили штурмана в тайный госпиталь к Йозефу Марцинеку. Требовалась срочная медицинская помощь.

Ян Грофик снова направился в Бардеёв к главному врачу районной больницы Франтишеку Радачу. Два-три раза в неделю Радач вечерами уходил из города в лесной госпиталь. Путь не близкий — двадцать пять километров в один конец. Да не это пугало его друзей. Отлучки не остались незамеченными. Фашистские прихлебатели начали следить за врачом. Возникла опасность провалить госпиталь. Радач с матерью и сестрой перебрался к парт знакам — в отряд имени Кирова. Тем более что к этому времени возникли новые обстоятельства, требующие постоянного присутствия врача.

При возвращении с партизанского аэродрома «Три дуба», на который советская авиация доставляла оружие и боеприпасы, самолет гвардии капитана П. Ф. Губина в районе Попрада атаковали немецкие истребители. Взорвались левые бензобаки. Самолет загорелся. Командиру корабля и бортмеханику С. Н. Уткину пришлось прыгать с одним парашютом. Приземляясь, Губин повредил ногу — дело было ночью, в лесу. Уткину еще в самолете сильно обожгло лицо и руки. Ко всему прочему, во время раскрытия парашюта с него сорвало сапоги. В октябрьскую стужу, пробираясь сквозь труднопроходимую чащу, Губин и Уткин спешили уйти подалше от места падения самолета. Где-то сзади слышался собачий лай. На рассвете командир и бортмеханик соединились с членами экипажа — бортрадиостом С. Домашенко и воздушным стрелком А. Швединым.

Несколько суток длился их тяжелый путь. От страшных ожогов Уткин терял сознание. Товарищи соорудили носилки, но он отказался от них, продолжая идти

босой, поддерживаемый друзьями. Когда ноги его замерзали, спутники укутывали их своей одеждой. Так дошли они до деревни Львовская Гута. Здесь встретились с разведчиком из отряда имени Кирова. Он и привел их к командиру отряда П. Шишкалову и комиссару П. Аристархову.

Сам С. Н. Уткин вспоминает о том времени так:

— Меня немедленно положили в госпиталь, расположенный в землянках. Несколько месяцев находился на излечении у Франтишека Радача. Ожоги заживали плохо, особенно на лице, которое походило на огромную кровоточащую рану. Партизанский врач провел около моей постели не одну тревожную ночь. Он и морально поддерживал меня...

Надо же случиться такому: вскоре еще один наш транспортный самолет «ЛИ-2», летевший с задания, подвергся нападению фашистских стервятников. Много пришлось пережить командиру — младшему лейтенанту Г. И. Чапанову и технику — лейтенанту И. А. Камышеву. Раненные, они нашли в себе силы продвигаться на восток — на соединение со своими. Шли дни и ночи. Местные жители помогли им. Их доставили в тот же госпиталь.

За несколько месяцев около тридцати советских воинов побывали здесь на излечении. Врачу Радачу помогали фельдшер Васил Швед, санитар Михал Кажик. Постоянно о снабжении госпиталя заботился лесник Йозеф Марцинек. Но что они могли бы сделать одни, находясь в фашистском тылу? Население окрестных сел знало о госпитале, помогало ему, оберегало его. За голову Радача и Марцинека гитлеровцы обещали огромное вознаграждение, но они не смогли найти предателя, как и не смогли обнаружить госпиталь, хотя рыскали вокруг да около.

В те дни мужество, стойкость советских людей, с честью выдержавших тяжелые невзгоды, личные трагедии, выпавшие на их долю, в соединении с мужеством, смелостью, отвагой жителей сел и деревень Ондавской Верховины и Черговского погорья образовали такой прочный сплав, которому не страшны были самые суровые испытания. Так было по всей Чехословакии. Дружба, товарищество, верность — вот точное название этому сплаву.

Я не раз бывал в Бардеёве. Наведывался в места, где были землянки. Не раз и не два встречался с Ф. Радачем, другими товарищами. Люди совершили подвиг, высокий подвиг, но они говорили, что всего-навсего выполнили свой долг.

В январе 1945 года советские войска и части чехословацкого корпуса стремительной атакой очистили Бардеёвский район от фашистов. В тайном госпитале уже не было нужды. Тех, кому еще требовалось лечение, Радач перевез в районную больницу.

Потом настал незабываемый день. Не стыдясь слез, плакали Губин, Шевяков, Уткин, другие летчики. Плакали Марцинек, Радач, Швед... Пациенты госпиталя направились к советскому военному коменданту в Бардеёве и попросили вернуть их в воинские части, где они служили... Когда экипажи Губина и Чапанова прибыли в свою авиадивизию, командование устроило им торжественную встречу. Встречали как воскресших из мертвых. Тепло, душевно встретили друзья-однополчане лейтенанта Шевякова. И вновь у всех начались фронтовые будни. Чапанов и Камышев успели до конца войны сделать десять вылетов на бомбежку вражеских объектов.

И еще об одном событии, как бы завершающем эту эпопею. Его можно назвать символическим. В июне 1945 года П. Губин и В. Шевяков встретились в Москве. Оба в одном сводном офицерском батальоне летчиков дальней авиации вместе с другими участниками парада Победы прошли по Красной площади...

Всякий раз, когда речь заходит о героизме, верности, дружбе, интернациональном долге, готовности к самопожертвованию ради великой идеи, я вспоминаю землянки в Бардеёвском районе Словакии. Я вспоминаю приземистый, чисто выбеленный снаружи домик в лесу где-то в Южной Чехии. Перед глазами встают невысокого роста, худой, рано поседевший человек — лесник Освальд Рерих, его жена Мария. Оба уже старики.

Два года, с июня 1943-го, когда к ним в лесную сторожку забрел бежавший из фашистского плена лейтенант Н. Бурмистров, и до прихода в Южную Чехию советских войск, семья Рерихов каждый день ходила как по лезвию ножа. Еще прятался у них больной Бурмистров, а к ним в августе пришли бежавшие из гитлеровского концлагеря старший лейтенант А. Скордамов и лейтенант К. Федотов. В октябре на домик набрели капитан К. Бережок и майор Д. Дудин, в ноябре — капитан А. Пономарев.... Одиннадцать советских солдат и офицеров, бежавших из фашистской неволи, нашли приют у Рерихов. Одни, пробыв несколько дней, немногo оправившись, уходили дальше. Другие из-за болезни жили по два-три месяца. Бывало время, когда в сторожке собирались одновременно три-четыре человека.

А рядом, за лесом, — село Просечь. Там немецкий гарнизон. Рискуя жизнью дочери и сына, Освальд и Мария Рерихи ухаживали за советскими людьми, очутившимися в беде. Не просто прокормить. Не просто достать одежду, обувь — многие пришли в лохмотьях, босые. Надо так приодеть человека, чтобы он не бросался немцам в глаза. Надежные люди помогали, но предупреждали: «Добьетесь, что из-за вас гитлеровцы превратят нашу Просечь в Лидице...»

Действительно, не раз и не два все, казалось, висело на волоске. Гитлеровцы шныряли вокруг сторожки, однажды зимой даже зашли в домик. Мария бросилась угощать их молоком, чтобы выиграть время, завела разговор. Троицким нашим удалось через окно незаметно ускользнуть в лес.

В то время в этих местах действовала партизанская бригада имени Яна Гуса. Состояла она в основном из чехов — рабочих промышленных предприятий и транспорта, крестьян и советских десантников. Командовал ею советский офицер Фомин. Некоторые из тех, кто жил у Рериха, ушли в эту бригаду, другие — дальше на восток. Двое дошли до Словакии и сражались там в партизанских отрядах.

— Не хочу скрывать, — рассказывал мне Освальд Рерих, — временами становилось страшновато, но всегда поддерживало сознание: хоть чем-то участвуешь в борьбе против немецких фашистов. В тридцать девятом году, когда Гитлер превратил Чехию и Моравию в свой протекторат, мой брат Милан ушел в Советский Союз и там воевал в корпусе генерала Свободы, а я старался что-нибудь делать здесь.

Министерство обороны Чехословацкой Республики — министром в то время был Людвик Свобода — высоко оценило героизм и доблесть Рерихов. Освальд награжден военной медалью «За храбрость», Мария — медалью «За заслуги». Большую человеческую радость доставило им то, что многие из тех, о ком они заботились, с кем делили тревоги, кров и хлеб, уцелели, продолжали воевать, помнят о них.

Я был у Рерихов в селе Лесковице, куда они переехали после ухода Освальда на пенсию (в Лесковице в дни войны находился штаб бригады имени Яна Гуса). Освальд с гордостью показал мне фотографию капитана Советской Армии. На обороте надпись: «На долгую и добрую память лучшим моим друзьям — Освальду Рериху и его семье в честь вторичной нашей встречи. Вы для меня — лучшие друзья, которые под страхом смерти, не считаясь ни с чем, приютили и обогрели нас, русских офицеров. Капитан Бережок». Уже после освобождения Чехословакии, 17 июня 1945 года. Константин Бережок со своими сослуживцами-офицерами заехал в лесную сторожку. Сколько было радостных воспоминаний!

— Всех их мы любим как своих детей, — тихо произносит Мария.

А вот еще одна фотография. В августе того же года в сторожке снова побывал рядовой Николай Дегтярев со своим командиром и другими однополчанами. Часть, в которой он служил, из Ческих-Будейовиц возвращалась на родину, и тогда Дегтярев заехал с товарищами к Рерихам. Посещали Освальда и Марию другие советские воины, прослышавшие о подвиге этой скромной семьи.

Записи в блокноте воскрешают в памяти село Родошовце, вытянувшееся вдоль дороги между Сеница и Годонином. Небольшой дом на самом краю села, спрятавшийся в густых зарослях кустов и деревьев. С дороги его и не заметишь. Сад с пчелиными ульями, в которых хозяин дома Янкович хранил

документы нелегальной партийной организации, листовки. В этом доме тайно собирались чехословацкие патриоты и советские воины, отсюда вместе уходили громить врага...

Пусть то, о чем рассказано, не покажется чем-то исключительным. Можно привести множество других примеров совместной борьбы чехов, словаков и советских людей на оккупированной гитлеровцами чехословацкой земле. Битва в тылу врага — тоже фронт, она смыкалась с битвой на том, главном фронте. По-разному складывалась у людей их военная судьба, каждому она отводила свое место, некоторым задавала чуть ли не неразрешимые задачи. Но даже в самом сложном, казалось бы — в безнадежном, положении наши люди не падали духом. Социалистический патриотизм, любовь к Родине, ненависть к врагу придавали им силы. И дружба. Как и на фронте, здесь, во вражеском тылу, в партизанских отрядах, закалилось советско-чехословацкое братство. Оно выдержало проверку и живет поныне, ибо скреплено совместно пролитой кровью.



РАССКАЗЫВАЮТ ВЕТЕРАНЫ

А. С. ЖАДОВ



ПОЛКИ ИДУТ НА ЗАПАД

После разгрома окруженных под Сталинградом немецко-фашистских войск наша 66-я армия¹ была выведена в резерв Ставки Верховного Главнокомандования и к концу февраля — началу марта 1943 года переброшена на курское направление в район города Бобров и включена в только что сформированный Резервный фронт, позднее переименованный в Степной. Здесь она получала пополнение и усиленно занималась боевой и политической подготовкой.

7 июля к нам на командный пункт прибыл командующий Степным фронтом генерал-полковник И. С. Конев. Разговор был коротким.

— По приказу Ставки армия переходит в подчинение командованию Воронежского фронта, — сказал мне Иван Степанович. — Ваша задача к утру одиннадцатого июля выйти на рубеж Обоянь — Прохоровка, занять оборону по реке Псел и не допустить дальнейшего продвижения немецко-фашистских войск на север и северо-восток.

Подходя уже к самолету, И. С. Конев добавил:

— Восточнее Прохоровки к исходу дня девятого июля сосредотачиваются корпуса Пятой гвардейской танковой армии генерал-лейтенанта танковых войск Ротмистрова. Действовать будете совместно.

Итак, армия получила боевую задачу совершить форсированный марш протяжением сто двадцать—сто сорок километров и занять оборону на указанном ей рубеже.

Перегруппировку армия совершила без каких-либо помех и не была обнаружена авиаразведкой противника. 10 июля южнее Марьино, в двадцати километрах северо-восточнее Прохоровки я встретился с представителем Ставки Маршалом Советского Союза А. М. Василевским и доложил ему о состоянии войск армии, а также о полученной задаче. Александр Михайлович озабоченно заметил:

— Обстановка в полосе Шестой гвардейской и Первой танковой армий очень сложная. Противник рвется на Обоянь, наши войска хотя и остановили его продвижение, но не исключена возможность, что он перегруппирует свои главные силы, попытается нанести удар на Прохоровку и далее повернуть на север, чтобы обойти Обоянь с востока. Вам следует быстрее выйти на указанный рубеж, организовать оборону и не допустить прорыва противника за реку Псел.

Впереди нас вела тяжелый бой с танками противника 52-я гвардейская стрелковая дивизия 6-й гвардейской армии. 11 июля части 95-й гвардейской стрелковой дивизии полковника А. Н. Ляхова и 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковника А. М. Сазонова с ходу вступили в бой с атакующими танками противника, поддерживаемыми непрерывными ударами фашистской авиации. Гвардейцы мужественно отражали атаки вражеских танков.

Ожесточенный бой длился весь день. К ночи враг был остановлен, продвинувшись всего на два-три километра. Вечером я получил приказ командующего фронтом, в котором армии ставилась задача: с утра 12 июля нанести контрудар лево-

Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

¹ 15 мая 1943 года 66-я армия была преобразована в 5-ю гвардейскую.

фланговым 33-м стрелковым корпусом совместно с 5-й гвардейской танковой армией, наносившей главный удар в направлении Большие Маячки, Яковлево, правофланговым 32-м корпусом совместно с 1-й танковой и 6-й гвардейской армией в направлении Красная Поляна, Гремучий. В сложной обстановке, в ограниченное время были поставлены задачи. На участок 33-го гвардейского стрелкового корпуса были переброшены истребительно-противотанковый артиллерийский, минометный реактивный полки. Организовано взаимодействие и управление.

12 июля 1943 года в 8 часов 30 минут войска армии перешли в решительное наступление вместе с танками 5-й гвардейской танковой армии, нанося удар левым флангом. В 12 часов 15 минут пехота и до сотни танков противника контратаковали наши части.

Соединения 33-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерал-майора П. И. Попова, отразив контратаки противника вместе с частями 5-й гвардейской танковой армии, к исходу дня вели огневой бой на рубеже реки Псел.

За этими короткими строками сколько мужества, стойкости, беззаветного выполнения воинского долга!

Наблюдая поле боя с высоты 236,7, я поставил задачу командиру 233-го гвардейского артиллерийского полка подполковнику А. П. Ревину остановить прорвавшиеся танки противника. Более 40 танков ползли на открытые позиции артиллеристов. В смертельном бою, идущем на южных скатах этой высоты, во всем своем величии проявилось несгибаемое мужество и воля к победе советских гвардейцев.

Девиз один: выстоять и победить. Падают артиллеристы. Убитых наводчиков заменяют другие номера расчетов. Уже 11 фашистских танков артиллеристы превратили в металлолом. А танки ползут и ползут, стремясь подмять под себя все живое. Накал боя нарастает. 4 танка уничтожил гвардии сержант А. Б. Данилов. Он ранен, но не покидает поле боя. У одного орудия погиб весь расчет. К орудию становится командир полка и последним снарядом поджигает «пантеру».

Фашисты не прошли. Дух советских гвардейцев оказался сильнее брони фашистских танков дивизии СС.

16 сожженных танков и десятки трупов вражеских автоматчиков оказалось на счету воинов 233-го гвардейского артиллерийского полка.

Отразив удары врага, 12 июля 1943 года наши войска перешли в наступление. К 23 июля немецко-фашистские войска были отброшены на рубежи, откуда они 5 июля перешли в наступление.

16 июля к нам на КП прибыл представитель Ставки заместитель Верховного Главнокомандующего Маршал Советского Союза Г. К. Жуков. Он поинтересовался организацией ввода армии в сражение 12 июля. По этому вопросу он беседовал со мной, с командирами корпусов, командующим артиллерией армии генералом Г. В. Полуэктовым. В личной беседе со мной он выразил неудовлетворенность организацией ввода войск в бой и сделал мне строгое внушение за то, что полностью укомплектованная личным составом, хорошо подготовленная к выполнению боевых задач армия вводилась в сражение без усиления ее танками, достаточным количеством артиллерии и крайне слабо обеспеченной боеприпасами.

— Если по каким-либо причинам штаб фронта не сумел своевременно обеспечить армию всем необходимым, то вы должны были, — сказал он, — настойчиво просить об этом командующего фронтом или в крайнем случае обратиться в Ставку.

Георгий Константинович подчеркнул, что за войска армии и выполнение ими задачи отвечают прежде всего командарм, командиры корпусов и дивизий.

25 июля мы получили директиву фронта на проведение наступательной операции по разгрому белгородско-харьковской группировки противника. В штабах и войсках соединений развернулась большая работа. Внезапными ночными налетами передовых частей мы захватили ряд командных высот, что создаю более выгодные условия для сосредоточения и развертывания войск. Особое внимание мы уделяли проведению разведки.

Когда решение главнейших вопросов подготовки операции приближалось к концу, на командный пункт 5-й гвардейской армии прибыл командующий войсками фронта генерал армии Н. Ф. Ватутин. До него сюда прибыли командующие армиями: 6-й гвардейской — генерал-лейтенант И. М. Чистяков, 5-й гвардейской танковой — генерал-лейтенант танковых войск П. А. Ротмистров, 1-й танковой — генерал-лейтенант танковых войск М. Е. Катухов и 2-й воздушной — генерал-лейтенант авиации С. А. Красовский.

Заслушав доклад каждого командарма о готовности войск к наступлению, командующий фронтом подробно разобрал с нами план операции, проанализировал систему обороны противника и возможный подход его резервов из глубины, определил место и роль каждой армии в операции, согласовал усилия армий, участвовавших в прорыве обороны. Особое внимание присутствовавших обращалось на четкую организацию артиллерийского и авиационного наступления, стремительность и смелость действий, инициативу командиров всех степеней, обеспечение ввода в прорыв танковых армий, непрерывность взаимодействия, маневр и стремительное наступление в глубину.

Командование фронта возлагало на войска 5-й гвардейской армии большие надежды. Ей предстояло действовать на направлении главного удара фронта. Армия получила большое количество средств усиления, она имела опытный командный состав и славные боевые традиции. Нанося главный удар, 5-я гвардейская армия должна была прорвать сильную позиционную оборону противника и, расширив прорыв, обеспечить ввод подвижной группы фронта в составе двух танковых армий (1-й и 5-й гвардейской), которые разовьют успех в общем направлении на Богодухов. Валки, обходя Харьков с запада.

Предусматривалась сильная длительная артиллерийская и авиационная подготовка (в течение трех часов), имевшая целью уничтожение вражеских войск в обороне, изнурение их в течение продолжительного времени и сокрытие момента перехода в атаку танков и пехоты. В организации артиллерийского наступления высокое искусство показали генералы и офицеры — М. Н. Чистяков, Г. В. Полуэктов, П. Я. Барбин, П. М. Корольков, Д. М. Краснокутский и другие.

С самого начала артиллерийской и авиационной подготовки и в течение всего первого дня наступления на нашем НП находился прибывший ночью Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, оказавший нам большую помощь, в руководстве войсками.

В полосе наступления Воронежского и Степного фронтов на рассвете 3 августа вражеский передний край был охвачен огнем и грохотом разрывавшихся мин, снарядов и бомб. В течение трех часов артиллерийским и авиационным огнем подавлялись и уничтожались фашистские войска. На некоторых участках фашисты не выдержали нашего огневого удара и из первой траншеи шли сдаваться в плен. К концу артиллерийской подготовки огневой удар, все нарастая по своей мощи, начал смещаться в глубину вражеской обороны, расчищая путь нашим танкам и пехоте.

Смело и дружно атаковали противника войска 32-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием Героя Советского Союза, впоследствии дважды Героя генерала А. И. Родимцева и 33-го гвардейского стрелкового корпуса под командованием генерала И. И. Попова. В своем резерве я оставил 42-ю гвардейскую дивизию генерал-майора Ф. А. Боброва. Справа от нас наступали войска 23-го стрелкового корпуса 6-й гвардейской армии, а слева — 53-я армия генерала И. М. Мазарова.

Стремительная атака наших войск при поддержке мощного огневого вала, сопровождаемая непрерывными бомбовыми ударами летчиков 2-й воздушной армии, застала вражеских солдат в укрытиях. Не догадываясь о начавшейся атаке, они ожидали конца артиллерийской подготовки. Перенос огня в глубину обороны не был замечен противником. Поэтому будто из огня появились наши танки и пехота на переднем крае врага. Сопrotивление было немыслимо. С поднятыми руками фашисты сдавались в плен.

Можно понять самочувствие вражеских солдат и офицеров. В шестнадцатикилометровой полосе наступления 5-й гвардейской армии была создана высокая плотность артиллерии и минометов — свыше 140, а на участке прорыва около 250 стволов на километр фронта. Это обстоятельство позволило иметь на каждые пятнадцать—восемнадцать квадратных метров площади вражеской обороны один разрыв снаряда калибра 76 миллиметров и выше, что буквально парализовало сопротивление противника в главной полосе обороны. Первые его три траншеи были заняты нашими войсками почти без единого выстрела.

И только потом, когда шок от огня нашей артиллерии стал проходить, сопротивление противника начало возрастать. Однако войска 5-й гвардейской армии не снизили темпа продвижения и к середине дня вместе с передовыми бригадами танковых армий завершили прорыв обороны, обеспечив ввод в сражение двух танковых армий. На второй день войска 5-й гвардейской армии успешно продолжали наступление совместно с танковыми армиями. К исходу 7 августа войска 1-й танковой армии продвинулись на глубину более ста километров и овладели Богодуховом. 5-я гвардейская танковая армия вместе со стрелковыми дивизиями 5-й гвардейской армии овладела Казачьей Лопанью и Золочевом. Таким образом, белгородско-харьковская группировка врага была рассечена на две части.

Войска нашей армии успешно решили поставленные боевые задачи. Это было достигнуто благодаря высокому боевому порыву, наличию превосходного вооружения, а также мастерству воинов, умевших до предела использовать огневую мощь и ударную силу боевых и технических средств борьбы на поле боя. Большое значение имело также тесное взаимодействие соединений и частей армии между собой, со средствами усиления и соседями—6-й гвардейской и 53-й армиями. Успеху прорыва способствовало наличие в боевых порядках дивизий, действовавших на участке прорыва армии, танков непосредственной поддержки пехоты (8—12 танков на километр фронта), а также ввод в полосу армии на узком участке крупной фронтовой подвижной группы в составе двух танковых армий.

При дальнейшем развитии операции 5-я гвардейская армия, используя успех танковых армий и тесно взаимодействуя с левофланговыми соединениями 6-й гвардейской армии, танкистами 1-й танковой армии, окружила и уничтожила борисовско-томаровскую группировку противника. В составе этой группировки была полностью разгромлена 19-я танковая дивизия противника. При окружении борисовско-томаровской группировки на пути ее отхода в район Березовка—Головчино я выдвинул 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию (командир—генерал Г. В. Бакланов, начальник штаба — полковник Т. В. Бельский, заместитель командира по политчасти — начальник политотдела дивизии полковник М. М. Вавилов). Стремительным маршем дивизия вышла на указанный рубеж, отрезав пути отхода врагу. Противник пытался прорваться, но воины дивизии, ведя неравные ожесточенные бои, проявляя героизм, стойкость и отвагу, не пропустили врага.

Развивая дальнейшее наступление на Золочев, Валки, вслед за частями танковых армий войска 5-й гвардейской армии продвинулись до ста десяти километров и к исходу 11 августа, ломая все возраставшее сопротивление врага, перерезали шоссе Харьков—Сумы. Тем самым была создана реальная угроза тыловым коммуникациям харьковской группировки противника с запада и оказано содействие войскам Степного фронта в разгроме и освобождении крупного промышленного и административного центра Украины — Харькова. 12 августа противник предпринял силами трех танковых дивизий — «Великая Германия», «Мертвая голова» и «Райх» — контрудар в направлении города Богодухов. На указанном рубеже соединения 5-й гвардейской армии совместно с 1-й и 5-й гвардейской танковыми армиями при поддержке соединений 2-й воздушной армии отразили сильнейшие контрудары врага и, совершив перегруппировку сил и средств, 18 августа снова перешли в наступление. 23 августа при содействии Воронежского фронта войска Степного фронта под руководством генерал-полковника И. С. Конева штурмом овладели Харьковом.

Так закончилась великая битва на Курской дуге.

Мы наступали. Нас окрыляло победное слово «вперед!». В непрерывных и ожесточенных боях прокладывали путь к Днепру и войска Степного фронта, в состав которого 5-я гвардейская армия была передана 7 сентября.

Командование 8-й немецко-фашистской армии во что бы то ни стало стремилось задержать наступление советских войск на заранее подготовленных оборонительных рубежах, тянувшихся вдоль рек Ворскла, Хорол и других на границе Полтавской области. Гитлеровцы силами до 100 танков нанесли удар по подразделению 13-й гвардейской стрелковой дивизии. Высокую выдержку и самообладание проявили в этом бою воины 4-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского дивизиона под командованием майора И. Г. Розанова. В моей памяти навсегда сохранилось чувство уважения к воинам-артиллеристам, истребителям танков. Это люди удивительного мужества и стойкости, и как особый знак они носили на рукаве шинели или гимнастерки черный бархатный ромб с двумя золотистыми перекрещенными пушками. Артиллеристы И. Г. Розанова в упор жгли танки противника. Не выдержав их кинжального огня, танки фашистов отошли.

Трое суток гвардейцы армии вели ожесточенные бои, отражая беспрерывные контратаки танковой дивизии СС «Райх», 3-й танковой и 233-й пехотной дивизий.

Проявляя героизм, мастерство, наши войска ломали сопротивление врага и стремительно шли вперед. Большую роль выполняли передовые отряды. Они смело проникали в глубину и наносили удары с флангов и тыла по отходящему противнику. В боях на подступах к Полтаве погиб замечательный командир полковник А. Н. Ляхов, заместитель командира 95-й гвардейской стрелковой дивизии.

Войскам армии предстояла важная и трудная задача — форсировать реку Ворсклу и освободить Полтаву.

Разведка установила, что правый берег Ворсклы подготовлен к обороне, минированы берега и броды, а город превращен в крепость. Окраины и улицы приспособлены к обороне, в зданиях пробиты амбразуры для орудий и пулеметов, мосты на реке взорваны. Для удержания города немецко-фашистские войска пополнялись людьми и вооружением. Любое промедление было на руку врагу, поэтому принимались меры к повышению темпов наступления.

В основе плана наших действий было нанесение главного удара в направлении Решетилка, Власовка, с быстрым обходом Полтавы с северо-востока 32-м гвардейским стрелковым корпусом, усиленным танками и артиллерией.

Для обеспечения стремительного наступления были высланы сильные передовые отряды от соединений. По нашему решению от 32-го гвардейского стрелкового корпуса выделили передовой отряд в составе 39-го гвардейского стрелкового полка, 57-го танкового полка, 301-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка, 1902-го самоходно-артиллерийского полка, огнеметной роты и роты саперов. Командиром этого отряда назначили боевого, опытного полковника Павла Витальевича Гаева.

Умело маневрируя, передовой отряд полковника П. В. Гаева за сутки прошел с боями более сорока километров и к исходу дня достиг Ворсклы севернее Полтавы, в районе Кротенкова.

Передовым отрядам поставили задачу, не ввязываясь в бой за подготовленные к обороне населенные пункты, обходить их, выйдя на фланги противника на реке Ворскла, захватывать плацдармы и, удерживая их, обеспечить форсирование реки главными силами.

Отходя, гитлеровцы сжигали деревни и хутора. До боли сжимались сердца при виде надругательств фашистских варваров над мирными жителями. Бойцы устремлялись вперед и атаковали врага с еще большей яростью. Наши бойцы наступали поджигателей на месте преступления. Так, во второй половине дня 21 сентября разведчики во главе с гвардии рядовым Р. Г. Кунакбаевым ворвались в деревню Вокулицы, расположенную на восточном берегу Ворсклы, и спасли ее от сожжения.

В те дни сотни советских мужчин и юношей освобожденных районов Полтавщины, не ожидая приказа о мобилизации, добивались зачисления их в части армии. Перед боем лучшие бойцы и командиры подавали заявления с просьбой принять в члены ленинской партии.

Нужно отметить смелые и решительные действия передового отряда полковника Гаева. В первый же день 20 сентября отряд вырвался вперед и на второй день к вечеру, опрокинув прикрытие противника с опушки леса восточнее Полтавы, ночью на 22 сентября вышел к реке Ворскла. Разгромил противника в траншеях опорных пунктов и захватил плацдарм на западном берегу Ворсклы. Затем, ломая сопротивление гитлеровцев, к утру значительно расширил плацдарм и создал благоприятную обстановку для форсирования реки главными силами 32-го гвардейского стрелкового корпуса и выхода на фланг и тылы врага.

22 сентября на наблюдательный пункт армии прибыл командующий Степным фронтом генерал И. С. Конев. Проанализировав обстановку, мы убедились в сложности положения, создавшегося в полосе наступления 33-го гвардейского стрелкового корпуса, которым командовал генерал М. И. Козлов, и особенно в 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Тут же на местности обсудили план боевых действий, разработанный Николаем Степановичем Никитченко, командиром 95-й гвардейской стрелковой дивизии. Так же внимательно изучили план боевых действий по освобождению Полтавы с командиром 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковником А. М. Сазоновым.

Беседуя с гвардейцами этих лучших соединений армии, командующий фронтом неоднократно напоминал, что на участке форсирования Ворсклы более двухсот тридцати лет назад полки во главе с Петром I переправлялись для решительной битвы с шведским королем Карлом XII.

Первыми форсировали Ворсклу солдаты 39-го и 42-го гвардейских стрелковых полков 13-й гвардейской дивизии. Дерзко, бесстрашно выбили они гитлеровцев из первой траншеи. И как тут не вспомнить боевой опыт и мастерство солдат этих полков, которые с таким же мужеством год назад выбили фашистов с «главной» высоты Сталинграда — Мамаева кургана. Плечом к плечу шли вперед гвардейцы 289-го и 294-го стрелковых полков 97-й гвардейской стрелковой дивизии. После стремительной атаки, доходившей часто до рукопашной схватки, сопротивление противника было сломлено, плацдарм захвачен, началась переправа полков и дивизий 32-го гвардейского стрелкового корпуса.

И грянул бой. Полтавский бой!

К 7 часам утра на правый берег Ворсклы переправилась 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, ее удар и удар гвардейцев 95-й, 97-й, 13-й гвардейских стрелковых дивизий, подкрепленных действиями с юга от города 53-й армии генерала И. М. Мангарова, сломили оборону гитлеровцев. В горячей схватке с врагом героически погиб командир 34-го гвардейского стрелкового полка подполковник Панихин, герой боев в Сталинграде.

Противник оказал особенно сильное сопротивление на рубеже дороги Диканька — Полтава и в районе деревни Пронино. Действовавший на правом фланге 97-й гвардейской стрелковой дивизии ее 294-й полк обошел противника с севера и ударом по северо-западной окраине Диканьки к 17 часам овладел ею.

В 19 часов 95-я гвардейская стрелковая дивизия, 9-я гвардейская воздушно-десантная дивизия, артиллеристы, саперы, с юга 84-я гвардейская стрелковая дивизия 53-й армии начали штурм города. Гитлеровцы отчаянно сопротивлялись, в течение ночи шли горячие схватки то тут, то там, трещали пулеметные и автоматные очереди, рвались гранаты и снаряды. Не выдержав удара наших войск, противник, прикрываясь арьергардами, бежал к Кременчугу.

К исходу дня 22 сентября 32-й гвардейский стрелковый корпус выполнил ближайшую задачу, выйдя своими передовыми частями на рубеж Лучки — Решетилровка — хутор Жуки, поставив под угрозу правый фланг оборонявшейся группировки противника.

Передовым отрядам 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковника А. М. Сазонова удалось форсировать Ворсклу в районе Вокулицы и Кривого Берега. К 5 часам 22 сентября передовые отряды дивизии, отражая сильные контратаки танков и мотопехоты противника, овладели восточной окраиной Полтавы. Завязались упорные кровопролитные бои с мотопехотой противника на гребне высот, опоясывающих город с востока.

В боях за Полтаву героизм и мужество проявила комсомолка-санитарка Люба Мальчуженко. Под ураганным огнем противника она перевязывала раненых бойцов, а затем выносила их с личным оружием с поля боя. На позиции взвода противотанковых пушек Героя Советского Союза младшего лейтенанта Ф. П. Агеева двигалось до 14 танков. За несколько часов боя гвардейцы-артиллеристы превратили в металлолом 8 танков с крестами на бортах. Два уничтожил лично командир взвода.

Противник оказывал ожесточенное сопротивление по всему фронту, однако умелое руководство командиров, решительные и самоотверженные действия всех воинов сломали сопротивление врага и вынудили его откатиться на запад. Утром 22 сентября дивизии корпуса форсировали Ворсклу. Первыми на правом берегу оказались батальон 287-го гвардейского стрелкового полка (командир — капитан Ф. С. Витошкин) и батальон 290-го гвардейского стрелкового полка (командир — капитан А. Ф. Воляник).

95-я гвардейская стрелковая дивизия (командир — генерал-майор Н. С. Никитченко) овладела Детским городком, Павленками, Новоселовкой и вышла на шоссе, идущее на Решетилровку. К этому времени части 9-й гвардейской воздушно-десантной дивизии полковника А. М. Сазонова ворвались в город.

В течение всей ночи с 22 на 23 сентября не смолкал бой на улицах города. Гвардейцы 5-й армии подавляли один очаг сопротивления за другим, выбивали противника, засевшего в каменных зданиях.

Враг оказывал отчаянное сопротивление.

К 6 часам утра 23 сентября 1943 года Полтава была полностью освобождена от гитлеровских захватчиков. В Москве прозвучал салют в честь воинов — освободителей города русской славы.

Несмотря на раннее утро, полтавчане собирались большими группами, обнимали, целовали солдат и офицеров. Город ликовал. Днем состоялся грандиозный митинг. Слова приветов звучали в адрес родной армии, ленинской партии и Советского правительства.

На митинге, посвященном освобождению города, уроженец Полтавы гвардии ефрейтор Науменко сказал:

— Дорогие друзья, два года мой родной город был оккупирован фашистами. Сражаясь за свой родной город, я знал, что мы освобождаем свою любимую Родину. Клянусь, что мы не пожалеем своей жизни и оправдаем высокое звание полтавских.

А гвардии сержант Николай Зюнев добавил:

— Мы били фашистов по-сталинградски, а теперь будем бить по-полтавски.

Впереди нас ждали новые бои, великая битва за Днепр, захват плацдармов на его правом берегу и освобождение Правобережной Украины.

За весеннее наступление 1944 года войсками армии освобождены от немецко-фашистских захватчиков города Первомайск, Ново-Украинка, Помошная, Ананьев и Григоріополь, свыше 30 районных центров, несколько десятков железнодорожных станций и 817 населенных пунктов Кировоградской, Одесской областей и Молдавской ССР. Впоследствии армия участвовала в Уманско-Ясской, Львовско-Сандомирской, Висло-Одерской, Берлинской и Дрезденско-Пражской операциях. Всего за годы войны войска армии прошли с жестокими боями в общей сложности около пяти тысяч километров, форсировали крупные реки Днепр, Буг, Днестр, Вислу, Одер, Нейсе, Шпрее, освободили десятки городов и тысяч населенных пунктов, уничтожили и взяли в плен десятки тысяч немецких солдат, офицеров и

генералов, захватили огромное, с трудом поддающееся учету количество техники и вооружения.

Наши солдаты, сержанты, офицеры и генералы сражались с врагом самоотверженно и победно во славу любимой Родины.

Алексей Семенович Жадов. Родился в 1901 году. Член КПСС с 1921 года. В годы войны командовал 5-й гвардейской армией. Герой Советского Союза. Генерал армии.

С. С. ВОЛКЕНШТЕЙН



В БОЮ АРТДИВИЗИЯ ПРОРЫВА

Во второй половине ноября 1943 года вслед за освобождением нашими войсками Киева вражеское командование в районе города Брусиллов спешно бросило свои войска в контрнаступление. Позднее, когда оно было отражено и наш I Украинский вновь овладел Житомиром, стали известны подробности планов гитлеровского командования. Ни много ни мало, а планировалось «столкнуть Красную Армию в Днепр» и восстановить «восточный вал» по его западному берегу.

В контрнаступлении, которым руководил генерал-фельдмаршал Эрих фон Манштейн, приняли участие 8 танковых и моторизованных дивизий. 3 из них эсэсовские.

Одним из двух танковых корпусов, которые Манштейн бросил в бой, командовал генерал Вальк. Двигаясь от станции Попельня на север, в направлении города Брусиллов, он должен был смять нашу оборону, пробиться на шоссе Житомир — Киев и, развивая наступление на столицу Украины, захватить ее.

Одной из двух артиллерийских дивизий прорыва, принявших участие в отражении вражеского наступления, была 17-я Киевско-Житомирская, которой я командовал.

В ночь на 16 ноября на мой командный пункт восточнее Житомира приехал генерал Д. Д. Турбин, заместитель командующего артиллерией нашего фронта. Мы подружились еще на финской войне: оба участвовали в прорыве «линии Маннергейма». Влюбленный в свое дело артиллерист и хороший товарищ, Турбин отличался завидной выдержкой. Тот факт, что боевое распоряжение комдиву привез он сам, свидетельствовало о чрезвычайной серьезности положения.

Задачу я получил не из легких: за ночь передвинуть дивизию на участок южнее Брусиллова и развернуться фронтом на юго-запад в готовности встретить врага.

Предстояло двигаться по местности, возможно уже занятой противником. Каждая из шести бригад получила не маршрут движения, а полосы с назначением основных и промежуточных рубежей для развертывания — на случай встречи с немцами. Бригады высылали в первый эшелон по одному дивизиону — на случай, если столкновение с врагом произойдет на марше.

Деловито, быстро, как точно выверенный часовой механизм, изготовились бригады к движению. Мы с Турбиным стояли у обочины дороги, пропуская мимо поток автотягачей с прицепленными к ним орудиями. На кабинах головных машин укреплены станковые пулеметы, и у них несли охранение разведчики. Окутываясь синим дымом, выползали на дорогу мощные тракторы с тяжелыми орудиями.

Генерал Турбин не отрываясь наблюдал грозное зрелище ночного марша дивизии. С ревом, на большой скорости проносились грузовики с расчетами. Поток машин казался нескончаемым.

Пропустив дивизию, обгоняя колонны, я поехал вперед. Чтобы сократить дорогу, направились к Брусилову проселками.

Командующего 38-й армией генерала Москаленко мы нашли в деревеньке на северной окраине Брусилова. Одинокая избушка, притулившаяся к церкви, издали показалась пустой. Но водитель стоявшей возле нее машины указал на дверь, и, войдя внутрь, я увидел командарма, его адъютанта и двух телефонистов. В окна уже пробивался поздний рассвет, но на столе чадил коптилка. Было очень странно, что при командарме всего несколько человек. Где же его штаб, где армия?

Увидев меня и начштаба нашей дивизии полковника Василеню, командующий оживился:

— Генерал Волкенштейн, вам известна обстановка? Будете поддерживать Семнадцатый гвардейский корпус генерала Бондарева.

Я козырнул и вышел. Надо действовать.

Оперативную группу штадива я отправил в лес, на южную окраину Брусилова, а сам проехал к командиру стрелкового корпуса, ожидавшему нашего прибытия.

Комкор генерал Бондарев и начальник политотдела корпуса полковник Демин встретили артиллеристов с великой радостью. Полковник, совсем еще молодой и экспансивный, с жаром рассказывал, каков их гвардейский корпус: соединение знаменитое, боевое, солдаты и офицеры — народ закаленный, только вот сейчас попали в передрыгу, потери очень большие, дивизии обескровлены.

— Люди отбиваются от танков гранатами. Немцы их утюжат, но чуть пройдут вперед — наши пехоту отсекают, не дают ей ходу. Воевать, конечно, можно, но с артиллерией много веселей. По правде сказать, нужна она нам сейчас как воздух...

В лесочке возле корпусного КП я приказал развернуть радиостанцию, чтобы связаться с бригадами и уточнить их выход в заданные районы. И тут я еще раз убедился, что недаром мы, командиры, гордились московскими парнями, служившими в дивизии, особенно шоферами и радистами. Ловко, быстро развернули ребята рацию, и скоро лесок наполнился треском атмосферных разрядов, голосами комбригов. Они докладывали о том, что бригады, как приказано, заняли огневые, к бою готовы, разведка с целью уточнения действий противника выслана.

Ну как можно было не радоваться! Люди дивизии, предназначенной для наступления, для прорывов, в непривычной для них обстановке вынужденного перехода к обороне действовали спокойно, уверенно, умно. Дивизии прорыва — детища нашей родной армии, ни у одной страны нет таких могучих артиллерийских соединений. Фашистской авантюрной идее блицкрига с преимущественным применением танков и авиации мы наряду с прочим отвечали массированным, уничтожающим артиллерийским огнем. Дивизии прорыва — оружие наступления, но идея, заложенная в них, не отрицала и оборону. Мы расчищали путь наступления нашим войскам при прорыве блокады Ленинграда, на Курской дуге, при форсировании Днепра и освобождении Киева. В оборону впервые пришлось стать под Ахтыркой — и тогда мы создали такую стену огня, о которую разбились контратакующие танковые войска врага. Теперь предстоит создать новый заслон, что ж, это нам не впервой...

Бригаду большой мощности отправляю в лес северо-восточнее Брусилова, чтобы, если потребуется, прикрыть огнем отход дивизии к городу. Теперь 17-я имеет второй эшелон на случай осложнения обстановки.

Почти тотчас стали поступать от комбригов сведения о противнике. Немцы идут с юга группами танков по 60—70 единиц, с небольшим, от роты до батальона, пехотным сопровождением. Фронт наступления — до тридцати километров. Уже доносился резкий частый перестук пушек легкоартиллерийской бригады, солидно били гаубичники, и вовсе уж басовито, не торопясь ухали 152-миллиметровые гаубицы-пушки. Меня тревожит, что соседей у дивизии пока нет, врагу ничего не стоит обойти нас с флангов. Оставалось надеяться, что Гитлер торопит Манштейна, тот — Балька и последний сначала попытается с ходу пробить нашу

оборону на направлении своего удара, не станет тратить время на маневр. Спеси и самоуверенности у генералов вермахта еще хватает.

Поначалу так оно и оказалось. Но подбитые и подожженные танки передовых отрядов указали командиру немецкого корпуса очертания нашего переднего края. Тогда он приказал обтекать район огневых позиций батарей, дивизионов, полков. И вражеские танки глубокими охватами с флангов стали брать наши бригады в клещи.

Но мы с начштаба предусмотрели это. Бригады для боя расставили у населенных пунктов в шахматном порядке. Само расположение деревень Водотый, Соловиевка, Дивин удачно соответствовало замыслу обороны. Теперь успех первого этапа боя зависел от мастерства и выдержки личного состава бригад.

Стали поступать донесения комбригов: немцы несут тяжелые потери от огня прямой наводкой. Снаряды 152-миллиметровых орудий сбивают с танков башни, осколки 122-миллиметровых рвут гусеницы. Минометчики отсекают пехоту, бьют ю самим машинам. Балък лез вперед, не считаясь с потерями. Он, видимо, полагал, что стоит еще нажать — и наша оборона рухнет. И он явно не предполагал, что его ожидают сюрпризы...

В полдень комбриг-92 полковник Дидык доложил, что немцы обошли его с флангов и полностью отрезали с севера — от дороги на Брусилов.

— Леша, — сказал я в микрофон, — двигайся на юго-запад. Да, да, не удивляйся. Сделай шаг влево и потом шаг вперед. Помнишь, как ходит в шахматах конь? Обойди их. Попытайся выйти в стык между немцами и своим соседом слева. Займи потом для обороны район Морозивка—Краковщина. Как понял меня? Прием...

Полковник ответил, что приказ понял, и тут связь прервалась. Тотчас подал голос левый сосед Дидыка — комбриг-50 Краснюков. Три его полка огнем остановили противника, после этого немец больше не пытался пробиться через боевые порядки, а начал обход с флангов.

— Держись, Николай Павлович, держись, дорогой! — попросил я. — Сколько сможешь. Понял меня?

— Вас понял, товарищ двадцать девятый. — Спокойный голос командира пробивался сквозь треск морзянки, разряды, выкрики немцев в эфире.

Балък продолжал нажимать. Он еще не понимал, что ему лучше всего обойти с флангов не отдельные наши бригады, а всю дивизию. Генерал лез в просветы между бригадами, обтекал их и по-прежнему был равнодушен к потерям.

Снова вызвал меня Краснюков. Доложил, что с чердака дома видит, как группа танков обходит хутор Водотый с востока, а три машины подошли к дому, где он находится, со стороны улицы, от огорода и с поля. Навели орудия, но огня почему-то не открывают. Выход бригаде на Брусилов отрезан. Что делать?

Я снова приказал сделать тот же ход конем — в сторону и прямо, но не назад, в наш тыл, а влево и вперед, во фланг обходившим немцам. Догматическая прусская военная наука наверняка не придумала еще контрхода.

— А теперь немедленно покинь дом, — приказал я комбригу. — Не жди, пока танки тебя расстреляют на твоём чердаке. Понял?

— Так точно, товарищ двадцать девятый, понял. Выполняю...

Уже после боя мы узнали, как покидали окруженный с трех сторон дом комбриг и его штаб. Четвертая стена, обращенная во двор, где стояли «виллисы», была глухая, без дверей и окон. Ничего другого не оставалось, как вылезать на крышу через трубу. Благо в украинских домах она широкая.

Вылезли благополучно, прыгнули в машину, умчались под пулями вражеских автоматчиков. Одураченные немецкие танкисты только теперь открыли огонь. Когда артиллеристы отдышались и глянули друг на друга, покатались со смеху — все были черные, как трубочисты.

Командирам трех других бригад, доложивших, что противник обошел их с флангов, было приказано тоже сделать «ход конем», занять оборону на новых участках, держать связь с соседями.

Маневр удался. Быстро наступали сумерки. Противник прекратил продвижение. Передний край свой Бальк обозначал ракетами и подожженными домами занятых им населенных пунктов. Он не обошел дивизию с флангов и, видимо, не собирался это делать и завтра. Значит, держаться можно будет.

На новых рубежах наши бригады всю ночь интенсивно окапывались. Между огневыми позициями орудий отрыли ячейки для ручных пулеметов, чтобы вести бой с пехотой противника. Приказано каждой бригаде выдвинуть вперед и замаскировать орудия, которые создадут известную глубину боевых порядков и дезориентируют немцев в отношении начертания нашего переднего края. Жесткая оборона рубежа с городом Брусиловом в центре теперь сможет оказать Бальку серьезное сопротивление. Он, без сомнения, уже понял, что его переингнали, но, наверно, рассчитывал, что взятые им в клещи бригады станут пятиться, отступать назад — тут он станет хозяином положения и сможет, начав преследование, на наших плечах ворваться в Брусилов. А там устремиться к автострате Киев — Житомир.

Но Бальку противостояли наш расчет, воля к победе, твердость. К цели он приблизился на считанные километры. Завтра врага ожидает бой на новых рубежах, которые в течение ночи укреплены и подготовлены к жесткой обороне. Конечно, «ход конем» уже повторять нельзя — Бальк будет настороже и постарается уплотнить свои боевые порядки, через которые так неожиданно ловко прошли наши бригады.

Надо готовиться к тяжелым боям.

За правый свой фланг я был спокоен — только что получено сообщение о занятии рубежа фронтовой артиллерией и 16-й дивизией прорыва, нашей «старшей сестрой». А вот слева соседа все не было, фланг открыт, связи с частями 3-й гвардейской танковой армии генерала Рыбалко установить не удалось...

Бои шли со все возрастающим ожесточением. Враг теснил дивизию с рубежа на рубеж, все ближе и ближе к Брусилову. Он подтянул артиллерию, авиацию, и их удары предшествовали атакам танков и пехоты.

Раскишше поля, казалось, стонали от грома тысяч орудий, воя самолетов, лязга и рокота сотен танков, не умолкавших с рассвета до сумерек. Жарко полыхали «тигры» и «пантеры». И сгорала надежда врага вновь занять Киев, «очистить от русских» Правобережную Украину.

Человеку, казалось, не оставалось места в том пекле, но человек бил из орудий по наползавшим броневым зверям, корректировал огонь батарей, отражал контратаки — словом, жил, воевал, ненадолго засыпал у пушек, раций, телефонов и снова дрался за каждую пядь уже досыта напоенной кровью родной советской земли.

В конце ноября один из дней выдался для дивизии особенно напряженным. Горел Брусилов, горели окрестные деревни. Четыре бригады сражались в полуокружении, пятая отходила под ударами танков на север.

Я позвонил в штаб армии и попросил разрешения вывести оказавшиеся в полукольце бригады через трехкилометровые, еще не прихлопнутые противником «ворота» на новый оборонительный рубеж. Генерал Москаленко дал согласие на отход, и по радиции бригадам был отдан приказ выходить, прикрываясь аррьергардными дивизионами, на следующий рубеж, окопаться и организовать систему противотанкового огня.

Вечерело, когда началась новая атака. Гулкие, как из бочки, удары танковых пушек, трассы автоматных очередей приближались. Бригады сообщали: благополучно вышли, окапываются на новом рубеже. Тогда я позвонил командарму:

— Разрешите перенести свой КП.

— Переносите.

Приказываю разобрать забор во дворе дома, где находится штаб. На улице уже немецкие солдаты, придется выбираться задами деревни. Автоматные трассы на уровне окон, с улицы доносятся крики бегущих немцев.

Отключаем телефонный аппарат и через окно вылезаем в огород. Нетерпеливо ворчит мотор «виллиса». Сам сажусь за руль. По лугу, по болотным кочкам

мчимся из деревни. Добрались до своих в Брусилове и тут только вздохнули облегченно. Все хорошо, что хорошо кончается...

Здесь, на рубеже города, и застопорилось наступление генерала Балька. Понял, что ему не пройти, и повернул в обход города на север в надежде прорваться там. Но и дальнейшие бои не принесли врагу успеха. Первый сильный его натиск был отбит, и скоро немцы выдохлись.

Очень тепло расставались артиллеристы со своим «однофамильцем» — 17-м гвардейским стрелковым корпусом. Генерал Бондарев благодарил от имени своих пехотинцев за выручку.

Пошла на запад дивизия, в тылу остался город Брусилов.

Не лишены интереса две оценки действий артиллерии прорыва на Правобережье.

Первая из них принадлежала представителю Ставки маршалу Г. К. Жукову: «Седьмой артиллерийский корпус прорыва с фронтовыми ИПТАПами на участке 38-й армии принял на себя удар сотен танков и подбил и уничтожил любую половину из этого количества, чем сорвал контрудар немцев с целью овладения городом Киев».

Вторая появилась в американской прессе. Не в херстовской, злопыхательской по отношению к Советскому Союзу, а относительно объективной, союзнической: «Контрудар немцев на Киев был сорван сильным артиллерийским противотанковым корпусом неизвестного состава и организации».

Мы, участники этих событий, старшие командиры 17-й артдивизии прорыва, встречали Новый год в лесу за Житомиром, только накануне отбитом у врага. Выпили за победу, попробовали позабытое яство — торт, привезенный из Киева. А потом убрали небогатую снедь, разложили на том же столе карту, и я отдал боевое распоряжение на завтра, на 1 января 1944 года.

То был приказ о наступлении. Начинался новый год, занимался новый боевой день.

Сергей Сергеевич Волкенштейн. Родился в 1900 году.
Член КПСС с 1919 года, бывший командир 17-й Киевско-Житомирской артиллерийской дивизии прорыва.
Герой Советского Союза. Генерал-майор в отставке.

И. Н. ВЕРЕМЕЙ



ТЯЖЕЛЫЙ, ТАНКОВЫЙ, ГВАРДЕЙСКИЙ

Иаши части так быстро двигались к Днепру, что я едва догнал их на попутных машинах. Разыскивал я свой 1-й гвардейский мехкорпус, который оставил, раненный под Полтавою. Искал своих, а попал к командующему известной, но еще не такой прославленной, как позднее, 3-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанту П. С. Рыбалко.

— Пойдешь на армейский разведполк? — спросил он.

Но я ответил, что ищу свою родную часть и хотел бы воевать в ней и дальше.

Генерал рассердился:

— А Третья танковая армия, которая вызволяет нашу ридну Украину, тебе выходит, чужая?

Я молчал. Рыбалко взгляделся в меня и решительно махнул рукой:

— Иди, хлопче, принимай полк. Он на Букринском плацдарме, южнее Киева. Мне боевые ребята очень нужны, найдется тебе доброе дело.

Плацдарм простреливался насквозь, живого места там не осталось — все перепахано немецкой артиллерией, авиацией, танками. Но мы держались, не позволяли столкнуть себя в Днепр.

Я получил 47-й гвардейский отдельный тяжелый танковый полк прорыва, а вскоре на этом самом плацдарме меня угостило снарядом так, что еле ожил. Откопали меня, раненного и контуженного, ребята из чехословацкого армейского корпуса — наши соседи. Девушка-чешка перевязала, парни дотащили до санчасти. Но в госпиталь лечиться, несмотря на приказ Рыбалко, я не поехал — не то время было. В санчасти отлежался. Все горели одним желанием — поскорее выбросить врага с родной земли. Когда к Днепру вышли, воду из реки стали пить — пилотками, фуражками, котелками, просто пригоршнями черпали. Некоторые плакали:

— Дошли до нашего Славутича, а сколько хлопцев его никогда не увидят...

В ночь с 2 на 3 ноября прибежал ко мне в санбат старший сержант Федор Шершнев, разбудил, написал на листке бумаги (после контузии слух у меня медленно восстанавливался): «Товарищ подполковник, на рассвете начинается наступление на Киев, полк идет передовым».

Мигом вскочил, натянул обмундирование. «Виллис» ждал меня, чтоб не тревожить врачей, за расположением санбата.

Перебросили наш полк с Букрина на Лютеж — тогда на этом плацдарме успех обозначился. И пошли танки и самоходки с пехотой на броне, а мой полк передовым.

Через несколько часов передовая рота под командованием капитана Малеева достигла района Святошино. Подъехал я на своем командирском «КВ» к перекрестку, вылез, огляделся. Вижу довоенную табличку «Гарматна вулиця». Подходят Малеев, командиры взводов.

— Почему не подавили огневые точки? — спрашиваю у ротного.

«Разнесем завод, жалко, — пишет мне Малеев. — Прорвусь фрицам в тыл, отрежу их, тогда они сами драпанут. Прошу только огнем поддерживать».

— Хорошо, — отвечаю, — сейчас с командиром приданного артополка свяжусь, он расчистит дорогу.

Тут к танку подбегает какой-то старик еврей с девочкой лет пяти на руках. Оба окровавленные, страшные. У ребенка ухо отрезано, прострелено горло, у деда лицо, борода в крови и тоже, как внучка, говорить не может, хрипит. Сунул ему Малеев карандаш и планшет с бумагой. Кто-то из танкистов девочку из рук старика перенял, бегом понес к санитарам. Старик пишет, рука дрожит, карандаш бумагу рвет. Их фашисты расстреливали перед самым своим бегством, он с внучкой затаился среди трупов. Нашли, ножами изрезали и бросили умирать... «Они увозят из города исторические ценности, — писал старик, торопясь, — в том числе из Лавры. Фашисты гонят с собой наших людей, чтоб по ним самим вы не стреляли...»

Меня затрясло. Поднял над головой записку:

— Слушайте все, что этот старик пишет!

И я прочел написанное.

— Все слышали? Что они с нашими людьми делают, видели? Нет вопросов? Тогда — вперед!

Хочу влезть в танк, вдруг кто-то трогает меня за плечо. Оборачиваюсь — тот старик: смотрит пристально, жестикулирует, хочет сесть на броню, чтобы нам дорогу указать.

— Спасибо, отец, мы тоже здешние, сами дорогу найдем. А ты иди лечись и внучку береги.

Сел я в танк, и рванули мы на высшей скорости. Догнали фашистов очень скоро. Побросали фрицы свой транспорт, стали разбегаться. Но мало кто от нас ушел. наших людей освободили. Ценности отбили и потом их городским властям передали.

Летом 1944 года полк наш сражался уже на территории Польши, за ее свободу. Знамя по праву передали в экипаж Фоменко — он и его танкисты на ми-

тинге поклялись пронести святыню части до Берлина и беспощадно мстить врагу за страдания и гибель наших людей.

Раненный в бою под Коростышевом, приехал капитан Малеев. Очень я обрадовался ему. Он привез из Танкограда¹ маршевую роту — 10 «тридцатьчетверок» с экипажами. Ему предстояло в ночь ехать в тыл за пополнением — воевать ему врачи больше по состоянию здоровья не разрешили. Однако этот сибиряк хоть и не богатырь был с виду, но характер имел твердый. Донял он меня:

— Возьмите обратно в полк, я тут воевал, ранен был.

Позвонил я генералу Рыбалко, попросил оставить капитана.

— Такому боевому хлопцу у нас всегда дело найдется, — сказал генерал. — Даю добро твоему Малееву. Поблагодари от моего имени за стремление возвратиться в свою армию и в родной полк.

Павел Семенович никогда не забывал в большом и в малом воспитывать в людях «танкистский патриотизм» и любовь к своей части. К этому же и все мы, командиры частей, стремились.

Перед тем как сесть в танк Фоменко, Малеев снова подошел ко мне:

— Прошу разрешения взять в роту лейтенанта Климова. Боевой парень, воюет хорошо, а машины у него нет. У старой моторесурсы израсходованы.

— Ладно, — отвечаю, — давай твоего Климова.

А Климов, смотрю, уже тут как тут. Шагнул, доложил, что воевать «пешим по-танковому» надоело, просит дать машину. Вгляделся я в парня: не напускное ли? Случалось с иными и такое. Нет, как будто и в самом деле в бой рвется.

— Добре! — сказал я Малееву. — Бери Климова в роту.

Просиял лейтенант, как школьник, и бегом припустил к роте, только длинные ноги замелькали.

Нацелил я роту Малеева на польский городок Мелец, и ушли они лесами и перелесками на запад. Вслед двинулся весь полк.

Очень скоро немцы, обнаружив нас, стали подтягивать тяжелые танки, подвели бронепоезд.

Рота Малеева смело атаковала, не ожидая подхода полка. На 10 наших машин навалились немецкие танки и самоходки. Они стояли в ряд и били по роте. Артиллерийская дуэль затягивалась, а вся суть действий передового отряда в быстроте атаки. Тогда капитан на своей машине зашел немцам в тыл и зажег два их танка. А тут подоспели проклятые «королевские тигры» и бронепоезд. У пушки малеевской «тридцатьчетверки» отбило снарядом часть ствола. Фоменко легко ранило. От роты и приданного мотострелкового батальона машину Малеева немцы отрезали. И стали предлагать сдаваться...

Мы торопились к ним на выручку, но не успели. По радиции капитан передал:

— «Береза», я «Береза-один», орехи кончились, иду на таран бронепоезда.

Танки наши неслись на предельной скорости. Мы уже слышали пушечную пальбу, видели дымные столбы над полем боя. И тут я услышал по переговорному устройству в последний раз отчетливый голос Малеева:

— Поезд таранили, сбили с рельсов. Лапти соскочили. Двигаться не можем, немцы наседают. Иван платок принесет. Прощайте, товарищи! Мы не сдадимся. Прошу считать меня коммунистом...

И замолчал Малеев.

Несколько танков сжег Климов с товарищами, потом мы подоспели и остальных фашистов разогнали. Когда добрались до железной дороги, навстречу выбежали со спасенным знаменем Иван Фоменко и его механик-водитель Шакир Ибрагимов. Они сели на мою броню, и мы помчались по ясно видимому на стерне следу малеевской машины.

После тарана у них слетели обе гусеницы. Тогда капитан велел Фоменко и Ибрагимову выбираться из танка, а сам стал из пулемета прикрывать их отход. Спасли они полковую святыню. Знамя Иван вытащил из-под гимнастерки и отдал мне.

¹ Так в годы войны называли Челябинск и округу, где на заводах выпускались танки.

Мой «КВ» подъехал к обгорелому танку Малеева, но капитана в нем не было. Мы нашли его неподалеку на догоравшей копне. Тело его было обуглено и все исколото штыками, и земля вокруг истоптана чужими сапогами — видно, много побывало здесь фашистского зверья, которое наслаждалось мучениями советского танкиста. Он не сдавался, и они облили танк горючим и зажгли. Десантный люк остался открытым — Малеев с пулеметом вылез через него. Капитана схватили, обложили снопами жита и подожгли...

Малеев умирал, и мы не могли помочь. Потом глаза его закрылись. Мы сняли шлемы. Я приказал повернуть пушки в сторону врага и дать залп в память погибшего гвардии капитана Леонида Малеева.

Подъехал на своем танке Климов. Соскочил, веселый, разгоряченный боем. Подбежал докладывать — и точно споткнулся. Побелел, зашатался и рванулся к своему танку.

— Стой, Климов! — окликнул я его.

Он продолжал бежать, точно не слышал.

— Стой! — снова позвал я. — Лейтенант Климов, ко мне! — Это я уже крикнул на все поле.

Словно на канате кто-то тянул его назад, к танку. Не верни я его, он наворошил бы дел там, у немцев, и сам бы не вернулся.

— Нельзя так, Миша. — Я взял его за руку, повел с собой. — Мы, танкисты, военные, не должны давать волю чувствам.

Я и сам не верил, что говорю то, что нужно. Но Михаил все же шел за мной, и это было в ту минуту главным.

Завернули тело Малеева в плащ-палатку и повезли в только что освобожденный Мелец. «Виллис», окруженный танкистами, остановился на площади у костела. Пришли поляки — дети во главе с ксендзом, взрослые — и поверх двух танковых траков и шлема погибшего капитана положили на могилу красные цветы.

Прощай, сибиряк Леонид Малеев, прощай, капитан! Мы идем дальше и тебя не забудем!

В летних боях на Сандомирском плацдарме отличился лейтенант Климов — подбил 4 «пантеры». Он был награжден орденом Ленина. Это произошло еще до переформировки, после которой наша часть стала называться длинно и внушительно — 383-й гвардейский Киевско-Житомирский тяжелый танко-самоходный артиллерийский полк прорыва. Танкисты осваивали новую технику — самоходные установки, вооруженные мощным 122-миллиметровым орудием — «ИСУ-122». Пехота по праву уважительно звала могучие самоходки «зверобоями». От их страшных пушечных ударов раскалывались, как спелые орехи, сверхтяжелые машины врага — «королевские тигры» и «фердинанды».

И вот снова пошла на боевые дела 3-я гвардейская танковая.

Стоял январь 1945 года — зима, похожая на весну. Снег пойдет и тут же растает. Висла взломала лед — река, как и люди, торопила весну.

13 января, на второй день наступления, в прорыв вошла наша танковая армия, а уже через шесть дней за плечами ударной группировки осталось сто километров пройденного пути. Темп наступления стал сорок — сорок пять, а в отдельные дни достигал семидесяти километров в сутки. 19 января танки и самоходки с пехотой на броне пересекли границу фашистской Германии. Здесь еще не было знаменитых плакатов, которые появились в те незабываемые дни на дорогах наступления Белорусских и Украинских фронтов: «Вони! Перед тобой логово фашистского зверя». Мы только по картам определили пограничье освобожденной Польши и ненавистного гитлеровского рейха.

А потом воевали мы в Польше. И сложная выпала задача: не только освободить Силезию от врага, но не позволить ему уничтожить предприятия промышленного бассейна. Такое было под стать только смелым, находчивым, опытным воинам. И рыбалковцы с этой задачей справились блестяще.

Уже потом постиг я общий стратегический замысел командования. Он, как оказалось, сводился к тому, чтобы, окружив фашистскую группировку, оставить

для нее узкий проход на запад и «вытолкнуть» ее из Силезского угольного бассейна именно через этот коридор. В масштабе же полка боевые операции свелись к следующему.

Гонимые к горловине нашими частями, поспешно отходили фашистские дивизии. После Сталинграда немцы панически боялись окружений. На мой полк, огрызаясь, пятилась старая «подружка» — эсэсовская дивизия «Мертвая голова», крепко пощипанное нами, но все еще сильное, боеспособное соединение.

К ночи полк занял позиции, перекрыв горловину. Шел мягкий снег, совсем не похожий на наш, российский, ядерный. И в свете ракет мы увидели: на нас движется бесконечная, облепленная снегом колонна танков, самоходок, бронетранспортеров с пехотой.

Силы врага в несколько раз превосходили наши.

Положение напряженное. Все на своих местах, готовые открыть по колонне огонь.

И тут ко мне подходит полька. Хромает, нога перевязана окровавленным бинтом:

— Пан товариц, помогите...

Ее послали коммунисты-рабочие с шахты, расположенной в районе между населенным пунктом Николаи и станцией Макрау. Немцы согнали там больше трехсот польских семей, готовы взорвать их вместе с шахтой.

Как ни напряженно у нас было в тот момент, нельзя людям отказывать в помощи. Решил я атаковать немецкую колонну. Позиция у нас выбрана отлично: к перекрестку дорог шла насыпь, по которой только и могли передвигаться враги — либо вперед, либо назад, свободы маневра у «тотенкопфов» не было. Посадили мы на броню самоходок поляков, чтобы они указали пути для атаки фашистской колонны с флангов и тыла.

К утру побойце стихло. Около 40 вражеских танков, сотни автомашин доргали на болотистой равнине. В плен взяли немало фрицев с «черепками» на руках и, что особенно порадовало, захватили знамя эсэсовской дивизии. Через полгода на параде Победы оно было брошено к подножию Мавзолея В. И. Ленина.

Как благодарили нас поляки за свое спасение и за сохранение шахты, рассказывать не берусь.

Приехал я к самоходчикам после сражения. И поклонился я своим парням до земли.

Я еще не знал, что за эти и другие бои командование представило меня к званию Героя Советского Союза. А то бы я поклонился дважды своим орлам — ведь это они воевали так геройски, что их командир представлен к высшей награде...

Подоспел тут приказ командира корпуса генерала И. И. Сухова: «Веремею — через Одер на западный берег».

Форсировали мы реку — не очень широкой оказалась она нам после Днепра и Вислы. И на другом берегу в районе местечка Яуэр едва не попали в беду. Полк в сумерках шел по дороге походной колонной. Где-то далеко разливались зарева. Внезапно из-за одноэтажных невидных домишек, прилепившихся к шоссе, выбежал старик в шубейке, в каких-то опорках.

— Цурюк, цурюк! — кричал он. — Минен, минен!

Ничего не успел никто из нас сообразить — из-за дома раздалась длинная автоматная очередь. Немец упал. У самой дороги. Поскреб руками снег, подергал голову и затих.

Копнули мы снег впереди на дороге — в самом деле мины.

Спас нас этот старик, хоть и жизнью своей пришлось ему расплатиться за помощь русским.

Подшел ко мне лейтенант Климов и спросил:

— А фамилию немца так и не узнали?

— Нет, Миша, к сожалению... Но наверняка был не дворянского рода. И в охране у Гитлера не состоял. Рабочий человек, труженик был, это мне ясно!

Приказал я похоронить его по-солдатски, с воинскими почестями. Имени его не узнали, но убедились, что не одни враги встречаются нас на немецкой земле, есть у нас и друзья и они знают, что для Германии, для немецкого народа мы — освободители. Это понимают здесь пока немногие, но придет время, поймут все немцы. Должны понять!

Иван Николаевич Веремей. Родился в 1915 году. Член КПСС с 1939 года. Командовал танковым полком. Герой Советского Союза. Ныне генерал-майор запаса.

П. И. БАТОВ



НА БОБРУЙСК

Прорыв 65-й армии на Бобруйск летом 1944 года маршал Г. К. Жуков как-то назвал «инженерной операцией». В этом определении есть свой резон. Фашистских захватчиков били, окружали и уничтожали наши славные пехотинцы, танкисты, артиллеристы, но у них было много помощников, в том числе самые самоотверженные — саперы. В данном случае в начале боев на окружение и разгром бобруйской группировки противника инженерные войска армии помогли нам пройти там, где, казалось, пройти было невозможно, и ударить там, где враг не ждал главного удара. Как говорилось в старину: удивить — победить...

Во второй половине мая Константин Константинович Рокоссовский вызвал в Гомель на Военный совет всех командармов I Белорусского фронта. Он сделал короткий доклад. Ставка Верховного Главнокомандования, говорил командующий фронтом, запланировала операцию под кодовым названием «Багратион», это будет один из основных ударов на советско-германском фронте.

Предстояло завершить освобождение Белоруссии и выйти на помощь братскому народу истрадавшей Польши. В операции примут участие четыре фронта и наш, I Белорусский, — на бобруйском направлении. Данные о соотношении сил в масштабе всей операции: по пехоте на нашей стороне двукратное превосходство, а по артиллерии и минометам почти тройное, в танках и самоходных артиллерийских орудиях и в авиации более чем четырехкратное. Рокоссовский объяснил это крупным просчетом вражеского командования: полагая, что главный удар нужно ждать на юге, оно держало большую часть своих танковых соединений против I Украинского фронта.

Затем командующий фронтом объявил свое решение: прорвать фашистскую оборону двумя ударными группировками, действующими по сходящимся направлениям. С востока на Бобруйск, Осиповичи наступают две армии, 3-я и 48-я, в прорыв входит танковый корпус Б. С. Бахарева. А с юго-запада наносят удар на Осиповичи 65-я и 28-я армии и конно-механизированная группа И. А. Плиева, в прорыв вводится и Донской танковый — наш неизменный и верный соратник! — и вместе с танкистами Бахарева перерезает пути отхода противника на запад.

С большим удовлетворением выслушал я командующего фронтом. В уяснении нашей, армейской задачи мне очень помогло проведенное за несколько дней до этого командно-штабное учение с нашим штабом. Мы проиграли на карте и на местности действия своих войск на бобруйском направлении. Очень большое сходство было между этим учением и замыслом операции армии, как он вырисовывался из слов командующего.

Рокоссовский установил сроки планирования и предложил возвращаться на командные пункты. Мы отправились «по домам» в приподнятом настроении. Радовался, что недалеко время, когда войска снова пойдут вперед. Близка государ-

ственная граница Родины, еще одно мощное усилие — и советский солдат очистит родную землю от захватчиков. Вот чем тогда жили!

65-я армия в это время имела два стрелковых корпуса и четыре соединения, подчиненных непосредственно командарму. 18-м стрелковым корпусом, которому под Бобруйском, как увидит читатель, выпало особое военное счастье, командовал генерал Иван Иванович Иванов. Это был представитель того поколения русского рабочего класса, которое участвовало в Октябрьских боях, а затем отдавало свои силы созиданию армии социалистического государства. Теперь ему шел сорок восьмой год, за плечами академическое образование и богатый опыт. На Днепре наш комкор заслужил звание Героя Советского Союза, его военный талант был в расцвете, а живой, дружелюбный, общительный характер помогал ему обогащать и себя и свой штаб инициативой, опытом, смекалкой бывалых солдат и офицеров. А это имело на войне огромное значение! В 18-м корпусе было три стрелковые дивизии — 69-я и 37-я гвардейская, а также новая для нас 15-я Сивашская дивизия, которую привел полковник Кузьма Евдокимович Гребенник, энергичный, волевой, опытный офицер.

Другой, 105-й стрелковый, корпус возглавил Дмитрий Федорович Алексеев, бывший командир 354-й стрелковой дивизии, показавший свою доблесть на Соже. Начальником штаба мы ему дали из управления армии полковника Н. М. Горбина. Оба наши выдвиженца быстро сошлись. У комкора прекрасная черта — ценил штаб, находил время готовить его, а новый начальник штаба отличался исключительной преданностью делу. Приведу небольшой, но характерный штрих. Как-то пришлось отчитать Горбина по телефону за оплошность. Он ответил:

— Благодарю, товарищ командующий!

— За что же благодаришь?

— Раз вы меня ругаете, значит, я несу ответственность. Вот за это и благодарю...

Наша армия стояла в полосе, сплошь покрытой лесами. Множество небольших рек с широкими поймами, каналы и топкие болота. Места исключительно трудные для маневра. Фашистское командование использовало эти особенности местности и создало сильную, глубоко эшелонированную оборону полевого типа. Однако были в ней слабые стороны, армейская разведка и штаб их обнаружили. Дело в том, что противник поддался мысли, будто здешние болотные топи непроходимы для войск, а главные силы поставил в район Паричей, где ждал нашего удара.

Конечно, паричское направление было заманчивым: участок местности сухой и не имеет водных преград. Но господствующие высоты в руках врага, плотность его огневых средств велика, он нас тут ждет, и поэтому здесь нам, пожалуй, не достичь высокого темпа продвижения; наступать под Паричами значило бы понести тяжелые потери. Все большее внимание при выборе направления главного удара армии привлекали болота на левом фланге и в центре оперативного построения, где располагался 18-й стрелковый корпус. Этим участком представители армейского командования занялись задолго до вызова в Гомель на Военный совет. И генерал Иванов со своими офицерами тоже изучал возможности, скрытые на впереди лежащей местности. Он понимал, что решается вопрос, быть его корпусу на главном или на второстепенном направлении при прорыве, и добивался чести идти впереди. Руководитель армейской разведки И. К. Никитин со своими людьми пропал на болотах, там же «колдовал» армейский инженер П. В. Швыдкой. Можно сказать, что коллективная офицерская мысль нацелилась тогда на поиск пути к решающей победе именно на этом направлении.

Меня и члена Военного совета Николая Антоновича Радецкого радовала и обнадуживала эта творческая активность боевых товарищей и сотрудников. Она в значительной степени поднята была благодаря настойчивой работе армейских политорганов, низовых парторганизаций в частях, активности всех коммунистов армии. Коммунисты и комсомольцы, рядовые и офицеры, воодушевленные сознанием важности надвигающихся боев, создавали в штабах, в соединениях, в частях и подразделениях армии атмосферу приподнятости, нетерпеливого стремле-

ния к скорейшему началу наступления, к решительному разгрому врага. Вот так, исподволь, началась подготовка «инженерной операции».

Однажды мы с генералом Ивановым сидели в лесу у тлеющего костра среди гвардейцев, беседуя о гиблых болотах, лежащих между нами и противником.

— Пройти по ним можно, — сказал пожилой солдат. — Я тутошний и знаю — можно пройти. Верное слово! По этим топям мы ходили в мокроступах.

— Что это такое? — спросил командир корпуса.

— Лыжи из лозы. Ноги в трясине не тонут и шагаешь легко — грязь в решетках не задерживается.

— Сможешь сделать завтра десяток?

— Отчего нет? Сделаем.

Подполковнику В. Н. Горелову, начальнику штаба 37-й гвардейской стрелковой дивизии, было приказано доложить об исполнении прямо командарму. Решили попробовать эту «технику» на участке 69-й дивизии, там болота легче. К вечеру следующего дня подполковник доложил, что сделано 20 комплектов мокроступов и подготовлена группа разведчиков во главе с офицерами саперного батальона.

— Разрешите, товарищ командующий, произвести разведку топи на нашем, гвардейском участке!

В голосе начальника штаба дивизии было столько горячности и желания послужить на пользу общему делу, что трудно было ему отказать. И я знал, что Василий Никифорович Горелов способен успешно провести рискованное, смелое дело.

Посоветовался с Никитиным и Швыдким, оба высказались в поддержку инициативы гвардейцев, причем наш инженер сказал:

— Если подтвердится, что по болоту могут пройти люди, значит, найдем способ провести и боевую технику. Вот тогда будет гитлеровцам сюрприз...

— Танки тоже имеешь в виду, Павел Васильевич?

— Может быть... Пошлю с разведчиками офицеров инженерного отдела. Промерят глубину топей.

Ночью гвардейцы начали освоение одного из участков болота. Разведчики шли в мокроступах. Каждый боец нес два-три соломенных мата для подстилки в самых топких местах.

На болотах у противника не было сплошного фронта обороны. Она тут строилась по принципу отдельных опорных пунктов, расположенных на сухих, возвышенных участках, имевших между собой огневую связь. Разведка двигалась осторожно. Офицеры инженерного отдела шли замыкающими и через определенные промежутки времени измеряли глубину топи. Отряд гвардейцев незамеченным вышел за передний край обороны противника. Три красноармейца подкрались с тыла к опорному пункту фашистов и захватили в плен часового, дремавшего у пулемета.

Разведка подтвердила два наших предположения: во-первых, противник исключал возможность наступления на этом направлении и имел здесь слабую оборону; во-вторых, топи проходимы для людей, а если проложить гати, то и для техники.

В армейском тылу на топях П. В. Швыдкой построил гати особой прочности и предложил испытать их. Лучшие механики-водители вывели три боевые машины на этот своеобразный танкодром.

Мы с Радецким и начальником штаба армии Бобковым поехали посмотреть испытания гатей. Тут многое решалось!

Командующий бронетанковыми войсками А. Ю. Новак вместе с инженером хлопотал у танков. На случай опасности их соединили стальными тросами, все щели в нижней части машины заделали промасленной паклей, верхний люк открыли.

— Разрешите начинать? — спросил Швыдкой, когда осмотр машин был закончен.

И вот первый танк медленно двинулся. Он будто балансировал, кренясь то вправо, то влево. Прошло не больше пятнадцати минут, и ганк, преодолев топь, выполз на твердый грунт.

Пошел второй. Новак приказал водителю:

— Добавь скорости!..

Машины преодолели болото, прошли по гати обратно. Танкисты вытирали рукавами комбинезонов крупные капли пота. Лица у них были радостные, в глазах загорный огонек. Эти молодые солдаты тоже понимали значимость происходящего, и они были взволнованы не менее командующего армией. У нас с Радецким прочно утверждалась мысль, что главный удар через топи принесет армии успех.

Новак спросил:

— Согласится ли командующий фронтом?

— Готовьтесь показать товар лицом, Анатолий Юрьевич. Постараемся убедить начальство фактами, а это будет зависеть от вас и от инженерных войск.

Нам очень хотелось, чтобы К. К. Рокоссовский поддержал наметившиеся у нас решения. Ну а если замысел будет отвергнут, то и вспомогательный удар, нанесенный через болота, выведет войска в тыл вражеской обороны и поможет быстрее ее прорвать.

Без промедления началось строительство гатей. Работали все инженерные войска и многие стрелковые части второго эшелона. Каждую ночь на болотах укладывалось несколько десятков метров бревенчатых колеиных путей. На отдельных участках, где глубина топи доходила до полутора метров, настилали бревна слоями.

Душой всего дела был Павел Васильевич Швыдкой. Ночи — на болотах с саперами, днем — в лесу, где заготавливались материалы для гатей. Он понимал, какую огромную ответственность берет на себя, оборудуя танкам проходы по болотам. Подобные инженерные сооружения не предусматривались никакими наставлениями. Швыдкой действовал с твердой уверенностью в успехе, без оглядки, но, конечно, с большой осторожностью.

С Павлом Васильевичем я прошел плечо к плечу большой путь, начиная со Сталинграда, и с удовлетворением наблюдал, как быстро рос в нашем дружном коллективе этот талантливый офицер. Мы с Радецким называли его между собой воспитанником 65-й. Мы взяли его на должность армейского инженера, несмотря на то, что его опыт пока ограничивался масштабом бригады. Молодой инженер быстро вошел в коллектив, чему помогли добродушный характер, развитое чувство товарищества и, главное, преданность своему делу. Он охотно, с открытой душой приходил к начальнику штаба поучиться, посоветоваться по тем вопросам инженерного обеспечения операции, в которых чувствовал себя еще недостаточно уверенным. Уже при форсировании Дона под Вертячим мы почувствовали, что наш инженер — отличный организатор, обладающий великолепной саперной интуицией. А далее были Сож и Десна и подвиг наших солдат, в том числе саперов, на Днепре под Лоевом. В дни подготовки бобруйской операции способности П. В. Швыдкого раскрылись в полную силу.

Когда первые стометровки колонных путей были готовы, мы со Швыдким устроили осмотр. Шли не спеша. Бревна перекатывались под ногами. Павел Васильевич объяснил:

— Пока не крепим скобами, начнем забивать — фрицы засекут по звуку и накроют. Планирую забивку скоб на период артиллерийской подготовки.

— Сколько потребует времени?

— Полтора часа. Я посоветовался с генерал-майором Бескиным, он не против.

Предложение это вносило важный элемент в общий комплекс мер оперативной маскировки готовящегося наступления. Обсудили на Военном совете. Начальник артиллерии И. С. Бескин поддержал инженера. Генерал Новак внес предложение: организовать тренировку танкистов, построив на топи в тылу колонные

пути. Пришлось съездить в Донской корпус и посвятить в наши планы генерала М. Ф. Панова. Он принял в них самое горячее участие.

По директиве Рокоссовского, план армейской операции нужно было представить 8 июня. У нас к концу мая уже почти вся подготовка была завершена, и мы могли продемонстрировать реальные возможности избранного варианта направления главного удара.

В первых числах июня на рассвете на КП армии (в лесу близ деревни Просвет) неожиданно приехали К. К. Рокоссовский и представитель Ставки Г. К. Жуков.

Первый вопрос маршала:

— Когда в последний раз были в войсках?

— Ночью.

— Где?

— В корпусе Иванова, на участке Шестьдесят девятой дивизии.

— Покажи на карте.

— Вот этот район болот...

— Можно проехать?

— Местность открытая, товарищ маршал, обстреливается артиллерией.

Лучше смотреть ночью.

— Поедем сейчас!

Что за срочность — этого, конечно, командарму спрашивать не положено. Я мог лишь просить, чтобы на передний край выехал весьма ограниченный круг лиц, интервал между машинами — две-три минуты. Так и сделали. От опушки леса пошли пешком, и вскоре все скрылись в ходах сообщения.

Солнце только поднималось над горизонтом. Давала знать о себе болотная сырость. Прохладно. Я с тревогой шел впереди. К счастью, противник вел себя спокойно, лишь изредка — пулеметные очереди. Рапорты командиров передовых подразделений. Короткий приказ:

— Оставитесь на месте, занимайтесь своим делом.

В первой граншее Жуков и Рокоссовский долго наблюдали в бинокли, видимо оценивали местность и тактическую глубину обороны противника. У меня мелькнула радостная мысль, что они тут, именно тут ищут направление главного удара.

Неужели наши планы совпали?

Пошли на другой участок. По пути Рокоссовский расспрашивал, почему я бываю в войсках больше всего в районе болот, а не в районе Паричей.

— И там тоже бываю, товарищ командующий.

— Не хитри, — засмеялся Константин Константинович, — здесь ты бываешь почти каждый день. Неспроста?

— И вы неспроста приехали в этот район.

— Ты скажи, как рассматриваешь возможность действия войск на Паричи.

Мне оставалось доложить все наши соображения. Под Паричами возможности для продвижения всех родов войск хорошие, но противник не дурак, он занимает господствующие высоты, принял все меры, чтобы прочно удерживать этот район. Наше наступление там ждут, это подтверждается данными разведки. Участок же, на котором мы сейчас были, гитлеровцы считают непроходимым для крупных сил. Мы думаем, здесь выгоднее нанести главный удар. Тут Жуков и Рокоссовский взяли командарма, как говорится, в оборот. Каковы реальные возможности? Представляет ли командарм объем работ, необходимых для превращения болот в проходимые участки? Подумал ли о танках? И т. д. и т. п. Но все эти вопросы меня не пугали, наоборот, они радовали, так как в них я услышал главное: представитель Ставки и командующий фронтом прибыли к нам с мыслью о возможности прорыва на участке 18-го корпуса.

Были доложены все накопленные в армии сведения о местности, я сказал, что за два месяца мы заготовили достаточно гатей, а частично застлали проход и замаскировали, и, наконец, попросил разрешения показать, как будет выглядеть в натуре прохождение танков там, где они, казалось, не могут пройти.

Вскоре мы уже были на танкодромах. На наших глазах танк за танком преодолевал топи. Представитель Ставки и командующий фронтом просидели на траве у кромки болота часа полтора, наблюдая работу танкистов. Потом было приказано сделать перерыв. Жуков прилег. Рокоссовский пошел к танкистам. Они собрались у ручья, шумно умываясь.

— Идите сюда, товарищи, — позвал командующий. Он стоял, прислонившись к светлому стволу березы.

Танкисты подошли. Молодежь. Все на подбор — загорелые, пышущие здоровьем.

Началась беседа — каковы трудности вождения машин по бревенчатым гатям, какую можно развить скорость, как четко обозначить курс и т. п. Танкисты верили в свои силы. Если твердо держать рычаги, то с гати не собьешься. Курс обозначен вешками.

Прощаясь, командующий поблагодарил танкистов. Он сказал, что они сделали большое дело, доказав, что танки могут преодолеть здешние топи.

Оперативная группа представителя Ставки Верховного Главнокомандования с этих дней обосновалась на территории КП 65-й армии, мы уступили ей 29 блиндажей. Г. К. Жуков говорил, что ему эти места хорошо знакомы еще по довоенному времени. Тем не менее маршал много работал на местности и буквально облазил весь передний край дивизий 18-го корпуса. Его указания во многом нам помогли. Жукову же принадлежала мысль о том, что 65-й армии нужно иметь, кроме обычного, еще и ускоренный вариант проведения бобруйской операции. Мы эту мысль, разумеется, постарались претворить в дело.

Как только К. К. Рокоссовский утвердил план армейской операции, состоялся проигрыш предстоящих боевых действий с командирами корпусов и дивизий. Близ командного пункта армии в тени густых деревьев операторы построили макет полосы наступления, на нем мы и провели военную игру. У нас в армии начиная с Дона сложился определенный порядок проигрыша: командарм докладывает обстановку, решение и ставит задачи корпусам; затем выступают комкоры и командиры дивизий; разбирается возможное течение боя на отдельных участках, особенности построения боевых порядков, отрабатывается взаимодействие с соседями и средствами усиления.

Новое на этот раз состояло в том, что, помимо утвержденного плана, был доложен второй, ускоренный вариант на случай, если наступление будет развиваться стремительно и армия выйдет к Бобруйску не на восьмые, а на шестые сутки или даже раньше.

Главный удар намечался через болота, где оборона противника слабее. Отсюда вытекала возможность ввести танковый корпус и стрелковые дивизии второго эшелона в первый же день боя.

В этом и было зерно, суть ускоренного варианта. Как только стрелковые части преодолеют главную полосу вражеской обороны, входит в бой танковый корпус. Танкисты без больших потерь сами прорвут вторую полосу. Противник не имеет за болотами ни крупных резервов, ни мощного огня.

Обычный вариант оставался в силе на тот случай, если по каким-либо непредвиденным обстоятельствам темп наступления дивизий первого эшелона замедлится. Он предусматривал прорыв обеих позиций вражеской обороны силами пехоты и ввод в бой подвижных частей с утра второго дня операции.

Ускоренный вариант привлек общее внимание. Комкор танкистов Михаил Федорович Панов вместе с командиром 18-го корпуса работал на макете, изучая данные наземной и воздушной разведки. Он выразил уверенность в том, что танки смогут войти в прорыв в первый день операции.

Павлу Васильевичу Швыдкому — уйма вопросов.

— Доложите о порядке переправы танков и артиллерии. Точен ли расчет на прочность гатей? Как расставлены силы инженерных войск?

Инженер едва успевал отвечать.

Подробно разбиралось артиллерийское обеспечение. Мы создали две арт-группы. Командующий фронтом придал армии дивизионы гвардейских миномет-

тов особой мощности. Это была так называемая группа разрушения. Для нее спланировали огни по позициям артиллерийских батарей противника и опорным пунктам. Группа дальнейшего действия штатной артиллерии наносит удар по переднему краю вражеской обороны в полосе прорыва, по скоплениям резервов танков и пехоты противника и по пунктам управления. При бое в глубине обороны артиллерия дальнего действия была могучим молотом в руках командарма. И. С. Бескин и офицеры штаба артиллерии во главе с полковником Г. Г. Гусаровым вложили много труда в планирование огня.

Проигрыш прошел успешно. Рокоссовский высоко оценил работу артиллерийского штаба.

65-я армия наносила удар в двух направлениях: справа, под Паричами, 105-й стрелковый корпус создавал видимость лобового удара, сковывая противника; слева, на главном направлении, действовал 18-й стрелковый корпус. Второй эшелон, непосредственно подчиненный командарму, включал три стрелковые дивизии. Подвижную группу составлял Донской танковый корпус.

Накануне наступления мы провели под Паричами демонстрацию. Ее осуществляли три усиленных стрелковых батальона. Атака следовала за атакой.

— Дмитрий Федорович, как ведет себя противник?

— Подтягивает резервы. Появились танки, — ответил Алексеев.

— Ну вот и хорошо. Завтра накроем огнем.

На болотах же у Иванова немцев атаковал один батальон, и бой здесь вскоре утих.

Общее наступление должно было начаться в 7 часов утра 24 июня. Армейский НП — на участке 69-й дивизии. Еще темно. У стереотрубы начальник оперативного отдела полковник Ф. Э. Липис. Он обычно сам работал за оператора на ВПУ и всегда был со мной. Бескин уточняет по телефону готовность реактивных дивизионов. Борисов проверяет связистов. Швыдкой в войсках. Радецкий тоже там, у саперов, где решается все...

Над Паричами гул разрывов и зарево. Это авиация выполняет нашу заявку. Бомбят с подсвечиванием. Яркие факелы осветительных бомб отражаются в облаках радужными красками. На главном направлении по-прежнему тишина. Лишь изредка ее нарушают пулеметы противника. Наши отвечают минометным огнем, пристреливая обнаруженные новые огневые точки.

В полосе прорыва развернуто 207 орудий и минометов на километр фронта. Артподготовка должна начаться одновременным залпом. В двухстах метрах от наблюдательного пункта стоят дивизионы 152-миллиметровых орудий. Недалеко от нашей землянки поднялась большая сосна, на ее вершине оборудована хорошо замаскированная площадка для наблюдения. В капонирах стоят машины с радиостанциями.

Раннее утро. Напряженная тишина. Все разговаривают вполголоса. Работники политорганов ушли в передовые части. Короткие слова ободрения тем, кому начинать, кто первым пойдет вперед. Особые напоминания коммунистам об их ответственности, об их долге в бою.

До 7 утра еще пять минут: Видно, как заряжают орудия. Артиллеристы взялись за шнуры. Остается минута... Тридцать секунд... Десять... Раскат залпов возвестил о начале наступления за освобождение Белоруссии.

Полтора часа били наши пушки, гаубицы, минометы, реактивные дивизионы. Противник молчит. Он ошеломлен внезапным ударом.

Подъехал генерал Панов с докладом, что Донской танковый первый эшелон уже занимает исходное положение.

— А второй эшелон?

— Начнет движение по сигналу на ввод в прорыв.

— Хорошо. Согласен. Время еще есть... Не хотите ли позавтракать?

— Благодарствую, я уже заправился и даже по-суворовски надел перед боем чистую рубаху...

Первыми прошли болота части 69-й стрелковой дивизии. С артиллерийского наблюдательного пункта непрерывно поддерживается связь с Швыдким. Он сам

руководит прокладкой колонных путей и креплением гатей. Через двадцать минут доклад:

— Закреплено пятьдесят метров.

Еще осталось триста пятьдесят. Я торопил Швыдкого:

— От вас зависит темп!

— Успеем, товарищ командующий, — доносится его спокойный басок, — вы не беспокойтесь.

Через некоторое время инженер снова докладывает:

— Еще пятьдесят метров готово. Задачу выполним.

В этих лаконичных донесениях выражался характер нашего инженера. У него все было рассчитано.

Огонь перенесен в глубину. Пехота овладела первой траншеей. И вот она, радостная весть:

— Четыре гати проложены. Танки поддержки пехоты прошли!

Первые танки прошли-таки по этим гиблым болотам. Наверно, многие читатели этих строк видели фильм «Направление главного удара» из киноэпопеи «Освобождение», в котором показан этот подвиг героев 65-й армии...

У переправы ждали сигнала артиллерийские подразделения. Противотанковые орудия на быстроходных тягачах проскочили болота за десять минут. Теперь пехота имела надежную опору в борьбе с огневыми точками в глубине обороны противника, с его танками. Вслед за орудиями по гатям прошел полк самоходных артиллерийских установок.

В глубине обороны противник мобилизовал тактические резервы. Но он слишком увяз под Паричами, чтобы оказать серьезное сопротивление корпусу генерала Иванова.

Воздушная разведка засекала колонны автомашин с пехотой и танки на дорогах из Глуска, Осиповичей, Бобруйска. Теперь темп решал все. Задача: задержать маневр оперативных резервов противника, а в 10.00 ввести в бой главные силы.

Туман рассеялся, начали действовать летчики. Они оказали большую поддержку наземным войскам. Колонны вражеских автомашин на дорогах из Глуска остановлены. Наблюдаются пожары.

— Танки, идущие от Бобруйска, рассредоточились в придорожных лесах, — доносят разведчики-истребители.

К 10 часам утра 69-я стрелковая дивизия заняла Раковичи, 37-я — Николаевку, а Сивашская — Петровичи. За три часа после начала атаки войска корпуса прошли восемь с половиной километров. Главная полоса вражеской обороны прорвана. Высокий темп для пехоты!

Стрелковые дивизии приближались к опорным пунктам Чернин и Захватки. Я сказал командиру наших боевых друзей-танкистов:

— Пора. Настало и ваше время, товарищ Панов. Вперед! Желаю удачи!

— Есть вперед!

По радио пошла команда:

— «Буря!» Пять, пять, пять!

Это был условный сигнал для ввода в бой Донского корпуса.

Три танковые бригады устремились к бревенчатым гатям. Напряжение на армейском командно-наблюдательном пункте возрастает. В центре оперативного построения войск переправа через болота шла беспрепятственно. На левом фланге, в 17-й танковой бригаде, дело обернулось хуже. Какая-то фашистская батарея сохранила управление огнем. Несколько снарядов попали в бревенчатый настил. Один разорвался вблизи головного танка. Машина медленно погружается в трясину. По радио слышна команда:

— Пятый, выходи из коробочки!

В стереотрубу хорошо видно: танк наполовину в болоте. Следовавшая за ним машина пятится — товарищам уже не поможешь. В головной «тридцатьчетверке» открывается башенный люк. На броню выскакивают командир машины, механик-водитель, командир орудия, прыгают, выбираютя на гать.

Генерал Панов передает в эфир:

— Сорок первый, переводите коробочки в центр, на участок двадцать второго.

17-я бригада начала маневр. Ее танки пристроились к переправлявшейся на центральной гати 16-й танковой бригаде. Машина за мапшиной преодолевали болото. Донской корпус прошел.

Вскоре по нашим гатам двинулись вперед части конно-механизированной группы генерала Плиева.

От передовых стрелковых частей уже поступили донесения о возросшем сопротивлении гитлеровцев.

12 часов дня. Докладывает генерал Иванов:

— Пятнадцатая дивизия заняла Романище, Тридцать седьмая и Шестьдесят девятая охватом с юго-запада и севера ведут бои за Гомзу. Танки впереди.

Вторая полоса гитлеровской обороны с помощью танков была прорвана. Наступление развивалось по ускоренному варианту. Чтобы не отставать от танкистов, сажаем усиленные передовые отряды на автомашины.

Вражеское командование увидело, что стоит перед катастрофой, и спешно перебрасывало от Паричей танковые, артиллерийские подразделения и полки мотопехоты. Настал час 105-го стрелкового корпуса!

Генерал Д. Ф. Алексеев как комкор держал в этом наступлении первый экзамен на зрелость, и он доказал, что мы не ошиблись, выдвинув его на эту высокую должность. Дмитрий Федорович первый разгадал намерения гитлеровцев.

— Передайте Иванову, — докладывал он, — за фланг может быть спокойным. Навстречу немцам я вывел свой противотанковый резерв, дивизионную артиллерию, а также два стрелковых полка на автомашинах. Остальные части подойдут в пешем строю.

Стрелковые дивизии 105-го корпуса перекрыли паричской группировке все дороги на запад. По реке Березина врага блокировала Днепровская военная флотилия контр-адмирала В. В. Григорьева. С кораблей бьет артиллерия. Бомбардировщики и штурмовики наносят удары по району Паричей, скоплениям вражеской техники, задерживают подход резервов противника в полосе наступления наших войск.

Командующему фронтом доложено:

— Прорыв закреплен надежно. Танковый корпус, не встречая сильного сопротивления, идет к населенному пункту Брожа, обтекая с юга и запада бобруйский узел сопротивления.

Во второй половине дня, когда НП нашей армии уже свертывался, чтобы перейти вперед, меня позвали к телеграфному аппарату.

— «Лично доложите действительную обстановку перед фронтом армии. Жуков», — читала телеграфистка.

Ответ:

— Корпус Иванова прорвал оборону противника на фронте восемь километров. Корпус Панова введен. К двенадцати ноль-ноль войска углубились на двенадцать километров. Ускоренный вариант первого дня наступления выполнен раньше намеченного срока.

Снова читаю на ленте: «У Романенко и Горбатова пройдено всего два километра. Доложите точное расположение войск».

Ответ:

— Стрелковые дивизии Иванова вышли на рубеж Городец — Протасы. Танковый корпус ведет бой в районе Брожа. Переносу свой командный пункт в Гомзу.

Аппарат молчал. Наконец отстукал короткую фразу: «Приеду смотреть сам». Маршал в это время находился на Рогачевском плацдарме, с которого наступали 48-я и 3-я армии. Там условия борьбы для наших войск были очень тяжелые.

В 15.00 на НП в Гомзу приехали Жуков и Рокоссовский. Только проскочили машины, как артиллерия противника из Паричей накрыла участок дороги.

— У тебя тут жарко, Павел Иванович, — сказал Рокоссовский.

- Да, небезопасно, товарищ командующий. Советую не задерживаться.
- Будем здесь обедать,— сказал Жуков.— А пока докладывай, какие меры приняты против Паричей.
- Противник окружен. Наносим удар силами Сто пятого корпуса при поддержке армейского танкового полка с задачей уничтожить окруженную группировку.
- Ну и прекрасно. Распоряжайся насчет обеда.

Пришлось проявить оперативность. Однако обедали наспех. В беседе за столом Рокоссовский предупредил:

- Учти, Донской корпус у тебя долго не задержится. Быстрее разделявайся с паричской группировкой, там скована третья часть сил армии. Чем воевать будешь?

Предупреждение командующего заставило внести поправку в задачи, поставленные войскам. Гвардейцы генерала Борисова повернули на помощь корпусу Алексеева. Они нанесли удар по тылам паричской группировки. Тяжелые бои под Паричами шли в течение всего следующего дня. Гитлеровцы четыре раза контратаковали крупными силами пехоты при поддержке танков и самоходных орудий, но вырваться из кольца им не удалось. Наши войска ударом с нескольких направлений рассекли боевые порядки противника и 26 июня вплотную подошли к Паричам. Алексеев приказал 193-й дивизии генерала А. Г. Фроленкова взять опорный пункт штурмом. К полудню части дивизии ворвались в город. Непродолжительный уличный бой — и все было кончено.

105-й стрелковый корпус быстро продвигался по западному берегу реки Везина.

Армия охватывала Бобруйск с тыла. К концу третьего дня наступления наметился успех, мы подбросили к Бобруйску на автомашинах 354-ю и 356-ю дивизии. Они обтекали город с запада. Ближайшая цель I Белорусского фронта и операции «Багратион» была достигнута. По плану Ставки, предполагалось окружить бобруйскую группировку противника на восьмой день, войска решили эту задачу через трое суток. 27 июня 9-й танковый корпус, ворвавшись на северозападную окраину города, замкнул бобруйское кольцо. С севера подошла 3-я армия генерала Горбатова, а с востока части 48-й армии.

Как говорилось выше, по плану фронтовой операции сходящиеся удары армий нашего фронта должны были сомкнуться у Осиповичей. Жизнь, опыт, а отчасти и удача внесли свои коррективы. Мы сошлись в Бобруйске. За него вели очень тяжелый бой Романенко и Горбатов, а с запада держали фашистов в кольце танкисты Панова и почти весь 105-й стрелковый корпус нашей армии (только А. Г. Фроленков со своей 193-й стрелковой дивизией вынужден был оставаться далеко в тылу, ликвидируя обойденные наступающими частями очаги сопротивления).

Перед нами на западе лежали Осиповичи. Путь открыт. Но у меня один корпус. И все-таки решено идти. Осиповичи — важный железнодорожный узел, связывающий Бобруйск, Минск, Могилев, Слуцк. Здесь центр снабжения всей 9-й армии гитлеровцев.

- Это было бы замечательно,— одобрил Рокоссовский наш замысел.— Раз вышли в тылы бобруйской группировки, действуйте решительнее. Но знайте: резервов не дам.

Иванов спланировал непосредственный удар на Осиповичи силами 37-й гвардейской и 69-й стрелковой дивизий. Сплошного фронта обороны нет. Соединения действуют передовыми отрядами с танками и орудиями истребительных батальонов. Общая глубина удара почти пятьдесят километров. К ночи 27 июня отряд прославленного 120-го полка 69-й стрелковой дивизии достиг восточной окраины Осиповичей и ворвался в город. В момент уличных боев подошел подвижной отряд гвардейцев. Утром 28 июня в Осиповичах уже были главные силы 18-го стрелкового корпуса. Иванов, докладывая об этом успехе, сообщил о больших трофеях: 20 артиллерийских складов, на станции 11 эшелонов, груженых боеприпасами, техникой, большие запасы продовольствия.

Тем временем в тылу нашей армии решалась судьба окруженной войсками фронта бобруйской группировки. В кольце оказалось до 40 тысяч немцев. Естественно, что они рвались на запад. Главный удар принимала на себя 356-я дивизия. Ей было крайне тяжело. На помощь пришел весь Донской корпус. Первые попытки врага выскочить из окружения отбиты. Но вдруг положение круто изменилось. 28 июня позвонил Рокоссовский:

— Немедленно выводите танковый корпус из боя для получения новой задачи.

— В Бобруйске обстановка сложная. Уберем танки — противник может вырваться.

— Знаю. Завтра поможем штурмовой авиацией. А корпус Панова отдай. По приказу Ставки он пойдет под Минск.

Войска II и III Белорусских фронтов завершили прорыв, охватив с севера и юга 4-ю немецкую армию. Им была поставлена задача окружить и уничтожить основные силы этой армии и не позднее 7—8 июля овладеть Минском. Вот туда и уходил Донской танковый корпус.

Противник тотчас обнаружил выход танкистов из боя. Во втором часу ночи на боевые порядки 356-й дивизии фашисты обрушили сильный огонь. В атаку пошли до 10 тысяч гитлеровцев. Впереди сводные офицерские и унтер-офицерские подразделения. Пехоту поддерживали самоходки, танки. Два часа длился бой. 356-я выстояла. Враг отошел в город. На поле боя осталось больше тысячи убитых. На рассвете новая атака. На этот раз противник вклинился в оборону двух полков. Несколько тысяч вражеских солдат прорвались из окружения. Брешь удалось закрыть дивизионными резервами. Но враг продолжал вводить в бой новые силы. Утром одновременно перешли в атаку до 15 тысяч гитлеровцев. Опять прорыв на узком участке. Почти полностью израсходованы боеприпасы. Командир 105-го корпуса бросил на помощь артиллерийский противотанковый дивизион 354-й дивизии. Командовал им майор Виктор Григорьевич Ильюшенко. Прямой наводкой били артиллеристы по толпам вражеской пехоты, расстреливали танки и самоходки порой в десятки — пятнадцать метрах от огневых позиций. Немцы отпрянули. Больше из Бобруйска никто не вырвался...

В 10.00 29 июня начался последний штурм города. Телеграмма Д. Ф. Алексеева: «Бобруйск очищен от противника. В городе и окрестностях всего за время боев уничтожено до 17 тысяч вражеских солдат и офицеров. Сегодня взято в плен до 10 тысяч...»

После освобождения Бобруйска 65-я армия снова собралась в кулак. Оба наших корпуса, преследуя противника, двигались на Барановичи.

Павел Иванович Батов. Родился в 1897 году. Член КПСС с 1929 года. В годы войны — командующий войсками 65-й армии. Генерал армии. Дважды Герой Советского Союза. Ныне председатель советского Комитета ветеранов войны.

С. И. КЛОПОВСКИЙ



ЗА СВОБОДУ ТВОЮ, ДУНАЙ!

30 августа 1944 года меня вызвал в город Сулину начальник штаба нашей Дунайской флотилии капитан 1-го ранга А. В. Свердлов.

— Я пригласил вас, товарищи, — начал совещание Свердлов, — чтобы поставить боевую задачу. Командующий Черноморским флотом решил одновременно с действиями основных сил по освобождению Констанцы, главной базы врага на Черном море, частью сил освободить остров Змеиный. Для высадки на остров выделено два бронекатера из отряда Клоповского и рота морской пехоты. Коман-

диром десанта назначается старший лейтенант Клоповский. Общее руководство в районе боевых действий по захвату острова возлагается на капитан-лейтенанта Савицкого.

На рассвете мой отряд бронекатеров с десантниками на борту вышел из Сулина в море. По фарватеру, проложенному в минном поле, мы направились к острову Змеиный. Дул свежий восточный ветер. Бирюзовая гладь моря покрылась белыми барашками. Вдали показался остров Змеиный, туманный, угрюмый. Вот мы уже от него в пределах досягаемости орудий, но огонь с острова не открывают.

Едва катера коснулись берега, морские пехотинцы и наши катерники с автоматами и ручными пулеметами срываются с бортов и по воде, по прибрежному песку бегут, разворачиваясь в цепь.

Через четверть часа румынские солдаты обезоружены. Они курят, улыбаются, переговариваются: плен их устраивает больше, чем бессмысленная оборона острова.

Командир румынского гарнизона просит разрешения связаться по телефону с Констанцей, чтоб оттуда дали добро на сдачу острова.

Я согласен: в городе уже стоят советские корабли и Румыния воюет в союзе с нами.

Вскоре прибежал запыхавшийся радостный румынский начальник: разрешение на сдачу острова им получено.

Задача моя выполнена до конца. Остров освобожден, и этот румын и его солдаты нам уже не враги, а союзники в борьбе с общим врагом — гитлеровским фашизмом.

В городе Браилов катера стали на ремонт. Матросы и старшины быстро освоились на заводе. Своим отношением к делу они заразили румынских рабочих, которые поняли важность заказа, поняли, что это их вклад в дело борьбы с ненавистными режимами Гитлера и Антонеску.

— При немцах никто так усердно не работал, как при выполнении советского заказа, — говорил мастер.

Чтобы ускорить ремонт, созвали рабочих на собрание. Оно происходило на заводском дворе.

Выступили несколько рабочих, они с волнением заверили нас, советских моряков, что закончат ремонт в ближайшие дни. Только чтоб разгромить Гитлера поскорее. Румынские рабочие сдержали слово. Проводы прошли трогательно: желали виктории по-румынски и даже по-русски что-то кричали. Длинными прощальными гудками всех кораблей мы ответили браиловским рабочим.

Наша бригада шла вверх по Дунаю. Восточный берег, румынский, соревнуется с западным, югославским, по нарядности и живописности. Мы идем к Белграду. Путь исключительно опасен. Здесь гитлеровцы, а позднее и наши союзники — англичане выставили множество мин.

Обгоняем караваны судов: наших советских, румынских, болгарских, югославских. Почти все они нагружены зерном, продовольствием, промышленными товарами, сырьем. Поток грузов направляется из моей страны в помощь братским народам Югославии. Не лишнее все это у нас, но когда мы отказывали в помощи тем, кто в ней нуждается?! Мое поколение выросло на сознании святости долга интернационалистов.

Пристали на ночь у какого-то села. Собрались жители. Здесь мы впервые услышали боевой клич югославских товарищей:

— Смерть фашизму, свобода народу!

Позднее этот призыв мы слышали в Югославии от рабочих, крестьян, интеллигентов, воинов Народно-освободительной армии; он звучал так же грозно и призывно, как для нас, советских людей, громовые слова «Смерть немецким оккупантам!». Новое боевое задание мы получили, когда стояли в затоне города Нови-Сад.

Вечером 3 декабря комбриг капитан 2-го ранга А. Ф. Аржавкин созвал офицеров и объявил:

— В двадцать три ноль-ноль — посадка десанта на бронекатера, затем выход. Боевая задача состояла в том, чтобы прорваться вдоль переднего края оборо-

ны противника на тридцать пять километров вверх по Дунаю и на рассвете выса- дить десант восточнее селения Опатовац. В первом эшелоне высаживался 305-й батальон морской пехоты.

Командующий Дунайской флотилией контр-адмирал С. Г. Горшков, верный своему правилу, приехал проводить моряков в бой. Убедившись, что задача усвое- на нами хорошо, командующий пожелал боевой удачи. У всех, и у меня тоже, настроение было отличное, боевое.

Погода ухудшилась — пошел сильный дождь. Что ж, темная ночь станет нашим союзником. Сигнал «буки» поступил в середине ночи, и мы двинулись.

Вот и главный наш ориентир — линия фронта. Ее не пройдешь не заметив. Браг запускает ракеты; переплетаются цветные трассы пуль; на берегах и в воде густые разрывы.

Наши корабли обнаружены, и фашисты открывают огонь из «эрликонов», расположенных на берегу. Я смотрю в амбразуру рубки напереди идущий катер. Корабля в темноте не видно, но место его отчетливо обозначается по направлению трасс вражеских снарядов и пуль. Снопы искр от рикошета указывают точку, в которой находится корабль. Больше всех достается «БКА-336» — катеру лейте- нанта Николая Макарова, который слишком близко подошел к берегу.

В кубрике полно десантников, накурено, хоть топор вешай. Я распоряжаюсь (сам курильщик, сочувствую), чтобы человека по три-четыре выпускали на палу- бу: пусть там за рубкой в рукава курят.

Я намерен повернуть к правому берегу и начать высадку, но лоцман из мест- ных жителей запротестовал:

— Не можно. Опатовац горе, горе!

Я понял югослава: селение выше по течению.

На «БКА-242» десант заблаговременно подготовлен: морские пехотинцы лежат на палубе, готовые выскочить на берег, как только катер его коснется. Мы быстро высаживаем их и отходим. Весь десант высажен без единого выстрела.

Хорошо на душе после удачной операции. Ни в одном другом виде боя не чув- ствуешь такого душевного подъема, как после высадки десанта.

Высадив морскую пехоту, мы стали «утюжить» Дунай, перевозя пехоту, пушки, боеприпасы, а после выгрузки обстреливали фашистов до подхода очеред- ного катера.

Но вот враг подтянул танки, стремясь прижать десант к реке и уничтожить. Стало совсем светло. Сигнальщик Мороз с тревогой доложил:

— Танки, слева тридцать.

В бинокль я увидел движущиеся к берегу темные квадратик и отдал коман- ду командиру катера лейтенанту Ламанову.

— Лево тридцать, дистанция тысяча шестьсот метров, по головному танку снаряд бронебойный, огонь! — тут же передал в башню лейтенант.

Прогремел выстрел, катер содрогнулся. Головной танк качнул книзу орудий- ным стволом и остановился. Конечно, стрелял «железный старшина» Иван Крас- нов! Меткими выстрелами он остановил еще один танк. В бой вступил только что высадивший десант бронекатер лейтенанта Никольского и тут же поджег «пан- теру». Пехота неприятеля залегла и больше не атаковала.

Я был на КП бригады, когда доставили с плацдарма пленного немца и ко- ротко допросили его. Фрица затрясло, когда он увидел югославов, да и «братуш- ки» не могли смотреть спокойно на гитлеровского вояку. От греха подальше его поскорей отправили в штаб стрелкового корпуса для допроса.

Вечером 8 декабря меня вызвали к командиру бригады: надо идти к войскам за подкреплением.

Враг еще раз бросил в атаку танки с автоматчиками. Комбат майор Дмитрий Дмитриевич Мартынов, которого матросы между собой уважительно звали батей, всегда берег бойцов. Но сейчас кто-то должен был рискнуть собой, выйти на еди- ноборство с «пантерами».

— Нужны добровольцы, — сказал майор морякам. — Танки надо остановить!

— Разрешите мне, — отозвался старшина корректировочного поста нашего отряда Георгий Агафонов. — У меня и гранаты есть.

— И я пойду... Я тоже... Мне разрешите... — раздались голоса морских пехотинцев.

— Вперед, хлопцы!

Агафонов гранатами подбил два танка, а когда бронированные машины — пять или шесть — вклинились в расположение пехотной бригады Народно-освободительной армии Югославии, Георгий со своими гранатометчиками двинулся на помощь югославам. Гранатами и автоматным огнем отсекали вражеских пехотинцев от танков, заставили залечь, а потом и отойти. Танки покружили под огнем по улочкам, развернулись и ушли.

Неожиданно на корабли приехал комбриг, вызвал меня.

— Семен Иосифович, — по имени-отчеству, непривычно обратился он ко мне, — обстановка сильно изменилась. Необходимо срочно снять с плацдарма остатки десанта. Дивизия Савицкого и «БКА — триста тридцать шесть» лейтенанта Макарова из «катуш» прикроют огнем эвакуацию.

Первыми в ту ночь увезли раненых, а последним рейсом доставили в базу Мартынова, комиссара бригады НОАЮ (фамилию его я позабыл), пятерых югославских санитарок и прикрытие десанта — морских пехотинцев и ребят нашего корпуса. А всего в ту многотрудную ночь перевезли мы с плацдарма около 1500 человек советских и югославских воинов.

Враг активизировался, предпринимая попытки прорвать оборону частей Народно-освободительной армии Югославии, прикрывавших столицу страны Белград. Стремясь ослабить удары советских войск на будапештском направлении, предотвратить падение столицы хортистской Венгрии, гитлеровцы надеялись удержать последнего своего сателлита.

Состоялась передислокация нашего соседа 68-го стрелкового корпуса на будапештское направление. Высокая степень готовности катерной артиллерии и мастерство офицеров быстро создали большую популярность морякам-дунайцам боевой дружбы с советскими моряками. Вряд ли при этом они представляли себе, что «Чайка-43» — это всего-навсего позывной «БКА-243», то есть имя радиста Виктора Алексея в эфире. В самые острые периоды боев югославские товарищи просили:

— Вызовите «Чайку — сорок три».

— Друзе Сашко, просимте огонь «Чайка — сорок три» по фашистским танкам вот в этой точке. — Так обращался к лейтенанту Прокофьеву командир соединения НОАЮ на смешанном сербско-русском языке.

И через считанные минуты на противника обрушивался ливень снарядов нашего отряда.

— Добре, друже, добре, братушки, — хвалили нашу работу.

Мы с ходу включились в деловитую суету войсковой переправы. Через реку переправлялась 1-я Болгарская армия. Началась многодневная черновая трудовая работа. По Дунаю пошел лед, ломались гребные винты и рули кораблей. Усталые, небритые, с воспаленными от бессонницы глазами, мы трудились во имя готовившегося наступления. Армия, которая шла в бой, была свежей, моральный и боевой дух болгарских бойцов радовал. Отношения взаимной приязни, братской теплоты сопровождали от начала и до конца нашу боевую работу с болгарскими воинами.

Утром 22 декабря болгарские бойцы перешли в наступление. После сильной артиллерийской подготовки (в ней приняли участие и наши катера), завершённой мощными ударами авиации, болгары дружно поднялись в атаку.

— Молодцы, братушки, по-нашенски действуют! — кричали моряки, наблюдавшие с кораблей за полем боя.

В последующие дни фашистские войска бросили в контратаку пехоту и танки. Болгарская армия не имела специальных прогивотанковых средств, и тогда в эфир полетели позывные:

— «Чайка — сорок три!» «Чайка — сорок три!»

Нас звали на помощь.

По тревоге все броневые и минометные катера понеслись вверх по Дунаю. Окутавшись клубами дыма, дали залп с катеров «катюши». Мы успели вовремя и нанесли удар в уязвимом месте. Растерянностью противника воспользовались болгарские части, положение было восстановлено.

В те трудные, полные тревог и опасностей дни мы крепко подружились с болгарскими. Друзей среди «братушек» у нас оказалось много. Славные то были ребята — храбрые бойцы и добрые, интересные собеседники. Мы гостеприимно, с радостью встречали болгар, обменивались нехитрыми фронтовыми сувенирами — авторучками, портсигарами, кисетами, зажигалками, звездочками, писали друг другу домашние адреса:

— После победы будем переписываться...

В марте 1945 года наши войска наступали уже на братиславском направлении. Позади осталась Венгрия, освобожденная нами, впереди лежала земля Чехословакии, ее народ ждал нас.

В боях за Венгрию мы потеряли чудесного человека, комдива Николая Савицкого, был тяжело ранен комбат Дмитрий Мартынов. Дорогой кровью платили мы за свободу твою, Дунай!

Высадка десанта в словацком городе Комарно была стремительной, неостановимой. Жители встречали нас с радостью. Грех жаловаться на встречи в других городах, но энтузиазм комарчан превзошел все, что было до сих пор. Каждому хотелось из своих рук угостить советских моряков, поговорить, пройти рядом хоть десяток шагов...

Войска III Украинского фронта подошли к юго-восточным границам Австрии и начали наступление на Вену, последний крупный оплот гитлеровских войск на Дунае. Было принято решение о высадке десанта в Вене. И сделать это нам предстояло немедленно, середь бела дня. Нужно было лишить противника первоклассной переправы через Дунай, в качестве которой служил отличный шоссейный мост Рейхсбрюкке, и сохранить его от разрушения — гитлеровцы уже подготовили его к взрыву.

Если бы только надо было лишить противника переправы... Уничтожить Рейхсбрюкке можно артиллерийским огнем, авиацией, под покровом ночи подвести к мостовым опорам брандера, начиненные динамитом. Но мост необходимо сохранить! Как будущую переправу для наших войск, как прекрасное инженерное сооружение, как архитектурное украшение неповторимого района Пратер и всей Вены, наконец, как важную транспортную артерию города. Спасти мост так же, как был спасен нами от разрушения собор Святого Стефана и многие другие памятники старой Европы.

Главным в строю я назначил бронекатер лейтенанта Третьяченко. На нем 51 десантник, которых надо высадить у Рейхсбрюкке на левый берег. Вторым следует катер лейтенанта Синявского с 52 десантниками, они пойдут на высадку у второго конца моста. Катер Николаева (на нем иду в бой я) и другие корабли прикроют и поддержат десантников огнем.

Пехотинцы из 80-й гвардейской дивизии оказались расторопными, смысленными солдатами, их подготовка к высадке не заняла много времени. Все бойцы как на подбор. И вооружены отлично: автоматы, пулеметы, гранаты, противотанковые ружья и даже две «сорокапятки». Командует капитан Пилосян.

И вот мы мчимся мимо стреляющих в нас орудий и танков, тысяч мечущихся по берегам и тоже стреляющих гитлеровцев; слева отчетливо виднеется Вена в дыму и клубах пыли, справа за дамбой на лугах пылают левобережные пригороды. Мы бьем по врагу из пушек, крупнокалиберных пулеметов, автоматов, карабинов, выставленных из люков и иллюминаторов. Пушки и пулеметы ведут такой интенсивный огонь, что брызги воды, попадающие на раскаленные стволы, тут же испаряются.

До цели остались сотни метров. Мост Рейхсбрюкке виден уже в деталях. На мосту царит паника. Целей на нем достаточно — танки, броневики, грузовики, тучи солдатни.

— Из орудий по мосту не стрелять! — предупреждаю я.

Всю тяжесть борьбы с огневыми средствами гитлеровцев приняли на себя три бронекатера группы прикрытия. Внимание врага приковано к нам. Он ослабил огонь по кораблям десанта. Вижу: совершилось самое важное — гвардейцы оседлали мост. И на мосту уже победно рвутся наши гранаты, трещат наши автоматы, гулко ухают противотанковые ружья и «сорокапятки»¹.

Видя, что мы после высадки десантников отходим, гитлеровцы осмелели. Танки и самоходки стали выползать из-за дамбы Кайзермюлле для стрельбы по катерам прямой наводкой. Наши комендоры взяли на прицел несколько машин и подбили их, но две-три успели поджечь «БКА-3», повредить «БКА-233».

Поврежденные бронекатера взяты на буксир и быстро выведены из зоны огня.

Я вздохнул вольно и только тут заметил, что мир прекрасен и состоит из синего неба, солнца и ослепительной речной глади. По ней шли наши корабли, выдержавшие жестокий бой. Все пять! Я отправил радиogramму о завершении операции.

Осматривая разрушения на катерах, я поражался не столько живучести этих крошечных речных кораблей, сколько выносливости, исключительной стойкости и мужеству наших моряков. Металл не выдерживал, корежился, а люди, раненные, обожженные, контуженные, отравленные выхлопными газами, оглушенные, усталые, сумели довести бой до победного конца. Какая честь для меня, что мне поручено командовать ими!

В последний поход мы отправились 8 мая. Вышли, когда солнце спускалось к вершинам гор. Мы еще не знали, что завтра будет Девятое мая. Едва занялась заря над Восточными Альпами, на бронекатерах сыграли подъем, и, как только были прогреты двигатели, отряд снялся со швартовых и направился вверх по Дунаю.

Жаркий день сменился короткими сумерками. К спуску кормового флага поднялись наверх. Солнце скрывалось за горами, продолжая освещать своими лучами горные вершины. Прозвучала команда дежурного по отряду:

— На флаг смирно! Флаг спустить! Вольно!

— Смотрите, смотрите — лебеди! — показал в небо один из моряков.

Это было словно чудо. В подступавшей темноте отчетливо видели мы, как высоко парила стая могучих птиц. Там, на большой высоте, они еще купались в лучах солнца. На их белом оперении, подобно снегу на вершинах гор, лежал последний солнечный отсвет. Раз в жизни я наблюдал с земли, погруженной в сумерки, такую изумительную картину.

А мирные птицы все кружили и кружили. Словно лебеди чувствовали, что за ними наблюдают, восхищаются их вольным полетом. Словно понимали, что кружат над землей, уже освобожденной от войны. Над городами, которые больше не должны гореть и взрываться. Над полями, которые ждут своих пахарей. Над мостами, которые предназначены не разделять, а сближать людей. Над реками, которые непременно должны быть синими, голубыми. Как Дунай, которому мы принесли мир и свободу.

Семен Иосифович Клоповский. Родился в 1914 году.
Член КПСС с 1942 года. Командовал отрядом бронекатеров. Капитан 1-го ранга в отставке.

Н. А. ЛОМОВ

★

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

1945 год — год завершающих побед Советского Союза в Великой Отечественной войне — ознаменовался проведением стратегического наступления Советской Армии на всем советско-германском фронте от Балтики до Югославии протяженностью более двух тысяч километров.

¹ После войны Рейхсбрюкке был переименован в мост Красной Армии.

Важность и реальность решения грандиозных политических и стратегических задач, вставших перед Советским Союзом, обуславливалась военно-политической обстановкой, сложившейся к началу 1945 года.

Десять сокрушительных ударов, нанесенных Советскими Вооруженными Силами в 1944 году по войскам фашистской Германии и ее сателлитов, действовавшим на советско-германском фронте, вызвали коренные изменения в расстановке и соотношении политических и военных сил в Европе и поставили Германию на грань катастрофического поражения.

Высадка в июне 1944 года англо-американских войск в Нормандии и последующее их продвижение к западно-германским границам привели наконец к образованию второго фронта в Европе, что еще более усилило угрозу этого поражения.

Под ударами советских войск фашистский блок развалился: были выведены из войны на стороне Германии Финляндия, Румыния и Болгария. Фашистская Германия оказалась перед непрерывно и успешно наступавшей Советской Армией на востоке и союзными англо-американскими войсками на западе.

Тяжелые поражения на фронтах и связанные с этим огромные потери в людях и вооружении, резкое снижение военно-экономического потенциала, особенно истощение людских ресурсов, глубокие и уже далеко не первые потрясения и упадок морально-политического состояния немецкого народа и армии — все это свидетельствовало о том, что фашистская Германия находилась в состоянии острого и глубокого военно-политического кризиса без каких-либо перспектив на его благополучное разрешение.

Однако, несмотря на общие значительные нарушения экономики, военное производство Германии к началу 1945 года было еще на довольно высоком уровне. Немецко-фашистская армия хотя и сократилась в результате больших потерь, понесенных особенно на советско-германском фронте, но представляла собой еще большую силу. За 1944 год немецко-фашистские вооруженные силы уменьшились с 10 169 тысяч человек до 7 476 тысяч человек, из них в действующей армии находилось 5 300 тысяч человек. К 1945 году на советско-германском фронте немецко-фашистская армия насчитывала 3 100 тысяч человек, 28 500 орудий и минометов, около 4 тысяч танков и штурмовых орудий, 1960 боевых самолетов.

Совершенно иным к началу 1945 года было военно-политическое положение Советского Союза.

Советская Армия успешно завершила выполнение первой и основной задачи — изгнание врага из пределов Советского Союза. Лишь 16-я и 18-я немецко-фашистские армии группы армий «Север» (26 дивизий), заблокированные с суши и прижатые к морю в Прибалтике, несмотря на полную бесперспективность, упорно держались Гитлером в этом районе и добивались советскими войсками.

Общая протяженность советско-германского фронта сократилась с 4400 километров до 2200 километров, что позволило использовать высвободившиеся силы на усиление фронтов, действующих на главных направлениях.

Война была перенесена к границам Германии и на территории ее бывших сателлитов.

Действующая армия Советского Союза в начале 1945 года насчитывала около 6 миллионов человек личного состава, имевших на вооружении 91,4 тысячи орудий и минометов, около 3 тысяч реактивных установок, до 11 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, 14,5 тысячи боевых самолетов.

Самоотверженный труд советских людей в тылу, опиравшихся на преимущества социалистической экономики, позволил оснастить все виды Вооруженных Сил Советской Армии еще более совершенным вооружением и военной техникой и обеспечить потребности армии на предстоящие завершающие операции.

Росту военно-технического оснащения армии и флота соответствовало дальнейшее накопление боевого опыта, совершенствование воинского мастерства личного состава, повышение качества управления войсками и творческое всестороннее развитие советского военного искусства.

Решающим фактором, обусловившим достижение советским народом и его

Вооруженными Силами крупных побед над врагом, явилась организующая деятельность и руководство Коммунистической партии на фронте и в тылу. Все более крепло морально-политическое единство народов Советского Союза и их непреклонная воля к победе. Все ближе становилось осуществление лозунга, провозглашенного Коммунистической партией в начале войны: «Наше дело правое... Победа будет за нами».

Укреплялись, несмотря на происки и сопротивление реакционных империалистических кругов, отношения внутри антифашистской коалиции, чему способствовал беспорный рост международного авторитета Советского Союза как главной и решающей силы этой коалиции.

В такой политической и стратегической обстановке в Европе воюющие стороны разрабатывали планы военных действий на завершающий этап войны.

Основным условием, определявшим характер военно-политических задач воюющих сторон и пути их решения, являлось то, что советское Верховное Главнокомандование полностью владело стратегической инициативой. Из этого логически вытекала необходимость и возможность Советской Армии развернуть активные наступательные действия стратегического масштаба с решительными целями.

Замысел завершающих операций Советской Армии на 1945 год, обсужденный в Ставке Верховного Главнокомандования с участием членов ГКО в октябре 1944 года, окончательно сложился в декабре. Он предусматривал проведение в начале 1945 года мощных стратегических наступательных операций с задачами разгрома восточно-прусской группировки немцев, а также в Польше, Чехославии, Венгрии и Австрии. В декабре Ставка приняла решение провести одновременно две крупные операции на западном стратегическом направлении: одну в Польше силами I Белорусского и I Украинского фронтов, другую в Восточной Пруссии силами II и III Белорусских фронтов.

Основной операцией являлась первая, известная как Висло-Одерская и вошедшая в историю Великой Отечественной войны как одна из крупнейших операций группы фронтов.

Политической целью Висло-Одерской операции являлось завершение освобождения польского народа от гитлеровской тирании.

Стратегическая цель заключалась в том, чтобы путем разгрома войск немецкой группы «А», прикрывавших жизненно важные центры Германии, и прежде всего направление на Берлин, и выходом на Одер создать наиболее благоприятные условия для нанесения решающего удара на Берлин.

Для обеспечения успеха операции было принято решение ослабить немецкую группировку на западном стратегическом направлении и отвлечь часть сил противника на фланги советско-германского фронта. С этой целью по предложению начальника оперативного управления Генштаба генерала С. М. Штеменко были разработаны и даны фронтам директивы Ставки о проведении в декабре 1944 года вспомогательной операции в Восточной Пруссии и продолжении наступления в Венгрии. Позже, делаясь впечатлениями о Крымской конференции, заместитель начальника Генерального штаба генерал армии А. И. Антонов рассказывал нам, что англо-американские союзники интересовались этим маневром Советской Армии и он в своем докладе на этой конференции сообщил о его результатах.

Оба эти направления для немцев были очень чувствительны, и они быстро реагировали на наше наступление переброской сил на фланги за счет центрального участка фронта. Цель, намеченная Верховным Командованием, была достигнута.

Для такого заключения имеются все основания: из 24 танковых дивизий, имевшихся на советско-германском фронте, 11 дивизий были переброшены в Венгрию, 6 дивизий — в Восточную Пруссию, 3 дивизии находились в Прибалтике и только 4 дивизии остались на центральном участке фронта.

Первоначальное решение Ставки начать операцию 20 января 1945 года по весьма существенной причине пришлось изменить.

Как свидетельствуют немецкие источники, стремительное наступление советских войск в 1944 году вызвало в кругах немецко-фашистского руководства на-

строения почти полной безнадежности попыток стабилизировать положение на советско-германском фронте. Это породило у Гитлера идею изменить ход и исход войны в свою пользу путем «политических решений». Суть их заключалась в том, чтобы внести раскол между участниками антифашистской коалиции и, воспользовавшись этим, заключить сепаратное соглашение с правительствами США и Англии и направить силы новой коалиции (Германия — США и Англия) против Советского Союза.

В разговоре с немецкими генералами в узком кругу 31 июня 1944 года Гитлер заявил, что придет момент, когда напряженные отношения между союзниками настолько усилятся, что наступит разрыв. Дальнейшая стратегия Германии заключается в том, чтобы всемерно затягивать войну, пока не произойдет неизбежный раскол коалиции СССР — США — Англия. А чтобы ускорить этот раскол, Германия должна нанести англо-американским войскам несколько сильных ударов.

В расчете на это и была проведена наступательная операция в Арденнах, где немецко-фашистские войска прорвали оборону союзников и к исходу первой недели боев продвинулись на запад на сто десять километров. Англо-американские войска оказались в тяжелом положении. Вспоминается, что 7 января 1945 года, возвратившись, как обычно, в конце рабочего дня из Ставки, А. И. Антонов и С. М. Штеменко сообщили, что Ставкой принято очень важное решение, а именно: ускорить проведение Висло-Одерской операции и начать ее не 20, а 12 января. Они информировали нас, что Рузвельт и Черчилль очень обеспокоены успешным наступлением немцев в Арденнах. Президент 23 декабря 1944 года, а премьер-министр сегодня, 7 января, обратились к И. В. Сталину с посланиями, в которых предлагают срочно обсудить вопросы взаимодействия англо-американских и советских войск. Черчилль, в частности, писал: «...я буду благодарен, если Вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Вислы или где-нибудь в другом месте в течение января».

В этот же день И. В. Сталин ответил Черчиллю, что, учитывая положение наших союзников, Ставка Верховного Главнокомандования решила ускорить подготовку и, не считаясь с погодой, начать широкое наступление по всему центральному фронту не позже второй половины января, «чтобы оказать содействие нашим славным союзным войскам».

Так Висло-Одерская операция стала важным звеном в решении такой военно-политической задачи, как оказание помощи англо-американским союзникам.

А для войск, командиров и штабов начался этап еще более напряженного труда. В ту пору я работал заместителем начальника оперативного управления Генерального штаба и могу засвидетельствовать, что работники Генерального штаба и Наркомата обороны, генералы и офицеры фронтов трудились дни и ночи не покладая рук, чтобы завершить подготовку Висло-Одерской операции в более сжатые сроки и обеспечить ее успех. По решению Ставки Верховного Главнокомандования, взявшей руководство Висло-Одерской операцией непосредственно на себя, без участия представителей Ставки, проведение операции возлагалось на войска I Белорусского фронта (командующий — Маршал Советского Союза Г. К. Жуков, член Военного совета — генерал К. Ф. Телегин, начальник штаба — генерал М. С. Калинин) и на войска I Украинского фронта (командующий — Маршал Советского Союза И. С. Конев, член Военного совета — генерал К. В. Крайников, начальник штаба — генерал В. Д. Соколовский).

Севернее I Белорусского фронта действовал II Белорусский фронт (командующий — Маршал Советского Союза К. К. Рокоссовский), который совместно с III Белорусским фронтом (командующий — генерал армии И. Д. Черняховский, а с 21 февраля — Маршал Советского Союза А. М. Василевский) участвовал в одновременно проводившейся Восточно-Прусской операции.

С юга выполнению задач I Украинского фронта содействовал IV Украинский фронт (командующий — генерал армии И. Е. Петров).

Войска I Белорусского и I Украинского фронтов были развернуты на пяти-

соткилометровом фронте и располагали мощными силами в составе 2 200 тысяч человек, 34,5 тысячи орудий и минометов, около 6500 танков и самоходных артиллерийских установок, 4800 боевых самолетов.

Перед началом операции им противостояли войска немецкой группы «А» под командованием генерала Гарпе, а с 17 января — генерала Шернера, насчитывавшие до 400 тысяч человек, свыше 4 тысяч орудий и минометов, более 1100 танков и штурмовых орудий, поддерживавшихся с воздуха боевыми самолетами 6-го воздушного флота.

Между Вислой и Одером немцы создали семь оборонительных рубежей, эшелонированных в глубину на пятьсот километров и опиравшихся на водные преграды и крупные промышленные центры.

Созданное советским Верховным Главнокомандованием подавляющее превосходство в силах и средствах позволило положить в основу ведения операции нанесение одновременных мощных ударов, чтобы взломать оборону противника на нескольких участках, быстро ввести в образовавшиеся прорывы крупные подвижные силы, непрерывно преследовать отступающего противника и воспретить ему создание обороны на промежуточных рубежах и организованно использовать свои оперативные резервы.

Для успешного выполнения предстоящих задач потребовалась напряженная работа командиров, штабов, войск, тыловых органов. В войсках были проведены специальные сборы и учения командиров частей и подразделений. Ответственные задачи встали перед политорганами и партийными организациями. Политработники, коммунисты делали все, чтобы обеспечить высокую боевую готовность соединений и частей и боевое наступательное настроение личного состава.

Исходным рубежом для наступления обоих фронтов была река Висла, где фронты имели плацдармы.

I Белорусский фронт должен был наступать в общем направлении на Лодзь, Познань, разгромить противостоящую группировку немцев и выйти на рубеж Бромберг (Быдгощ) — Познань и южнее.

Главный удар фронт наносил с Магнушевского плацдарма силами 5-й ударной армии (командующий — генерал Н. Э. Берзарин), 61-й армии (командующий — генерал П. А. Белов), 8-й гвардейской армии (командующий — генерал В. И. Чуйков), 1-й гвардейской танковой армии (командующий — генерал М. Е. Катук) и 2-й гвардейской танковой армии (командующий — генерал С. И. Богданов).

Из-за правого фланга 61-й армии вводилась 1-я армия Войска Польского под командованием генерала С. Г. Поплавского, нацеленная на Варшаву. Севернее Варшавы наступала 47-я армия (командующий — генерал Ф. И. Перхорович).

Вспомогательный удар наносился с Пулавского плацдарма силами 69-й армии (командующий — генерал В. Я. Колпакчи) и 33-й армии (командующий — В. Д. Цветаев). С воздуха войска фронта поддерживала 16-я воздушная армия (командующий — генерал С. И. Руденко).

I Украинский фронт имел задачу наступать в общем направлении на Брест-Литовск (Вроцлав), разгромить противостоящие войска противника, захватить плацдарм на реке Одер и овладеть Верхне-Силезским промышленным районом.

Главный удар наносился с Сандомирского плацдарма силами 3-й гвардейской армии (командующий — генерал В. Н. Гордов), 13-й армии (командующий — генерал Н. П. Пухов), 52-й армии (командующий — генерал К. А. Коротеев), 5-й гвардейской армии (командующий — генерал А. С. Жадов), 3-й гвардейской танковой армии (командующий — генерал П. С. Рыбалко) и 4-й танковой армии (командующий — генерал Д. Д. Лелюшенко). Справа стык с I Белорусским фронтом обеспечивала 6-я армия (командующий — генерал В. А. Глуздовский). На левом крыле фронта действовала 60-я армия (командующий — генерал П. А. Курочкин). Второй эшелон фронта составляли 59-я армия (командующий — генерал И. Т. Коровников) и 21-я армия (командующий — генерал Д. Н. Гусев), резерв фронта — гвардейские механизированный и кавалерийский корпуса.

С воздуха-действия войск фронта поддерживала 2-я воздушная армия (командующий — генерал С. А. Красовский).

Ударные группировки I Украинского фронта перешли в наступление 12 января, а I Белорусского фронта — 14 января.

Действия войск фронтов в операции можно разделить на два этапа. На первом этапе (с 12 по 17 января) наступающие войска прорвали оборону противника в полосе около пятисот километров, разгромили основные противостоящие силы немецкой группы «А» и создали условия для развития операции в глубину и достижения поставленных целей. Во втором этапе (с 18 января по 3 февраля) I Белорусский и I Украинский фронты при содействии II Белорусского и IV Украинского фронтов стремительно преследовали противника, разгромили его оперативные резервы, овладели Силезским промышленным районом и захватили плацдармы на западном берегу реки Одер.

В ходе операции советские воины, воодушевленные победами Советской Армии в 1944 году и великими освободительными целями, стоявшими перед ними, проявили непреклонную волю к победе, высокое военное мастерство и массовый героизм. 1192 соединения и части были награждены орденами за отличное выполнение боевых задач.

I Украинский фронт начал наступление 12 января с Сандомирского плацдарма мощным ударом, в результате которого уже в первой половине дня главная полоса обороны противника была взломана почти на всю ее глубину. Немецкий генерал К. Типпельскирх в своих воспоминаниях об этой операции пишет: «Удар был столь сильным, что опрокинул не только дивизии первого эшелона, но и довольно крупные подвижные резервы, подтянутые по категорическому приказу Гитлера совсем близко к фронту. Последние понесли потери уже от артиллерийской подготовки русских, а в дальнейшем в результате общего наступления их вообще не удалось использовать согласно плану». И это вполне закономерно: ведь по противнику на каждом километре фронта в течение почти двухчасовой артиллерийской подготовки вели огонь 250—300 орудий и минометов.

К исходу первого дня наступления оборона немцев перед Сандомирским плацдармом была прорвана на тридцатипятикилометровом фронте на глубину до двадцати километров. Продолжая стремительное наступление, войска I Украинского фронта во взаимодействии с I Белорусским фронтом разгромили группировку немцев в районе Радом, Кельце, в том числе 24-й танковый корпус, введенный в сражение немецким командованием для ликвидации прорыва, и 15 января овладели городом Кельце.

К исходу 17 января войска I Украинского фронта на главном направлении продвинулись на глубину до ста двадцати — ста сорока километров, расширив прорыв фронта противника до двухсот пятидесяти километров, овладели городом Ченстохов.

К этому же времени войска левого крыла фронта при содействии 38-й армии IV Украинского фронта вышли на подступы к Кракову.

Наступление войск I Белорусского фронта началось 14 января одновременно с Магнушевского и Пулавского плацдармов. В первый же день операции оборона противника была взломана против Магнушевского плацдарма в полосе шириной в тридцать километров на глубину двенадцать километров и против Пулавского плацдарма в полосе шириной в двадцать пять километров и на глубину восемнадцать километров. На второй день наступления продвижение советских войск с обоих плацдармов слилось в один общий мощный поток, и к исходу дня в связи с вводом в прорыв 1-й и 2-й гвардейских танковых армий фронт прорыва расширился до ста двадцати километров, на глубину до пятидесяти километров. Немцы пытались задержать продвижение войск фронта и ввели в сражение 40-й танковый корпус, но и он был разбит, а остатки отброшены. Как писал генерал К. Типпельскирх, «к вечеру 15 января на участке от реки Нида до реки Пилица уже не было сплошного, органически связанного немецкого фронта. Грозная опасность нависла над частями 9-й армии, все еще оборонявшимися на Висле у Варшавы и южнее. Резервов больше не было».

16 января, разгромив совместно с войсками I Украинского фронта кельце-радомскую группировку немцев, войска I Белорусского фронта взяли город Радом.

Важнейшим событием первых дней наступления явилось освобождение 17 января совместными усилиями советских и польских войск столицы Польши — Варшавы. Честь первой вступить в столицу своего государства была предоставлена 1-й армии Войска Польского под командованием генерала С. Г. Поплавского, показавшей в боях образцы мужества и героизма.

К исходу 17 января войсками фронтов была выполнена ближайшая задача — прорван фронт обороны противника, разгромлены основные силы немецко-фашистской группировки на западном стратегическом направлении и созданы условия для дальнейшего развития наступления.

Первый этап операции закончился.

Ставка Верховного Главнокомандования непрерывно следила за ходом боевых действий, и Генеральный штаб готовил соображения по дальнейшему ведению операции. В условиях непосредственного руководства фронтами со стороны Ставки Верховного Главнокомандования установился еще более тесный контакт в треугольнике Ставка — Генеральный штаб — фронты. В ходе операции между И. В. Сталиным и генералом армии А. И. Антоновым были обсуждены принципиальные вопросы, относящиеся ко второму этапу Висло-Одерской операции, поэтому уже 17 января Ставка смогла уточнить задачи фронтов на второй этап операции.

I Белорусскому фронту ставилась задача продолжать наступление и не позднее 2—4 февраля овладеть рубежом Быдгощ — Познань.

I Украинский фронт должен был главными силами наступать на Бреслау (Вроцлав), не позднее 30 января выйти на реку Одер южнее Лешно и захватить плацдармы на западном берегу Одера.

Войскам левого крыла фронта предстояло 20—22 января освободить Краков, а затем овладеть Верхне-Силезским промышленным районом.

Тремя днями позже II Белорусский фронт, наносивший главный удар в северо-западном направлении на Млаву, Мариенбург, получил директиву Ставки о продолжении наступления на этом направлении и овладении не позднее 2—4 февраля Эльбингом, с тем чтобы отрезать противнику все пути отхода из Восточной Пруссии к Одери.

Войска IV Украинского фронта продолжали успешное наступление в горно-лесистой местности Южной Польши и Чехословакии, тесно взаимодействуя с I Украинским фронтом.

Наступление советских войск на втором этапе Висло-Одерской операции характеризовалось непрерывным и стремительным преследованием противника и ликвидацией его попыток задержать продвижение наших войск, несмотря на то, что немецкое командование спешно перебрасывало на восточное стратегическое направление значительные силы из резерва, с западного фронта, из Италии.

Немецкие военные историки К. Типпельскирх, Б. Циммерман, Бутлар и другие подчеркивали, что наиболее опасным для немцев было отсутствие у них к началу операции оперативных резервов, достаточных для ликвидации тех кризисов, которые должны были последовать в скором времени. Немецко-фашистское командование ошиблось в оценке стратегической обстановки. Оно считало, что в 1945 году Советская Армия сосредоточит главные свои усилия сначала в Венгрии, а не в Польше, в связи с чем на будапештском направлении было сосредоточено 55 немецких дивизий, в том числе 9 танковых, тогда как на центральном участке фронта оставалось 49 дивизий, из них только 4 танковых.

Как пишет немецкий генерал Б. Циммерман, «в результате русского наступления, начавшегося с 12 на 13 января 1945 года с Сандомирского плацдарма на Висле, создалась угроза для Верхне-Силезского промышленного района и для самой Германии. Только теперь верховное главнокомандование отдало наконец приказ о постепенном отводе своих войск из Арденн и об одновременной передаче одной трети всех сил на Восток».

В ходе боевых действий во второй половине января гитлеровское командование перебросило в полосу наступления войск I Белорусского фронта свыше 20 дивизий, перед I Украинским фронтом, помимо 10 дивизий, отошедших под ударами I Белорусского фронта, оказалось 7 новых дивизий, переброшенных с других фронтов. Большие надежды немецко-фашистское командование возлагало на танковый корпус «Великая Германия», переброшенный из Восточной Пруссии, но и эти надежды не сбылись.

Во исполнение директивы Ставки войска I Белорусского фронта продолжали наступление, 19 января овладели крупным промышленным городом Лодзь, захватив его неразрушенным; немцы не успели даже эвакуировать из Лодзи заводское оборудование, ценные станки, а также рабочих лодзинских предприятий. Войска фронта к 22 января продвинулись в глубину на сто тридцать — сто сорок километров, подошли к познанской оборонительной полосе, а 23 января они заняли Быдгощ. К исходу 25 января после прорыва познанской оборонительной полосы войска правого крыла I Белорусского фронта окружили в Познани шестидесятитысячную группировку немцев и вышли на этом направлении к полосе пограничных укреплений.

Подвижные войска и общевойсковые армии фронта, наступавшие в центре, к 31 января вышли к Одеру и в течение 1—3 февраля захватили плацдарм на его западном берегу севернее и южнее Кюстрина (Костшина).

Советская Армия оказалась всего в шестидесяти километрах от Берлина. В связи с успешным продвижением войск фронта Маршал Советского Союза Г. К. Жуков представил 26 января в Ставку соображения на дальнейшие действия фронта. Суть их заключалась в том, чтобы, продолжая наступление, с ходу форсировать Одер и, развивая успех, стремительным броском взять Берлин.

Также без паузы и с задачей во взаимодействии с I Белорусским фронтом овладеть Берлином намеревался действовать и командующий I Украинским фронтом Маршал Советского Союза И. С. Конев.

Такие намерения командующих фронтами совпадали с замыслом Верховного Главнокомандующего и Генерального штаба, определившимися еще в октябре — ноябре 1944 года при выработке основ плана последней кампании войны с фашистской Германией.

Однако резкие изменения стратегической обстановки на западном направлении в конце января — начале февраля потребовали пересмотра принятых решений.

В связи с выдвиганием войск I Белорусского фронта к Одеру и поворотом войск II Белорусского фронта на север и северо-запад для окружения восточно-прусской группировки немцев правое крыло I Белорусского фронта растянулось на сто шестьдесят километров и его взаимодействие со II Белорусским фронтом нарушилось.

Немецкое командование стало спешно создавать сильную группировку в Восточной Померании для контраступления против главных сил I Белорусского фронта, наступавших в направлении Кюстрина (Костшин). Удар предполагалось нанести во фланг и тыл наших войск через большой и почти ничем не прикрытый разрыв между I и II Белорусскими фронтами, использовав для этого силы, сосредоточенные на Восточно-Померанском плацдарме.

Для ликвидации этой угрозы надо было принять быстрые и решительные меры. По указанию Ставки дальнейшее продвижение войск I Белорусского фронта на запад было приостановлено.

Благодаря своевременно принятым мерам непосредственная угроза прорыва немцев в тыл наших войск, действовавших на берлинском направлении, была снята.

Последующие действия войск I Белорусского фронта, выполнивших поставленные перед ними задачи в Висло-Одерской операции, связаны с их участием в Восточно-Померанской операции против немецкой группы армий «Висла» совместно с войсками II Белорусского фронта.

Действия I Украинского фронта во втором этапе операции развивались тоже весьма успешно. Неотступно преследуя противника на вроцлавском направлении,

войска фронта в период с 20 по 23 января вступили на территорию Германии, на старые польские земли, захваченные Пруссией в середине XVIII века. К исходу 25 января к Одеру на участке от Кебена до Оппельна (Ополе) вышла ударная группировка I Украинского фронта и, захватив несколько плацдармов на его западном берегу, вела бои по их расширению.

Войска левого крыла фронта, используя продвижение правофланговых соединений IV Украинского фронта, завязали бои за Краков. Советское командование предприняло меры, чтобы спасти город от разрушений, и это было достигнуто благодаря успешно проведенному обходному маневру войск 59-й и 60-й армий и 4-го гвардейского танкового корпуса. Опасаясь окружения, немецкие войска, оборонявшиеся в районе Кракова, стали поспешно отходить, чему советские войска не препятствовали, чтобы не разворачивать затяжных и разрушительных боев за город и в самом городе. 19 января Краков, древняя столица Польши, был освобожден.

Но у I Украинского фронта оставалась еще одна важная задача — овладение Верхне-Силезским промышленным районом.

Как писал Маршал Советского Союза И. С. Конев, перед нами встали задачи, соединившиеся в итоге в одну: разбить силезскую группировку противника без больших жертв с нашей стороны, сделать это в самые короткие сроки и по возможности сохранить неразрушенной промышленность Силезии.

Однако достижение этих целей затруднялось рядом причин. Во-первых, чем ближе войска I Украинского фронта подходили к Одеру, тем все более возрастало сопротивление немцев. Во-вторых, территория Верхне-Силезского района представляла целую систему сросшихся между собой городов, сплошь застроенных главным образом железобетонными сооружениями и жилыми домами массивной каменной кладки. Бои в таких условиях неизбежно чреваты большими разрушениями, носят очень затяжной характер и влекут большие человеческие жертвы. В-третьих, обстановка складывалась таким образом, что благоприятствовала окружению противника (около 100 тысяч человек) нашими войсками, и отказаться от этого советскому командованию было нелегко. Вспоминается в связи с этим обсуждение этого вопроса с А. И. Антоновым и С. М. Штеменко в Генеральном штабе, а затем в Ставке и принятие Ставкой решения: не окружать немецкие войска в Силезском районе, оставить им выход из него и добить их с выходом из района. В результате умело проведенного маневра задача была успешно решена: 29 января Верхне-Силезский район был очищен от немецко-фашистских войск.

К 1—3 февраля войска I Украинского фронта вышли к Одеру и захватили плацдармы в широкой полосе в районах Вроцлава, Рацибужа, Олау и Ополе.

С выходом на Одер и захватом плацдармов на его западном берегу от Кюстрина (Костшина) до Оппельна (Ополе), освобождением Кракова и овладением Верхне-Силезским районом войска I Белорусского и I Украинского фронтов при содействии II Белорусского и IV Украинского фронтов 3 февраля 1945 года завершили Висло-Одерскую операцию, выполнив задачи, поставленные перед ними Ставкой Верховного Главнокомандования.

Висло-Одерская операция является замечательным образцом крупнейшего стратегического наступления группы фронтов для достижения важных военно-политических целей.

В итоге операции Советская Армия освободила Польшу от немецко-фашистских захватчиков и перенесла военные действия на территорию фашистской Германии. В боях за Варшаву и окончательное изгнание гитлеровцев с польской земли активно участвовала 1-я армия Войска Польского.

В ходе Висло-Одерской операции советские войска полностью разгромили 35 дивизий противника, а 25 дивизий понесли потери от 50 до 70 процентов в личном составе и вооружении. Свыше 147 тысяч вражеских солдат и офицеров были взяты в плен, захвачено более 1300 танков и штурмовых орудий, около 14 тысяч орудий и минометов. Из-за нелетной погоды основная масса боевых самолетов — около 1300 — была захвачена на аэродромах. Одни эти цифры сви-

детельствуют о том, какие силы немецкое командование перебросило на это направление с запада и из других районов.

Наступление советских войск заставило немецко-фашистское руководство прекратить операцию в Арденнах против англо-американских войск.

Выход Советской Армии на Одер и захват плацдармов на его западном берегу, а также нанесение тяжелых потерь немецким войскам создали благоприятные условия для наступления на берлинском направлении, завершения разгрома немецко-фашистской военной машины и окончания войны в Европе.

Николай Андреевич Ломов. Родился в 1899 году. Член КПСС с 1919 года. Заместитель начальника Оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил СССР в годы войны. Был представителем Генштаба на Западном, Воронежском, II Прибалтийском фронтах. Сейчас член советского Комитета за европейскую безопасность. Профессор. Генерал-полковник.

А. И. КУЗНЕЦОВ



НАШЕ ЗНАМЯ НАД РЕЙХСТАГОМ

(Из записок военного корреспондента)

3-я ударная армия, разгромив группу войск противника «Висла», вышла на Одер. Предстояло форсировать водный рубеж, а затем вести сражения на подступах к Берлину и в нем самом.

5 и 6 апреля 1945 года Военный совет I Белорусского фронта во главе с маршалом Г. К. Жуковым ознакомил командиров соединений, в том числе командиров корпусов и дивизий 3-й ударной армии, с оперативным планом наступления на Берлин.

...Под прикрытием предрассветного тумана две лодки тишком пробирались к противоположному берегу Одера. В лодках группа командира пехотного полка подполковника Ивана Гавриловича Николаева. Вместе с ним и я, корреспондент газеты «Фронтовик» 3-й ударной армии. Ивана Гавриловича я знал с первых дней войны, дружил с ним и охотно согласился отправиться вместе на другой берег, когда редактор нашей газеты искал добровольцев среди литературных сотрудников, чтобы послать на плацдарм.

Стук весел не слышен: уключины обмотаны паклей. Руки бойцов крепко сжимают цевья автоматов. Шинели свернуты в скатки, ботинки расшнурованы на случай, если до берега придется добираться вплавь.

Где-то совсем близко дыбила вода: противник вел заградительный огонь. Две пули угодили в борт лодки. Около ног Николаева фонтанчики. Предусмотрительные гребцы еще днем набили карманы тряпками и сейчас конопатили ими пробоины.

Тенью надвинулась земляная дамба.

— Приготовиться к высадке! — шепотом распорядился Николаев.

Днища лодок шаркнули о подводные камни. Бесшумная высадка. Вскоре мы все ввалились в блиндаж наблюдательного пункта, загодя сооруженного саперами для командира полка.

Левобережный плацдарм — крохотный клочок земли, отвоеванный у врага. Бойцы цепко за него держались. Николаев то и дело поглядывал на ручные часы: скоро сигнал к атаке.

Ровно в 5.00 предбоевая тишина разорвалась шумом и грохотом. Залп из

41 тысячи орудий и минометов! О силе огня можно судить хотя бы по тому, что в эту ночь артиллерия I Белорусского фронта выпустила по врагу 1 236 тысяч снарядов, или 2450 вагонов, что составляет 35 973 тонны металла...

К моменту артиллерийского залпа подспела наша авиация и усилила его эффективность бомбовыми ударами.

В это время зажглось 200 прожекторов. Море света! Мощные беловато-синие лучи слепили врага. Ночь превращалась в день. Такого приема для подавления психики неприятеля еще не знала ни одна боевая операция.

На исходных рубежах — воины полка Николаева и тысячи других подразделений.

Вдоль переднего края одерских плацдармов взвились красно-зелено-белые ракеты — сигнал к общему наступлению.

— Вперед! — подал по радию команду батальонам и подполковник Николаев.

В те часы огневой вал, созданный артиллерией, перекидывался от рубежа к рубежу, приближаясь к границам Берлина. Под завесой огня войска 3-й ударной армии занимали позиции одну за другой.

Глубина вражеской обороны, включая укрепления Берлина, достигала ста десяти километров. Она состояла из главной полосы обороны, второй такой же полосы, двух промежуточных и тыловых рубежей.

На холмах стояли безгусеничные, но с исправным вооружением танки и вели огонь. Каждый городок превращен в крепость. Их тут густовато: Врицен, Кюстрин, Цеперник, Бернау и другие.

Все тут заминировано, проезды завалены деревьями и горами булыжника.

Военный совет I Белорусского фронта выделил 8-ю гвардейскую и 5-ю ударную армии для нанесения главного удара по центру Берлина. Нашей армии, 3-й ударной, была поставлена задача наступать севернее Берлина строго в западном направлении, своими ударами отрезать войска противника от столицы, а затем, не заходя в Берлин, переправиться через реку Хафель, выйти в район северо-западнее Берлина и совместно с войсками других армий (справа 47-я армия, слева 5-я ударная) завершить окружение вражеского гарнизона. Другими словами, 3-й ударной армии отводилась роль силы, содействующей успеху других соединений.

Командующий армией генерал-полковник Василий Иванович Кузнецов остался недоволен такой ролью — его сердце рвалось в центр Берлина, в пекло боя. Но приказ есть приказ. Армия, честно выполнив задачу, сумела так повернуть дело, что свое направление сделала главным.

Как это случилось?

Прорвав три сильно укрепленные полосы противника, армия оказалась ближе всех к Берлину. Ее роль в операции все более возрастала, а направление движения превращалось в главное направление всего фронта.

Используя ее успех в наступлении, маршал Жуков поставил новую задачу: 3-й ударной армии продолжать развивать наступление и с боями непрерывно днем и ночью продвигаться вперед, чтобы не дать возможности противнику закрепиться и использовать свои рубежи для организации обороны и сопротивления, и как можно быстрее подойти к Берлину, повернуть войска армии на юго-запад, захватить северную часть Берлина и продолжать наступление на центр города: Моабит — Тиргартен.

В редакции нашей газеты стало известно, что артиллерийская батарея под командой капитана Решетова первой ударила из дальнобойных пушек по центру Берлина. Тотчас туда направился один из наших товарищей, и на следующий день на первой полосе газеты красовалась его информация под заголовком «Наши пушки бьют по Берлину». В ней говорилось, что 20 апреля 1945 года в 13 часов из района Вернойхен с дистанции 16 500 метров советские снаряды упали на крышу рейхстага.

Вскоре по центральным районам города ударили другие пушечные батареи. Снаряды рвались на Александерплац, возле Лихтенбергского вокзала, подле Кроль-оперы, во дворах авиамоторного завода «Аргус и Хейнкель», а также на Унтер-ден-Линден штрассе.

Во второй половине дня 20 апреля маршал Жуков поставил перед нашей армией очередную задачу: продолжать наступление и во что бы то ни стало ворваться на северо-восточную окраину Берлина, не дав возможности противнику организовать оборону на внутреннем обводе. Выйти на кольцевую автостраду, к 6 часам утра 21 апреля оседлать ее, вступив, таким образом, в пределы Берлина.

Среди солдат, сержантов и офицеров царило боевое настроение.

Мне повезло. Находясь в одном из подразделений, я был очевидцем того, как гвардии рядовой Юрий Гусаров первым водрузил красный флаг над кирхой, что открывала въезд в город. «Наша гвардия в столице Германии» — под таким заглавием 23 апреля газета поместила мое сообщение.

Так началась битва в самом Берлине.

Не успели наши полки завязать уличные бои, как из подвалов домов хлынули на улицы потоки вчерашних невольников и невольниц. Согнанные сюда со всех государств Западной Европы, они со слезами радости бросались к освободителям, обнимали их, целовали.

Клубился дым над крышами зданий. В улицы вползали наши танки. Где-то в центре города рвались бомбы — работала советская авиация, разрушая оборонительную систему города. А в нее входили три крепости, и все они находились в полосе наступления 3-й ударной армии. И в придачу к ним тюрьма Моабит.

Весь город разбит на девять секторов. Главный, девятый, назван «Цитадель». Он включал в себя рейхстаг, имперскую канцелярию, министерство внутренних дел и другие правительственные учреждения.

В те дни наша газета напечатала приказ Верховного Главнокомандующего, в котором объявлялась благодарность советским войскам за отличные боевые действия при прорыве обороны противника на Одере и при вступлении в Берлин.

Мне довелось побывать на наблюдательном пункте командира полка Николаева. Над остатками черепичных кровель берлинских зданий еще не показалось солнце, а к подполковнику Николаеву прибыл с пакетом офицер связи из штаба дивизии. Николаев принял пакет, распечатал и произнес:

— Приказано взять отель «Черный орел». — Решительно сказал офицеру связи: — Передайте комдиву: приказ будет выполнен!

Офицер, козырнув, ушел.

— Задача адски трудная, — заметил Николаев. — Все улицы простреливаются кинжальным огнем, с балконов отеля сыплются гранаты и фаустпатроны. Кругом снайперы. Выводить людей — верная смерть... — И стремительно повернулся к ординарцу: — Зови ко мне командиров штурмовых групп.

Вскоре прибыли все офицеры.

— Приказано занять отель «Черный орел», товарищи командиры. Ни со стороны площади, ни со стороны улиц, которые к нему примыкают, подобраться невозможно: лобовой огонь. Но вот взгляните на этот пролом, — указал Николаев на пробоину в стене. — Через него вы пробрались на НП. Незаметно прошли? Правда? Таким же путем двинемся к отелю — через проломы в стенах зданий. Ясно? Надо только найти ломы и кирпичи. Саперов дам на подмогу.

Командиры штурмовых групп ушли.

И закипела работа. Из-под ломов и кирок разлетались кирпичи, брызгами рассыпалась штукатурка, крошились керамические пустотелые блоки. Постепенно удлинялся проход, скрытый от взоров и огня противника.

Под прикрытием огня пушечных батарей штурмовые группы двинулись вперед через проломы в стенах и, прорвавшись вплотную к отелю, занялись выкуриванием фашистов из его номеров.

Вскоре опыт Николаева стал достоянием многих полков — всюду взламывали стены, всюду стали создавать скрытые коммуникации. По ним тянули линии связи, доставляли боеприпасы и термосы с горячей пищей, выносили раненых.

Дивизии 3-й ударной армии хотя и медленно, но продвигались к рейхстагу. Перед рейхстагом — тюрьма Моабит, его панцирь и заслон. Моабит! Страшное слово! Страшное и в самой Германии и далеко за ее пределами. Моабит —

место казни антифашистов. Моабит — тюрьма-крепость, каменная громада в двух кварталах от рейхстага, отделенная от него мутными водами Шпрее.

Район Моабит — промышленный район. Здесь 13 заводов, и каждый из них — укрепленный оборонный пункт. Старые дома тяжелой кладки, узкие улицы и переулки — глубокие траншеи. Непрístupный утес, защищенный со всех сторон каналами...

— Орешек крепенький достался нам! — заметил командующий армией генерал-полковник В. И. Кузнецов в беседе с корреспондентами газет.

Вдоль Альтмоабитштрассе, главной оси движения 3-й ударной армии, ведущей к тюрьме, каждый квадратный метр площади простреливался противником. Командующий армией применил тот же прием, что осуществил Николаев при взятии отеля «Черный орел», — направлял войска через проломы в стенах зданий.

Неожиданное появление советских автоматчиков в районе Моабитской тюрьмы ошеломило гитлеровцев — никак не ожидали! Вскоре наши солдаты ворвались внутрь тюрьмы.

Я ходил по ее коридорам и поражался изощренности хозяев: автоматически поднимающиеся койки, электрическая гильотина, совершенная сигнализация — наверное, все усовершенствования техники использованы здесь для истребления людей. Но в те дни наступил момент, когда мрачные одиночки Моабита сослужили и добрую службу. Во время штурма рейхстага в них находили укрытие и возможность передохнуть бойцы наших штурмовых батальонов.

К исходу дня 29 апреля все кварталы, прилегающие к Моабитской тюрьме, были освобождены от противника.

От выщербленных камней правительственных зданий тянулся нагретый воздух, смешанный с дымом и гарью. Под упавшими железными мостами текла Шпрее. Эсэсовцы занимали позиции на противоположном берегу и во всех домах, расположенных на Королевской площади, раскинувшейся перед рейхстагом.

В центре площади рейхстаг. Окна замурованы кирпичами. Как показали пленные, в здании скопилось более двух тысяч эсэсовцев. Среди них батальон курсантов военно-морской школы из города Росток.

В подвалы рейхстага, куда не добиралось пламя, стекались остатки берлинского гарнизона. Из мраморных колонн парадных подъездов и гранитных лестничных ступеней снаряды высекали каменные брызги. С угловых башен падали алебастровые всадники, одетые в рыцарские латы.

В залах рейхстага, вестибюлях, бесчисленных коридорах, на антресолях закрепили егери зондеркоманд. Подземными переходами рейхстаг связан с бомбоубежищем имперской канцелярии, где сгрудились остатки генерального штаба.

Окна рейхстага замурованы, виднелись лишь бойницы, отплевывающиеся огнем ручных пулеметов, пушек и минометов. У осажденного гарнизона — запасы патронов, ящики с консервами, бочки с ромом, пакеты с шоколадом. Тут же склады оружия, казармы, лазарет. Гарнизон основательно подготовился к обороне.

Утро 30 апреля. Я с огромным трудом пробрался в многоколонный дом министерства внутренних дел. Между рейхстагом и этим зданием триста метров Дантова ада. Мне хорошо запомнился командир батальона Неустроев. Он позвал старшего сержанта Сьянова, который недавно принял на себя командование ротой автоматчиков.

— Сия громадина и есть тот самый рейхстаг, к которому мы рвались четыре года. Штурмом придется брать. Готовься! Подбирай удалых ребят.

Сьянов разговаривал с подчиненными недолго. Вот уже наставлены деревянные мостки, чтобы с них было удобнее выскакивать из окон. За бойницами столбы пламени.

Получен сигнал атаки.

— За мной!

Бойцы выскакивают за Сьяновым на площадь. Коротко-стремительный бросок вперед. Автоматчики ничком падают в воронки, одновременно швыряя вперед гранаты.

Двум разведчикам из роты Сьянова — сержантам Михаилу Егорову и Мели-

тону Кантария — было поручено водрузить над куполом рейхстага красное знамя. Вместе с ними шел лейтенант Берест, заместитель командира батальона по политической части.

Тем временем штурмовики из батальонов Самсонова и Давыдова той же 150-й дивизии подбирались к рейхстагу. Вперед вырвались два коммуниста бойцы Пятницкий и Щербина. Рослые, сильные, они где ползком, где перебежками пробирались к подъезду рейхстага. Первым взбежал на ступеньки Пятницкий, но тут же согнулся, но все же с поднятым в руках алым флагом поднялся на верхнюю площадку и лишь там упал. Щербина взял из рук погибшего товарища флаг и прикрепил его к колонне. Это был самый первый советский флаг, установленный на здании рейхстага.

Все больше наших бойцов проникало в рейхстаг. Укрываясь за статуями, за канцелярскими шкапами, мраморными колоннами, солдаты овладевали анфиладами помещений.

Сьянов решил дать бойцам короткую передышку, запастись патронами, вынести раненых. Едва воины заняли прилегающее к вестибюлю помещение, где стояли шкафы с досье и картотеками, как оно начало заволакиваться дымом. Огонь быстро распространялся снизу и вынудил наших бойцов отойти на другой этаж, но и тот уже был охвачен пламенем.

Пламя взбиралось вверх по гардинам, охватывало мебель. Горели gobелены, полотна старинных картин, ковры. Трещал паркет. На пол актового зала рухнула тринадцатитонная люстра. Пылали логи, амфитеатр, трибуны. Стало нечем дышать.

Можно было, конечно, покинуть здание, занять вокруг него позиции, но Сьянов решил иначе: по раскаленным мраморным ступеням лестниц с группой бойцов он стал подниматься выше, чтобы сверху вниз вести очистку здания.

В дыму пожара из подвала стали вылезать фашистские стрелки, пытаясь восстановить прежнее положение.

В это время под завесой огня к куполу здания пробирались разведчики Егоров и Кантария. Они бережно несли знамя.

Трудно было ориентироваться в путанице темных коридоров и галерей. Храбрецы все же добрались до террасы здания на уровне вершин парковых деревьев, здесь они прикрепили знамя к каркасному корпусу продырявленного бронзового коня, но, подумав, решили, что надо добраться до самого купола. Опять полезли. Стали пробираться на крышу. В одном месте лестничные ступени оказались проломленными. Тогда Кантария спустился вниз, отыскал стремянку. С ее помощью преодолели пролет. Едва Егоров и Кантария выбрались на крышу, как поблизости разорвался снаряд. Они едва-едва успели укрыться за выступом башни, но четыре осколка все же пробили алое полотнище стяга.

Разведчики стали карабкаться по остову светового фонаря. Когда взглянули под ноги, увидели кратер kloкочущего огня. Но вот шпиль! К нему и прикрепили древко знамени.

Знамя Победы над Берлином! Свершилось!

Свершилось в 22 часа 45 минут 30 апреля 1945 года.

В берлинском небе над куполом рейхстага трепетало знамя Победы.

Алексей Иванович Кузнецов. Родился в 1907 году.
Член КПСС с 1942 года. Журналист.

(Окончание следует)



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

П. КОЗЛОВ

★

«ИЛЫ» ЛЕТЯТ НА ФРОНТ*

v

Бегут, летят дни морозного, вьюжного декабря 1941 года. Уже пришел на новую площадку последний эшелон с оборудованием и людьми. Перебазировка завода на новое место заняла два с половиной месяца. При этом, кроме чисто заводского, цехового оборудования, перевезены склады с материалами, кислородный и хлебный заводы, трамвайные вагоны и многое другое. Уже добрая половина станков, самых нужных, работала на новых местах с полной нагрузкой, и число их наращивалось ежедневно. На столе директора «жила» краткая, но очень выразительная сводка:

ДАТА.....

Прибыло вагонов.....

Разгружено вагонов.....

Завезено в цехи станков.....

Установлено и залито фундаментов.....

Полностью работает станков.....

...Поднялся в воздух первый построенный нашим заводом на новом месте штурмовик «ИЛ-2».

В тот памятный день на оперативном совещании директор сообщил, что последний самолет «ИЛ-2», собранный на старой площадке, облетан и сдан воинской части в начале ноября 1941 года. Таким образом, новенькие «ИЛы» с маркой нашего завода не поднимались в воздух из-за эвакуации в течение тридцати пяти дней.

Много это или мало — тридцать пять дней?

Нам казалось, мы были уверены — очень мало, всего каких-то тридцать пять дней!

В условиях зимы перебазировать завод, на новом месте развернуть работы в недостроенных цехах, при остром кризисе жилья, перебоях с питанием людей, отсутствии элементарных бытовых служб и служб технических — и не поднимать в воздух свои самолеты только тридцать пять дней!

...Пережили мы радость первого крупного военного успеха — контрнаступления наших войск под Москвой, пересчитывали и берегли номер «Правды» от 13 декабря с заветными словами: «...войска нашего Западного фронта, измотав противника в предшествующих боях, перешли в контрнаступление против его ударных фланговых группировок. В результате начатого наступления обе эти группировки разбиты и поспешно отходят, бросая технику, вооружение и неся огромные потери».

Уже в цехе главной сборки число принятых военпредом самолетов перевалило за десяток.

* Продолжение. Начало см. «Новый мир» № 4 с. г.

Осуществлялся план расселения наших семей по уплотнению в домах и квартирах горожан. Подошла и моя очередь ехать за семьей в деревню. В домишке на окраине города нам на троих отвели комнатку площадью шесть квадратных метров. Вторую, несколько большую комнату, занимала хозяйка со взрослой дочерью. Выполнив первое ее требование — уплатить умопомрачительную сумму денег за машину дров, завезенных кем-то «по знакомству», — и наколол небольшую поленницу этих дров, я направился за своими.

Уже со следующего дня «прелести» городской тогдашней нашей жизни обнаружили себя полностью, и главная из них — поездки на завод и обратно. Утром наш рабочий поезд уходил в 6.15 и в 7.30 приходил на заводскую станцию. Но вечером... Влезая в унылые вагончики нашего «экспресса», никто из нас не мог сказать определенно, когда он тронется, где будет стоять и когда доберется до города. Одноколейный, с разъездами участок железной дороги был перегружен военными эшелонами, санитарными транспортом, поездами с эвакуированными, все они шли по зеленой улице. Расстояние в какие-нибудь полтора десятка километров, а поездка нередко занимала у нас несколько часов...

Но все же неустроенность эта порой воспринималась как что-то временное, устранимое. Казалось, что в бурной, даже сумбурной жизни военного времени начинают просматриваться черты размеренности, напоминающие времена довоенные, как вдруг...

23 декабря 1941 года поздно вечером директор получил следующую правительственную телеграмму:

«...Самолеты «ИЛ-2» нужны нашей Красной Армии теперь как воздух, как хлеб, а Шенкман дает по одному «ИЛ-2» в день... Этого дальше терпеть нельзя... Требую, чтобы выпускали побольше «ИЛов»...

Сталин».

Вспоминая об этом чрезвычайном событии, начальник одного из отделов завода А. А. Бондаренко рассказывает:

— Телеграмма пришла на завод поздно вечером, часов в одиннадцать, и я тут же понес ее в кабинет директора. Шенкман еще не уезжал — сидел за столом и просматривал почту. Несколько раз молча прочитал он телеграмму, затем очень глубоко вздохнул и сказал: «Да... положение критическое... Если Иосиф Виссарионович вынужден говорить таким тоном, значит, машины нашего завода действительно нужны фронту как воздух, как хлеб». Он помолчал, прошелся по кабинету, еще раз прочел телеграмму и добавил: «Рабочие поймут все как надо и сделают все от себя зависящее, не дадут заводу топтаться на месте, я в этом уверен». Шенкман быстро обернулся в мою сторону и уже громко произнес: «Мы вырвемся. Сталин нам поможет. А вот эти его слова «ИЛ-два» нужны Красной Армии как воздух, как хлеб» должны знать на заводе все, поняли? — все, чтобы они стали нашим девизом, чтобы их смысл дошел до сознания каждого работника!»

Дежурный по заводу тут же получил указание организовать к четырем часам утра сбор руководителей основных подразделений завода. Часть людей оказалась на местах, за отсутствующими послали автобус.

Впервые за время работы на новой площадке в кабинете директора собралось столько людей, да еще ночью. Все понимали, что для такого «аврала» есть веские причины, но слова телеграммы для подавляющего большинства явились полной неожиданностью.

В наступившей после чтения депеши тишине директор повторил слова, сказанные им при первом чтении телеграммы. Руководители всех подразделений получили указание собрать короткие митинги-совещания своих коллективов на стыке ночной и дневной смен. Довести до сведения всех работающих смысл телеграммы-требования и тут же самим наметить конкретные обязательства по росту выпуска самолетов, которые нужны, «как воздух, как хлеб».

Сразу же после совещания у директора наш новый парторг Петр Максимович Федоренко, назначенный в связи с отъездом Мосалова в зарубежную коман-

дировку, собрал у себя в парткоме секретарей цеховых парторганизаций и тоже разъяснил им задачу. Руководители завода разошлись по основным подразделениям и приняли участие в цеховых собраниях-митингах.

Следует сказать, что в технических и планово-производственном отделах завода подготовка к разработке плана развертывания производства на новой площадке проводилась уже с ноября 1941 года. Телеграмма подхлестнула, обострила начатое.

Активное подключение цеховых коллективов, их конкретные обязательства по выпуску деталей, агрегатов, самолетов, которыми заканчивались цеховые собрания в тот памятный день, позволили руководству сформулировать также конкретный ответ заводского коллектива на жесткую претензию.

В конце дня 24 декабря с завода ушла телеграмма следующего содержания: «Москва. Кремль. Сталину.

Вашу справедливую суровую оценку нашей плохой работы довели до всего коллектива. Во исполнение Вашего телеграфного указания сообщаем, что завод достигнет в конце декабря ежедневного выпуска трех машин. С 5 января — по четыре машины. С 19 января — по шесть машин. С 26 января — по семь машин. Основной причиной отставания завода по развороту выпуска самолетов является размещение нас на недостроенной части завода. В настоящее время недостроены корпус агрегатных цехов, кузница, корпус заготовительно-штамповочных цехов, компрессорная. Отсутствует тепло, воздух, кислород и достаточное количество жилья для рабочих.

Просим Вашей помощи по ускорению окончания строительства и ускорению налаживания снабжения завода готовыми изделиями, материалами. Просим также обязать соответствующие организации о мобилизации для нас недостающих рабочих и об улучшении питания рабочих.

Коллектив завода обязуется позорное отставание немедленно ликвидировать».

Огромные плакаты протянулись по корпусам, по цехам: «„ИЛ-2“ нужны Красной Армии как воздух, как хлеб». Эти слова понятны каждому. Они входили в сознание как неотразимое требование, обращенное к любому из нас, чем бы он ни занимался, какую бы работу ни выполнял.

«Нужны как хлеб» для всех нас давно перестало быть фразой, литературным оборотом. Необходимость, ценность и цену хлеба, простого, ржаного, хорошо выпеченного хлеба, мы уже успели хорошо понять, усвоить и умом и желанием. И выражение потребностей фронта через очень понятное, через хлеб, не нуждалось в разъяснениях. Оно требовало активных действий.

Когда просят хлеба, слова не нужны!

О существенных подробностях описываемого события автору рассказывает Петр Максимович Федоренко:

— Грозная предупреждающая телеграмма Верховного Главнокомандующего заставила не только руководящий состав, но и буквально каждого работника завода пересмотреть свое отношение к выполнению возложенных на него обязанностей. Каждый по-новому и очень остро почувствовал свою личную ответственность за судьбу родины. Это обостренное чувство ответственности заставило нас по-иному относиться к трудностям — не прятаться за них, а находить в себе силы и способы преодоления помех и не просить помощи. Коллектив начал работать подлинно по-фронтовому, отрешившись от нормативов и методов работы мирного времени. Единственным нормативом — законом для всех — стало простое и понятное требование: не выполнив дневного задания, не имеешь права покидать рабочее место! Это заставило мастеров более четко определять дневные задания на своих участках. Это же заставило администрацию и общественные организации создать активную и гибкую систему морального и материального стимулирования работы. Поощрения работников за трудовые достижения производились тут же, в конце смены, когда человек выполнял задание и выпускал высококачественную

продукцию. Невелики были награды: талон на покупку какого-либо предмета одежды или обуви, а то и просто на дополнительное питание или дополнительную буханку хлеба. Но все это по тем временам ценилось весьма высоко.

29 декабря 1941 года в тринадцать часов с заводской площадки отошел первый железнодорожный эшелон со штурмовиками «ИЛ-2», изготовленными на новом месте. 29 (вот как совпало) самолетов вез эшелон — всю продукцию завода, выпущенную в декабре сорок первого.

Курс — Москва.

В вагоне-теплушке этого эшелона разместилась заводская бригада сборщиков во главе с заместителем начальника ОЭР (отдел эксплуатации и ремонта) завода Степаном Ефремовичем Малышевым и старшим инженером ОЭР А. З. Хорошиным. Тут же ехали наши летчики-испытатели К. К. Рыков и С. Д. Королев, а также бортмеханики лётно-испытательной станции, только что выполнившие наземную отработку тех самолетов, которые теперь везли в Москву.

Бортмеханик М. А. Корсунский рассказывает:

— Так как никакой лётно-испытательной станции на новой площадке еще не было, то недалеко от сборочного цеха расчистили от снега площадку — на нее и выкатывали собранные самолеты. Морозы, помнится, стояли довольно крепкие, да и вьюги налетали... Но ребята работали споро. Все понимали, что эти машины являются первым взносом завода в счет выполнения им требований фронта, и не щадили себя. На каждой машине мы отработывали винто-моторную группу так, как делали это, когда готовили самолеты к полетам. Затем производили консервацию мотора и системы охлаждения, сдавали машину контрольному механику и военпреду и передавали на разборку. При погрузке на железнодорожную платформу винто-моторная установка самолета разборке не подвергалась, поэтому наши усилия не пропадали даром... Коротки декабрьские дни, быстро темнеет, и значительную часть работ нам приходилось выполнять при свете прожекторов. Но хочу подчеркнуть, — говорит Корсунский, — что, при всей примитивности оборудования нашей испытательной площадки, в отработке машин не допускались никакие отступления от установленных норм. Здесь и мы сами и наши контролеры были неумолимы. За день на морозе, на ветру замерзались крепко. Чтобы обереечь нас от простуд, руководство решило выдавать нам «фронттовую норму», в которую входило пятьдесят граммов спирта, кусочек сала и... две папиросы «Казбек». Талоны на этот доппаек вручал в конце рабочего дня лично начальник ЛИСа Маковецкий или его заместитель Сиренко в обмен на... подписанное ОТК и военпредом заключение об окончании отработки самолета. Отработанный самолет поступал на участок старшего мастера ОЭР Петра Яковлевича Зюбанова, где его разбирали и грузили на железнодорожную платформу. Бригаде Зюбанова нередко приходилось работать по ночам, но тогда с этим никто не считался.

Выше я записал, что с эшелонем в Москву поехала вся продукция завода за декабрь сорок первого, а это неверно. Неверно потому, что в эшелон, отошедший 29 декабря, могли попасть машины, сданные военной приемке не позднее 27 декабря. Стало быть, завод, его сборочный цех еще имели целых четверо суток на выполнение обязательств, взятых в ответе Верховному Главнокомандующему. За эти дни 1941 года построили и сдали заказчику еще партию штурмовиков.

В середине дня 31 декабря стало известно, что на завод приехали летчики с фронта и будет митинг.

Собрались на свободной площади в цехе главной сборки. Несколько огромных электрокалориферов непрерывно подавали в цех теплый воздух.

На митинге директор и парторг поздравили представителей коллективов всех подразделений с завершением эвакуации завода и выпуском первой партии **боевых машин** на новом месте. Одновременно они еще раз напомнили всем тре-

бования фронта, подчеркнули необходимость постоянного, планомерного увеличения выпуска заводом самолетов «ИЛ-2».

Затем выступали фронтовые летчики, рассказывали, как они воюют. Сообщили, что нашим штурмовикам немцы дали название «черная смерть», — они сеют панику, где бы ни появлялись. Большая живучесть и мощное вооружение штурмовика дают им, летчикам, возможность успешно атаковать любые наземные войска и поражать вражескую технику, включая танки.

Летчики благодарили заводской коллектив за высокое качество самолетов, безотказно работающих на фронтах, и просили выпускать еще больше этих грозных машин.

Наши сборщики отрапортовали, что они выполнили свои декабрьские обязательства.

С митинга расходились повеселевшие. Сознание своей необходимости бодрило каждого, поднимало настроение, вселяло гордость, было созвучно наступающему празднику.

Теперь каждому хотелось поскорее попасть домой и Новый год встретить с родными. У многих именно для этого торжества в карманах или сумках от противоголозов находились гостинцы — порции колбасы, сахара или буханка хлеба, полученные в качестве поощрения за труд или по щедро «отоваренным» картонным талонам...

Те, кто жил в бараках, побежали к себе, счастливики из заводского поселка проводили нас до станции и тоже пошли по домам, где будут минут через двадцать. Нас, городских, на запасном пути ожидал знакомый «экспресс».

Пока мы встречали сорок второй год, наш первый эшелон со штурмовиками слесил в Москву.

Алексей Захарович Хорошин, руководитель бригады сборщиков, вспоминает, что из всех его многочисленных поездок, в том числе и выездов на фронты, эта экспедиция запомнилась ему наиболее отчетливо.

— Прежде всего необычным было то, что наш эшелон двигался по зеленой улице. На станциях нас ожидали и встречали расторопные бригады железнодорожников. Чрезвычайно быстро производился осмотр, смазка, смена паровоза. Мы едва успевали проверить крепления самолетов, как уже раздавался звонок и эшелон следовал дальше. С нами в теплушке, — продолжает рассказывать Хорошин, — ехал какой-то молчаливый военный без знаков различия. На всех станциях его негромкие распоряжения выполнялись молниеносно. Но ему и распоряжаться приходилось редко, так как команды о нашем поезде приходили раньше нашего прибытия. В Москве наш эшелон подали на железнодорожную ветку одного из подмосковных заводов, когда стрелки часов перешли за одиннадцать ночи тридцать первого декабря. Сам завод эвакуирован. Нас подкатили к огромному ангару. Все промерзло. Темно. Никого, кроме охраны, нет. Через несколько минут наступит новый, сорок второй год. Встречаем его в своей теплушке... Рано утром появилось заводское начальство, а с ними какой-то человек, одетый в летный меховой комбинезон, унты и шапку-ушанку. «Что-то рановато они своего летчика привели», — подумалось мне... А «летчик» подошел к нашей группе, бодро поздоровался со всеми, поздравил нас с благополучным прибытием и оказался... заместителем наркома авиационной промышленности Петром Васильевичем Деметьевым. Несколько четких, энергичных команд замнаркома — и работа начала стремительно развертываться. Эшелон быстро закатали в ангар, разгрузили, и мы приступили к сборке самолетов. В помощь нашим мастерам придали небольшую группу рабочих на подсобные операции, и, несмотря на свирепый холод, самолеты один за другим стали обретать привычные формы.

Уже на второй день после прибытия эшелона заводской летчик-испытатель Сергей Дмитриевич Королев поднял в воздух первый наш штурмовик.

Ожил аэродром покинутого завода. После Королева место в кабине самолета занял летчик в военной форме. Короткое наставление — и он уже в воздухе. Полет по кругу, несколько эволюций, посадка. Самолет подруливает к стоян-

ке, дозаправляется. Военный механик получает бортсумку, документы самолета, чехлы, укладывает все это в бомбоотсек. А через несколько минут принятый воинской частью самолет взлетает и берет курс на аэродром формирования своего полка, который в те дни разместился на Центральном аэродроме, что находится на Ленинградском шоссе, против метро «Аэропорт»...

Известная уже нам формула «„ИЛы“ нужны как воздух, как хлеб» пронизывала всю работу по сборке штурмовиков и на подмосковном аэродроме.

Восемь дней, точнее — восемь суток заняла операция сборки и сдачи воинской части 29 штурмовиков, прибывших с первым эшеленом. И это выполнили с соблюдением всех правил сдачи-приемки военной продукции, с предъявлением жестких требований к качеству и безотказности работы каждого механизма на самолете.

Три эшелона, около сотни самолетов, построенных заводом на новом месте, собрали наши бригады в Москве. Испытанные в воздухе машины тут же улетали на фронт.

Но это было очень накладно — разбирать готовые самолеты, везти их, вновь собирать... Такая процедура годилась только как временная, вынужденная мера.

И как только аэродром завода на новом месте получил минимальное оборудование и возможности для летных испытаний самолетов, погрузка наших «ИЛов» в эшелоны прекратилась. Теперь уже мощные голоса штурмовиков стали сотрясать окрестности новой заводской площадки... Завод круглосуточно выпускал боевые машины.

Напомним, что к этому времени особенно остро стоял продовольственный вопрос. Фашистские войска захватили многие районы страны, дававшие большую часть продовольствия. В связи с этим оскудевали нормы выдачи продуктов по карточкам. Как злокачественная опухоль, разрасталась городская толкучка. Там орудовали спекулянты-перекупщики, вылезшие из всех щелей старинного купеческого города. Достаточно было кому-либо из нас, пожелавших расстаться с той или иной своей вещичкой, появиться на подступах к толкучке, как он тотчас бывал атакован перекупщиками, которые так плотно обкладывали свою жертву, что спасение было только одно — бежать без оглядки. Или продавать им за ту цену, которую они назначили...

Очень скоро всем нам стало ясно, что единственным реальным способом добывания продуктов питания для семей являются походы и поездки за продуктами в окрестные села.

И началось великое паломничество, расцвела меновая торговля... Самодельные саночки-салазки портативны, позволяют разместиться с ними даже в самом переполненном вагоне. Но зато на обратном пути, когда на них лежит закутанное в тряпье ведро картофеля, две-три банки крупы, кружок бараньего сала, а то и еще какой продукт, — как легко бегут эти санки-самонатки, спешат донести домой добытые радости...

Открытие «второго продуктового фронта», как шутили в то время, в виде товарообмена с селами, безусловно помогло нам перенести тяготы зимы 1941/42 года, хотя и внесло массу дополнительных забот в нашу и без того хлопотную жизнь. Если в поход отправлялась супруга, то на несколько дней заботы с семье полностью сваливались на мужчин и ребят. Чтобы на село поехать мужчинам, необходимо получить на два-три дня освобождение от работы. Там, где позволяло производство, активные формы приняла система суточных дежурств на работе с получением последующих отгулов...

О зиме 1941/42 года написано много. Крутовата была матушка в тот год. Морозы нередко загоняли уровень термометров за тридцать, а бывало, и за сорок градусов.

Много было невзгод в те голодные, очень холодные, трудные месяцы начала сорок второго года, но все же они воспринимались нами и остались в памяти временем подъема, бодрости, временем надежд и крепнущей веры в торжество нашего правого дела.

Причин к тому было несколько, назову основные.

Первая, главная, — это повсеместное и длительное наступление наших войск на всех фронтах. Остановив натиск фашистских полчищ под Москвой, опрокинув их и отогнав на многие десятки километров, Красная Армия показала нашему народу и всему миру, что «непобедимых» немцев можно бить, и очень успешно. Это же многократно продемонстрировали наши воины и на других фронтах.

Какую бодрость и уверенность вселял в нас по утрам голос Левитана, читавшего по радио сводки об очередных поражениях захватчиков!

В приказе народного комиссара обороны ко Дню Красной Армии 23 февраля 1942 года говорилось:

«Теперь судьба войны будет решаться не таким привходящим моментом, как момент внезапности, а постоянно действующими факторами: прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество дивизий, вооружение армии, организаторские способности начальствующего состава армии...»

В справедливости этих слов мы имели возможность убеждаться в течение всех последующих лет войны.

Вторая причина, вселявшая в нас бодрость духа, — дела заводские. Конечно, в то время точные данные о количестве штурмовиков «ИЛ-2», выпущенных нашим заводом за тот или иной день, неделю, месяц, знал только очень ограниченный круг работников завода. Это составляло государственную тайну.

Но по тому, как уплотняются рабочие места в цехах, как растут штабеля деталей и агрегатов в промежуточных складах, наконец, главное, по тому, как часто проносятся над крышами завода наши боевые красавцы, все мы чувствовали, что их становится все больше и больше.

Давно мы уже перестали грузить самолеты на железнодорожные платформы. Самолеты облетывались на заводском аэродроме, и отсюда их забирали летчики воинских частей, которые все чаще приезжают на завод.

Приезжают новички, которым только предстоит осваивать «ИЛ-2». Но приезжают и ветераны, уже воевавшие на «ИЛах». От них мы слышим похвальные, порой восторженные отзывы о наших машинах, благодарность в адрес коллектива и просьбы давать побольше замечательных машин. Стоит ли говорить, что такие просьбы действовали на людей едва ли не сильнее любых приказов...

В упорном труде на заводе, в повседневных тревогах о фронтовых событиях, в хлопотах по организации быта наших семей, заботах о пропитании проходили первые месяцы 1942 года.

Наступала весна. И чем ярче светило солнце, чем больше проталин появлялось на окрестных буграх, тем упорнее и настойчивее становилось обсуждение одной темы — огороды.

Вокруг завода лежали огромные массивы земли. Много земельных участков брошено колхозами из-за невозможности их обработать. А мы, заводские работники, рвались к матушке земле, понимая, что в создавшихся условиях она одна может нас прокормить.

7 апреля 1942 года Совет Народных Комиссаров и ЦК ВКП(б) вынесли постановление о выделении земель для подсобных хозяйств предприятиям и под огороды рабочим и служащим. Наши мечты получили реальную основу. Но и заботы стали принимать реальные формы.

Массовое огородничество — новый и весьма ответственный по тем временам участок работы, точнее сказать, участок жизни заводского коллектива — нуждалось в постоянном активном руководстве. Его поручили заводскому комитету профсоюзов, во главе которого в то время стоял инженер Григорий Владимирович Кудрин. Много хлопот доставил завкому и лично Кудрину этот новый необычный участок, по своему набору проблем весьма далекий от привычных заводских забот...

Совсем не безразлично любому из нас, где ему будет выделен участок земли под огород. Всем хотелось, чтобы поближе к заводу, чтобы после смены можно было побежать на огород. Когда поделили отведенную нам вблизи завода землю, то

оказалось, что участки большинству семей маловаты, не по нашим аппетитам. Тогда получили еще один надел, но он оказался отстоящим от завода в трех железнодорожных перегонах. Так каждый из нас стал владельцем двух огородных участков — ближнего и дальнего.

Понимая, что развитие огородничества — это укрепление тыла, руководство завода начало изготовление огородного инвентаря. Без ущерба для основного производства тысячами штамповались лопаты, изготовлялись грабли и тяпки. Ко времени, когда земля поспела для обработки, мы были достаточно вооружены необходимым инвентарем. Началась весенняя «посевная». Так или иначе, но провели мы ее успешно. Ни один клочок земли на выделенных нам участках не остался невозделанным.

Начавшись в 1942 году со скромной цифры — 70 гектаров земли, на которых трудился коллектив, собравший около 700 тонн картофеля, — армия огородников и обрабатываемая ими площадь земли к 1945 году выросли в десять раз, а собранный урожай — почти в пятнадцать раз.

Примерно 70 процентов урожая составлял картофель, а остальное — овощные культуры. Иными словами, семьи огородников обеспечивали себя на зиму полным набором продуктов земли за исключением хлеба. Это обстоятельство было чрезвычайно важно. Оно разгружало людей от повседневных забот о пропитании, делало нашу жизнь на новом месте еще более стабильной и устойчивой. А это, в свою очередь, служило хорошей основой для увеличения нашей производственной отдачи на заводе.

Еще одна проблема во всей своей сложности встала перед заводом — кадры! Нам необходимо было не столько закреплять, сколько пополнять ряды рабочих, набрать значительное число людей.

Откуда? Как это сделать? Каким образом привлечь людей к работе в нетопленых цехах недостроенного завода?

Конечно, мощным стимулом служила рабочая карточка, по которой ежедневно выдавалось по 800 граммов, а для первой категории и по килограмму хлеба. Конечно, в то голодное время высоко котировалась возможность получить трехразовое питание в столовых завода. Все это так. Но откуда почерпнуть необходимое нам количество людей?

Мобилизация?

Да, это военное слово было произнесено, так как шла война, происходила жестокая битва за родину, за свободу, за жизнь.

Основным резервом пополнения наших рядов стал соседний город. Там местные власти производили отбор кандидатур для работы на заводе и направляли их к нам.

Что это были за люди?

Главным образом женщины из числа неработавших или трудившихся в сфере обслуживания. Приходили учащиеся ремесленных училищ. Появлялись и мужчины, по состоянию здоровья не призванные в армию... Пестрое по своему составу пополнение имело одну общую черту — никто из них никогда не работал на заводе. Этим людям предстояло обучить профессиям, в которых завод остро нуждался. И обучить срочно, немедленно.

«Аудиториями» у нас были те самые задымленные, холодные цехи. Учебными местами — пустовавшие станки, стапели, верстаки в этих цехах. А учителями-наставниками — наши кадровые рабочие и мастера, которые и без того трудились не отдыхая, зачастую по несколько дней кряду не выходя из цехов...

Дирекция, партийный комитет, профком и комсомольцы сумели придать этой задаче должную серьезность и значимость во всех подразделениях.

В столь скоротечной подготовке большого количества рабочих существенную роль сыграло одно важное обстоятельство. Оно заключалось в том, что массовое изготовление штурмовика вызвало членение технологического процесса его постройки на сравнительно мелкие операции. Производство таких операций, как

правило, не требовало от исполнителей высокой квалификации и больших навыков.

Так или иначе, но объективные архивные материалы свидетельствуют, что только за два месяца 1941 и первую половину 1942 года на завод принято, обучено и поставлено на самостоятельную работу несколько тысяч человек! Новые станочники, клепальщики, слесари... Кто же они?

Молодая работница Ракова:

«Совсем недавно я работала кассиром в кино, потом решила пойти на завод, где учусь на револьверщика. С помощью мастера Романенко через десять дней уже начала работать самостоятельно и давать детали. Обязуюсь к годовщине Красной Армии выполнить задание не менее чем на 150 процентов».

Ученица-клепальщица Виснова:

«Когда я пришла на завод, меня направили в группу мастера товарища Молозина. Работа меня очень заинтересовала, два дня я трудилась подручной, а на третий Молозин поставил меня на самостоятельную операцию. Доверием горжусь, задание выполняю и надеюсь, что скоро буду перевыполнять».

Среди кадровых рабочих и мастеров-учителей, инструкторов выделялись и энтузиасты этого дела. Несколько опережая события, пользуясь теми же материалами заводского архива, восстанавливаю, к примеру, следующие характерные факты:

мастер агрегатно-сборочного цеха Шевцов за первые восемь месяцев работы на новом месте обучил более 70 человек профессии клепальщиков;

токарь цеха № 21 Мещеряков Б. Г. обучил своей профессии более 40 человек;

начальник участка центропильного цеха Н. П. Есин выпустил более 60 слесарей-сборщиков;

токарь цеха № 1 И. Т. Гридин поставил за токарные станки свыше двух десятков своих учеников.

Описывая события военных лет, отдаленные от нас тремя десятилетиями, мы имеем возможность проанализировать ряд явлений, выделив главное, с учетом дальнейшего развития этих событий.

Эвакуация многих промышленных объектов с территории, занятой врагом, являлась общеизвестным фактом. Но ее последствия, судьбы эвакуированных заводов для массы народа, для воинов на фронтах обрисовывались весьма смутно. На собственном примере я знал, что даже родственники подчас не знали новых адресов эвакуированных, не говоря уж об их производственной деятельности.

И вот в этих условиях руководство нашего завода, его партийная организация решают выступить с пространной статьей, показывающей, что завод, покинувший прежнюю базу, исчезнувший «в неизвестном направлении», жив и успешно работает. 29 марта 1942 года в «Известиях» такая статья появилась. В ней говорилось о трудностях эвакуации, но в ней объективно показывалось и то, что завод уже вновь стал полноценным действующим предприятием. «Теперь наш коллектив может твердо сказать: завод прочно стал на ноги. С 10 декабря, когда завод выпустил на новом месте первую машину, и до 1 апреля мы дадим столько машин, сколько не производили на старом месте за полгода...» Сообщая целый ряд конкретных фактов и показателей передовиков производства, статья информирует:

«Завод строится, продолжает расширяться. Все наши достижения мы никак не можем считать пределом. Довода мощность завода до уровня мощности на старой базе, весь коллектив подготовлял в то же время условия для нового развития производства. Несмотря на трудности, связанные с разворачиванием работ на новом месте, мы добились того, что наша грозная боевая машина стала дешевле на 18—20 процентов.

Опыт первых месяцев нас многому научил. Мы на деле убедились, какие поистине неисчерпаемые источники роста производительности труда и творческой инициативы таятся в народе...»

Вспомним еще раз, что это написано в марте 1942 года, то есть в очень тяжелое для нашей страны и для завода время.

А каким оптимизмом дышит каждое слово!

Это не просто агитационная газетная статья «для поддержания духа», а рапорт крупного заводского коллектива, отчет головного предприятия, возглавлявшего большую группу заводов, строивших грозные «ИЛы». Рапорт фронту, родине, своему народу!

Здесь, на заводе, в комсомольской организации, где вожаками в то время были Сергей Румянцев и Вера Васильева, родилась идея создания молодежных фронтовых бригад. В апреле сорок второго их было 167, а в декабре 412 бригад носили это гордое название. В 1943 году количество фронтовых бригад на заводе перешло за полтысячи.

Первенство в их соревновании держали молодые коммунисты токари Извеков и Гридин. Выработка их бригад стабильно составляла 500—600 процентов задания с отличным качеством продукции. Бригада Г. Ф. Извекова, сменная выработка которой временами достигала 800 и даже 1000 процентов нормы, носила звание лучшей фронтовой бригады авиационной промышленности. Она заслуженно удерживала за собой переходящее знамя Наркомата авиационной промышленности и ЦК ВЛКСМ, которое по окончании войны передали заводу на вечное хранение. Г. Ф. Извекова наградили орденом Ленина.

По директиве правительства на крупных предприятиях организовывали ОРСы — отделы рабочего снабжения. Эта новая форма обеспечения заводских коллективов продовольствием оказалась весьма оперативной и эффективной.

ОРС нашего завода, созданный в начале 1942 года и возглавляемый заместителем директора Владимиром Ивановичем Пуховым, имел три подсобных хозяйства с общей площадью 5297 гектаров земли, 10 различных магазинов, хлебозавод, ряд мелких бытовых предприятий.

В заводские столовые и детские учреждения ОРС поставил многие десятки тысяч тонн картофеля и овощей.

Таким образом, можно сказать, что ОРС и система общественного питания кормили работающих на заводе. Индивидуальное огородничество помогало решить проблему питания семей работников завода.

Все больше и больше «ИЛов» требовал фронт. Эту задачу решали двумя путями: повышение производительности труда и сокращение трудоемкости производства. Что касается первого пути, то здесь достижения можно проследить по выработке на одного рабочего: с 35 тысяч в 1941 году она выросла к 1944 году до 75 тысяч рублей. Успехи же на втором пути — сокращение трудоемкости — определялись поиском сотрудников технических отделов. Поиск шел по нескольким направлениям.

Конструкторы СКО находили такие решения отдельных узлов и элементов конструкции, которые, не снижая надежности самолета, оказывались проще и дешевле. Технологи и конструкторы оснастки работали непрерывно и весьма успешно над снижением трудоемкости производства самолета «ИЛ-2». Вершиной их усилий явилась организация поточных линий на отдельных производственных участках. Этому делу много времени и сил отдала группа специалистов во главе с Владимиром Ильичом Марчуковым.

В. И. Демин и многие сотрудники руководимых им служб вспоминают те годы как пору поисков и находок, как время творческого труда, результаты которого проявлялись тут же. Ведь шло крупносерийное, можно сказать — массовое изготовление самолета-штурмовика, где каждое, даже небольшое, усовершенствование технологического процесса сразу оборачивалось заметным выигрышем во времени, ускорением постройки самолета, увеличением числа выпускаемых машин заводом.

В истории Великой Отечественной войны отмечен такой факт: «Благодаря экономии только одного процента алюминия на заводе № 18 стало возможным каждый месяц выпускать дополнительно четыре штурмовика «ИЛ-2»...» За этой скупой информацией — большая работа специалистов ряда подразделений, и в

первую очередь лабораторного отдела, которым руководил Онисим Михайлович Стародуб.

Сотрудники ИЛО создали новый сплав АЛЗАТ, компонентами которого явились отходы, образующиеся при изготовлении деталей из дефицитных алюминиевых сплавов и материалов. Они же возглавили отработку технологии литья под давлением деталей из этого сплава и доказали полную пригодность таких деталей. Благодаря этому сократился расход первичного алюминия на каждый штурмовик при одновременном выигрыше в трудоемкости, так как отлитые под давлением детали почти не требовали последующей обработки.

Около полтораста исследований в различных областях техники провел отдел за годы войны. И большинство его работ было внедрено в производство, ускорило выпуск «ИЛов», улучшило их качество.

Итак, непрерывно повышая производительность труда и снижая трудоемкость процесса, коллектив завода одерживал одну трудовую победу за другой.

Анализ официальных заводских отчетов показывает, что за годы войны трудоемкость изготовления штурмовика «ИЛ-2» снизилась вдвое, а цикл его производства по цеху главной сборки уменьшен в пять раз!

Петр Максимович Федоренко, в начале 1944 года занявший пост начальника цеха главной сборки, вспоминает:

— Ежедневно рано утром законченные сборкой самолеты передавались на летно-испытательную станцию, а в цех поступала очередная партия фюзеляжей, крыльев, моторов — словом, всего, что образовывало штурмовик. Технологический процесс изготовления агрегатов самолета во всех цехах так хорошо отработали, взаимозаменяемость агрегатов стала настолько полной, что у нас, в цехе главной сборки, подгонки одного агрегата к другому, какие-либо доработки полностью исключались. Любое крыло могло занять свое место на любом фюзеляже, любой мотор точно устанавливался на свое место в бронекорпусе и так далее. Высококвалифицированные рабочие-сборщики, подлинники мастера своего дела, под руководством таких опытейших командиров — старших мастеров и начальников участков, как член парткома Кузьма Федорович Александров, Гребенников, Гельзин, Соколов, Шелатонь и другие, не теряли ни минуты. Самолеты буквально на глазах обретали свои законченные формы и перекатывались на участок испытаний и обработки бортовых систем...

(Окончание следует)



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИВАН КОЗЛОВ,
гвардии полковник запаса



ВОЙНА. ВРЕМЯ. ЛИТЕРАТУРА

В Москве, у Кремлевской стены, на могиле Неизвестного солдата горит вечный огонь славы в память о тех, кто в грозные годы гитлеровского нашествия на нашу родину отдал за нее жизнь, спас людей всей земли от фашизма. Такой огонь горит в других краях, на рубежах, где шла кровавая и жестокая битва, самая жестокая из тех, что суждено было вынести человечеству...

Не правомерно ли и нашу литературу о войне сравнить с тем вечным огнем? Тема Великой Отечественной войны, сила этой высокой темы в нашей литературе с годами не меркнет, не ослабевает — время словно и не властно над нею.

Почему? Этот вопрос, кстати, я не раз слышал от отдельных зарубежных писателей и критиков. «Неужели вы такое воинственное государство?» — спрашивали они. Спрашивали в одном случае с некоторой долей наивности, в другом со слабо прикрытой неприязнью. Но тот, кто задался целью не понимать, никогда и не поймет, почему страна социализма самая миролюбивая на планете, чем прекрасна наша Программа мира, выработанная КПСС на своем XXIV съезде и активно претворяемая в жизнь...

Существеннее разобраться в таком вопросе для нас самих, для самой литературы.

Ответить однозначно невозможно — нужно представить важнейшие слагаемые ответа.

Победа над гитлеровской Германией досталась нам дорогой ценой. Мы потеряли на войне 20 миллионов соотечественников,

погиб в среднем каждый одиннадцатый человек, а в такой республике, как Белоруссия, которая три года находилась под вражеской оккупацией и где ни на один день не затухала партизанская борьба, погиб каждый четвертый. Буквально нет у нас семьи, которая бы не лишилась отца, брата, сына. Давно отстроили мы разрушенные и сожженные фашистами города и села, но все еще острой болью болят у наших людей душевные раны, многие матери все еще ждут своих сыновей-солдат, которые не вернутся никогда.

Об этой боли родного народа советская литература не имеет права, не может забывать никогда.

Сознание того, что мы избавили от фашизма весь мир, гордость таким подвигом — могучий стимул, важная причина этого неослабного внимания к теме войны. О ней советские писатели не могут не писать.

Не могут не писать тем более, что война была и личной судьбой литераторов: на фронте в разных должностях и званиях находились 947 писателей, 418 из них навсегда остались на полях сражений.

Не могут не писать... А ведь истинному художнику писать о войне куда как не легко. Много лет назад я прочитал в одной статье И. Эренбурга: «Война началась для меня летом 1936 года, и когда 9 мая 1945 года война кончилась для всех, мне хотелось, чтобы она кончилась и для меня. Я знал, что если начну писать «Бурю», война останется в моей комнате, на моем столе, в моем сознании и сердце». Почему-то эти слова не тронули меня тогда так пронзительно, как трогают сейчас (может быть,

дело в возрасте?), — в них глубокий смысл и исповедь человека, уставшего от войны, что по-человечески так оправданно и понятно. Говорят, знаменитый исследователь Арктики Амундсен однажды заметил: можно привыкнуть ко всему, нельзя привыкнуть к холоду. К войне привыкнуть никогда нельзя — и к самой войне и когда пишешь о ней, ибо сколько раз погибает созданный тобою герой, столько раз вместе с ним умирает и твое сердце... И если, несмотря ни на что, писатели пишут о войне, то действительно они не могут о ней не писать.

Однако есть для литературы еще одно наиважнейшее условие — книга должна быть нужна самым широким массам читателей. Интерес читателей к произведениям о Великой Отечественной огромен, воистину он всенародный. В совокупности факторов, обуславливающих этот интерес, главным, на мой взгляд, является тот, о котором поэтом сказано: «...сделать бы жизнь с кого». Литературные герои увлекают, ведут человека, особенно человека молодого, по жизни. Увлекают благородством своих сердец, своим беззаветным служением Родине, преданностью коммунистическим, самым гуманным идеалам.

Года два назад я проводил в одной из московских школ среди учащихся старших классов читательскую конференцию по роману Юрия Бондарева «Горячий снег». В числе других ее участников выступал и Миша Владимиров. Произнеся добрые слова о героях романа, он заговорил потом и о тех, кто послужил автору прототипами. Вот что сказал паренек:

— У нас в семье хранится письмо о дедушке. Он был солдатом и сорока лет погиб в Будапеште. Зимой тысяча девятьсот сорок пятого года. На улицу из подвала вдруг выбежала девочка-венгерка, а как раз начался артиллерийский обстрел. Дедушка бросился за ребенком, и в это время разорвался снаряд. Дедушка прикрыл девочку собой. Осколок убил его, но девочка осталась жива... Если потребуется, я постою, как мой дед...

Да, тема всенародного подвига в Великой Отечественной войне для советской литературы не преходяща. «На сотни лет, — говорил Алексей Толстой, — эта война останется отправной точкой для всех искусств — от эпопеи и трагедии до лирических стансов».

За четыре военных года, за тридцать послевоенных лет у нас создана большая литература о Великой Отечественной. Большая не просто числом произведений, но своим идейно-художественным уровнем, своим пафосом.

Пафос этот идет от характера самой войны — справедливой, освободительной, которую мы вели во имя благороднейших человеческих целей. Высокий социалистический гуманизм советские люди утверждали в кровавой битве, им донине проникнута вся литература о народном подвиге. Запечатлев один из самых трагических и героических периодов человеческой истории, раскрыв идейно-нравственный облик человека, готового отдать — и отдающего — свою жизнь во имя счастья людей, глубоко исследовав сферу его патриотических чувств, по своей социальной и нравственной природе чувств новых, необычайно сильно и ярко выразившихся в подвиге, эта литература в лучших своих проявлениях стала новым шагом в художественном развитии человечества.

Литература о войне начала создаваться с первых же военных дней. Она начисто как обезоруживающее отвергла древнее изречение: «Когда грохочут пушки, музы молчат». Она сумела приравнять перо писателя к штыку солдата. Стихи К. Симонова, например «Убей его!», по свидетельству многих фронтовиков, вызывали в душе такую ярость к врагу, что буквально поднимали в атаку. А сколько воспламеняющей силы несли в себе статьи и памфлеты И. Эренбурга, писателя, который в 1944 году за свою военно-литературную деятельность был награжден орденом Ленина.

Начало военной литературы — по преимуществу произведения малой формы. Обстоятельства войны требовали от писателей оперативного, немедленного «включения» в то или иное событие — рассказа о конкретном подвиге героя солдата, о патриотических поступках населения, о зверствах фашистов.

В жанрах «малой прозы» вместе с рассказчиками, очеркистами, публицистами, поэтами тогда работали признанные мастера крупной художественной формы — А. Толстой, М. Шолохов, А. Фадеев, Л. Леонов, К. Федин. Толстой, например, написал за время войны около девяноста публицистических статей на самые острые темы дня, создал цикл новелл «Рассказы Ивана Сударева» с такой жемчужиной, как

«Русский характер». Рассказ Шолохова «Наука ненависти» сыграл огромную роль в воспитании советского солдата.

Никогда наши писатели не стояли так близко к «эпицентру» жизни, не работали с таким душевным накалом, так интенсивно и так плодотворно, как в годы войны. И не в домах творчества работали, а в условиях необычайно неблагоприятных — в землянках при свете «катюш», вблизи передовой под грохот артиллерийской канонады, под бомбами вражеских самолетов. Стоит привести хотя бы абзац из воспоминаний Б. Галина о том, как писал Борис Горбатов свои знаменитые «Письма к товарищу»:

«Обычно работающий очень трудно, медленно, долгие часы обдумывающий каждое слово, свои «Письма к товарищу» Горбатов писал с горячей стремительностью. В кабине грузовой машины, на привале, в сожженной зноем степи, в хате у подоконника, заставленного горшками с цветами, в прифронтовом селе, в притихшей школе у висящей во всю стену карты мира, на КП батальона, примостившись где-то в уголке сарая, на охапке соломы».

Жаль, что рассыпанные в разных местах рассказы писателей о своем труде на фронте до сих пор не собраны воедино — такая книга была бы весьма полезна для молодых литераторов, да и не только для молодых. Но это, как говорится, к слову.

Малые жанры главенствовали в военной литературе в годы войны. Однако уже и тогда создавались произведения крупной литературной формы — повести, романы, поэмы. Во время войны был написан А. Твардовским «Василий Теркин», вышли повести «Алексей Куликов, боец» и «Непокоренные» Б. Горбатова, «Радуга» В. Василевской, «Волоколамское шоссе» А. Бека, «Командир дивизии» Г. Березко, «Взятие Великошумска» Л. Леонова, «Дни и ночи» К. Симонова, «Морская душа» Л. Соболева, «Это было в Ленинграде» А. Чаковского... На рубеже войны и мира появилось одно из самых значительных произведений советской литературы — роман А. Фадеева «Молодая гвардия». В годы войны начал публиковать главы из своего романа «Они сражались за Родину» М. Шолохов. И это перечень неполный.

Первое послевоенное десятилетие для литературы было нелегким, но нельзя не заметить, что именно в эти годы появи-

лись такие блистательные произведения о войне, как «С фронтовым приветом» В. Овечкина, «Спутники» В. Пановой, «Знаменосцы» О. Гончара, «Белая береза» М. Бубеннова, «Люди с чистой совестью» П. Вершигоры, «Ночь полководца» и «Мирный город» Г. Березко, «Русский лес» Л. Леонова, «Балтийское небо» Н. Чуковского, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и другие. В послевоенное десятилетие вмещается почти все творчество Эм. Казакевича: «Звезда», «Двое в степи», «Весна на Одере», «Дом на площади», «Сердце друга». Тогда же вышло большинство книг партизанской темы — «От Путивля до Карпат» С. Ковпака, «Подпольный обком действует» А. Федорова, «Сильные духом» Дм. Медведева...

В этих произведениях с принципиальных позиций раскрыт освободительный, справедливый характер войны, показан облик советского человека, защищающего Родину, исследованы идейные и нравственные истоки подвига. Наша литература обогатилась образами героев, имена которых стали нарицательными. Их великий пример служения народу не утратил своей силы и сегодня.

С первого своего шага литература правильно определила для себя направление главного удара — героический аспект военной действительности, исследование героического характера. Самые выразительные ее успехи связаны с тем, что она двигалась и продолжает двигаться по этому направлению.

Еще в 1943 году, опираясь на тогда еще относительно небольшой опыт военной литературы, А. Фадеев говорил: «В этой войне миллионы советских людей раскрывают самые сильные, благородные, героические стороны своего характера, встают во весь свой человеческий исполинский рост — в боевых делах, в труде, в отношении к родине, к нации, в мышлении о мире, о человечестве, в чувствах своих к врагу, к товарищам по борьбе, к семье, к любимому человеку. Мне кажется, это и есть то главное, что может и должен увидеть и показать советский художник в современной войне».

Здесь сформулирован именно героический аспект темы.

Правда, приходилось слышать и такое, будто этот аспект притушевывает-де полноту характера, невольно сужает возмож-

ности показа многогранного мира героя. Но почему же? Ведь героический аспект — это отнюдь не только подвиг, не следует упрощать и примитивизировать дело. Героический аспект предполагает, а если хотите, и требует раскрытия процесса формирования героической личности во всей его противоречивой сложности. Как это говорит один из персонажей романа А. Крона «Дом и корабль»? Подвиг на войне может длиться несколько минут, готовиться же к нему надо всю жизнь...

Когда ревнитель «полноты» начинает рассуждать, что вот, мол, в «Звезде» Казакевича надо было бы пошире раскрыть чувство Травкина к радистке Кате да показать довоенную жизнь героя, что в «Волоколамском шоссе» А. Бека главный герой Баурджан Момыш-Улы живет «только войной», словно бы ему все другое чуждо, думаешь про себя: ничего-то ты не понимаешь ни в законах искусства, ни в законах войны. Стоит представить хотя бы то, что Момыш-Улы живет в обстоятельствах осени сорок первого года под Москвой, когда и в человеке и над человеком одно — выстоять, остановить врага, повернуть его вспять!

Не так давно вышла документальная повесть Михаила Котова и Владимира Ляскового «На Южном фронте», в которой авторы воссоздают подвиг артиллеристов батареи лейтенанта Оганьяна осенью сорок первого года под Ростовом-на-Дону. Повесть «выросла» из их небольшой книги «Мужество», написанной тогда же, в сорок первом, по совету и по просьбе бригадного комиссара Л. И. Брежнева, бывшего в то время заместителем начальника Политуправления Южного фронта. Авторы приводят, в частности, такие слова, услышанные ими от Леонида Ильича: «...каждая строка военных писателей, журналистов должна учить не просто ратному делу, но и наивысшему его предназначению — подвигу».

Утверждая, что ни лирика, ни интимная жизнь героя, ни его «отвлеченные» мечтания с героическим не конфликтуют, а тем более не антагонизируют, я тем не менее должен еще раз подчеркнуть, как часто в военной литературе главным мерилom достоинства героя выступает именно подвиг. Именно в подвиге фокусируется и дум высокое стремление, и благородство сердца, и неумная мечта о счастье, и беззаветная отвага, и решимость на самое большое, хоть на смерть — не ради славы, ради жизни на земле! Не за эти ли душевные черты нам

и дороги образы героев той уже не близкой военной поры!

Со второй половины 50-х годов военная литература, зрелая знанием прошлого, все глубже постигает события «сороковых огневых», задумывается над все новыми проблемами, и в их числе над такой многотрудной, как самый первый период войны, где «почему» и «как» особенно сложны и болезненны. Именно в эту пору появилось так много произведений о сорок первом годе: «Живые и мертвые» К. Симонова, «Человек и оружие» О. Гончара, «Июль 41 года» Г. Бакланова, «Доктор Вера» Б. Полевого, «Истоки» Г. Коновалова, «В разгар лета» П. Куусберга, «Один из нас» В. Рослякова, «Тирлеанские девчонки» В. Спаре... Писатели словно бы заново обращаются к этому исключительно насыщенному трагическим, героическим периоду Великой Отечественной войны.

В идейно-художественной интерпретации событий не каждому автору удавалось соблюсти необходимую степень исторической точности, были и просчеты и ошибки — критика во многих случаях справедливо на них указывала, — но все это не меняло цели и смысла общего устремления литературы: показать стойкость и несгибаемость народа, сила духа которого исключительно ярко проявилась в дни неудач и временных поражений, показать, что и в этот период в многотрудных испытаниях Родины ковалась наша будущая победа.

Как тут не вспомнить еще и еще раз некогда сказанное Львом Толстым по поводу его «возвращений» к 1807, к 1805 годам в «Войне и мире»: «В третий раз я вернулся назад по чувству, которое может быть покажется странным большинству читателей, но которое, надеюсь, поймут именно те, мнением которых я дорожу: я сделал это по чувству, похожему на застенчивость и которое я не могу определить одним словом. Мне совестно было писать о нашем торжестве в борьбе с Бонапартовской Францией, не описав наших неудач... Ежели причина нашего торжества была не случайна, но лежала в сущности характера русского народа и войска, то характер этот должен был выразиться еще ярче в эпоху неудач и поражений».

Это историко-литературная аналогия, а вот слова из статьи в «Комсомольской правде» одного из виднейших советских полководцев, маршала И. Х. Баграмяна, они

могут многое объяснить в тенденции устойчивого обращения нашей литературы к сорок первому году: «Первые шесть месяцев войны можно смело назвать поистине героическими. Именно в это время были заложены основы наших дальнейших побед и одновременно сокрушительного поражения фашистской Германии».

Итак, литература все больше углубляется в действительность поры военной, в облике ее героя обозначаются новые черты, подчас и такие, какие, возможно вызвали бы немалое удивление в глазах летчика Мересьева из «Повести о настоящем человеке» или майора Данилова из «Спутников».

Новые черты... Что это? Разве литература о войне имеет дело с героем, который непрестанно движется через годы и расстояния, обогащая свой духовный мир опытом близкой ему социальной и общественной среды? Разве это не тот герой, чье время точно очерчено рамками — 1941—1945, и в той жизни он уже не может стать ни лучше, ни хуже? В чем оправдание такого показа героя? В намерении модернизировать его, подтянуть его к уровню наших новых представлений о прошлом?

Нет, ни то, ни другое, и не «модернизация» здесь вовсе, но открытие ранее не открытого именно на основе более глубокого знания действительности войны, человека войны!

О чем же идет речь конкретно, каким предстает перед нами герой войны в произведениях, созданных в последние годы?

Я бы сказал, что выйдут из более раздумчивым, склонным к аналитическому мышлению. Отчетливо выражено в нем стремление проникать в суть событий, понять их первопричину, истолковать их последствия. Он как бы более мудр — от мудрости жизни, — этот герой. А самые дальновидные из героев способны и на большее — широко связывать причинно-следственное в нашей истории, в большой действительности. Вспомните, как выразительна эта черта в генерале Серпилине («Живые и мертвые»).

И еще — в нравственном облике такого героя остро развито чувство доверия к человеку. В романе Олеса Гончара «Человек и оружие» мотив доверия является всепроникающим мотивом романа. В поведении Колосовского на фронте в наисложнейших и наитруднейших ситуациях, где он нередко оказывается у самого края

смерти, в его раздумьях, в которых юноша предельно откровенен и честен, Гончар раскрывает благородную патриотическую душу своего героя. Эта тема углублена в новом, более позднем романе О. Гончара «Циклон», в котором продолжают судьбы героев «Человека и оружия».

Принципиальным для нового этапа развития военной прозы явился рассказ М. Шолохова «Судьба человека» — рассказ о непокорности врагу советских людей, о неистребимости добра на земле. Судьба Андрея Соколова, попавшего в плен «не на коленях», не вставшего на колени перед фашистами, вобрала в себя так много, что рассказ этот в критике стали называть «рассказом-эпопеей». Особо стоит отметить роль рассказа как «первопроходца» темы о людях, которые даже в условиях плена проявили лучшие черты советского человека, советского воина (вспомним образы романа Ст. Зюбина «Пропавшие без вести» или повесть Ю. Пиляра «Пять часов до бесмертия» — о последних часах жизни советского генерала Дмитрия Карбышева, всю драму которого автор видел своими глазами).

А сколько энергии, писательского сердца отдал возвеличению подвига защитников Брестской крепости С. С. Смирнов! Не случайно ее так высоко оценила страна: автор удостоен Ленинской премии.

Книги Смирнова «Крепость на границе», «Брестская крепость», «Страницы великого подвига» документальные, художественно-публицистические. Писатель не ограничился только героями Бреста, а продолжал свою следопытско-писательскую работу и дальше. Блистательным явилось открытие подвига рязанского колхозника Федора Полетаева, который военными бурями был заброшен в Италию, под именем Позтана самоотверженно сражался в рядах Сопротивления и там, вдали от родины, пал в битве с фашистами.

Литературная, а точнее литературно-политическая, деятельность С. С. Смирнова получила большой резонанс в писательской и журналистской среде, в народе, особенно среди молодежи, пионеров. Его усилиям немало обязано широкое патриотическое движение под девизом «ничто не забыт, ничто не забыто». Это ли не образец тесного слияния литературы с жизнью, активного воздействия литературы на жизнь! Как бы хотелось, чтобы подобной писательской инициативы проявлялось больше.

И инициативы встречной. В частности, мне представляется весьма полезным и нужным делом запись воспоминаний участников Великой Отечественной войны. В силу немолимых законов возраста уходят из жизни ветераны, и вместе с ними уходит в небытие то, что хранила их память о днях войны, что не должно уйти, обязано остаться как духовное достояние народа. Для литературы. Для историков. Для публицистов. А в конечном счете для всех нас — современников и потомков. Вовлечь в это надо прежде всего интеллигенцию, тех, кто способен не только записать за рассказчиком, но и «вытащить» из него интересное.

Одним из первых, если не самым первым произведением «чисто» художественной прозы, вызванным к жизни пафосом поиска неизвестных героев, явилась повесть А. Рыбакова «Неизвестный солдат». Уважение к памяти отцов, отдавших в борьбе с фашистами свои жизни, для юного героя святая святых. Повесть написана в защиту высокой человечности, в ней много щемящей грусти, печали, но печали светлой.

Возникает вопрос: в каких отношениях — антагонизма или единомыслия, притяжения или неприятия — находится герой этих более поздних книг к тому, что создавала литература военных лет, первого мирного десятилетия? Советологи-маоисты пытались и пытаются разделить единого по своей сути героя на «старого» и «нового» и убедить при этом, что только-де «старый» способен выразить патриотический дух народа, цели и характер освободительной войны, а «новый» является его полным антиподом. Логика и доказательства в их утверждениях ни грана. Для нас абсолютно бесспорно, что «новый» герой, так же как и его предшественник, горячо любит Родину, яростно ненавидит ее врагов и в битве за счастье народа готов к любым испытаниям и любому самопожертвованию. Они от одного социального и идейного корня, лейтенант Герасимов и рядовой Андрей Соколов, хотя образ первого был создан Шолоховым в 1942 году, а второго — в 1956-м. Они подлинно побратимы, лейтенант Травкин из «Звезды» Эм. Казакевича и лейтенант Новиков из «Последних залпов» Ю. Бондарева, хоть появление этих произведений датировано годами 1947-м и 1959-м...

Да, 60-е и 70-е годы проходили для военной литературы под знаком ее дальнейшего поступательного движения — все

более глубокого постижения действительности, раскрытия жизни во всей ее противоречивой сложности, все более глубокого проникновения в духовный мир человека войны. Героически устремленная, вооруженная историческим опытом народа, литература создала немало примечательных произведений, которые, если применить к ним терминологию фронтовую и стратегического и тактического плана, в первом случае — романы с большим разворотом событий, множеством героев, протяженные пространственно и во времени, такие, как «Живые и мертвые» К. Симонова или «Блокада» А. Чаковского; во втором — романы и повести, чаще повести с локальным сюжетом, например: «Обелиск», «Дожить до рассвета» В. Быкова или «А зори здесь тихие...» Б. Васильева.

Одно из наиболее приметных произведений последних лет — «Горячий снег» Ю. Бондарева, роман, в котором остро сочетаются и неостывшая память солдата о войне, и взгляд на события с высоты достигнутой нашим обществом ныне, с исторической дистанции.

Военная тема для Ю. Бондарева тема не новая, в «Горячем снеге» он не начал ее, а вернулся к ней, началом, как известно, были повести «Батальоны просят огня» и «Последние залпы». Действие этих повестей, особенно «Последних залпов», развертывалось на сравнительно узком плацдарме — на огневой позиции артиллерийской батареи. Автор покорял превосходным знанием жизни, пластикой письма в изображении батальных сцен, окопного быта и, главное, в прослеживании психологического состояния героев. И хотя Бондарев никогда не был бытописателем войны по преимуществу (такая задача решалась им как попутная), а основной целью художника считал познание человека в наитруднейших обстоятельствах переднего края, хотя никогда не замыкал свое авторское видение на «окопе» и не отделил этот небольшой пятачок от широкого поля действия, а главное, не противопоставлял людей в окопе людям в штабах и не придерживался взгляда, что кровь в бою проливают только в окопе, а тот, кто в нем не бывал, тот и войны не видал, — несмотря на все это, некоторые из критиков стали числить его приверженцем «окопной правды».

«Горячий снег» — произведение масштабное, с этим связано художественное

своеобразие романа, в частности его композиция, когда основными точками сражения, «плацдармами» проявления мужества, исполнения воинского долга оказываются и огневая позиция артиллерийской батареи комбата Дроздовского и командный пункт командарма Бессонова. Книга — свидетельство новой высоты в творческом развитии художника, особенно высоты психологического проникновения, и тем не менее в изображении жизни, быта окопного пятачка, в показе человека на войне, в постижении его нравственной сущности Бондарев в романе остается прежним Бондаревым. И не потому, что является упрямым последователем «окопной правды», а потому что... никогда ее не исповедовал. Да, да! Все дело, видимо, в «неосторожном» обращении некоторых критиков с этим понятием, первородный смысл которого скорее социальный, чем эстетический.

Говоря о масштабности «Горячие снега», я бы подчеркнул, что ощущение ее возникает в двух планах — масштабы самого сражения и масштабы человеческого духа. И если тема стойкости советских воинов связана по преимуществу с батареей Дроздовского и герои эти, молодые офицеры и солдаты, известны автору по собственному жизненному опыту, то показ масштабов сражения, создание образов крупных военачальников (Бессонов, Веснин) явилось для Ю. Бондарева делом новым. Решить ее во многом помогла сверхзадача — познать человека, поставленного на грань «или — или» в момент самой высокой и тяжелой проверки на человечность.

Следует подчеркнуть, что в произведениях, создаваемых в 60-е, 70-е годы, и чем ближе к нашим дням, тем все острее, встают проблемы нравственного порядка, проблемы, которые волновали людей поры военной и в не меньшей мере волнуют современника. Что ж, ни к какому другому времени не приложимы так слова «далекое — близкое»... И как много в том далеком — близком бесконечно дорогого, благородного, возвышенного, воспламеняющего примера, способного вести по жизни, учить именно сегодня!

Что заставляет сегодня писателей вновь и вновь возвращаться к теме войны? Отвечая на этот вопрос, Юлия Друнина писала несколько лет назад: «Мое поколение росло, овеянное романтикой революции и гражданской войны. Любимой нашей пес-

ней была «Каховка», любимым фильмом «Чапаев», любимой книгой «Как закалялась сталь». Не они ли — светловская девушка в походной шинели, отчаянный, легендарный комдив, суровый, неистовый Павка Корчагин — привели нас в сорок первом году в райкомы и военкоматы с требованием отправить на фронт? А разве молодежь 60-х годов не должна быть влюбленной в героев Великой Отечественной так же, как мы, мальчики и девочки, родившиеся в 20-х, были влюблены в героев гражданской войны? Разве наша молодежь не должна почувствовать красоту фронтовой дружбы и задуматься над природой той особой высокой настроенности души, которая бросала человека на вражескую амбразуру? Ведь освободительная война — это не только смерть, кровь и страдания. Это еще и гигантские взлеты человеческого духа — бескорыстия, самоотверженности, героизма». Справедливые слова!

Все более настоятельное и вдумчивое обращение военной литературы к нравственной проблематике — требование нашего времени. Рассказы, повести становятся ныне все более «проблемными» именно в этом плане. И характерными тут могут быть повести Василя Быкова, особенно созданные в недавние годы — «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Волчья стая».

Василь Быков из тех писателей, которые до сих пор как бы не вернулись с полей сражений, из дней и ночей партизанских... Примечательно, что маленькие по объему повести этого автора ныне оказались на большой, магистральной дороге военной прозы, да и не только прозы, и не только военной. Почему?

Прежде всего потому, что в них исследуются как раз такие проблемы поры военной, на какие мы ищем ответы сегодня. Как живой с живым разговаривает с нами из своего партизанского края учитель Мороз («Обелиск»), сознательно отдавший жизнь ради того, чтобы его ученики в свой предсмертный час не разуверились в той правде, которой он учил их с малых лет, чтобы не сплеховали перед врагом. Автор умеет связать прошлое с настоящим, былое спроецировано у него на нынешнее, и нравственный эквивалент, извлекаемый современником из событий тех лет, несет большой заряд, обладает большой силой воздействия на ум и сердце. И конечно же, ответ на вопрос — в истинной художественности повестей, в психологическом анализе, рас-

крытии Быковым диалектики души героя.

Какие бы проблемы ни ставил писатель в своих произведениях, всепроникающая их мысль — быть человеком всегда и везде. Быть человеком значит в любых обстоятельствах выполнить свой долг, долг военный, как выполнил его лейтенант Ивановский в повести «Дожить до рассвета», долг совести, как его понимал партизан Левчук в «Волчьей стае».

Писатель не избирает героя исключительного, речь у него всегда о «рядовом» — партизане, учителе, солдате. Но на какие большие дела, на какие величайшие подвиги он способен! Часто герой оказывается с обстоятельствами, что называется, один на один, и не с кем ему посоветоваться. Однако это только так кажется, что не с кем: главный советчик везде и всегда неотлучно с героем — с Ивановским, с Левчуком, с Сотниковым — их собственная совесть. Совесть в интерпретации автора — категория социально-нравственная, и потому так ощутимо проступает это чувство в характере его героя, если не доминирует в характере, то определяет многое. Я бы даже сказал, определяет главное: героическое поведение человека перед лицом самых тяжелых обстоятельств. Умереть так, как умирает Сотников, — настоящий подвиг, пусть партизану в его последнее утро и не удалось убить ни одного фашиста, в том не его вина; он умирает агитационно, как сказал бы герой романа Фурманова «Мятеж» («Если быть концу — значит, надо его взять таким, как лучше нельзя. Погибая под кулаками и прикладами, помирай агитационно! Так умри, чтобы и от смерти твоей была польза»).

С этим связано стремление писателя в каждой новой своей повести расширить понятие героизма, утвердить множественность форм его проявления, углубить мысль о гуманности подвига. Социалистический гуманизм не есть лишь пожелание людям добра, он требует борьбы, в условиях войны борьбы жестокой, кровавой, порой, как было с Ивановским, требует самопожертвования. Левчук спасает от фашистов новорожденного ребенка, постоянно рискуя заплатить за это собственной жизнью. Для меня его благородный подвиг в общем контексте повести приобретает значение символа: спасена Жизнь — твоя, моя, всех людей. Этим символом писатель раскрыл истинный гуманистический смысл

содеянного рядовым партизаном. Глубина проникновения автора повестей в действительность поры военной, на мой взгляд, соотносится прежде всего с раскрытием в идейно-нравственном облике советского человека чувства гуманизма как чувства, органично и глубоко присущего нашему обществу.

Есть повесть о войне, которая удивительным образом переключается, с одной стороны, с повестями Василя Быкова, с другой — заставляет вспомнить героев «Звезд» Эм. Казакевича. Это «А зори здесь тихие...» Бориса Васильева, повесть талантливая, и талантливая по-своему. «Зори...», несмотря на заключенную в них горчайшую трагедию, рождают гордость за человека, звучат как трагедия оптимистическая. Духовная красота героинь, девушек-зенитчиц, — в верности долгу. Верность эта у них настолько сильна и естественна, что выглядит внутренней потребностью характера. Только так и могли они поступить.

Вспомним разговор, что происходит между смертельно раненной Ритой Осининой и старшиной Васковым. Васков мучится тем, что он остался жив, а вот девушки погибли: смогут ли потом, после войны, люди понять необходимость таких жертв? Когда мир наступит, спрашивает старшина, «будет понятно, почему вам умереть приходилось? Почему я фрицев этих дальше не пустил, почему такое решение принял? Что ответить, когда спросят: что же вы, мужики, мам наших от пуль защитить не могли? Что же это вы со смертью их оженили, а сами челяньские? Дорогу Кировскую берегли да Беломорский канал? Да там ведь тоже, поди, охрана, там ведь людишек куда больше, чем пятеро девчат да старшина с наганом». И Рита, умирающая Рита, говорит в ответ: мы Родину защищали. «Сначала ее, а уж потом канал». Патетика? Нет, для этой повести, для этих героев — самое естественное выражение глубоких социально-нравственных чувств.

В творчестве Васильева героическое — как бы мост, связывающий «Зори» с последним, совсем недавним его произведением о войне, романом «В списках не значился». Судьбы девушек-зенитчиц словно откликнулись в судьбе лейтенанта Николая Плужникова, в ночь на 22 июня 1941 года приехавшего в Брест для прохождения службы. В обстоятельствах самых сложных и драматичных выражает герой, что называется, к о н ц е н т р и р о в а н н ы й совет-

ский характер. Потому так естественно и логично его поведение в сценах самоотверженной схватки с гитлеровцами при защите Брестской крепости. И если бы при этом не пробивало сквозь ткань произведения нечто «условное», подрывающее и ослабляющее реализм характера. Скажем, эта «не ко времени» вклинившаяся в повествование история вдруг возникшего у Плужникова чувства к Мирре, история быстротечной любви этих молодых людей в обстоятельствах, ей-богу же, подобное исключают. А главное, это исключается логикой характера Плужникова!

Связывать нравственность героя с делом, которому он служит, мерить степень его нравственной зрелости степенью выполнения им своего патриотического долга для военной литературы стало одним из основополагающих принципов создания характера. Это традиция, обогащенная временем. И она целиком вытекает из ленинского положения о том, что «наша нравственность подчинена вполне интересам классовой борьбы пролетариата... выводится из интересов классовой борьбы пролетариата». Весьма примечательно, что во многих произведениях последних лет взаимосвязь нравственности и долга героя, их диалектическое взаимопроникновение раскрывается с особой убедительностью.

Так, философией романа Г. Березко «Дом учителя» явилась мысль о том, что самый «обыкновенный» советский человек, когда это от него требует высокий гражданский и воинский долг, способен стать необыкновенным. В нем проявляется запас идейно-нравственной прочности, о наличии которого иные до поры до времени даже не ведали. Он заложен в человеке нашей идеологией, политическим воспитанием, всем советским образом жизни. Конечно, мысль эту, как и всякую иную, не следует возводить в абсолют, иначе невозможно будет понять, откуда же тогда на войне брались трусы, отщепенцы. Речь я веду не о том, чтобы литература наша показывала каких-то сверхбогатырей, а о том, чтобы она глубже, в соответствии с правдой жизни раскрывала идейно-нравственные потенции и силу советского человека, вставшего на защиту Родины.

Тенденция углубления в действительность сороковых огневых отчетливо выказывает себя и в романе В. Богомолова «В августе сорок четвертого...». Романы, кстати, доказательно подтверждающем неисчерпаемость

темы Великой Отечественной в советской литературе.

Подлинно новую сторону фронтовой жизни открывает нам автор. Открывает... Но разве мы до этого не знали людей, о которых рассказано в его произведении, тех «немногих, которым обязаны многие»? Военная литература не обходила их, работников контрразведки, и раньше, но чаще всего показывала бледно, схематично, а то и неверно. Причины тому были разные, и далеко не последняя — поверхностное представление о деятельности этого рода службы на войне. Приблизительно такое же, как у одного из персонажей романа, работника городской комендатуры Никитина. («— Вы откуда? — выходя за Андреем из кабинета, громко зевая и подтягивая штаны, спросил Никитин.— Из контрразведки... Все в шпионов играет...»). И вот за тему берется писатель, знающий ее, понимающий государственное значение работы своих героев, и совершает настоящее открытие. Его «В августе сорок четвертого...» как нельзя лучше подтверждает, что в искусстве беспочвенны споры, что лучше — «роман-событие» или «роман-судьба»: нет события без судьбы, как и судьбы без события. Жизненные обстоятельства «Августа...» создают реальную основу для раскрытия человеческих душ, жизненных путей.

Критика, много писавшая о произведении В. Богомолова, была единодушна в том, что созданные автором характеры многомерны, объемны, что писатель безусловно знает душу своего героя. Однако при этом как-то оставалось вне внимания, что раскрыты характеры почти исключительно через профессию героев. Многомерными и сложными характеры (Алехина, Таманцева, Блинова), помимо всего, делает влюбленность героев в свою работу, опасно-романтическую, глубоко необходимую для нашей общей победы над фашизмом.

Мысль, навеянная этим романом, может показаться тривиальной, но в ней истина: необходимым условием реалистического углубления в действительность поры военной является глубокое знание художником жизни, влюбленность в героя.

Эпопея... Все чаще теперь встречаешь это слово в дискуссиях о литературе, посвященной Великой Отечественной, в статьях критиков. И это понятно: литература стремится к синтезу, а полнее всего можно достичь синтеза именно в романе-эпопее,

жанре, предоставляющем художнику наибольшие возможности для постижения действительности во всем богатстве и множественности аспектов — военных, исторических, нравственных, политических, философских. Но только возможности. Для создания эпопей необходимо быть с веком наравне — обладать широким теоретическим кругозором, разносторонними знаниями, эрудицией, даром исторического мышления.

Наша военная литература, проделав немалый путь развития, вышла на рубежи эпопей и дерзает в завоевании этой высоты. Трилогия К. Симонова «Живые и мертвые», пятитомный роман «Блокада» А. Чаковского, первые книги больших полотен других авторов позволяют говорить о ней уже не в будущем времени, а как о реальности сегодняшнего дня. Достижений, правда, пока еще мало, и можно понять сетования Ф. Кузнецова, утверждающего, что «у нашего эпоса долг перед темой войны существует и сегодня». Но начало, однако, положено.

Трилогию «Живые и мертвые» К. Симонов писал около пятнадцати лет (первые главы романа были опубликованы в 1959 году), корректируя и уточняя замысел и толкование событий произведения тем новым, чем обогащало народ, а значит, и художника время. «Когда я наталкиваюсь в истории на факты, противоречащие каким-то моим первоначальным концепциям,— говорил автор в одном своем интервью о работе над романом,— я думаю, что с этими фактами надо считаться. Да и такой закостенелой концепции, при которой история ставит меня в тупик, у меня не было. Потому что, видимо, общий замысел трилогии не входил в противоречие с реальным ходом истории».

«Живые и мертвые» написаны в соответствии с требованиями эпического жанра, по его живым законам, а не по догматическим канонам, с которыми кое-кто из критиков пытается соотносить отдельные компоненты произведения: это-де соответствует эпопее, это не соответствует. Руководствовался писатель при этом самым большим критерием — исторической правдой. Трилогия «Живые и мертвые» — исследование судьбы народа на крутом повороте истории, когда решалось будущее не только нашего государства, но и всего человечества. Народная судьба в сюжете произведения неотторжима от самой истории.

Действие романа охватывает три года начиная с тревожного и многотрудного лета сорок первого и кончая победным летом сорок четвертого, когда исход войны уже достаточно определился. Каждая из книг трилогии «привязана» к этапным битвам, и в такой «привязке» глубокий смысл. Именно в этапных, переломных битвах наиболее концентрированно, глубоко раскрывались содержание и сущность собственно войны и облик воюющих сторон — их общественный и государственный строй, политика, идеология, мораль, философия...

Судьба народа на такой войне, какой была Великая Отечественная, связана не только с вооруженной борьбой на переднем крае — это и работа в тылу для нужд фронта, и партизанское сопротивление гитлеровцам на оккупированной ими территории... Поэтому роман Симонова протяжен и «на местности» — на многих плацдармах совершается его действие. Окопы переднего края, штабы батальонов, полков, дивизий, фронтов, Ставка Верховного Главнокомандования; Москва и Подмосковье, Ташкент, Сталинград, земля Белоруссии...

В совокупности своей герои трилогии представляют советский народ, ту историческую общность, которая крепла, цементировалась в годы войны, как и до войны и после войны. Их личные судьбы тесно переплетены с судьбой народной. Любимые герои автора — достойные выразители дум и чаяний миллионов, их веры в победу правого дела, решимости бороться до полного разгрома врага. Это прежде всего, конечно же, Серпилин, подлинно народный характер, один из лучших образов военачальника крупного масштаба, созданных советской литературой.

Пафос «Живых и мертвых» — в героическом, главенствующая мысль произведения — почему и как мы победили. Раскрыть истоки нашей победы, раскрыть ее рождение — вот главная цель автора трилогии. Эту цель он преследует и в первой книге романа, пусть большую часть страниц ее и занимает повествование о начальном, неудачно сложившемся для нас периоде войны.

Интеллектуальная насыщенность романа проявляет себя в разных формах: в диалогах и внутренних монологах героев, в публицистической обнаженности их суждений, в монологах самого автора. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что мысль в романе является одним из его главных

героев, на нее возложена писателем огромная роль.

Я не склонен выдавать трилогию «Живые и мертвые» за эталон эпопеи о Великой Отечественной. Но бесспорно, что писатели, дерзающие в этом крупном жанре, будут непременно учитывать художественный опыт Симонова. Да, в сущности, уже и учитывают.

Думаю, что, отталкиваясь в известной мере от опыта К. Симонова, создавал свой панорамный роман «Блокада» А. Чаковский, хотя по некоторым жанровым особенностям «Блокада» существенно отличается от симоновского произведения.

Главная отличительная особенность состоит в том, что роман Чаковского написан на документальной основе. Посвященный героическому подвигу Ленинграда, он и в событийной стороне, и в составе действующих лиц, и в их расстановке, во многом зависим от фактической истории обороны города — она ведет роман. Некоторые события тех дней — а их, этих дней, как известно, было девятьсот, многотрудных и грозных, — автор излагает буквально в хронологической последовательности, как это было в самой действительности, как отражено в соответствующих документах. Но считать «Блокаду» на этом основании произведением документальным не придет в голову: цель писателя состояла в том, чтобы романскими средствами раскрыть подвиг человеческого духа, передать то великое и могучее, одолеть чего враг оказался не в состоянии, — нравственную стойкость советских людей в величайшем сражении Великой Отечественной войны.

Сила этой стойкости — стойкость каждого героя. Жизнь давала автору бесчисленное число примеров мужества один ярче другого, и это был для него тот драгоценный строительный материал, из которого лепились характеры героев, людей, верных Родине до последнего вздоха, до последнего удара сердца.

Сочетание в романе документа и вымысла сказало на своеобразии авторской типизации, особенно при создании образов исторических личностей. Здесь художественный вымысел строго контролировался подлинной судьбой того или иного реального лица. И тем не менее не без оснований критика отмечала, что Чаковскому больше удаются подлинные исторические личности, чем герои вымышленные.

Автор ставил своей целью — и достиг ее — показать военный подвиг Ленинграда в движении всей Великой Отечественной войны, вписать легендарную ленинградскую эпопею в широкий контекст мировой истории. Этим следует объяснить авторские «выходы» за пределы собственно ленинградской темы, в частности обращение к нашим довоенным годам в столь крупных, общегосударственных масштабах: показ работы партии по подготовке страны и народа к активной обороне, поездка советской дипломатической миссии в Берлин в 1940 году и др. Все это содействует более глубокому, исторически точному раскрытию действительности той поры.

Реализм и историзм авторской концепции в романе проявляются и в освещении руководящей роли партии, организующей народ на отпор врагу, и в партийном подходе к раскрытию противоречий времени.

Одна из стиливых особенностей романа — публицистичность. Целые страницы произведения носят обнаженно публицистический характер. Публицистичность вообще свойственна творческой манере Чаковского, в данном же случае ее особая концентрированность вызвана остротой полемики, которую ведет автор с теми, кто стремится принизить подвиг Ленинграда в битве с врагом, принизить подвиг всего советского народа в Великой Отечественной. «Мне хотелось быть в этой книге не только летописцем, но и — солдатом», — говорил Чаковский.

Думается, что та военная эпопея, о которой у нас уже давно говорят, спорят, называя ее то советской «Войной и миром», то Главной книгой о войне, будет содержать и добрую долю публицистики. В силу многих обстоятельств, диктуемых и глубиной мысли, для которой вряд ли хватит только образного выражения, и назначением этой мысли — объяснить эпоху, события, человека, и, конечно же, полемикой, которую ведет советская литература, защищая от наших идейных врагов большую правду о великом, непреходящем подвиге народа...

Не стану, однако, пускаться в дальнейшие мечтания о будущей военной эпопее, подчеркну, что к созданию ее писатели придут, основываясь и на опыте уже достигнутого.

Художественная практика стремится воссоздать картину войны на разных ее этапах. Но хотелось бы обратить внимание на то, что литературой освоено еще недостаточно.

Таким слабо освещенным участком, на мой взгляд, является тема освобождения Европы. И пробел этот особенно заметен в свете той ожесточенной идеологической борьбы, что идет вокруг многих проблем второй мировой войны и Великой Отечественной, и прежде всего вокруг проблемы освобождения — она подлинно на самом острие схваток. Широко известный фильм Ю. Озерова, Ю. Бондарева и О. Курганова об избавлении Европы от фашизма явился немалым вкладом нашего киноискусства в утверждение правды гуманистического подвига советского народа в 1945 году.

Конечно, тема освобождения не является белым пятном и на нашей литературной карте. Еще в годы войны и в первые послевоенные годы появились романы и повести — О. Гончара «Знаменосцы», Эм. Казакевича «Весна на Одере» и «Дом на площади», В. Собоко «Залог мира», Н. Чуковский «Последняя командировка», рассказы и очерки Л. Соболева, Б. Полевого, Ю. Яновского и других писателей, — где показана интернациональная сущность советского характера. Написанные по горячим следам событий, произведения эти раскрывали тему больше как непосредственное соприкосновение советского солдата со своим интернациональным долгом, в плане эмоциональном, что ли. Раскрывали, но не давали обобщенной картины освобождения, осмысленной в важнейших аспектах времени — международном, историческом, политическом. Нелепо было бы обвинять писателей в этом: многое они тогда не сказали, потому что не могли сказать — им были известны далеко не все материалы, что известны теперь, не было и того исторического опыта, который позволяет лучше видеть и глубже понимать прошлое, многого еще не было.

В последующие годы военная литература продолжала обращаться к теме освобождения, хотя делала это и не так часто и не столько углубляла ее, сколько расширяла. Произведения, действие которых совершается за рубежом, по звучанию своему порой не выходили за рамки того локального повествования, о котором в критике доброжелательно, не без скидок на материал говорится, что в нем-де «проступают интернациональные мотивы». Более серьезной мыслью о сущности интернационального подвига советских войск проникнут роман А. Медникова «Открытый счет», но добрые художнические намерения здесь осуществ-

вились лишь в малой степени. Чувство причастности героев к великим делам Истории, когда соотносишь роман с тем, что было в действительности, с теми великими событиями, что вершила армия-освободительница, доносится слабо. Обойдены или почти обойдены герои многих произведений прозорливостью видения (конечно, в рамках реальности!) послевоенных судеб народов тех европейских стран, которые в мирное время избрали для себя социалистический путь.

Если обобщить сказанное, то характеру героя-освободителя, и больше всего в произведениях, что выходили в недавние годы, недостает глубины, масштабности, монументальности. Монументальности воина, что стоит изваянным из бронзы на возвышенности Трептов-парка, держа в одной руке меч, рассекающий поверженную свастику, а на другой спасенного ребенка.

А тема Германии? Страна Советов, идя к логову врага, на Берлин, громя это гнездо гитлеризма, уже принимала на себя большую долю ответственности за будущее германской нации, за разрешение ее трагедии отнюдь не в трагической обреченности. Подлинно социалистический, самый человеческий гуманизм! Вот где поле для глубоких раздумий... И еще: заключительный этап войны — блистательная демонстрация нашей военной силы, экономической мощи, превосходства социалистической идеологии, нашего государственного и общественного строя...

Но я уже выхожу за пределы темы в область мечтаний и потому ставлю на этом точку.

Тему освобождения военная литература будет осваивать в разных жанрах, но наибольшего идейно-художественного результата следует ждать скорее всего от эпопеи. Сложная донельзя действительность завершающего этапа войны требует для своего постижения и выражения этой емкой, синтетической формы.

О Великой Отечественной войне у нас создана большая литература, и я в своих заметках пытался показать лишь контуры ее развития за четыре военных года и тридцать послевоенных лет.

Наша военная литература давно перешагнула границы своей страны и вошла в духовную жизнь прогрессивного человечества всего земного шара. В сознании лю-

дей мира она утвердилась и не перестает утверждать себя своим благородным гуманистическим пафосом. Военная, она борется за мир. Парадокс? Нисколько. А если и парадокс, то один из тех, в которых диалектически снимаются самые крупные противоречия истории. Ни один из тысячи героев-воинов, созданных советскими писателями, не выражает ни одной милитаристской мысли, не произносит ни одного «завоевательского» слова.

Утверждение человека и высокой человечности — вот та несравненная цель, что движет художниками, не перестающими обращаться к теме Великой Отечественной войны. Вместе с писателями, прошедшими войну, эту тему начинают осваивать и литераторы, которые (например, В. Степанов, автор повести «У Бранденбургских ворот») по возрасту не были, да и не могли быть в тех огневых бурях.

Литература о ратном подвиге народа будет непрестанно пополняться новыми произведениями, в которых герой поры военной будет предстать все новыми и новыми гранями своего характера.

«История шире, богаче любой книжки,

которая пока что написана о войне. И наоборот, именно потому, что история богаче и шире всего того, что мы пока написали, это внушает мне оптимистический взгляд на нашу литературу, которая, без сомнений, еще многое скажет такого, чего мы не сказали — не сумели, не решились или просто не были к этому готовы нравственно, интеллектуально, психологически...» Слова эти принадлежат К. Симонову. Но кажется, что они сказаны от имени всех. И я хочу закончить свои заметки тем, чем их начал.

Время отсчитало тридцать лет с того дня, как фашистская Германия была вынуждена подписать акт о безоговорочной капитуляции в развязанной ею грабительской войне. Три эти десятилетия для советского народа были наполнены делами величайшего исторического значения и внутри страны и на международной арене. Но они не притушили яркости подвига, совершенного советскими людьми в сороковые огневые, не отодвинули его в далекую историю.

Таким этот ратный подвиг народа остается и для нашей литературы. Тема Великой Отечественной войны — немеркнущая, вечная тема.



Слово о Шолохове

СЕРГЕЙ САРТАКОВ



МОГУЧАЯ И ВОЛШЕБНАЯ СИЛА

О словах сказано немало вдохновенно-изумленных слов. В специальных науках. И в простом, обыкновенном житье-бытье. Но тайна слова так и не разгадана. Да и не может она быть разгадана, потому что слово — Жизнь, и, как жизнь человека, слово с ней изначально.

Не тщусь я здесь размышлять о природе слова вообще. И даже о природе слова, образующего то, что мы именуем художественной литературой, ибо это уже океан. Сколько есть в мире оттенков любого цвета, все они есть и в океане. И плещется, бьет в берега океан разной волной. То ленивой, ласковой, лишь слегка пошевеливая мелкие песчинки, то волной яростной, штормовой, грозным накатом своим разбивающей камень. Есть в океане глубины пляжные, для забавы и отдыха, и глубины для свободной, трудной работы сколь угодно больших кораблей. Пустынные, унылые отмели и радующие взгляд коралловые острова; заливы, перепуганные длинными водорослями, и окованные нетающим льдом безмолвные белые просторы — все это есть в океане. И есть еще бесчисленные реки, впадающие в него, несущие к нему тепло материка, тепло земли, на которой они образовались и теплом которой жив человек. Реки, реки: и Волга, и Енисей, и Дон...

Тихий Дон...

Эти два слова впервые вошли в мое сознание — еще не писателя, а читателя, — вошли как самое повседневное, простое и в то же время как нечто необычное. Именно с этих двух слов, нечаянно услышанных в чужом разговоре: «Ты читал «Тихий Дон»? Вот силаща!» — открылся для меня Шолохов. И здесь мои размышления только о тайной, волшебной силе плотно сжатого

и оттого горячего и яркого шолоховского слова.

Тихий Дон... Я безотчетно повторял эти слова, повторял, наслаждаясь их музыкой, подобной слабому шелесту воды, струящейся в камышах. Потом они вдруг обрели иное звучание. «Дон, дон, дон!» — походило на удары набатного колокола, будя в душе ощущение неясной тревоги, точно бы слово «тихий» вступало в жестокое противоречие со словом «Дон». Между ними согласия уже не было. Непримируемая борьба. Странное чувство, странное ощущение, вызванное уже одним названием книги.

Тогда я жил еще среди дикой, первозданной сибирской тайги, добывая ружьем охотника хлеб насущный, и хотя со школьных лет знал по учебникам географии, что Дон — обжитая, степная и не так-то большая река, во всяком случае не в пример богатырям Оби, Енисею, Лене или Амуру, шолоховский «тихий Дон» мне мысленно предстал почему-то и необъятно широким. Не сама река, разумеется, а то, что ожидает читателя, раскрывшего книгу под этим названием. Пытался внутренне сопротивляться, одержимый чувством местнической, таежной ревности — ну как это «Дону» оказаться широким! — и тут же, едва углубившись в чтение начальных глав романа, подчинился автору.

Довелось мне, как и всем читателям в ту пору, прочесть подряд только первые две книги «Тихого Дона». Но и последующие книги, и «Поднятая целина», и все остальное, написанное Шолоховым, впоследствии ничуть не изменило первых моих впечатлений. И если я все время возвращаюсь мыслью к «Тихому Дону», так только потому, что здесь для меня по-особому свя-

ваются воедино роман и его автор. Я написал: мне довелось прочесть... Прочесть ли? А может быть, скорее увидеть воочию на испещренных печатными знаками листах бумаги живых людей? Увидеть все те политые и потом, и слезами, и кровью пути-дороги, по которым эти люди стронулись со своих родных мест, чтобы, кто осознанно, кто неосознанно, в огне классовых битв творить историю нашего, Нового Времени.

Григорий Мелехов, Акси́нья, Степан Астахов, Наталья, Михаил Кошевой, Дунышка, Дарья...— да разве всех перечислить? И к чему? Всяк прочитавший роман накрепко их запомнил. Так же, как запомнил теплый, духмяный вечер, и ливень, и грозовую ночь на рыбалке, навсегда соединившую Григория с Акси́нией; запомнил и горькое отцовство Григория, пришедшее к нему в тележном грохоте бешеной скачки к дому и в тяжких муках оплывающей кровью Акси́нии; запомнил и замах шашки Григория, перед тем как ей опуститься на голову бегущего австрийца, замах, с которого в войнах надолго обезжалостилось к людям сердце Григория; запомнил и страшную гибель Кривошлыкова и Подтелкова; и... да разве все перечислить? И к чему засушенно пересказывать с пятого на десятое живое, неохватное взгляду течение «тихого Дона» в романе?

Не о том, что в романе содержится, эти мои строки, и даже не о том, как он написан, а о том, как он читается, о том, как обыкновенное слово в нем, выстроясь в ряд с такими же обыкновенными словами, вдруг непонятно когда превращается в многоцветный зрительный образ, стучится тебе в висок тонкими ударами встревоженной крови, и тишину твоей комнаты заполняют поначалу далекие, а потом все настойчивее подступающие к тебе голоса. Миг — и ты сам становишься участником событий, скрытая воля писателя диктует тебе твое поведение. Вот ты стремишься схватить за руку Наталью в тот час, когда она бесхитростно и несмело впервые взглянула на Григория, прочла себя ему в невесты, схватить и вскрикнуть: «Откажись! Не сложится твое с ним счастье!» А вот, зверя, как сам Григорий, ты готов занести

свистящий кнут над головой Евгения Листницкого и рубануть с потягом, хотя и знаешь — такая кара здесь еще мала. А вот...

Но, может быть, все это очень лично, субъективно, а в чем-то и преувеличено? — твое вхождение в чужую жизнь, в жизнь всего-навсего литературных героев. Возможно, так. Но разве образное преувеличение мельчит вскипающие страсти, преувеличение, которого ты сам не замечаешь, поскольку мера и твоим страстям и страстям литературных героев одина! А личное... Плохо, когда писателем пишется книга не как глубоко личное, только твое, выстраданное тобою, только твоею, писателя, обжигающее душу, но обращенное ко всем. И плохо, когда читается эта книга всеми, а остается непонятым то, что властно водило пером писателя и не перешло к читателю в личное. Не стесняюсь сказать: читая Шолохова, ему, силе его слов безропотно покоряюсь. Нет, не слепо, в чем-то и спора с ним. Но это спор не о словах, говорил я уже, что при чтении слов шолоховских я не замечаю, они подобны пронизывающим нас со всех направлений невидимым радиоволнам, а между тем несущим мысль и музыку, — я спорю о самой жизни. Я не хочу, чтобы умирала Акси́нья, безвинно срезанная продотрядовской пулей; я не хочу, чтобы злой рок кидал Григория то к красным, то к белым; я не хочу, чтобы конец романа, а значит, и судьба Григория определялись трагедийным: «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром»... Спорю, отлично зная, что эта жестокая правда — точное изображение действительности той эпохи. Спорю уже не с писателем Шолоховым, а вернее — с собственным сердцем своим.

Почему?

Потому что это все мое, глубоко личное. Да, личное. Однако пришедшее ко мне откуда? — из тех же шолоховских слов. Тех необыкновенных и простых его слов, волшебная сила и тайна которых, пусть для меня только, останется никогда не разгаданной.

МИРЗО ТУРСУН-ЗАДЕ



ЗАВИДНАЯ СУДЬБА

Жогда я думаю о М. А. Шолохове, мне кажется, что он вырос на таджикской земле. И бурный Вахш, рожденный ледниками Памира, будто нашептывает мне об этом. И в торжественном величии вековых чинар я нахожу подтверждение своей мысли. И я уже не помню, когда она впервые пришла ко мне.

Возможно, это было в начале 30-х годов. Тогда, мобилизованный Ленинским Союзом Молодежи, я принимал активное участие в создании первых колхозов в Вахшской долине и одновременно был уполномоченным по обмену комсомольских билетов.

Трудное было время. Только что завершилась провалом авантюра Ибрагим-бека, но басмачество в Средней Азии еще не было окончательно ликвидировано и отдельные банды продолжали грабить мирные кишлаки. Между тем республика развертывала социалистическое строительство и одной из главных задач была борьба за коллективизацию.

Я был на юге республики, в Сарай-Камаре (ныне Пянджский район), где бурно всходили ростки новой жизни. В борьбе за эту жизнь мы каждый день теряли своих товарищей.

Тогда мне впервые попала в руки первая книга «Тихого Дона». Помню, как я зачитывался ею, и песчаное безбрежье вокруг казалось мне донской степью, а вахшские пороги — стремниной, где озорной Гришка Мелехов поджидал красавицу Аксинью. В судьбе Мелехова как в капле воды отражалась судьба моих земляков. В эти бурные годы первых лет революции в их сознании происходила огромная ломка. Под влиянием антисоветской пропаганды и религиозного дурмана они еще не решались окончательно порвать с басмачеством, но все сильнее колебались, а наша задача была открыть им глаза примером первых колхозов — всем образом новой жизни, которую принесли в наш край русские коммунисты.

С тех пор я много раз перечитывал Шолохова. И всякий раз меня поражало, как близко к сердцу принимал он радость и горе окружающих людей, как тонко

разбирался в их психологии, понимал мечты и надежды.

Великая правда жизни, которую художник силой своего могучего таланта заставлял сверкать всеми гранями, воспринималась мною как нечто личное, не только шолоховское, но и мое. Отсюда крепнущее чувство, что М. Шолохов — сын таджикской земли.

В 1934 году был осуществлен перевод на таджикский язык первой книги «Поднятой целины». Тираж ее разошелся мгновенно, и вскоре она была переиздана. Роман властно вторгся не только в душу читателей, но внес новое в творческую мастерскую писателей народов СССР. Почти в каждой из этих литератур появились свои значительные произведения о коренных переменах в сельском хозяйстве. Разумеется, это были не подражательские романы и повести. «Поднятая целина» вдохновила многих литераторов братских республик на создание ярких, самобытных произведений на темы современности. В таджикской литературе появился роман Дж. Икрами «Шоди», в котором автор разворачивает широкую панораму новой колхозной деревни, создает запоминающиеся образы активных участников колхозного строительства в республике. Несомненно, что образцом, избранным для себя автором, была «Поднятая целина».

Затем свои Давыдовы — активные борцы за новую жизнь появились в других произведениях таджикской советской литературы, например в романе Р. Джалила «Пулат и Гульру».

С. Айни неоднократно подчеркивал, что считает своим учителем М. Горького. Для Р. Джалила таким устом (мастером) прежде всего стал М. Шолохов, с которым Р. Джалил вот уже много лет переписывается.

Я не прозаяк. Но влияние многогранного шолоховского гения ощущаю постоянно. И потому в известной степени считаю его своим учителем.

Как художник я все время чувствую огромную ответственность не только перед читателем, но и перед такими великими ма-

стерами слова, как М. Горький, В. Маяковский, С. Айни, С. Есенин, А. Твардовский, М. Шолохов. И, заканчивая новое произведение, я будто держу перед каждым из них экзамен.

С М. А. Шолоховым я изредко встречаюсь то на сессии Верховного Совета СССР, то на писательских форумах. Каждая такая встреча становилась событием, потому что даже мгновение, проведенное с таким большим мастером, оставляет глубокий след в памяти.

Вспоминаю 1949 год. Делегация советских писателей во главе с Н. С. Тихоновым выезжала в Пакистан. А. Софронов получил от М. Шолохова телеграмму с просьбой купить для него кашмирский охотничий нож. Разумеется, мы нашли этот знаменитый нож, и хотя я не охотник, однако не раздумывая купил такой же, в тот миг словно прикоснувшись к широкой, как казахские степи, душе Михаила Александровича...

Нужно сказать, что по роду своей деятельности в советском Комитете солидарности стран Азии и Африки мне часто приходится бывать на зарубежном Востоке. Здесь у меня есть много друзей. Один из них — известный индийский писатель Мулк Радж Ананд. Во время нашей последней беседы он рассказывал о М. А. Шолохове, на шестидесятилетнем юбилее которого в Москве ему посчастливилось быть.

— «Тихий Дон» — великая книга, распахнувшая душу донского казака. Так еще

понятней и ближе стал мне русский человек. В своих книгах мы должны столь же доверительно раскрывать миру душу народов Востока.

Эта мысль Мулк Радж Ананда не была новой. Конечно, я помнил его письмо, отправленное в Вешенскую несколько лет тому назад. Но мне было приятно, что он не переставал об этом думать...

Я с волнением стоял на берегу Джамны. Восхищался Тадж-Махалом... И, конечно, торопился в Калькутту поклониться небольшому глиняному домику, в котором жил и творил великий писатель Востока Р. Тагор. И здесь, далеко от родины, я вновь думал о своих учителях, перед которыми держал экзамен. Р. Тагор тоже был одним из моих учителей, как для индийского писателя Мулк Радж Ананда учителем стал М. А. Шолохов.

Завидна судьба шолоховских книг. Таджикгосиздат в настоящее время приступает к изданию полного собрания сочинений писателя. В нашей стране заоблачных гор давно уже читают на родном языке «Тихий Дон» и «Поднятую целину», «Донские рассказы» и «Науку ненависти», «Судьбу человека» и «Они сражались за Родину». Почти каждый год шолоховские книги на таджикском языке выходят в свет.

Я думаю, какое это большое счастье для моего народа. И еще я думаю, что это одно из солнц, зажженных над древней таджикской землей Великим Октябрем.

АЛИМ КЕШОКОВ



ПРИМЕР ВЕЛИКОГО МАСТЕРА

Втром одна из норвежских газет вышла с портретом Михаила Шолохова на всю первую полосу. Над портретом крупными буквами слова: «Весь мир ждет новых его произведений». В это утро писатель приезжал в Осло, и меня в советском посольстве спросили, поеду ли я на вокзал встречать дорогого гостя. Естественно, я не мог пропустить случая встретиться с Михаилом Александровичем.

На вокзале встречающих оказалось куда больше, чем можно было ожидать. Помимо

норвежских писателей и прессы, здесь были учителя и нарядно одетые пионеры из школы советской колонии, приехавшие с букетами осенних цветов. Классика советской литературы на норвежской земле встречали торжественно и сердечно. В этом я видел выражение благодарности читателей разных стран писателю, создавшему бессмертные образы, которые шествуют по всей земле, не признавая расовых, языковых и государственных границ.

Я подумал: а каким волнующим событи-

ем, вдохновляющим праздником становится всякий раз встреча М. Шолохова с художниками, представителями литератур, для возмужания которых сыграли такую благотворную роль не только образы, высеченные рукой великого мастера, но и личный пример неутомимого и самоотверженного первопроходца. Это художник, умеющий прокладывать глубокие борозды, делать широкие философские обобщения, когда литературные образы, казалось характерные для определенной местности, обретают межнациональные черты и служат основой для возникновения целой плеяды новых образов, таких же жизненных и правдивых, как и шолоховские, но имеющих другую языковую «прописку».

Выход книг М. Шолохова стал вехой в развитии национальных литератур, возникших в советскую эпоху. На обложке первой книги «Тихого Дона» дата — 1928 год. Первый год первой пятилетки. В национальных республиках и областях Северного Кавказа был брошен вызов вековой темноте и безграмотности. Школьники днем учились в школе, а вечерами шли в дома и ликбезы, чтобы учить грамоте своих родителей, делать в их руках простой карандаш таким же покорным и послушным, как топор или коса. В этот период пробужденные народы, потянувшиеся к свету, поднимали неслыханную целину своих судеб, впервые встретились со словом «писатель», взяли в руки книжки на родном языке.

Люди еще не были достаточно грамотны, чтобы читать роман М. Шолохова, но те, кто первым принимался за художественные произведения, став основоположниками своей национальной литературы, вдохновлялись примером первопроходца, каким был М. Шолохов, старались следовать его примеру и создавать книги глубоко правдивые, большого эмоционального накала, и, может быть, в этом одна из причин того, что молодые литературы за десятилетия прошли такой путь, на который бы в иных социальных условиях потребовалось бы не одно столетие.

Третья книга «Тихого Дона» почти одновременно с «Поднятой целиной» вышла в 1932—1933 годах. Это был период решительных изменений в деревне, стремительного развития всех сфер человеческой деятельности, когда бурные события выносили на поверхность исторических волн неисчерпаемый материал, который обогащал литературу.

Писатели национальных республик и областей, видя, как смело и решительно вторгается в гущу событий Шолохов, брались за актуальнейшие темы. Может быть, не всегда они справлялись с ними, но художественное слово на их языках впервые обрело значение острого оружия в непримиримых схватках с врагом.

Художническая смелость, принципиальность, когда писатель не боится, «как бы чего не вышло», верность традициям русских классиков, умение находить и вскрывать глубинные социальные процессы, создавать из целинных глыб живые образы, отсекая лишь то, что верное чутье мастера не приемлет, — в этом всечеловеческое значение творческого опыта Михаила Шолохова, эти стороны его таланта помогли национальным литературам быстро набирать силы и возмужать.

Обычно большие таланты появляются, впитывая в себя опыт великих предшественников, ибо уровень художественного мышления данной эпохи в немалой степени зависит от уровня художественного мышления предыдущей эпохи. Но как объяснить парадокс, когда литературы, возникшие полстолетия назад, дали имена, вставшие вровень с именами представителей многовековых литератур? На чем выросли писатели и поэты, создавшие произведения большого звучания, если в их родном языке, их фольклоре не было таких традиций? Споры нет, они впитывают опыт великих представителей многовековых литератур и опираются на богатейшее мастерство таких гигантов художественного мышления, каким является Михаил Шолохов. Потому-то на каждом языке в нашей стране Михаила Александровича именуют хорошим и емким словом «учитель».

В советской литературе Шолохов выдвигается как одна из высоких горных вершин, которую ни облака не могут закрыть, ни дали, ни солнце. Его опыт сказывается и в тех случаях, когда создаются произведения, казалось бы, необычные, выходящие за рамки традиций. Такие явления в национальных литературах возникли в более позднее время, но встречаются чаще и чаще.

Иному писателю в этом случае хочется, чтобы книга его отвечала вкусам и пониманию каждого читателя, особенно когда речь идет о глубоких обобщениях, затрагивающих национальное самолюбие. Встречаются и такие, которые, идя по линии наименьшего сопротивления, стараются погрязнуть не-

зрелым вкусам, пощекотать национальное самолюбие... Для национальных писателей, которым удается создать подлинно «необычные» книги, шолоховская мужественность и верность художественной правде становятся источником уверенности в своих силах, без которого невозможно работать по большому счету.

В свое время и на Шолохова обрушивалось немало грозных волн субъективистской критики, пытавшейся поставить «Тихий Дон» вне советской литературы, вне социалистического реализма. Твердили о различных «измах» (вроде «объективизма», «биологизма» и т. д.). Время отбросило все

эти наветы! Эпохальное произведение осталось книгой, в которой для читателя воплотилась сама мудрость и сила народная.

Перечитывая роман-эпопею, ты видишь, какой сложной была задача писателя, когда он брался за материал действительно взрывной силы и социальной остроты, когда он задавался целью изобразить судьбы традиционного казачества и революции. Создавая «Тихий Дон», Шолохов поднялся до неслыханной художественной мощи и выразительности, совершил великий творческий подвиг, за который его благодарят народы и будут благодарны все поколения. Это и есть пример великого мастера.

Л. ЯКИМЕНКО



МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА М. А. ШОЛОХОВА

Вже после опубликования в 1928 году первых двух томов «Тихого Дона» к Шолохову пришла мировая известность. С того времени книги его выдержали многочисленные издания, о творчестве его появляются многочисленные критические статьи, монографии. Присуждена Нобелевская премия в 1965 году. Все это говорит о той исключительной популярности, о том значении, которое приобретали книги Шолохова в самых различных частях земного шара.

Но известность писателя еще не определяет его значения в духовной жизни человечества, в развитии культуры и искусства, сколь бы она широкой ни была. Когда мы говорим о мировом значении писателя, то, очевидно, подразумеваем при этом тот вклад, который он внес в развитие литературы и искусства.

Неоднократно возникало в литературной критике понятие «шолоховская школа». А. Твардовский в речи на III съезде писателей СССР сказал: «Шолохов не только нам дал свой «Тихий Дон» и другие произведения. Он, между прочим, не гадая о том специально, создал целую плеяду видных советских прозаиков. Пусть они уступают ему в таланте, зависимы от него, идут в его кильватере, но они неизмеримо расширили площадь действительности, осваиваемой нашей советской литературой...»

Об учебе у Шолохова говорят многие советские и зарубежные писатели. Развитие и становление эпических жанров во многих национальных литературах СССР происходит под прямым воздействием художественного опыта Шолохова.

За последние годы предприняты определенные усилия для того, чтобы осмыслить вклад М. А. Шолохова в развитие мировой литературы. Намечались разные подходы. Одни пытались определить мировое значение творчества Шолохова, приводя многочисленные отклики на его произведения, данные о тиражах его книг и т. д. Другой путь был связан с попытками установления тех особого рода отношений, которые складываются между творческой практикой широкоизвестных писателей, сопоставленных по принципу значимости их в литературном движении XX века. Ставились темы «Шолохов и Фолкнер», «Шолохов и Хемингуэй»... Такого рода исследования полезны, в них было стремление сопоставить и сравнить, чтобы отчетливее выступило значение и своеобразие каждого писателя в отдельности.

Интересный материал дают исследования, проведенные во многих странах социалистического содружества, те работы, в которых было показано «бытование» произведений Шолохова в народе, влияние его творчества на развитие отдельных литератур, на фор-

мирование эстетических представлений самых широких читательских кругов.

В работах З. Баранского (Польша), М. Бабовича, В. Вулетица, Ф. Филиповича, Б. Касановича (Югославия), М. Заградки (Чехословакия), Хр. Дудевски, И. Цонева, С. Русакиева (Болгария), Хельги Конрад, Г. Дудека, Г. Юнгера, В. Байца, Г. Варма (ГДР) и ряда других были затронуты многие важные проблемы современного прочтения произведений М. А. Шолохова.

Невозможно согласиться с попытками определить «модерность» Шолохова, его вклад в художественные искания XX века, сопоставляя и находя якобы сходные мотивы в творчестве Шолохова и в произведениях таких писателей, как Кафка, Марсель Пруст и Джойс. Общее видят в концепции человека, в понимании человеческого бытия как якобы извечной трагедии, присущей всем временам и всем общественным формациям.

Так, чехословацкий исследователь И. Франек в своей работе «О поэтике М. А. Шолохова», анализируя финалы произведений Шолохова, приходил к выводу о пессимизме, которым проникнуто-де творчество Шолохова. По мнению И. Франека, Шолохов приходит к выводу о невозможности утвердить добро и справедливость в окружающем мире. Сравнивая первую и вторую книги «Поднятой целины», этот ученый утверждал, что финалу романа свойственна та же «меланхолическая скорбь, которая окутывает словно бы серым покрывалом всю вторую часть, пессимистический вариант прежде оптимистически-трагедийного содержания творчества Шолохова»¹.

М. Бабович, автор ряда работ о творчестве Шолохова, считает, что оптимизм в «Тихом Доне» присутствует лишь как сознание далекой исторической цели: «Оптимизм в романе бесспорно присутствует, но он исходит единственно из победы великой революции. И то лишь в конечном счете, в будущем»².

Подобного рода концепции проявляются в той или иной форме и в некоторых работах советских исследователей творчества М. А. Шолохова. Не учитывается при этом историческое своеобразие тех событий, ко-

торые определили неповторимый облик социалистического строительства в нашей стране.

Конфликты, рожденные революционной борьбой советского народа, не могут быть прямо отождествлены с теми конфликтами, которые определяют во многом бытие человека в капиталистическом обществе. Шолохов открывал новый мир, в котором были и трагедии, и страдания, и преодоление их, но этот мир возникал и жил по новым законам, он рождал принципиально иные отношения между людьми. Сила Шолохова как раз и заключалась в том, что он смог увидеть новизну этого мира в его озарениях, в его надеждах, и его осуществлениях.

Английский писатель Джеймс Олдридж, отвечая на вопросы «Литературной газеты», не случайно выделил именно эту сторону новаторства Шолохова: «Я испытываю чувство огромной благодарности к Михаилу Шолохову. Когда в 1938 году я прочитал «Тихий Дон» — мне было тогда двадцать лет, — то впервые по-настоящему понял суть проблем, стоящих перед молодым Советским государством... Главная заслуга Шолохова заключается, на мой взгляд, в том, что он открыл для миллионов людей на нашей планете окно в незнакомый и необыкновенный мир — жизнь Советской страны во всем ее богатстве и многообразии»³.

Попытки определить новаторство Шолохова в трактовке извечных проблем человеческого бытия — жизни, смерти, человечности, справедливости, совести — могут привести к плодотворному результату в том случае, если будет верно найдено то новое, что вносил Шолохов в сокровищницу мирового искусства.

Шолохов — великий продолжатель традиций русской и мировой литературы. Не надо бояться этих слов, не надо искать оригинальность писателя, противопоставляя его предшественникам или современникам. Такой путь не плодотворен. Шолохов как раз один из тех писателей, в творчестве которых традиция и преемственность выступают в неразрывном единстве с оригинальностью художественного видения мира, с новизной и необычайностью художественных средств и приемов.

Шолохов открыл нам мир революции, мир социалистического строительства, и только благодаря этому глубокому прочтению «книги жизни» он по-новому открыл

¹ „Michail Scholochow. Werk und Wirkung“ Leipzig, Karl-Marx Universität, 1966, S. 50.

² М. Бабович. Тихий Дон — роман-трагедия. Стверегос, госопис. Титоград. «За книжность и культуру». 1966, стр. 205.

³ «Литературная газета», 1 января с. г.

нам Человека в его дерзаниях, осуществлени-
ниях, в его победах и поражениях.

Эпос Шолохова грандиозен потому, что открывает человека и время в поразительном богатстве жизненных связей. Любовь к труду, нетленная красота материнского чувства, женская страсть и верность в любви, отцовская гордость, извечное человеческое стремление к счастью, радость и страдание — вся полнота и разнообразие человеческих чувств, которыми живут герои Шолохова. Вместе с тем жгучие вопросы огромной общественной значимости: о характере связей отдельной человеческой личности с историческими судьбами народа, об исторической необходимости и свободе выбора, об исторических обстоятельствах, определяющих трагические конфликты, драматические исходы. Все это — в своей органической слитности и единстве — и придает эпосу Шолохова тот всеобъемлющий характер, который выделяет его в искусство XX века.

Шолохов — один из тех писателей XX века, которые осознанно стремятся к осуществлению определенных целей. Если Марсель Пруст попытался сначала изучить законы творчества, чтобы не творить бессознательно, то Шолохов с самых первых своих шагов в искусстве отчетливо сформулировал для себя цель творчества. Его концепция искусства противостоит декадентским теориям, которые пытаются утвердить главенствующее значение индивидуальности как таковой.

Клим Самгин, герой эпопеи Горького «Жизнь Клима Самгина», стремясь уйти от непримиримых классовых противоречий, утверждал в канун русской революции: «Социальные вопросы ничтожны рядом с трагедией индивидуального бытия».

Эти слова довольно точно выражают подход многих писателей-декадентов к изображению жизни. Человек изымается из конкретной исторической среды, он — в себе, в своих чувствах и переживаниях, в катастрофической неустойчивости своего «я» пытается найти объяснение судеб мира.

Для Шолохова искусство — могучий инструмент познания действительности и человека. Для него искусство сознательно по своим целям. Он видит силу искусства в неразрывной связи с народными судьбами и стремлениями. Многократно в своих выступлениях он говорил о служении интересам народа. На пресс-конференции для зарубежных журналистов, состоявшейся в Ростове-на-Дону в 1966 году, Шолохов так

ответил на вопрос об ответственности писателя перед обществом: «Писатель должен способствовать торжеству благородных принципов в общественной жизни». Его тут же спросили: «Перед кем больше ответствен писатель — перед искусством или перед обществом?» Шолохов сказал: «Перед обществом. Искусство тоже служит обществу»⁴.

Понимание высокой роли и назначения искусства было душой русского реализма. Недаром Лев Толстой так упорно и так настойчиво говорил о «нравственном отношении» к предмету повествования как о важнейшем условии художественного. Для русской литературы не существовало эстетики вне этики.

Творчество Шолохова вдохновлено верой в искусство, способное благотворно воздействовать на человека и человечество. Речь его во время вручения Нобелевской премии проникнута единой всеобъемлющей идеей искусства, ответственного перед человеком и его будущим.

«Говорить с читателем честно, говорить людям правду — подчас суровую, но всегда мужественную, укреплять в человеческих сердцах веру в будущее, в свою силу, способную построить это будущее. Быть борцом за мир во всем мире и воспитывать своим словом таких борцов повсюду, куда это слово доходит. Объединять людей в их естественном и благородном стремлении к прогрессу. Искусство обладает могучей силой воздействия на ум и сердце человека. Думаю, что художником имеет право называться тот, кто направляет эту силу на созидание прекрасного в душах людей, на благо человечества»⁵.

Такое представление о роли и назначении искусства определяет во многом и взгляд Шолохова на человека и окружающий его мир. Вопрос не в том, «возможен» или «невозможен» Шолохов после таких явлений русской литературы, как Толстой, Чехов, Горький. Его новаторство именно в том, что он продолжал их принципы — принципы реалистического исследования жизни. «Суровый» реализм Шолохова есть продолжение и развитие высоких достижений русского и мирового искусства.

В то же время творчество Шолохова не может быть понято вне связи с творчеством народа. Я не хотел бы здесь приме-

⁴ «Литературная газета», 7 июня 1966 года.

⁵ «Правда», 11 декабря 1965 года.

нять слово «фольклор» или «устное народно-поэтическое творчество», потому что связь Шолохова с народным поэтическим мышлением особая, имеет по-особому глубокий и последовательный характер.

Поставленная в широком контексте развития мирового искусства, проблема художественного мышления писателя помогает нам уловить закономерности развития искусства. И вот если говорить о творчестве Шолохова, то своеобразие его в том, что он не только продолжал, развивал, обогащал традиции реалистического искусства, но и в том, что он дал новую силу этому искусству, зачерпнув так щедро, так богато, так плодотворно из истоков народного, первозданно-поэтического. В его творчестве народ не просто «объект» познания; он сам внутри этого народа, он с ним, он живет его нуждами, его горем, его радостями и его борьбой.

Толстому надо было «войти» в мир русского крестьянина. Художественный опыт Шолохова исходит из опыта, представленный человека-труженика. Эта новая исходная точка наблюдения и познания определила многое в содержании и характере эпоса Шолохова.

Шолохов черпает свою силу в реальности, понятой в ее историческом существовании, в ее движении. Вещный, предметный мир окружает его героев — мир повседневности, мир жизни и мир поэзии. Огромная жизненная сила произведений Шолохова как раз и проистекает из этого чувства нерасторжимой связи с человеком, с землей, с жизнью. И поэтому такими бездоказательными выглядят попытки истолковать концепцию «жизни» и «смерти» в творчестве Шолохова в ключе, близком к декадентским концепциям человека.

Жизнь в эпосе Шолохова могуча и неостановима. Она не вне человека, она в самом человеке. Люди гибнут, утверждая бесконечность, величие и трагедию красоту бытия. Эпос Шолохова восстанавливает исконные, начальные связи между искусством и жизнью, между искусством и бытием. Эпос древних возник как непосредственное выражение осознанного бытия. Шолохов эпичен в силу того, что историческое бытие и человек в его произведениях — проявление единого вечногворящего потока жизни.

Человек в его произведениях не страдалец, не жертва. Григорий Мелехов — героическая личность, правдоискатель, чело-

век, наделенный поразительной жизненной силой. Он мечтает, ошибается, теряет все, теряет себя. Он вступает в битву с самими обстоятельствами. Трагическое непонимание путей, историческое распутье, на котором он оказался, безнадежное отрицание всего: «Никому больше не хочу служить. Навоевался за свой век предостаточно и уморился душой страшно. Все мне надоело, и революция и контрреволюция», — приводят его к непоправимому разрыву. С миром революции. С миром жизни.

Шолоховские герои как бы приходят в мир для того, чтобы еще раз испытать все человеческие возможности. Искусство всегда пыталось ответить на вопрос о том, что такое человек. Что он может? В чем он бессилен? Шолоховские герои поставлены в такие обстоятельства, которые выявляют в них все возможности человека. Характер Григория Мелехова раскрывается во всей полноте человеческих чувств, в поразительном разнообразии обстоятельств. Драматическая борьба социальных симпатий и антипатий в душе Григория и душевная успокоенность, которую испытывает он в поле, за плугом; не поколебленное годами, разрывом чувство к Аксинье, к «любушке незабудней», и холодность к Наталье, а затем любовь к ней, матери его детей; отцовская привязанность к детям — все это открывает новые и новые черты в характере Мелехова, создает образ, покоряющий правдой и достоверностью. Такая объемность психологического анализа — одна из особо привлекательных сторон художественного мастерства Шолохова. Аксинья, Наталья, Ильична — каждая из них своей судьбой открывает нам такие грани человеческого характера, которые позволяют увидеть многие проявления вечной и нетленной красоты женской страсти, нежности, материнства.

Герои Шолохова выступают в различных обстоятельствах, но всякий раз они дети своего времени, его надежд, его возможностей. Семен Давыдов, Нагульнов, Разметнов, Андрей Соколов — каждый из них несет в себе героические черты. И в этом своем качестве герои Шолохова продолжают эпические традиции мирового искусства, в котором само героическое всегда понималось и всегда было связано с общественным бытием, с бытием мира.

Героическое может родиться только на основе коллективного бытия, осознания ху-

дожником общности личности и социального коллектива. Эпос Шолохова есть эпос социальной действительности, которая возродила в жизни сознание общности и неразрывности судеб.

Эпос Шолохова социален по содержанию, по своей внутренней структуре. В его романах берутся узловые переломные эпохи в жизни русского народа. Революция и гражданская война («Донские рассказы», «Тихий Дон»), время коллективизации («Поднятая целина»), годы Великой Отечественной войны («Они сражались за Родину», «Судьба человека»). Трагические ситуации. Драматические повороты. Сдвинутая жизнь. Оборванные связи. Именно в такие моменты происходит всестороннее испытание исторического бытия народа, его нравственных сил, его возможностей.

Судьба человека в эпосе Шолохова соотносена с историческим бытием народа, обусловлена им. Эта масштабность эпического мышления — коренное свойство таланта Шолохова.

«Роевая жизнь», если воспользоваться словами Л. Толстого, и отдельная судьба, личность — равноценные предметы изображения в его произведениях. Они не противопоставлены друг другу — они соотносены, они объясняют и помогают увидеть закономерное в жизни.

В эпосе Шолохова всегда присутствует цепь причин и следствий. Он мыслит не только социально, но и исторически. Исторические экскурсы, отступления в прошлое в его романах продиктованы стремлением понять и объяснить. Историческую ситуацию. Поведение людей.

А. М. Горький неоднократно говорил о «высоте точки наблюдения» как об одной из качественных особенностей искусства социалистического реализма. Видеть прошлое в настоящем и в настоящем прозревать будущее — такая «высота» исторического видения только и может приводить к пониманию закономерного.

В романах Шолохова всегда присутствует эта глубина «осознанного историзма», эта высота «точки наблюдения»: он видит будущее из настоящего. И вместе с тем в «Тихом Доне» прошлое казачества, предвоенная жизнь объясняет годы революции и гражданской войны, в «Поднятой целине» воспоминания о годах революции объясняют симпатии и антипатии героев, расстановку сил в эпоху коллективизации, недавнее мирное прошлое помогает увидеть

истоки героического в действии персонажей романа «Они сражались за Родину».

В его произведениях человек не песчинка, брошенная в мир для того, чтобы страдать. Созидая и разрушая, радуясь и страдая, терпя горе и лишения, человек ищет пути для понимания бытия. В нем присутствует или рождается, пробуждается чувство исторической ответственности, причастности ко всему, что происходит вокруг.

«Там люди свою и чужую судьбу решают, а я кобылок пасу», — мучается Михаил Кошевой в заброшенной глухой целинной степи, где пасутся косяки лошадей и в небе проплывает вольные облака. «Неправильный у жизни ход, и, может, и я в этом виноватый» — эти слова Григория Мелехова, командира повстанческой дивизии, выражают определенную степень понимания зависимости общего хода жизни от дел и поступков героя.

Такие герои Шолохова, как Семен Давыдов, Макар Нагульнов, Разметнов, Андрей Соколов, немыслимы без осознания своей причастности к общему ходу жизни. Они уверенно и целеустремленно действуют, осознавая характер своего вмешательства в общее течение событий.

Если сузить предмет разговора и попытаться определить специфический вклад Шолохова в мировое искусство по предмету изображения, по объекту изображения, то и здесь его новизна выступает отчетливо и ярко. В романах Шолохова впервые в истории мировой литературы трудовой народ предстал в поразительном богатстве типов и характеров, в такой полноте социальной, нравственной, эмоциональной жизни, которые поставили героев Шолохова в ряды неумирающих образов, созданных гениями мировой культуры.

Можем ли мы, определяя новаторский характер концепции человека в творчестве Шолохова, его представления о жизни и смерти, забыть о мощной поэзии труда, трудовых усилий? Труд в концепции Шолохова не только условие жизни общества и человека, он — условие нравственной и духовной красоты его героев. Труд для героев Шолохова — величайшая ценность жизни.

Лев Толстой в романе «Воскресение» говорил о «настоящей трудовой и человеческой жизни». Это всеобъемлющий этический принцип понимания и оценки бытия. Связь и этическая обусловленность этих элементов — настоящая трудовая, и

только при таком условии человека; это есть, безусловно, важнейший момент познания человека, выработанный русским искусством на основе познания своего народа.

Шолохов не просто продолжатель традиций Толстого. Он продолжатель нравственных традиций русской культуры, исканий русской художественной мысли, которая выстрадала понимание народа как силы, определяющей судьбы и внутреннюю духовную сущность личности.

Труд в эпосе Шолохова осмысливается как неотъемлемое свойство прекрасного. С какой тоской вспомнит на фронте Григорий Мелехов о земле, о плуге, о буднях обывденной жизни. Картины трудовой жизни под пером писателя приобретают поэтический проникновенный характер.

Мощная поэзия трудовых усилий, захватывающие картины человеческого труда проходят через все произведения Шолохова. Но для Шолохова труд не есть нечто само по себе очищающее, заранее данное, морально оправданное и возвышенное. Писатель социалистического реализма, отчетливо сознающий классовую структуру мира, далек от какой-либо бездумной его поэтизации, труд в эпосе Шолохова не только нравственная, этическая, но и социальная категория. «Трудолюбие» — лишь условие, но еще не вся полнота характеристики, не только мерило ценностей, но и возможность различения.

В «Тихом Доне» последовательно проводится отчетливое различие трудолюбия Мелеховых и хозяйственной рачительности Коршуновых. Коршунов тоже труженик. Да, он работает не покладая рук; Островнов из «Поднятой целины» испытывает тоже, казалось бы, понятное человеческое чувство радости, когда видит плоды и результаты своих усилий. Шолохов различает и оценивает трудовые усилия по их цели. Для Григория Мелехова труд — глубокая потребность; он мучительно, как личную утрату переживает длительный отрыв от работы. Возникает новый уровень общественных связей, и герои «Поднятой целины», такие как Кондрат Майданников, являют пример новых чувств и нового понимания труда на благо всех, на благо социального коллектива. В понимании Коршунова, Островнова труд есть средство накопления, создания ценностей для себя.

Труд ради обогащения, как и погребительское отношение к жизни (Дарья, Луш-

ка), мог возникать и на почве трудовой народной жизни. Сама эта народная жизнь изображается Шолоховым в борьбе прекрасного и безобразного. Писатель проникает в самые тайные глубины человеческого бытия, чтобы осветить и понять всю полноту человеческого.

Идея непрерывности жизни, глубокая обусловленность всех ее элементов — бытия, созидания, смерти и разрушения — определяют многие открытия Шолохова. Он увидел и показал в своем эпосе новые, неизвестные ранее связи между человеком и окружающим миром жизни, между духовным и материальным.

Если в первых книгах «Тихого Дона» временами звучало противопоставление мира природы — естественного, оправданного и целесообразного — «неразумию», запутанности, жестокости человеческого бытия, то в последующем писатель приходит к пониманию более глубоких и обусловленных связей мира природы и мира человека.

В третьей и четвертой книгах «Тихого Дона» набирает все большую силу поэтический мотив непобедимости жизни, вечности, утверждающей себя в подвиге и самопожертвовании.

Наиболее отчетливо звучит он в эпических параллелях, лирических отступлениях. «Но под снегом все же живет степь. Там, где, как замерзшие волны, бугрится серебряная от снега пахота, где мертвой зыбью лежит заборонованная с осени земля, — там, вцепившись в почву жадными, живучими корнями, лежит поваленное морозом озимое жито. Шелковисто-зеленое, все в слезинках застывшей росы, оно зябко жметя к хрушкому чернозему, кормится его живительной черной кровью и ждет весны, солнца, чтобы встать, ломая стаявший паутинно-тонкий алмазный наст, чтобы буйно зазеленеть в мае. И оно встанет, выждав время! Будет биться в нем перепела, будет звенеть над ним апрельский жаворонок. И так же будет светить ему солнце, и тот же будет баюкать его ветер».

В сложной ассоциативности, поэтических уподоблениях открывается эта связь между извечным движением природы и миром революции. Через кровь и страдания утверждаются новые принципы морали и вечности.

Сцены с пленными музыкантами-красноармейцами, описание гибели красного командира Лихачева, зверски зарубленного конвойными в песчаных бурунах, умершего

с березовыми почками на устах, «вписываются» в общую картину, в которой все связано, все сплетается с первичным, исконным.

Для эпоса Шолохова характерно представление об универсальности жизни. Триединство его поэтики (человек — общество — природа) выражает одну из существенных особенностей социалистической цивилизации, гуманистическую направленность всего творчества писателя.

Человек в произведениях Шолохова не просто включен в окружающий его мир. Он его производное, он связан с ним бесчисленными нитями. Отсюда одна из важнейших особенностей поэтического мышления Шолохова. Материально-предметное и интимно-духовное связаны между собою, определяют друг друга.

Эпосу Шолохова чуждо мистическое преклонение перед тайнами и загадками человеческой души. Он ищет объяснения, он ищет разгадку. Такое объяснение и разгадка не только в самом человеке, не только в том, что воздействует на него и на что он воздействует, но и в тех отношениях, которые сложились на протяжении всего исторического существования человека между ним и предметным миром природы.

Поразительное богатство связей, ассоциаций и уподоблений открывается нам в эпосе Шолохова. Самое сокровенное, тайное может быть выражено в предметной, видимой картине.

Григорий Мелехов, брошенный в пекло империалистической бойни, испытывает мучительное чувство, страдает. Шолохов чутко воссоздает диалектику чувств и переживаний своего героя, показывает, как война круто меняла его характер. Проходит некоторое время, и Шолохов фиксирует новое состояние Григория: «Огрубело сердце, зачерствело, будто солончак в засуху, и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости».

По первому впечатлению может показаться, что здесь создаются как бы два ряда, сопоставляемые по принципу внешнего сходства («Огрубело сердце, зачерствело будто солончак в засуху...»), чем создается сильный зрительный образ. Но принцип ассоциативных связей возникает на более глубокой внутренней основе. Внешний образ своим внутренним движением создает картину, которая связывается с внутренним духовным содержанием. Важно было

показать, в чем выразилось зачерствение сердца Григория (ушла боль по человеку, утрачена жалость). «...и как солончак не впитывает воду, так и сердце Григория не впитывало жалости». Внешнее предметное и внутреннее духовное сближаются по самому характеру проявления, по сходному воздействию на воображение и чувство. Ассоциация закрепляет внутреннюю связь.

Идя по этому пути, Шолохов неизмеримо раздвинул и углубил возможности психологического анализа.

Принцип эпического параллелизма последовательно осуществляется им не только в сопоставлениях глобального характера (жизнь людей — жизнь природы), но и в качестве важнейшего инструмента проникновения в сокровенную жизнь человеческого чувства.

Эта материализация мысли, чувства — одно из замечательных завоеваний Шолохова-художника.

Вот, к примеру, в каком образном сопоставлении выражено писателем душевное состояние Аксиньи, брошенной, отвергнутой по молодой беспечности Григорием:

«Пусто и одичало, как на забытом, затравевшем лебедою и бурьяном гумне, стало на душе у Аксиньи после того, как пришла с мелеховского огорода из подсолнухов».

Шла и жевала концы платка, а горло распирал крик. Вошла в сенцы, упала на пол, задохнулась в слезах, в муке, в черной пустоте, хлынувшей в голову... А потом прошло. Где-то на донышке сердца сосало и томилось остренькое.

Встает же хлеб, потравленный скотом. От росы, от солнца поднимается влоченный в землю стебель; сначала гнется, как человек, надорвавшийся непосильной тяжестью, потом прямится, поднимает голову, и так же светит ему день, и тот же качает ветер...»

В этой своеобразной «материализации» чувства проявлялась одна из самых примечательных черт поэтического мышления Шолохова.

Ассоциативные связи в такого рода сопоставлениях ведут в глубины сознания, к истокам поэтического мышления, трудовой практике народа. Свободное использование образов-символов, метафорических переносов, сравнений позволяет Шолохову переходить от конкретного, повседневного, бытового к философско-эпическим обобщениям огромного общечеловеческого содержания.

Идя по этому пути, Шолохов не только преодолевает описательность, свойственную в какой-то мере психологизму XIX века, — он обретает новые возможности для искусства. И какая великолепная уверенность, что все тайное, скрытое может быть обнаружено с предметной, вещной наглядностью!

В последней книге «Тихого Дона» жизнь Григория сравнивается с выжженной палами степью. Горе Натальи, узнавшей о том, что Григорий вновь потянулся к Аксинье, проклятия ее даются на фоне подступающей летней грозы, ударов грома, всплеск молний...

В начале четвертой книги «Тихого Дона» Аксинья бредет одна в придонском лесу. Ради Григория Аксинья оставила родной хутор, пошла вместе с повстанцами в отступ, любила она его по-прежнему с изнуряющей страстью: «Вошел ты в меня, проклятый, на всю жизнь!» — но жизнь сваяла ее снова со Степаном, и, подчиняясь нелюбимому мужу, пришла она «проведать» его на позициях, гадливо морщится «и от воспоминания о только что испытанной близости к мужу и от похабных замечаний его товарищей». Она возвращается в станицу. И вот она одна в лесу.

Что же такое Аксинья? Какая она теперь, столько вынесшая, вытерпевшая, Аксинья, которой не давалось счастье, неуловимое, как сказочная жар-птица? Что открывается нам в ней наедине с этим потаенным миром жизни?

Ничего не говорит прямо о чувствах Аксиньи, о ее переживаниях. И вместе с тем создается поразительный по одухотворенности, предметности психологический портрет Аксиньи со всей тончайшей гаммой чувств, оттенков.

Она присела отдохнуть возле цветущего куста шиповника. Поначалу мы вместе с Аксиньей как бы замечаем только видимый контраст войны («За Доном нечасто, но почти безостановочно стучали пулеметы, редко бухали орудийные выстрелы. Разрывы снарядов на этой стороне звучали раскатисто...», «Где-то недалеко на пересохшем озере щелоктали в камыше дикие утки, хрипавато кликал подружку селезень»).

Но вот Аксинья словно бы обострившимся взглядом смотрит на открывшуюся ей жизнь, на мир в его сокровенном звучании. Она замечает то, что в повседневной суете обычно проходило мимо.

«Трепетно шелестели под ветром зеленые с белым подбоем листья ясенеи и литые, в узорной резьбе, дубовые листья; из зарослей молодого осинника плыл слитный гул; далеко-далеко, невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка; настойчиво спрашивал летавший над озерцом хохлатый чибис: «чьи вы, чьи вы?»; какая-то крохотная серенькая птаха в двух шагах от Аксиньи пила воду из дорожной колеи, запрокидывая головку и сладко прижмурив глазок; жужжали бархатистопыльные пчелы; на венчиках луговых цветов покачивались смуглые дикие пчелы. Они срывались и несли в тенистые прохладные дула душистую «обножку». С тополевых веток капал сок. А из-под куста боярышника сочился бражный и терпкий душок гниющей прошлогодней листвы.

Ненасытно вдыхала многообразные запахи леса сидевшая неподвижно Аксинья. Исполненный чудесного и многоголосого звучания лес жил могущественной первородною жизнью. Поемная почва луга, в избытке насыщенная весенней влагой, выметывала и растила такое богатое разнотравье, что глаза Аксиньи терялись в этом чудеснейшем сплетении цветов и трав».

Так рождается чувство Аксиньи: «Улыбаясь и беззвучно шевеля губами...» Она уже «включена», она уже живет в этом мире, найдены тончайшие связи, которые объединяют чувство человека и жизнь природы в интимном внутреннем переживании, в той родственности, которая доступна, казалось, только одаренным натурам. Шолохов показывает, что она в природе человека, в природе тех людей с рабочими руками, которые живут на страницах его книг. Одухотворенность Аксиньи, певучая страсть и нежность открываются нам в этой способности откликнуться на впечатления внешнего мира, пережить его своим чувством. Внутренняя жизнь ее как бы скрыта, она пока в обостренной зоркости, во внешних деталях поведения.

Но вот Аксинья увидела под кустом ландыш. «Широкие, некогда зеленые листья все еще ревниво берегли от солнца низкорослый горбатенький стебелек, увенчанный снежно-белыми пониклыми чашечками цветов. Но умирали покрытые росой и желтой ржавчиной листья, да и самого цветка уже коснулся смертный тлен: две нижних чашечки сморщились и почернели, лишь верхушка — вся в искрящихся слезинках ро-

сы — вдруг вспыхнула под солнцем слепящей пленительной белизной.

И почему-то за этот короткий миг, когда сквозь слезы рассматривала цветок и вдыхала грустный его запах, вспомнилась Аксинье молодость и вся ее долгая и бедная радостями жизнь. Что ж, стара, видно, стала Аксинья... Станет ли женщина смолу плакать оттого, что за сердце схватит случайное воспоминание?»

Это потрясение, это внезапное озарение больше всего говорит об Аксинье. Будто увидела в этом ландшафте судьбу свою, будто прочтала книгу своей жизни! Аксинья и ландшафт чем-то существенным соприкоснулись в нашем чувстве. Нам приоткрылась вся полнота чувства этой гордой, постаревшей и все еще прекрасной женщины, ее нерастраченная нежность, ее чистота, ее тепло, ее надежды.

Внешне-предметное и внутренне-человеческое сопрягаются с поистине музыкальной пронзительной печалью. Патетика чувства скрыта за внешним, предметным и в то же время проявлена этим внешним, видимым, усилена им.

Но в картине, созданной Шолоховым, есть вятный намек и на будущее Аксиньи. Не случайно промелькнуло в том, первом описании: «...невнятно и грустно считала кому-то непрожитые годы кукушка». Над уснувшей в слезах под кустом отцветающего шиповника Аксиньей «с тревожным шелестом взлетели листья, роняя розовые перья-лепестки. Осыпанная призывавшими лепестками шиповника, спала Аксинья...».

Скорое будущее готовило смерть этой спящей Аксинье, осыпанной розовыми лепестками шиповника, еще живой и страдающей, еще ждущей от жизни нежданного. Образ поистине трагической мощи, романтически смелый и неожиданный!

Шолохов дает нам здесь один из впечатляющих примеров обогащения реализма, утверждения безграничных возможностей его.

Люди в произведениях Шолохова живут бурно, драматически. Перед нами характеры самобытные, сильные, яркие. Мы видим

их во всех обстоятельствах полнокровной «горько-сладкой жизни».

Эпос Шолохова социален. Но это не значит, что семейная или интимная сфера жизни представляет меньший интерес для писателя. Шолохов стремится к синтезу, к всестороннему воссозданию тех условий, в которых живет человеческая личность.

Это стремление к познанию человека во всех связях и опосредствованиях составляет один из важных принципов реализма Шолохова.

Познание человека в эпосе Шолохова — непрерывный процесс, в результате которого вскрываются все связи, симпатии, антипатии, взаимоотношения людей, исследуются проявления самых разнородных человеческих чувств и т. д.

Поражает в искусстве Шолохова сочетание сильной мысли, бесстрашно вторгающейся в самые сложные социальные проблемы века, умение писателя сами эти проблемы представить словно бы осязаемыми, видимыми в социально и индивидуально обусловленной расстановке фигур, в драматических столкновениях, в сюжете, русле которого как бы проложил бурно промчавшийся исторический поток, и тончайшего поэтического чувства, трепетной нежности, бережности, с которой воссоздаются самые сокровенные движения человеческого сердца.

«Возрождение эпоса» в творчестве М. А. Шолохова происходит на основе новой социальной действительности, которая проявляет скрытые, веками накопленные связи.

В наш век, век научно-технической революции, единство человека и природы осознается как одно из условий исторического бытия, как закон социализма. Шолохов — певец революции, которая созидает новую социальную общность, новые принципы коллективной морали. Он один из тех великих художников, которые убеждены в будущем человечества и верят в это будущее. Эта вера исходит из коренных особенностей поэтического мировосприятия, подкрепленного социальным оптимизмом философского мировоззрения.



Ж Н И Ж Н О Е О Ь О З Р Е Н И Е

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Л. Финк. Осмысляя военную тему.— Ал. Михайлов. Светлая радость победы.— Валерий Дементьев. Проза поэта.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Григорий Бровман. И пером и штыком.— П. Исаков. «Воюющая партия».

Литература и искусство

ОСМЫСЛЯЯ ВОЕННУЮ ТЕМУ

- А. Бочаров. Человек и война. М. «Советский писатель». 1973. 456 стр.
А. Абрамов. Лирика и эпос Великой Отечественной войны. М. «Советский писатель». 1972. 672 стр.
Л. Лазарев. Военная проза Константина Симонова. М. «Художественная литература». 1974. 239 стр.
Г. Ломидзе. Нравственные истоки подвига. Советская литература и Великая Отечественная война. М. «Советский писатель». 1975. 244 стр.

23 июня 1941 года «Правда» опубликовала два стихотворения — «Победа будет за нами» Николая Асеева и «Присягаем победой» Алексея Суркова. С тех пор минула треть века. О великой войне написано много книг, которые требовали и продолжают требовать своего осмысления. Если все эти годы литература пристально и взволнованно вглядывается в героическую эпоху Великой Отечественной войны, то и критика пристально изучает литературу, извлекает философскую, нравственную и эстетическую суть произведений о войне, определяет пути дальнейшего художественного исследования одного из наиболее важных, возвышенных и трагических периодов истории советского общества.

Уже в 1942 году была напечатана целая серия статей, сходных своей сутью: «Отечественная война и советская литература» А. Фадеева («Пропагандист», 1942, № 17), «Советская литература в Отечественной войне» Н. Белкиной («Под знаменем марксизма», 1942, № 8-9), «Литература и война» А. Мясникова («Октябрь», 1942, № 11), «Советская литература и война» Л. Тимо-

феева («Знамя», 1942, № 11), «О литературе и войне» А. Толстого («Литература и искусство», 5 декабря 1942 года) и другие. Общей задачей всех этих статей было привлечь внимание читателя к героическим характерам, использовать литературные произведения в целях воспитания патриотизма, раскрыть единство писателей и народа как великий стимул творчества во имя победы.

Естественно, в условиях военного времени публицистика брала верх над «чистым» литературоведением, и свои первоочередные задачи критика решала успешно: она помогала утверждать правду о войне, помогала глубже понять величие воинского подвига советского солдата, защищающего человечество от фашистского зверства.

В мирное время социальная роль критики решительно возросла. Уже во второй половине 40-х годов книгой В. Перцова «Подвиг и герой» всерьез началось осмысление литературного процесса, его закономерностей и особенностей. Интенсивное развитие общественной мысли, характерное для последнего десятилетия истории нашей страны,

благодарно сказало и на литературной науке. Появились труды критиков и литературоведов, охватившие в совокупности своей весь путь советской военной литературы. Книги Л. Якименко, В. Новикова, Л. Плоткина, Н. Пашкевича, П. Топера, В. Панкова и других критиков, работы писателей К. Симонова, Ю. Бондарева и других, посвященные военной литературе, значительно расширили наши представления о факторах победы и о закономерностях развития военной прозы.

Не так давно вышла книга А. Бочарова «Человек и война». В ней справедливо утверждается, что советская проза о войне «активно выполняет свою боевую задачу — и тем, что последовательно и беспощадно разоблачает всю бесчеловечность войн, и тем, что предостерегает агрессоров уроками минувшего, и тем, что воочию показывает, как народ способен руководить ходом истории, не опуская безвольно руки в трудные моменты, и тем, что зовет борцов за мир быть неизменно бдительными».

В современной критике все углубляется диалектика «военного» и «антивоенного», все яснее и значительнее становится созидательная направленность советского искусства. Мы видим, каким могучим средством идейной мобилизации народных масс явилась наша литература. Постигая правду жизни и красоту героизма, она сама становилась орудием в героической борьбе за правду. «Мы знаем, каким жизненным героям обязана литература своими вершинными взлетами — от Карбышева и Зои до молодогвардейцев и Маресьева, — но не в состоянии подсчитать, сколько героев было вдохновлено литературными образами» — в этих словах А. Бочарова содержится верная оценка взаимодействия войны и литературы в суровые годы схватки с фашизмом.

Послевоенные годы потребовали, по мнению критика, прежде всего «запечатлеть значение нашей победы, истоки нашей победы, славу нашей победы». Ощутимое развитие получило аналитическое начало исследование трудностей героического пути, «проникновение в духовный мир советского человека на войне». Все острее становилась необходимость «воспитывать новые, уже не знавшие войны поколения на примерах героизма и патриотической готовности».

Большой интерес представляет сравнительный анализ «Повести о настоящем человеке», «Судьбы человека» и «Петра Рябинкина», проделанный А. Бочаровым.

Повесть Бориса Полевого прославляла величие подвига, она отличалась такой свободой от приукрашивания, такой достоверностью деталей, шире говоря — таким уровнем художественного реализма, что имела «непосредственный жизненный эффект». Замечательный рассказ Шолохова еще более раздвинул рамки нашего представления о подвиге. Здесь героической предстает вся жизнь Андрея Соколова, писатель раскрывает и национальные и социальные истоки героизма, неотделимого от человечности. «Судьба человека» содержит глубокое исследование того, как формируется «жизнестойкость простого человека, прошедшего страшные испытания и сохранившего человечность в нечеловеческих условиях плена». В «Петре Рябинкине» В. Кожевников открыто и целеустремленно делает упор на разум общества, олицетворенный для него в авангарде общества — рабочем классе, который «в наибольшей мере обладает необходимыми для победы качествами: сознательной дисциплиной и коллективизмом». В повести возникает очевидное тяготение к обобщенному народному герою, к выявлению не столько даже индивидуальной, сколько социальной судьбы.

«Советская военная проза... — пишет А. Бочаров, — нисколько не скрывая, что война — явление чудовищное, ненормальное, в корне враждебное человеку, видя всю трагичность бедствий, приносимых войной... утверждает благородные цели борьбы за правое дело, за торжество жизни, счастья, понимает необходимость идти на жертвы во имя этих целей». Именно с этих позиций авторы, пишущие о военной теме, критикуют, с одной стороны, в обилии появляющиеся на Западе милитаристские сочинения, обеляющие и воспевающие убийство, кровавую жестокость, а с другой — сочинения пацифистского толка, игнорирующие справедливость войн освободительных, революционных. Марксистский подход к истории позволяет понять, что только справедливая война способна родить в искусстве пафос воинского подвига, ибо тут поэтизируются и высокие цели, вдохновляющие отвагу борцов, и люди, способные сражаться за идеалы. Правота революционной, справедливой, освободительной войны — основное содержание советской литературы на военную тему, и осознание своей правоты явилось живительной атмосферой нашего искусства в дни войны.

В книге «Человек и война» мы находим

важные соображения о том, как советская литература разрешает кажущееся противоречие «между признанием ценности каждой отдельной человеческой жизни и моральным правом убивать». Здесь содержатся психологически тонкие, иногда неожиданные наблюдения над героями советской литературы. Исследуя «поэтику ненависти», критик опирается на слова известного военачальника генерала П. Батова: «Ненависть к врагу-захватчику — священное и самое гуманное чувство. Но оно рождается с такой болью сердца и мукой души, что не дай бог испытать это второй раз»; обнаружив рецензию П. Тольятти на повесть «Волоколамское шоссе», исследователь находит здесь утверждение «гуманистического права жить и гуманистического долга убивать тех, кто угрожает твоей родине». Ясная трактовка противоречия между гуманистическим характером народной войны и неизбежной жестокостью к врагу позволяет верно охарактеризовать и многие другие особенности военной прозы.

Изображение ужасного на войне, способное служить и «запугиванию» читателя, в лучших произведениях советской прозы оказывается могучим эстетическим средством выявления величия духа, воспитания нравственной твердости. А. Бочаров последовательно ведет читателя к мысли о том, что героическое — «высшее проявление социалистического гуманизма в реальных условиях военного бытия». Такой поворот мысли позволяет исследователю достаточно широко рассмотреть проблему взаимоотношений личности и общества, героя и народа.

Естественно, что критик особо сосредоточивает свое внимание на массовом героизме, на коллективном подвиге, которые являются наглядным результатом утверждения новых, гармонических отношений между личностью и обществом. Осознание личностью своей ответственности за судьбу народа и осознание народом необходимости защищать главную ценность — человеческую жизнь и является важным истоком героизма.

Война помогла понять, что героизм предполагает непременное и безраздельное слияние интересов личности и общества, во многом обязанное объединяющей силе идеала. Война диктовала каждому сознание ответственности за происходящее и категорически требовала от него личной активности. Война вновь и вновь доказывала, что истин-

но нравственным человеком можно считать только того, в ком, как пишет А. Бочаров, «требования общественного долга сливаются с его собственной внутренней потребностью, становятся... мерилем оценки своих поступков и главным личным интересом». Нигде как на войне с такой предметной наглядностью, с такой очевидностью не может выявиться социальная опасность и равнодушия и смирения, которые на самом деле потворствуют злу. В целом война так тесно объединяла судьбу человеческую и судьбу народную, что вне раскрытия их сложного единства и взаимодействия нельзя было постигнуть правду жизни.

Создание значительных эпических характеров, полно выявляющих не только нравственный строй именно этого человека, но и его связи со средой, с миром, — один из важнейших показателей роста советской литературы. Мысль об этом позволяет А. Бочарову исследовать эстетическое многообразие советской военной прозы. Стилизовое изобилие современного реалистического искусства обусловлено, пишет критик, «углублением нашего познания закономерностей и многообразия общественного бытия». Отталкиваясь от этого общего положения, он переходит затем к конкретным наблюдениям, раскрывает художественное богатство советской литературы на примере разных тенденций в изображении героического.

Тенденции эти можно свести к следующим: диалектика массового героизма и героической личности, исследование истоков героического поведения (взгляд в прошлое), нравственное воздействие подвига (взгляд в будущее), трагическое как эстетическая концентрация героического. Сам Бочаров предупреждает, что его схема вряд ли носит исчерпывающий, окончательный характер: «...живая жизнь литературы шире, противоречивее, многообразнее любых попыток как-то систематизировать ее». Но «попытка» исследователя приобретает несомненную научную ценность прежде всего потому, что он сумел подкрепить общие положения конкретным анализом, достаточно широким по охвату материала и достаточно глубоким по проникновению в художественную плоть произведений.

В книге А. Бочарова содержится немало любопытных суждений по вопросам, вызывавшим шумные критические споры. Так, автор, высоко ценя романтико-героическую линию военной прозы и решительно возра-

жая против стремления «похоронить романтизацию», вместе с тем доказывает несостоятельность всяких попыток «возвышения над действительностью»; обстоятельно рассматривает он теорию «идеального героя», показывая, что основная ее ошибка связана с требованием идти не от жизни, а от заранее установленной нормы, а это неизбежно ведет к иллюстративности, заданности, искусственному просеиванию жизненной конкретики «сквозь марлю» нормативистских требований; возражает и против схематизма в изображении отрицательных героев.

Как на пример конкретной и доказательной полемики в этом ряду укажу на страницы, где автор книги «Человек и война» говорит о несостоятельности той «атаки», которая была предпринята в книге П. Глинкина «Чингиз Айтматов» на повесть «Материнское поле» за некий «налет метафизического». Бочаров правильно пишет, что прочный успех повести с тем и связан, что в ней взволнованно звучало «проклятье войне, направленной против трудового народа, мешающей созиданию той жизни, которой жила семья Толгонай в Советской стране».

Несколько спорных моментов, на мой взгляд, есть и в книге А. Бочарова. По Бочарову, например, получается, что критике надо развести в разные стороны «быт» и «эпопею». Вряд ли это «размежевание» что-нибудь всерьез прояснит в эстетическом многообразии нашей литературы. И вряд ли следует узаконивать отрыв эпопейной масштабности от правды быта, ибо мы уже хорошо знаем, что такой разрыв может привести и к схематизму и к эмпирике.

Достоинство лучших страниц, лучших глав литературоведческих книг на военную тему не только в глубине и истинности их философских положений, но и в строгой научной аргументированности. Критик «извлекает истину» из анализа литературных произведений, и движение его мысли оказывается прямо зависимым от точности эстетических критериев.

Недаром в книгах, о которых идет речь, можно встретить утверждение, что гуманизм следует понимать не только как определенную систему нравственно-философских взглядов, но и как принцип художественного воссоздания мира. И больше того — вообще новаторство литературы XX века связано с изображением духовного формирования человека — борца, участника справедливой революционной войны. Война

может не только проявить, проверить, усилить ранее сложившийся характер, но она и выпрямляет и формирует людей. Писатель Г. Березко как-то сказал: «В сущности, я сделался литератором на войне: я стал писать из внутренней потребности поведать об этом чуде человеческого, душевного преобразования».

Раскрывая это «чудо преобразования», советская литература решительно противостоит и модернизму с его представлением о неизменности человека, и писателям «потерянного поколения» с их поэтизацией человеческого бессилия. Только писатель, верящий в способность человека внутренне развиваться и совершенствоваться, может выступать с позиции исторического оптимизма. Бесспорное достоинство советской военной литературы — в ее повышенном интересе к формированию в условиях войны гуманистического мировоззрения, высоких нравственных качеств и гражданской активности.

Вспомним, как убедительно было в книге А. Абрамова «Лирика и эпос Великой Отечественной войны» показано, что именно в условиях всенародного поединка с фашизмом, диктовавшего людям могучее единство внутренних стремлений, нравственную, эмоциональную собранность, возникло удивительное эстетическое многообразие советской поэзии и в лирике и в эпосе. Этот вывод убедителен у А. Абрамова не только благодаря скрупулезным сопоставлениям и обзору наиболее значительных литературных фактов, но и основательно продуманной системе их осмысления.

С книгой А. Бочарова работу А. Абрамова сближает уже исходное положение: «...советская поэзия даже в самой горячке боя была верна... гуманистической мысли». Конечно, «горячка боя» требовала, чтобы свою главную задачу поэты видели в приближении победы. Вера в победу была их вдохновением и пафосом. Но оптимизм советской поэзии вырос из живых человеческих характеров, увиденных и осмысленных как характеры героические. «„В бой идет святой и грешный русский чудо-человек“ — в этих словах Твардовского краткая и самая глубокая характеристика образа человека поэзии годов войны», — пишет А. Абрамов.

Исследователь абсолютно прав, когда объясняет идейно-художественную целостность поэзии военных лет гармоническим сочетанием лирических голосов, звучащих как выражение самых широких настроений борющегося народа. В конкретных наблюде-

ниях критика мы найдем многочисленные доказательства неповторяемости каждого из этих голосов, которая лишь усилена их взаимным согласием.

Так, например, А. Абрамов цитирует известное четверостишие Александра Твардовского:

Пусть в сердце боль тебе, как нож,
По рукоять войдет.
Стой и гляди! И ты пойдешь
Еще быстрее вперед.

И сопоставляет эти призывные строки с торжественным звучанием строфы Анны Ахматовой:

И та, что сегодня прощается с милым,—
Пусть боль свою в силу она переплавит.
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит.

Как по-разному и в обоих случаях как эмоционально и глубоко поэтически звучит здесь мотив страдания, переплавляемого в силу!

И еще один красноречивый пример перелички поэтов, обнаруженный критиком.

Перед войной Николай Майоров написал строки, которые долгое время оставались неизвестными: «И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят». В 1944 году перед самой гибелью Георгий Суворов сказал: «Свой добрый век мы прожили как люди — и для людей». В 1946 году А. Твардовский создал подлинный шедевр мировой лирики «Я убит подо Ржевом». Конечно, Твардовский не знал, не думал о том, что пришел к самому совершенному, самому глубоко выраженному тех раздумий о нерасторжимости жизни и смерти, которые волновали и его младших товарищей по профессии. Вышеназванные стихотворения, конечно, не равны ни по своей философской емкости, ни по своей поэтической силе. Но нельзя не видеть их общего пафоса. Так, системой сопоставлений и конкретных разборов Абрамов ведет читателя к своей любимой мысли: «...каждый настоящий поэт — и свой жанр, и своя тема, и свой стиль, короче — свое поэтическое единство. Автор — категория настолько целостная и конкретная... что с этим нельзя не считаться в любой литературоведческой работе».

Всем своим содержанием монография А. Абрамова подтверждает это положение. «Поэтическое единство» он каждый раз выявляет конкретно и выпукло, и военная поэзия в его освещении выглядит многогранной, богатой и сложной. Как показывает автор,

коллективными усилиями ее создателей решена задача грандиозная — выражено бесконечное многообразие духовной жизни борющегося народа и передана вся ее сложность в героические военные годы.

Поступательное движение критической мысли очевидно. Однако наряду с ростом научности, широты охвата материала в критике обозначались и некоторые негативные явления, которые в книгах последнего времени «корректируются» с высоты достигнутого литературной наукой.

В свое время в критике возникла некая вполне ощутимая нормативистская тенденция, протестуя против которой, Борис Горбатов говорил в одной из дискуссий: «Некоторые ретивые критики договорились до того, что если у человека в характере есть что-то, что... не соответствует той идеальной норме, каким они... представляют советский характер, то это уже не характер советского человека». Б. Горбатов был абсолютным прав, возражая против такой установки, которая обрекала литературу на иллюстративность и отказывала писателям в праве на самостоятельное исследование жизни. Сам Горбатов убедительно доказывал необходимость исследовательского подхода: «Что это такое — советский характер? Это уже что-то совершенно законченное, уже вылившееся в определенную форму, — или это характер в движении, или это характер в борьбе с противоречиями, которые внутри человека имеются?..»

Полемика, которая ведется в книгах критиков о войне, приобретает особую ценность в свете того, к сожалению, бесспорного обстоятельства, что ошибки и просчеты в оценке конкретных произведений еще не стали только вчерашним днем. Так, трилогия К. Симонова «Живые и мертвые» оказалась явно недооцененной в книге «Герой и народ» И. Кузьмичева. Заявив, что «из всех романов широкого эпического плана наиболее интересным, сложным и вместе с тем противоречивым является трилогия Константина Симонова „Живые и мертвые“», что «К. Симонов становится автором самого монументального произведения о Великой Отечественной войне, какие только появлялись до сих пор в нашей литературе», Кузьмичев дальше без необходимой доказательности пишет об авторе «Живых и мертвых»: «Насколько художник основателен как военный бытописатель, настолько же он бегл и поверхностен как историк»; «В его романах последних лет мало того,

что называется логикой истории. К. Симонов описывает события, но не проникает достаточно глубоко в их сущность... в них нет или почти нет... той исторической перспективы, которая характеризует эпос».

Критик ставит под сомнение художественность трилогии, утверждая, что автор «часто беспомощен в обрисовке характеров», «при чтении эпопеи и после вас не покидает ощущение безаюдности произведения... На добрую сотню действующих лиц, не считая эпизодических и третьестепенных, едва ли придется три-четыре персонажа, которые оставят след в душе читателя»... И это говорится о «наиболее интересном и сложном», даже «самом фундаментальном» из произведений военной прозы!

Появившаяся в прошлом году еще одна книга о военной прозе — монография Л. Лазарева «Военная проза Константина Симонова» — на мой взгляд, многое проясняет в полемике вокруг симоновской трилогии.

Автор монографии нашел красноречивый документ. В приказе гитлеровского генерала Кейтеля от 16 сентября 1941 года говорилось, что в странах, которые фашисты захватывают, «человеческая жизнь... не имеет никакой цены». В свете такого циничного каннибальства становится еще очевиднее, что битва с фашизмом являлась и поединком мировоззрений, а советскому солдату было суждено спасти человечество. Верность принципам гуманизма требует от героев Симонова не только смелости и самоотверженности, не только решимости умереть в боях за Родину. Серпилин о такой решимости говорил, что это «самое большое поддела». Надо еще учиться воевать, и в этом заключена важнейшая мысль о неразрывности воинского мастерства, гражданского долга и высокой ответственности за судьбы человека и человечества.

Образ Серпилина помогает исследователю привлечь наше внимание к диалектике революционного гуманизма, к его решительному отличию от всяческих абстрактных проповедей добра. Ведь именно генерал Серпилин при самом высоком накале сражений помнит о ценности и невозможности каждой человеческой жизни и, дорожа каждой жизнью, воюет умно, умело, талантливо. Симонову удается убедительно сказать о том, что стратегические принципы, взгляды и убеждения его любимого героя выражают самую сущность политики Коммунистической партии, сущность мировоззрения советских людей, вынужденных

взяться за оружие и убивать врага. Трилогия Симонова и показывает, как эти люди, отнюдь не рожденные солдатами, овладевали наукой побеждать.

В образе Серпилина получил художественное освещение сложный узел гуманистических проблем. Художественное достижение Симонова в том и заключается, что он раскрывает внутренний мир Серпилина во всей его масштабности, сложности и динамике. Л. Лазарев прав, утверждая, что «Симонов в каждом из томов своей трилогии стремится воссоздать духовный облик людей нашей армии и обстоятельства именно этого этапа войны». В изображении динамики войны заключен подлинный историзм трилогии.

В произведениях советских писателей Великая Отечественная война всегда представляла как исторический поединок двух антагонистических социальных сил, двух полярно противоположных мировоззрений. И критика обращает особое внимание на философско-нравственный смысл войны, в которой великий социалистический гуманизм насмерть сражался против фашистской бесчеловечности. Именно такое решение военной темы определяет актуальность ее звучания.

Изображая войну как непримиримую схватку двух мировоззрений, литература сама становится важным плацдармом сегодняшней идеологической борьбы, неразрывно связанной с судьбами гуманизма.

«Что такое героизм?..» — так называется одна из глав новой книги Георгия Ломидзе «Нравственные истоки подвига». Несомненное достоинство книги — в глубине и точности ответа на этот вопрос. «Героизм — это мировоззрение, норма поведения советского народа, его идеология. Она закалена, отшлифована социальной действительностью и условиями исторического развития социалистического общества, непрерывно сталкивающегося с большими трудностями, преодолевавшего то, что представлялось непреодолимым, неприступным»...

На современном Западе, напоминает нам Г. Ломидзе, широко распространены представления о том, что человек не в силах «преодолеть в себе чувство естественной привязанности к жизни». Поэтому героические порывы рождаются якобы только тогда, когда прекращена контролирующая деятельность разума. Героизм «приравнивается к безумству», а подвиг рассматривается как поступок, совершаемый «помимо воли и

желания индивидуума». Подобные лжетеории, вырвавшиеся из фрейдистской и декадентских концепций, неизбежно снижали активность многих интеллигентов Запада в борьбе с фашизмом. «Великая Отечественная война опрокинула многие военные доктрины и теории, с превеликим тщанием разработанные зарубежными... психологами, философами, социологами... Наши враги столкнулись с непостижимым для их разума феноменом». Этим феноменом и оказался героизм советских солдат, смысл которого раскрывается критиком на основании изучения советской литературы.

Жизнь показала, что сопротивляемость человека грозным и мучительным обстоятельствам значительно выше, чем это представлялось генштабистам вермахта. И возрастание «физической» выносливости война объясняется как раз могущественным влиянием сознания, разума, идеологии. Массовый героизм, массовость подвига — «коренная черта поведения советских людей в Великой Отечественной войне», непосредственно объясняемая «идеологией пролетарского интернационализма, чувством любви к своему социалистическому отечеству».

«Удары клинков, залпы батарей — это единоборство идей, морали, жизненных представлений» — так справедливо пишет Ломидзе и затем, опираясь на анализ обширного конкретного материала, показывает значение наших идей в воспитании могущественного и бесстрашного воина. «Главное в подвиге, — утверждает критик, — мне кажется, его цель, смысл, его нравственная доминанта». Для того чтобы обыкновенный человек совершил «немыслимое, необыкновенное», его должна вдохновить «глубоко осознанная цель». Героизм советского солдата был обусловлен единством личных побуждений и общенародных задач, совпадением воли одного с массовым порывом.

Героический поступок требует преодоления страха, он становится возможен, когда разум оказывается сильнее инстинкта. И поэтому человека, убежденного в правоте идей, за которые он сражается, нельзя победить. «Убить можно, а победить нельзя». Этот вывод критика, непосредственно вытекающий из анализа романа Б. Васильева «В списках не значится», имеет и обобщающее значение, характеризуя неодолимую силу советского солдата.

Г. Ломидзе внимательно исследует все многообразие подвигов, совершенных в борьбе с фашизмом. Мне представляется,

что он абсолютно прав, привлекая внимание читателя к подвигу, так сказать, безоружному — «подвигу духа», и, анализируя в этом свете «Обелиск» В. Быкова, «Судьбу человека» М. Шолохова, повесть Ю. Збанацкого «Единственная», роман С. Цвигуна «Мы вернемся», критик пишет о том, что война знала ситуации, когда нужно было победить врага не силой оружия, а моральным превосходством, силой духа. И такие бескровные победы имели значение огромное, ибо, с одной стороны, вызвали растерянность врага, его сомнения в возможности победить неслигаемых, непокоряющихся людей, а с другой — живым примером умножали ряды героических борцов с фашизмом.

Ссылаясь на О. Гончара, критик говорит и о том, что есть подвиги, которые «совершаются совсем негромко, почти незаметно, наедине с собственной совестью. Мир о них не оповещен, медали за них не отлить, носит их человек в себе, как тайну души своей, как знак того, что и ты чего-то стоишь». Такой незаметный, никем не вознаграждаемый героизм есть результат очень высокого уровня сознательности и нравственности человека и естественно вырастает из всего строя нашей жизни.

Г. Ломидзе умело связывает «нравственные истоки подвига» с их общественной почвой, с социалистическим обновлением человека. Патриотизм советского солдата вообрал в себя многие лучшие традиции прошлого, и в то же время «чувство любви к социалистической Родине было новым, необычным». Советский человек дрался с удвоенной, утроенной силой, ибо защищал новое общество, защищал социальный прогресс от варварства и мракобесия.

Г. Ломидзе напоминает, что важная примета новой духовной жизни — чувство коллективизма. Советский человек, взявшийся за оружие, чувствовал себя сильнее, ибо ясно знал, что защищает общее достоиние. Он привык уже ощущать себя частицей коллектива, и его сопротивление фашизму во много раз возрастало от мысли о том, что «„мы“ — революция. «Мы» — люди труда! «Мы» — человечество!»

Но если мужество и героизм связаны с осознанием единства личности и народа, то индивидуализм — источник слабости, трусости, а нередко прелательства. Душевная замкнутость, обособленность, эгоистическая отрешенность несовместимы с ощущением своей ответственности за общее дело, и по-

этому от себялюбия до измены расстояние короткое. Ломидзе показывает, что советская литература говорила «всю правду о войне», а поэтому и раскрывала факты человеческого падения, опять-таки обнажая их социальные и нравственные причины.

Прав Г. Ломидзе и в том, что необходимость сказать «всю правду», не скрывать трудностей и просчетов, не преуменьшать силы врага диктуется желанием раскрыть подвиг советского солдата во всем его подлинном величии. «А если про кровь — скороговоркой, про потери — мимоходом, то и сам подвиг лишается цены, ему перестают верить».

Основательность выводов Г. Ломидзе о военной литературе во многом определяется его отличным знанием национальных литератур и его любимой мыслью об их идейном единстве. В книге то и дело возникает переключка русских, украинских, белорусских, прибалтийских, среднеазиатских писателей, и читателю становится очевидной их глубочайшая духовная близость. В небольшой книге Г. Ломидзе говорится о творчестве М. Шолохова, К. Симонова, А. Чаковского, Г. Коновалова, А. Калинина, О. Гончара, Л. Первомайского, В. Козаченко, Ю. Збанацкого, В. Быкова, И. Мележа, А. Адамовича, И. Науменко, А. Кешокова, Ф. Ниязи, Т. Ахтанова, Айбека, Р. Джапаридзе, П. Куусберга, М. Бирзе, И. Авижюса... Перечень этот далеко не полон, но и он дает ясное представление о масштабах исследования, о широте и, следовательно, весомости аргументации.

Именно благодаря широкому, теоретически зрелому использованию материала Г. Ломидзе подводит читателя к одному из своих важнейших выводов: «Советский солдат любой национальности был полноправным представителем всех народов СССР, их гордостью и цитом. Осознание этой роли укрепляло его веру, формировало дополнительные запасы стойкости и героизма».

В минувшие годы углубленное исследование военной темы было и задачей и заслугой литературной критики. Лучшие ее книги свидетельствуют о движении критической мысли, в то же время они подготавливали и продолжают подготавливать движение мысли художественной. Немалые заслуги критики и в отстаивании идей социалистического гуманизма, и в расширении наших представлений о природе современного конфликта, и в характеристике мирового значения советской литературы как верного

и надежного оружия в современной идеологической борьбе.

Вся прогрессивная литература мира занята исследованием причин войны, среди которых свою немалую роль сыграли и фашистское воспитание бесчеловечности, и пропаганда социальной пассивности, смирения и равнодушия. Когда писатели ГДР бескомпромиссно судят прошлое своей страны, то они стремятся выжечь до основания все то, что привело к военной трагедии.

И для нашей литературы воспитательный, нравственный аспект военной темы приобретает возрастающее значение. Война была не только трагическим этапом в жизни советского народа, но и во многом решающим, поворотным моментом в истории всего человечества. Война оказалась продолжением одного периода мирной жизни и началом другого, она проверила многие ценности и качества человека, выявила несостоятельность одних и величие других. Опыт Отечественной войны, осмысленный литературой и критикой, необходим нам в формировании гармонического человека, в отстаивании его ценности и достоинства, в борьбе за нравственную чистоту, за духовное и эмоциональное богатство. Массовый героизм в годы войны с непреложной доказательностью продемонстрировал, что уже за первые четверть века социалистической жизни мы добились огромных успехов в самом трудном и самом важном из всех социальных преобразований — в коренном изменении мировоззрения и характера миллионов людей. И разве не в этом главные истоки нашей военной победы?

Убедительное, правдивое изображение нового человека, вдохновленного идеалами коммунизма и каждодневно готового сражаться за них, поэтому является не только художественным исследованием прошлого. Оно обращено и в будущее. В нем есть и грозное предостережение современным кандидатам в «фюреры», есть и великая оптимистическая вера в торжество мирной политики КПСС, в торжество социалистического гуманизма. В наши дни никто, кроме врагов мира и социального прогресса, не сомневается в том, что советская литература приближает будущее, успешно сражается за него. И наша критика, как мы не раз имели возможность убедиться, полноправный и активный участник этого сражения.

Л. ФИНК.

Куйбышев.

СВЕТЛАЯ РАДОСТЬ ПОБЕДЫ

Победный 45-й. Стихи. Воениздат. 1975. 564 стр.

На письменном столе поэтическая антология, изданная к славной годовщине. В какой уже раз на тридцатилетнем перевале со дня нашей победы я перечитываю стихи поэтов фронтовой плеяды, стихи о войне и победе. В этих стихах биография моего поколения, наша молодость и зрелость, нам на долю выпавшая ответственность и честь быть заступниками отечества в грозный час опасности, наш неоплаченный долг перед сверстниками, товарищами и друзьями, сложившими головы на полях сражений. Но понятная у немолодого уже человека грусть воспоминаний неотрывна от чувства гордости за тех, кто сегодня представляет это поколение в литературе, в поэзии, за их честное служение народу, за их истинное понимание долга перед павшими.

Только досадным недоразумением можно объяснить, что в эту антологию не попало стихотворение Твардовского «Я убит подо Ржевом» — великая заповедь солдата, отдавшего жизнь за родину, нам, ныне живущим, «родимой отчизне с честью дальше служить» и «беречь ее свято... в память воина-брата, что погиб за нее». Эту заповедь помнит каждый из нас. Через своих отцов и дедов ее восприняли люди молодого поколения, они идут к памятникам и обелискам, к братским могилам, к могиле Неизвестного солдата у стен древнего Кремля, чтобы почтить память павших за отечество, подумать о жизни. В этом — в преемственности подвига, в продолжении патриотической традиции — наше главное человеческое завоевание сегодня.

Когда я читаю прозу Бондарева, Быкова, Бакланова, Астафьева, Адамовича, стихи Луконина, Дудина, Орлова, Наровчатова, Жукова, Львова, Слуцкого, Ващенко, Винокурова — моих сверстников, я переживаю примерно то же, что так пронзительно выразил в недавнем своем стихотворении Сергей Орлов:

...За пятьдесят товарищам моим.
Им некуда от времени деваться.
Лысеющим, стареющим, седым,
А мне все кажется,
Что им по двадцать.
Гляжу на них и вижу те года.
Где шли они
Во всей красе и силе,
Когда была Россия молода
И судьбами ее
Они вершили.

Мне бы очень хотелось сказать: дорогие мои товарищи, бывшие солдаты и сержанты, взводные и ротные командиры, спасибо вам от имени всех тех, кто не дождался майского дня победы и не услышал победных салютов Москвы, кого давно уже нет среди нас, но кто всегда незримо присутствует за праздничным столом 9 мая, живет с нами в мирной жизни. Спасибо за то, что вы честно живете и трудитесь, выполняете свой долг перед родиной. Но право сказать такие слова могло бы принадлежать только им самим, тем, которые никогда этим правом не воспользуются...

Было время, вскоре после окончания войны, когда в некоторых статьях торопливо и недальновидно спешили переориентировать фронтовых поэтов на «мирные рельсы», как бы отторгнуть от того, чем была до краев переполнена душа, что нетерпеливо искало выхода в слове. Теперь, на тридцатилетней дистанции, хорошо видно, сколь важно было бесценный душевный опыт, накопленный в годы войны, переплести в стихи и поэмы, повести и романы — создать художественную летопись трагических и героических событий 40-х годов, потрясших все человечество.

Поэты, как и прозаики фронтового поколения, без «нажима», естественно вошли в мирную тематику, но солдатский опыт, военная биография по-прежнему питают их творчество. Зарево пожаров над городами и селами России, Украины, Белоруссии, Молдавии и Прибалтики, как и солнечный свет победы, не меркнет в памяти народа. Старая эта истина рождена горьким историческим опытом народов мира. Вот почему сегодня нам, и, может быть, молодому поколению в особенности, бесконечно дорого и нужно каждое новое талантливое произведение о минувшей войне, если оно раскрывает те нравственные и идейные ресурсы, которые подняли советского человека на смертельную схватку с врагом и помогли ему одержать верх.

Сегодня у нас праздник. Большой всенародный праздник — тридцатилетие победы. На этом празднике есть свои герои — те, кто завоевал победу в 1941—1945 годах (тут я сделаю еще одно попутное замечание, что название антологии не охватывает ее содержания и потому не совсем точно). Наше внимание отдано поэтам, в большинстве своем принимавшим непосредственное

участие в Великой Отечественной войне. Они почетные гости на праздничном пиру. Им отдают свои страницы литературные журналы, газеты, альманахи. Лучшим в «Дне поэзии» («Советский писатель». 1974) был именно раздел фронтовой лирики.

Составители антологии «Победный 45-й» В. Федоров и В. Карпеко, сами участники войны, проделали немалую работу, чтобы представить читателям собрание стихов, чтобы выразить в этом собрании дух мужества, отваги, воли и нестигаемости советского народа перед лицом грозной опасности.

В антологии — поэты всех союзных республик. Принцип расположения стихов — традиционный, алфавитный. Он тоже согласуется с духом подобного издания. Исключение сделано М. Исаковскому, стихотворением которого «Слово о России» антология открывается. Оно — как дань русскому народу, по всеобщему признанию вынесшему на своих плечах главную тяжесть военного бедствия. Жаль только, что под стихами не стоят даты — они, как вехи, вели бы читателя по дорогам войны и мира, раскрывая перед ним не только поэтическую летопись героических свершений народа, но и этапы осознания свершенного. У Сергея Баруздина есть строки: «...а в годы шестидесятые, а в годы семидесятые мы поняли, что такое годы сороковые...» О том же в стихотворении И. Баукова «Теперь мы уже стали вспоминать»:

Возьмут с собою многое года
И лишь одно оставят навсегда,
Лишь одного им не стереть с земли —
Победы, что мы в битвах обрели!

Разделяя веру в нерушимую — до конца дней — память о победе как главном итоге пережитого, я все-таки уповаю на то, что также до конца дней не забудется нами и цена победы. Слишком она высока, чтобы не помнить о ней. И я напоминаю о ней, не боясь омрачить наш праздник, наше торжество, ради настоящего и будущего.

Ольга Берггольц, вместе с ленинградцами пережившая и с огромной поэтической силой показавшая в стихах ужасы блокады, призывает в канун победы запомнить навеки все подробности этого дня «до мелочи, до капли» — «все, чем ты жил, что говорил с друзьями, все, что видал, что думал в эти дни».

И даже сейчас, по прошествии тридцати лет, мы стараемся воскресить детали того

светлого майского дня с запахами весенней зелени, смешанными с гарью от бомбовых взрывов, голубое небо над головой, не прерванное замысловатыми маневрами истребителей и штурмовиков, и глубокий продолжительный вздох облегчения после окончания тяжелой военной страды...

Чувство освобождения, радости и еще едва осознаваемое чувство величия свершенного на глазах у всего мира главенствовало в дни победы над всем. Естественное чувство. Так оно и должно было быть. Недаром «победа» в одноименном стихотворении Эмилиана Букова звучит как имя новорожденной:

И столько чувств во мне боролось!..
Я слышал в имени твоём
И детский смех, и женский голос,
И радостных салютов гром.

(Перевела С. Мар)

А вот живая картина из стихотворения Ивана Рядченко «В день окончания войны», увиденная после получения известия о победе:

Связист из полкового штаба
вскочил и бросил телефон.
И все!
Не звали сигнальщиков.
Никто не подавал команд.
Был грохот радости неистов.
Плясать пустился лейтенант.
Стреляли танки и пехота.
И, раздирая криком рот,
впервые за четыре года
палил из вальтера начпрод.

«Смеялись, пели, обнимались люди...» — это день победы в Ленинграде по стихотворению Всеволода Рождественского. У Александра Ойслендера: «Как пели фанфары и трубы вокруг, и, от счастья пьяна, солдат в пересохшие губы моя целовала страна...» А вот Михаил Луконин, стихотворение «9 мая в Берлине»: «Мы сидим на косилке у магазина сельскохозяйственных машин и орудий. Мы глядим на сраженный город, а мимо, пройдя сквозь каменоломню Берлина, идут советские люди». Это увиденное взглядом бывшего солдата. Но и он не остается спокойным: «Мы сидим, удивленно переглядываясь, как после долгой разлуки. Что-то переменилось!» Дальше, уже вовсе не сдерживая себя, своего волнения, поэт скажет: «Вот что случилось — мужчинами стали мальчики!»

Этих почти документальных поэтических свидетельств можно привести множество — и из антологии и из других источников.

Они прекрасно передают блеск праздничной стороны военной медали, обогащают ее предметными подробностями, одухотворяют сам символ победы. И помимо того, что они воскрешают в разных местах и по-разному увиденные картины народного торжества по случаю победы над врагом, воскрешают те чувства и состояния, которые переживали люди в этот исторический момент, они еще вызывают волну воспоминаний, в чем-то сходных, в чем-то, в каких-то деталях совершенно особенных, индивидуальных.

Так понятны чувство и мысль того же Михаила Луконина («О мае»): «С тех пор мне месяц май — одно число, а вот еще другое вспоминаю: под пулями я маюс и бреду на ледяном ветру. Иду в бреду, и кровь течет...» И за праздничным столом победы солдат не может забыть, какой ценой она досталась. «У победы соленый вкус», — сказал Семен Сорин. Советский солдат преодолел все ужасы народного бедствия и повергнул в прах сильного и коварного врага. Кровью миллионов людей мы добыли победу. Та кровь —

Стучит в сердца, владеет нами,
 Не отпуская ни на час.
 Чтоб наших жертв святая память
 В пути не покидала нас.
 Чтоб нам, внимая славословью,
 И в праздник нынешних побед
 Не забывать, что этой кровью
 Дымится наш вчерашний след.
 И знать, что к бою правомочна
 Она призвать нас вновь и вновь...
 Как говорится: «Дело прочно,
 Когда под ним струится кровь».

(А. Твардовский)

Только огромное напряжение битвы, только смертельная опасность, грозившая родине и народу, могли родить строки, подобные симоновскому заклинанию: «Если дорог тебе твой дом...» Сознание долга перед лицом этой опасности диктовало пехотинцу С. Гудзенко, ставшему военным журналистом, слова: «...пускай меня пошлют опять в стрелковый батальон...» Поэтому столь суровы слова о мужестве солдата, принадлежащие Мусе Джалилову:

Если кровь твоя за родину лилась,
 Ты в народе не умрешь, джигит.
 Кровь предателя струится в грязь,
 Кровь отважного в сердцах горит.

Умирая, не умрет герой —
 Мужество останется в веках.
 Имя прославляя свое борьбой,
 Чтоб оно не молкло на устах!

(Перевел А. Шипиц)

И наконец, воспоминанье, оно принадлежит Юлии Друниной, одной из тех девочек-школьниц, которые с беззаветной отвагой рвались на фронт разделить мужскую участь солдата:

Смотрю назад, в продымленные дали:
 Нет, не заслугой в тот зловеющий год,
 А высшей честью школьницы считали
 Возможность умереть за свой народ.

Вот они — свидетельства нашей силы перед лицом опасности, вот они — истоки нашей победы.

Перелистывая страницы антологии «Победный 45-й», вчитываясь в строки стихов и тех, кто прошел по дорогам войны с автоматом в руках, кто дрался с врагом в партизанских отрядах, и тех, кто мотался по фронтам в качестве военного журналиста или работал в армейских и фронтовых газетах, прежде всего ощущаешь подлинность виденного и испытанного, подлинность переживаний, запечатленных по горячим следам. Об этих стихах можно сказать словами Маяковского: «Сердце с правдой вдвоем».

Я вовсе не хочу идеализировать всю военную лирику, выдавать ее в качестве эталона. Писались в годы войны и писались после на эту тему стихи разного поэтического достоинства, в них была и риторика, и декларативность, и многословие. В них, пожалуй, не было одного — спокойствия и равнодушия. Естественно, что в антологию попали стихи с неравным эстетическим обеспечением. Но почти в каждом из них необманно звучит волнующая мелодия победного финала войны или предощущение его. В этом бесспорная, всепобеждающая эмоциональность любой антологии военной лирики, по какому бы принципу она ни составлялась.

И опять-таки хочется сделать попутное замечание составителям и редакторам, не представившим в антологии, скажем, В. Лебедева-Кумача. Без «Священной войны» не полно любое собрание стихов такого рода. А вспомнил я о ней потому, что и теперь, по прошествии более трех десятков лет, слыша эту песню в исполнении Краснознаменного ансамбля Советской Армии, неизменно до холода в спине переживаю то же, что переживал осенью сорок первого года, когда впервые услышал и сам запел ее в солдатском строю. Вижу, как суровеют лица бывших солдат, когда они слушают эту знакомую песню. Очень простая, лозун-

говая стилистика песни заключает в себе огромную эмоциональность.

Под броню ли танка, в промозглом ли окопе или крошечной землянке, в чистом поле под кустом ракиты или на госпитальной койке каждый солдат, еще когда фашистские полчища осаждали Москву и Сталинград, мечтал о победе. Мечтал о том дне, когда он сможет обнять свою истрадавшую мать, жену или подругу, заняться любимым делом, растить детей, сажать деревья.

День победы — историческая граница войны и мира. Война завершилась на полях Европы, завершилась полной и безоговорочной капитуляцией гитлеровской армии, но она в силу своей чудовищной инерции еще требовала жертв, она настигала солдат на госпитальных койках, она несла горе сиротам и вдовам, она давила на сознание тяжестью потерь.

Однако живым — живое. Надо было думать о мире. Надо было досыта накормить народ и на месте пепелищ построить новые города и села. Надо было многое сделать, в том числе надежно оградить себя от любых новых посягательств со стороны...

Перелистывая антологию, мы отчетливо сознаем, что поэзия и тогда, в войну, и после нее задумывалась о будущем мире. Долгожданная радость, выплеснувшаяся навстречу миру, не затуманила глаза. «Кругом завалы, пепелища, сады изрублены войной...» — вот что видит солдат, возвратившись домой. Но «старый воин светлеет, глядя на поля. В бескрайний сад, счастливый, вольный, мы обратим тебя, земля!» (Якуб Колас). Это чувство знакомо многим солдатам, и в стихах некоторых из них будущее связывается с прошлым в неразрывный диалектический узел жизни, как у Николая Грибачева, например:

Но не затем пришел я в отчий дом,
Чтобы лицом к былому обратиться:
Есть мужество, есть смысл тогда лишь
в нем.

Когда оно — грядущего частица.

Война шла «ради жизни на земле», об этом лучше, чем в «Василии Теркине», наверное, и не скажешь.

В стихотворении Михаила Львова, написанном в форме монолога Неизвестного солдата, похороненного у Кремлевской стены, монолога, обращенного к нам, живым и здравствующим, есть такие строки: «Я упал, чтоб вам не пасть, и без вести не пропасть, чтоб вы были не безвестны, были живы и известны, чтоб при вас — отцы, невесты...»

Значит, ради мира. Каким же этот мир представляет себе поэзия? Чтобы ответить на вопрос, надо обозреть бесчисленное множество стихов и поэм, относящихся к окончанию войны или к самым первым послевоенным годам. Но мы поищем ответа на этот вопрос в пределах рецензируемой антологии.

Есть общее пожелание на все века: «Была бы наша Родина богатой и счастливою, а выше счастья Родины нет в мире ничего!» (М. Матусовский). И вместе с тем есть очень «конкретное», злободневное. Желание увидеть родину обновленной, возмужавшей, вынесшей из войны урок на будущее. Хочу процитировать стихотворение Павло Тычины «Май ненаглядный»:

И мы меняемся, мы вырастаем,
идем вперед всем обновленным краем.
И счастья ширится сиянье —
в труде оно всего видней.
Кругом — могучее дыханье
идущих в будущее дней.

Май ненаглядный, за спиною беды.
Что краше песен мая и Победы?!
Земля была врагом изрыта —
в хлебах теперь поля страны.
Летит наш конь! Его копыта
на всю Вселенную слышны.

(Перевел Л. Озеров)

Понятно то нетерпение, с которым хотелось приблизить светлое будущее, осчастливить людей достатком, жильем, радостью. Оно от щедрости сердца, от доброты душевной. Всем хотелось тепла, уюта, мира после гигантского напряжения сил, после всех лишений. А все же меньше других в поэзии забегали прекраснотушно вперед бывшие солдаты — научились они трезво смотреть в лицо трудностям и не мечтать попусту о райских кущах, до которых было идти и идти...

Не охватишь в журнальной рецензии всего содержания антологии «Победный 45-й», но все же мне хотелось бы выделить еще одну важную тему. Мы имеем дело с антологией многонациональной поэзии, в ней представлены поэты братских народов Советского Союза. И интернационализм их проявлен не только в этом формальном соединении под обложкой одного тома, он — в существе личности и творчества каждого поэта, в том, что родиной в государственном значении была для всех Советская страна. Со стихами Исаковского о России переключается стихотворение латышского поэта Яна Судрабална «Русскому народу»: «Во всех величье русского народа рождает восхищенье и любовь», вокруг русского на-

рода сплотилась «племен Союза тесная семья». Вот о чем говорит поэт, выражая чувство признательности России и ее народу.

...Я не назвал здесь многих достойных имен, не упомянул многих отличных стихотворений. В эти майские дни 1975-го, в дни нашего торжества их вспомнят и назовут другие. Мне все же хотелось бы в конце, не омрачая радости от встречи с праздничной книгой стихов о нашей победе, а больше в назидание составителям и издателям новых антологий военной лирики высказать еще некоторые замечания помимо тех, которые уже высказаны.

Да, перед лицом минувшей смертельной опасности все были равны, и не стоило бы, пожалуй, затевать разговор на эту тему, если бы все — великие и малые — были представлены в антологии равно. Но составители пошли на исключения, а вот характер исключений объяснить иногда просто невозможно. Не буду приводить примеры, дабы не обидеть людей достойных и заслу-

живающих уважения. Уверен, они бы и сами потеснились, коли бы их спросили, уступая место другим, сказавшим о войне более запоминающееся слово, да и к самой войне бывших поближе. Создателям антологии надо было бы учесть это.

Непонятна также идея стихотворных эпиграфов из Пушкина, Рылеева, Блока, Маяковского, Есенина и других классиков, вынесенных на отдельные страницы. В книге нет разделов, которые бы они предваряли. Цитаты не вписаны в контекст антологии, они выглядят случайными стихотворными заставками.

Вот, пожалуй, и все. И чтобы не кончить рецензию на юбилейное издание критическим пассажем, скажу солдатское спасибо за праздничный подарок. На это спасибо я, кажется, имею право.

А. Л. МИХАЙЛОВ,

*бывший командир саперной роты
10-й гвардейской стрелковой дивизии,
майор запаса.*



ПРОЗА ПОЭТА

Леонид Мартынов. Воздушные фрегаты. Новеллы. М. «Современник». 1974. 328 стр.

Читателям старшего поколения Леонид Мартынов как прозаик и журналист известен давно, если не с первой книги очерков «Грубый корм», вышедшей в начале 30-х годов и ставшей библиографической редкостью, то, во всяком случае, с «Повести о Тобольском воеводстве» (1945). Эта повесть возникла на основе летописных сказаний о Лукоморье и Магазее, старинных сибирских хроник, трудов ученых-«географусов» и как бы обобщила в себе, суммировала огромный исторический материал. Лаконичный, воистину летописный слог этого произведения был не лишен той сдержанной силы и выразительности, которую мы ощущаем и в исторических поэмах Мартынова, таких, как «Тобольский летописец» и в его сказках, таких, как сказание об атамане Василии Тюменце. Автор повести приблизил к нам минувшее, открыл и выразил характеры провозвестников будущего, «забегников», то есть людей, которые умели думать о грядущем широко и смело. И вот Мартынов выступает с новой книгой прозы — «Воздушные фрегаты», книгой автобиографических новелл, книгой новаторской и по манере повествования, и по освещению со-

бытий, потрясавших Сибирь в дни Октября и в первые послереволюционные годы.

Тридцать лет в конкретной, или, как любил говорить Твардовский, «личной», биографии человека — срок немалый. Но между «Повестью о тобольском воеводстве» и «Воздушными фрегатами», с одной стороны, а с другой — между прозой и поэзией Леонида Мартынова вообще есть прочное внутреннее единство, внутреннее «сцепление» неизмеримо большее, чем в какой-либо иной писательской судьбе. Даже создавалась новая книга вперемежку со стихами, старыми и новыми, и стала не только своеобразным комментарием к ряду известных, входивших во многие антологии стихотворений поэта, но и исследованием, размышлением, дневником — всего не перечислишь.

Вот почему многие особенности лирических стихов Мартынова как будто «унаследованы» его прозой. Вспоминая юность, он заключает, что в поэзии его привлекала больше всего достоверность душевных состояний художника, разговор от первого лица, от собственного имени. Этот личный момент, это своеобразие почерка ощу-

тимо во всем, что вышло или выходит из-под пера Л. Мартынова, выдающегося мастера слова, отмечающего свой семидесятилетний юбилей.

В новеллах, включенных в книгу, и фантастических, и реалистических, и документальных, видно стремление писателя как можно достовернее передать свое внутреннее состояние, свое мироощущение в данный конкретный период. Что проза Мартынова поэтична, что слово здесь наделено богатой гаммой значений — факт очевидный. Но поэтичность его прозы заключается не столько, предположим, в том, что в новеллах встречаются сравнения, уподобления, вообще тропы, что в них вкраплены фрагменты стихотворений, старых и новых, своих и чужих, сколько в том, что все, к чему бы он ни прикасался, на что бы он ни обращал свой взор, становится поэзией.

Известно правило первоклассных прозаиков-стилястов — избегать в прозе рифменных созвучий. Мартынов как бы ненароком может обмолвиться зарифмованным предложением. Происходит это естественно и ничуть не оскорбляет самый изысканный вкус. Например, размышляя о Федоре Достоевском — петрашевце, писателе, инженере, математике, заключенном в омскую крепость, Мартынов свои размышления завершает следующим образом: «...и бог знает какие дали он видел с берегового обрыва над устьем Оми, там, где еще будущая железная дорога и не обрывалась у порога деревянного острога».

Совмещение рифмованной и нерифмованной прозы является отражением более общих, более сложных творческих принципов Леонида Мартынова, а именно — совмещения или сопряжения чудесного с обычным, условного с реальным, фантастического с доподлинным. Но ведь речь идет не просто о книге достоверной в психологическом или каком-либо другом плане, а о книге документальной даже в частности, в датах, фамилиях, именах, географических названиях и т. д. Как же совместились все это в «Воздушных фрегатах»?

Дело опять-таки в поэтическом мировосприятии Мартынова, в его умении видеть необычное в обычном, неожиданное в знакомом и безусловном.

Уже само начало «Воздушных фрегатов» неожиданно. Мартынов начинает с золотого солнечного луча, увиденного в детстве, луча, в котором кружились пылинки и пушинки, образуя кувыркающиеся пирамидки,

цилиндрики, шары, а в заключение говорит, что такое восприятие мира и природы носилось в воздухе, ибо на необозримых просторах Сибири явственно обозначились черты промышленного прогресса — была проложена великая транссибирская магистраль, у причалов виднелись белые, пахнувшие чистым паром пароходы, на местном ипподроме взлетали первые аэропланы, в мастерских шумели первые локомобили. Да и весь Омск, «плоский, купающийся в соленой пыли гигантский пшеничный блин-город», родной город поэта, являл собою странную смесь дремотной Азии с промышленной Европой.

Не менее пестрым был и этнографический состав старого города, на улицах которого слышались многие языки, наречия, появлялись люди в диковинных, странных одеждах. Выясняя причины, определившие собственные пристрастия и вкусы, Мартынов считает нужным подчеркнуть, что и тогда, до революции, происходил процесс взаимовлияния культур народов Российской империи, что в самом раннем детстве ему доводилось слышать окраинные припевки, католические песнопения, песни казахско-скотоводов и даже старинный краковяк, занесенный за Урал еще ссыльными конфедератами.

«Вот сколько разнообразных мотивов и напевов лезло мне в уши в годы моего детства, — отмечает поэт, — наверное, для того, чтобы потом отозваться в моих будущих переводах с польского, с латышского, с литовского, с казахского, с татарского и еще бог знает с каких языков».

Не менее разнообразные влияния испытывал Мартынов и в своем умственном развитии, духовном формировании. Характерно, что пребывание в омской гимназии не оставило в его душе заметного следа. Зато каким неистовым книголюбом и книголюбом он оказался.

«Книги!.. Конечно, я грезил ими и во сне и наяву», — восклицает поэт, вспоминая библиотеки частных лиц и городские библиотеки, а также книжные магазины, лавочки, склады, постоянным посетителем которых он стал.

И на всю жизнь сохранил Л. Мартынов эту истовость книголюбца, эту высокую страсть ценителя и знатока книги. Если Маяковский приобщил его к кирпично-локобельному, пакагаузно-элеваторному Омску, ко многим событиям первой мировой вой-

ны, то Блок дал ему «ощущение Куликова поля, ощущение Руси».

Именно Александр Блок, по словам Л. Мартынова, наделил его «предощущением близкой революции». Мартынов не скрывает, что по молодости лет он принял Октябрь в первую очередь как освобождение от гимназической муштры, от официальной церковности, а не как всемирно-исторический переворот и в судьбе народа и в своей собственной судьбе. Однако в поэзии да и в автобиографической прозе он постоянно возвращается к мысли, что его юношеский максимализм в отношении ко всему «старью» как нельзя более соответствовал атмосфере тех лет, что великий Октябрь проверил чертоги муз, вызвал к жизни революционное искусство, дал свободу «новаторской кисти». Юношеское увлечение кубизмом и футуризмом Мартынов оценивает в «Воздушных фрегатах» по-разному: иногда воодушевляясь, иногда иронизируя. Противоречивость этих оценок выразилась полнее всего в главе «Омские озорники». Буйная ватага молодых людей, среди которых были и такие впоследствии выдающиеся деятели советской культуры, как художник Виктор Уфимцев и композитор Виссарион Шебалин, под водительством эксцентричного «короля писательского» Антона Сорокина устраивала всевозможные объединения и артели, поэтические вечера, а более всего — выставки левого искусства. «Конечно, — обобщает Мартынов, — все это было достаточно наивно, но зато пестро, броско и видно издалека». Замечу, что в новеллах, воскрешающих и эти сборища, и эти выставки, и эти встречи, заключено немало интереснейшего материала для историков советской литературы, дано немало выразительных портретов и характеристик зачинателей нового искусства Сибири.

Всегда занятый, погруженный в партийные дела А. П. Оленич-Гнененко был прямой противоположностью неуравновешенному, убежденному в собственной гениальности Антону Сорокину. Интеллигентный и застенчивый Вивиян Игин, писатель-фантаст, один из основателей журнала «Сибирские огни», мало походил на Ивана Ерошина, невысокого, сутулого крестьянского поэта, писавшего необычные стихи вроде: «Я, Василий, выпил чаю чашку, я надел из пламени рубашку...» Казалось бы, не много общего было между ученым-минералогом и поэтом Петром Дравертом и Всеволодом Ивановым, автором сборника «Рогоульки»,

а в дальнейшем известным советским писателем. Однако под пером Леонида Мартынова все эти молодые в ту пору литераторы, поэты, художники предстают в чем-то необыкновенными или, во всяком случае, ярко талантливыми людьми. И эта их талантливость, их одержимость новыми идеями в живописи, в литературе, в самой жизни придают особое, неповторимое обаяние лучшим новеллам книги, выделяет «Воздушные фрегаты» среди других автобиографических изданий.

Весьма впечатляюще, например, передана атмосфера художественных поисков в новелле, посвященной Виктору Уфимцеву, его келье-мастерской, его только что законченным полотнам.

«Первым чудом, — пишет Мартынов, — был кусок желтой песчаной пустыни, перерезанной сизо мерцающим рельсовым путем, между шпалами которого белея фарфоровая шпала».

Казалось бы, и сейчас эта картина производит несколько странное, скажем так, впечатление. Но следует вспомнить, что сам поэт и его друзья-будетяне испытывали некую неудовлетворенность медлительностью преобразования бревенчато-кирпичной, папахо-малахайной жизни в новую железнодорожно-промышленную социалистическую явь Сибири, равно как и всей азиатской части страны, что они стремились пластически выразить то, что через несколько лет станет Турксибом. И что их творческие поиски не расходились с делом. Леонид Мартынов первым среди журналистов прошел по будущей трассе Турксиба, совершил полет над Барабинской степью на агитсамолете, изучил работу черлакского зернотреста, побывал на риддерских рудниках.

Если следовать логике «здравого смысла», то поездка в Москву, пребывание в общезжитии ВХУТЕМАСа, куда молодой омский художник и поэт намеревался поступить, — все должно было бы обострить урбанистический пафос его творчества, «кубизм» его мироощущения. Но логика «здравого смысла» никогда не была близка Мартынову. Случилось обратное — именно в Москве он «впервые глубоко ощутил свою русскость, свою непосредственную связь с русской культурой, со своими прадедами и прабабушками...».

«Москва, — пишет Мартынов, — привлекла меня и Щукинской галереей, и театром Мейерхольда, и близким соседством с Маяковским и Хлебниковым...» Его по-

прежнему интересовала новизна жизни больше, чем ее старина, однако настала эпоха, когда «примитивные доспехи кубизма» стали сковывать его, стеснять поэтическое дыхание. В окружающем мире обнаруживались не только прямые, но и обратные причинные связи, и новизна этого мира была сложнее, противоречивее, чем думалось раньше. Вернувшись в Омск, Мартынов сбросил с плеч свои доспехи. И все-таки остался поэтом, который на многие явления действительности смотрел через подозрительную трубу романтики, остался поэтом необычайных перевоплощений и метаморфоз, ассоциативных и временно-пространственных сдвигов, невиданных прежде скоростей... Журналистские странствия продолжались и приносили новые встречи то с бергалами — старыми горячками, — то с обитателями мариупольских землянок.

В заключительных главах «Воздушных

фрегатов» поэт высказывает то, что волновало его и раньше, а теперь окончательно оформилось в его сознании, — речь идет о чувстве принадлежности к роду, чувстве прародинности. Это чувство проснулось в нем от прикосновения к человеческим массам, которые после революции хлынули из-за Урала на восток... Все эти землекопы, плотники, каменщики, тачечники, грузчики из-под Рязани, из-под Тамбова, из-под Чернигова и Смоленска — рабочие первых советских строек в Сибири — приводили его к мысли, что и у него, Мартынова, есть своя крестьянская родословная, что и его род из того же российского корня. Это новое ощущение своего конкретного «я» как части единого и многоликого целого на многие годы вдохновило автора «Воздушных фрегатов», определило его дальнейшие замыслы, его художественные свершения.

Валерий ДЕМЕНТЬЕВ.



Политика и наука

И ПЕРОМ И ШТЫКОМ

Семен Борзунов. Подвиг, отлитый в строки. Повести о журналистах. М. «Современник». 1974. 256 стр.

Если вы выедете железной дорогой из Волховстроя на юго-запад, по направлению к Чудову, то вскоре окажетесь на станции Гостинополье. А вблизи деревенька Вындин Остров. В этом лесном и болотистом крае многие населенные пункты весной и осенью действительно становятся островками. Отсюда и названия: Ларионов Остров, Посадников Остров и даже Уродов Остров...

В начале октября 1941 года в Вындине Острове наряду с другими штабными учреждениями 4-й армии разместились и редакция ежедневной красноармейской газеты «В бой за Родину». В некогда тихом, дремлющем селении зашумел вдруг и загудел военный быт. Появились солдаты, командиры, политработники, врачи и сестры из медсанбатов, журналисты... На избах ставились опознавательные знаки, потянулись провода, маскировались автомашины, и патрули строго проверяли документы. Суровое дыхание войны коснулось и этих мест. Отсюда выезжали мы, военные корреспонденты, на передний край, в армей-

ские части, которые вели тогда тяжелые оборонительные бои на Волхове.

— Вы отправитесь в Триста десятую дивизию полковника Замировского, — сказал мне редактор, — вместе с политруком Семеном Борзуновым. Это очень молодой, но уже крепко обстрелянный боец-газетчик...

Борзунова я знал. Нам уже довелось совместно пережить мучительную потерю, когда редакция находилась еще на пуги к Вындину Острову. Во время бомбежки и обстрела эшелона погиб наш сотрудник, известный в предвоенные годы московский писатель Александр Иванович Тарасов. Мы стояли с ним и с Семеном Борзуновым у открытых дверей теплушки, опершись на перекладину, и наслаждались лесными ароматами и многообразием красок разгоревшейся осени, которую, кстати, прекрасно описал в повести «Охотник Аверьян» сам Тарасов, уроженец этих мест. Поезд отошел от станции Кабожа Хвойнинского района, когда на нас обрушились внезапно и одновременно вой авиационных моторов, взрывы бомб и треск крупнокалиберных

пулеметов. После окончания налета невдалеке от нашего вагона мы увидели лежавшего на примятой траве, тихо стонущего Тарасова. Военврач накладывал повязку на живот раненого. «Худо», — сказал кто-то. Это произошло 30 сентября 1941 года. Мы с Борзуновым и другими товарищами по редакции похоронили писателя на сельском кладбище в ближайшей деревне Горка, сказали прощальные слова, дали салют из пистолетов и укрепили дощечку с надписью... Возвращались к вагонам молча и вскоре двинулись к фронту как бы в память о писателе другим маршрутом, по земле, родившей его, через Вологодку и Череповец, на Волховстрой, в Гостинополье.

Для меня это была одна из первых встреч с кровавой жестокостью войны, Борзунов же столкнулся с ней на рассвете 22 июня под Перемышлем, в танковой дивизии, которая прямо с тактических учений была брошена в бой. Там полицгрук Борзунов получил фронтовое крещение. Затем назначен в нашу газету, и вот мы в штабе 310-й дивизии в деревне Дуняково на речке Черной, потом в одном из полков, сдерживающих напор немецких войск, рвущихся к Волховстрою. Много было у нас таких совместных поездок на передовую и тогда и позднее, когда шли сражения за Тихвин и в районе Будогощи и Киришей... Поэтому я могу взять на себя смелость быть не только рецензентом книги Семена Борзунова «Подвиг, отлитый в строки», но и как очевидец свидетельствовать, насколько истинно его документальное повествование о подвигах, о жизни и быте советских журналистов в годы Великой Отечественной войны.

Литература на эту тему необозрима — так многочисленны мемуары, дневники, записки, посвященные фронтовой деятельности наших газетчиков. Много еще будет сказано. И хорошо, если каждая новая книга о людях армейской, военной печати не повторяет то, что уже всем известно, а открывает какие-то вновь увиденные, еще непознанные, неосвещенные черты характера и обстоятельства боевой работы литератора в действующих войсках. Мне кажется, что повести Борзунова, основанные на реальных событиях, рассказывающие о действительных людях, какими они были в то героическое время, вносят свое слово в летопись военной журналистики незабываемых лет.

Кем был писатель на фронте? Свидете-

лем или участником борьбы? Чтоб найти верный ответ на этот вопрос, достаточно заглянуть в Центральный дом литераторов или в Дом журналиста в Москве, в редакцию любой центральной или местной газеты, где на мраморных досках золотом обозначены имена погибших. Поистине перья делают из той же стали, которая идет на штыки, как сказал поэт. Красной линией сквозь все очерки Борзунова проходит отчетливое сознание журналистом своей внутренней причастности ко всем боевым делам солдата, стремление находиться не позади обороняющихся или наступающих цепей, а вместе с ними, рука об руку, бок о бок, плечом к плечу... Таков и поэт Яков Чапичев, которому посвящена первая повесть, вошедшая в книгу. Послушайте:

«В полдень батальон получил приказ проинформировать разведку боем. А если удастся, то и окопаться на новом рубеже.

Чапичев тоже стал готовиться к походу. Попросил для себя саперную лопату. Но командир твердо сказал, что в бой журналиста не возьмет.

— Почему же? — недоумевал Чапичев.

— Вы разве не знаете?

— Нет.

— Поэт вы!

— Но я же не великий! — хотел обратиться все в шутку Чапичев.

— Для нас в самый раз, — попросту ответил офицер.

— Что же это такое, — размышлял Чапичев, глядя вслед удаляющимся солдатам. — Корабль ушел, а я остался на берегу. А когда он вернется, я должен описывать его плавание. Ерунда какая-то! — И он решительно выбрался из окопа.

В этом диалоге весь Чапичев, поэт, журналист, но прежде всего и больше всего солдат! Да и познакомился с ним Борзунов почти в такой же ситуации. Будучи инструктором-литератором в дивизионке, Чапичев одновременно исполнял обязанности заместителя командира танкового батальона по политчасти. Вместе с бойцами, находясь в танке, отбивал он атаки вражеских машин. А потом брались за противотанковые ружья, бросали бутылки с зажигательной смесью. Да, он не мог оставаться на берегу, когда корабли шли на штурм. Писать он был способен только о том, что сам видел, пережил, переживал. Таков он был в реальности, и его психологический портрет передан Борзуновым в повести «Подвиг, отлитый в строки».

давшей название всей книге, правдиво и точно. Именно таким запомнился Яков и мне, когда стал сотрудником нашей армейской газеты «В бой за Родину».

Горькие переживания выпали тогда на нашу долю. Мы оставляли Тихвин в ночь на 8 ноября 1941 года. Праздник был омрачен. Редакционные автомашины едва успели выбраться из города. Мы отходили, освещаемые фарами настигавших нас немецких танков. Борзунов рассказывает, что Чапичев одним из первых увидел вражеских разведчиков и открыл по ним огонь. Он прикрывал отход нашей редакции и был в этом бою самым собой: поэтом-воином!

Впрочем, о своем поэтическом творчестве он не любил распространяться. Борзунов говорит о скромности Чапичева, который называл себя «никудышным поэтом». Но эта «самокритика» была необоснованной. Приведенные Борзуновым в его документальной повести стихи Чапичева свидетельствуют о его развитом поэтическом чувстве, о недюжинном стихотворном мастерстве. Многие произведения Чапичева публиковались еще в довоенное время и становились популярными песнями. Сейчас в армейской газете Чапичев печатал патетические строфы, частушки, сатиру — все, что требовалось от поэта в боевые дни. Собирал он и произведения солдат и офицеров для литературных страниц. А из поездок на передний край он не всегда возвращался в редакцию: иногда в медсанбат или в госпиталь вследствие ранения. Так было во время освобождения Тихвина, когда Чапичев оказался в подразделении автоматчиков и вместе с ними вел бой.

«А как принял редактор весть, что его нового корреспондента угораздило попасть в госпиталь?» — беспокоился он. Но эта тревога не помешала Чапичеву впоследствии не раз участвовать в боевых операциях и вновь попадать на больничную койку. А жизнеутверждающее настроение не покидало его: «...кто однажды пережил удар термитного снаряда по броне, тот особому понял смысл жизни»... После нового ранения Чапичев уже не возвратился в нашу газету, но Борзунов тщательно проследил весь дальнейший путь славного военного журналиста и поэта. Он сражался на других фронтах и дошел до Бреставля, где погиб в уличных боях. Посмертно Якову Чапичеву присвоено звание Героя Советского Союза.

Мне представляются ценными для истории Великой Отечественной войны, как и для патриотического воспитания, документальные произведения не только о выдающихся, но и о рядовых участниках разгрома и уничтожения фашистских захватчиков. Применительно к изображению деятельности фронтовых писателей и журналистов можно сказать, что много (и заслуженно) написано о «генералах-классиках», в то время как обойдены вниманием печати некоторые военные газетчики (в том числе прозаики, поэты, критики...), которые самоотверженно, а нередко и героически служили своей Родине в час решающих испытаний, отдавая жизнь делу Победы. С этой точки зрения правдивые повествования о таких людях, как Яков Чапичев, имеют принципиальное значение. Нелишне заметить попутно, что об упомянутом мною выше писателе Александре Тарасове нигде не довелось прочитывать ни строчки, хотя его драматическая военная судьба несомненно заслуживает уважения и внимания.

Вторая очерковая повесть Семена Борзунова, вошедшая в сборник, весьма удачно раскрывает своеобразие журналистской работы на фронте. Ее название характерно: «Ради нескольких строчек». Верно, ради нескольких строчек, вовремя переданных из гущи боя в редакцию армейской газеты, приходится преодолевать неслыханные препятствия, затрачивать огромные усилия, рисковать жизнью. И эти несколько строчек о подвиге бойцов и офицеров сами становятся подвигом военного корреспондента. О том, как это происходит, Борзунов рассказывает выразительно и эмоционально, опираясь на собственный опыт и тонкие писательские наблюдения.

Идет 1943 год. Сентябрь. Форсирование Днепра. Четыре добровольца-смельчака: гвардии рядовые Иван Семенов, Николай Петухов, Василий Сысолятин и Василий Иванов. Таков был первый десант. Пройдет всего лишь несколько дней, вся страна узнает имена храбрецов. Они будут удостоены высокого звания Героев Советского Союза. А пока командир батальона обращается к ним, указывая на темную кручу над Днепром: «Там смерть... Но там и победа. Другого пути у нас нет». Вслед за отважной четверкой, которая должна захватить плацдарм на западном берегу, идет вторая лодка с передовой группой, и в ней корреспондент... Для того, чтобы вме-

сте с бойцами закрепиться на занятой врагом родной земле, выбить его отсюда и немедленно передать об этом в газету. Как же иначе узнает народ о своих героях, об их великих делах?

«Забрав во двор отвоеванной у гитлеровцев хаты, сел на колоду под вишенкой и стал быстро писать о том, что видел. Когда наскоро набросал корреспонденцию о тех, кто первым форсировал Днепр, передо мной встал вопрос: как передать это в редакцию? Паром, конечно, еще не работает, радиосвязи нет. Значит, снова переправляться через реку самому под почти непрерывной бомбежкой «юнкеров», под огнем артиллерии и пулеметов. Да, только так! Иного пути нет. А если не доставить корреспонденцию в редакцию, тогда ни к чему окажутся и все мои старания и риск. Тогда напрасно занимал я место в лодке»...

Трижды пыгается корреспондент перебраться на восточный берег — и неудачно, лишь в четвертый раз ему это удастся, несмотря на беспощадный огонь вражеских минометов. И вот материал в редакции, мгновенно распространяется радостная весть о победе на Днестре, становятся известными имена героев. Ради таких нескольких строчек жили, боролись, а нередко и погибали военные журналисты.

Борзунов передает характерную оценку:

«Редактор выслушал доклад, мимо ушей пропустил просьбу отвести целую газетную полосу для моих героев и, протянув руку, попросил только корреспонденцию, о которой я сказал, что это будет лишь вступление ко всей полосе. Он взял статью, молча прочел ее, что-то поправил и отдал на машинку.

— Отдыхайте, завтра снова за Днепр, — кивнул он мне.

— Товарищ полковник, а как же с остальными материалами? — несмело спросил я.

Редактор посмотрел на меня и сочувственно улыбнулся:

— Я понимаю, у вас материала на несколько номеров. Но и другие привозят столько же. Вон Орехов передал два очерка и подборку на полосу. И знаешь, откуда передал? Из госпиталя.

— Что с ним?

Редактор будто не расслышал моего вопроса.

— Из всего этого, — продолжал он, —

удалось поместить только несколько строк: подтекстовку под фотографией героев. — Помолчал, затем сказал с горечью: — А корреспондент остался без ноги...

Я стоял ошарашенный, сбитый с толку этими словами.

— Как? И это... Ради нескольких строчек?!

— Да. Именно ради нескольких строчек. Одни идут на смерть, чтобы освободить еще несколько пядей родной земли, принести свободу людям, спасти жизнь на земле. А вот мы, журналисты, — ради нескольких строчек... Но эти строчки вдохновляют на победу...»

Я привел эту длинную выдержку, ибо, на мой взгляд, она удивительно верно воссоздает реальную обстановку работы военного корреспондента армейской или фронтовой газеты. Тут были свои радости от сознания хорошо и вовремя выполненного долга, были и немалые огорчения, страдания и потери. Борзунов рассказывает об этом без преувеличений и умаления. Как было в самой жизни, суровой, трудной, но и счастливой!..

Правдивостью отличается и третье документальное повествование — о фронтовом журналисте Сергее Деревянкине и его герое Чолпонбае Тулебердиеве. «Каждый новый очерк, — говорит Борзунов, — это чья-то жизнь, которая стала частью твоей жизни». Так военная судьба Чолпонбая Тулебердиева, храброго разведчика, гвардии рядового, штурмовавшего врага на земле тихого Дона, оказалась неразрывными узлами связанной с делами и днями политика-газетчика Сергея Деревянкина, который воевал совместно со своим киргизским другом и написал о нем пламенные и душевные строки. Герой Советского Союза Тулебердиев остался в памяти народа благодаря талантливому журналистскому перу Деревянкина, который всем сердцем прикипел к характеру отважного бойца. Повесть «Не первая атака» — гимн дружбе пера и штыка, которые совместно и беззаветно служили освобождению Родины от ненавистных захватчиков.

Семен Борзунов достоверно и свежо рассказал о славных людях газетного племени в годы Отечественной войны, об их самоотверженности и подвигах на передовых линиях фронта, об их великом вкладе в дело Победы.

Григорий БРОВМАН.

«ВОЮЮЩАЯ ПАРТИЯ»

Во главе защиты Советской Родины. Очерк деятельности КПСС в годы Великой Отечественной войны. М. Политиздат. 1975. 407 стр.

«Вдохновителем и организатором борьбы советского народа с фашистской Германией была ленинская Коммунистическая партия — руководящая и направляющая сила нашего общества. В исключительно трудных условиях она сумела мобилизовать советский народ на священную борьбу против фашистских захватчиков и, несмотря на временные неудачи в начальный период военных действий, добиться коренного перелома в ходе войны и обеспечить победоносное ее завершение», — говорится в постановлении ЦК КПСС «О 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов».

Многогранной политической, идеологической и организаторской деятельности партии по мобилизации народов СССР и Вооруженных Сил на сокрушительный разгром врага посвящена монография «Во главе защиты Советской Родины», выход в свет которой приурочен к тридцатилетию великой Победы.

В книге на основе широкого документального материала раскрыта титаническая деятельность партии по укреплению обороны страны накануне великих испытаний, по организации и мобилизации советского народа во все периоды Великой Отечественной войны. Авторам, умело построившим свой труд, удалось показать ответственность каждого периода войны, рассмотреть основные направления деятельности партии в годы всенародной борьбы с фашистскими оккупантами.

Несмотря на беспримерный героизм бойцов и командиров Красной Армии, гитлеровцам удалось в первые дни войны продвинуться в глубь нашей страны. К началу июля фашистские войска захватили Литву, часть Молдавии, Латвии, Западную Украину. Ударные группировки фашистской армии устремились к Ленинграду, Москве, Киеву. Над страной нависла смертельная опасность.

Авторы монографии ставят вопрос о том, в чем же состояли причины наших военных неудач. И дают обстоятельный ответ. Гитлеровцы использовали временные преимущества: милитаризацию своей экономики, всей жизни Германии, длительную подготовку к захватнической войне, опыт

военных действий на Западе, превосходство в вооружении и численности войск, заблаговременно сосредоточенных в пограничных районах. В распоряжении фашистской Германии оказались экономические и военные ресурсы почти всей Западной Европы. Советскому Союзу пришлось вступить в единоборство с колоссальной военной машиной.

В предвоенные годы Коммунистическая партия уделяла первостепенное внимание укреплению обороноспособности страны. Учитывая нарастающую угрозу войны, решения XVIII съезда ВКП(б), XVIII партийной конференции, ряд постановлений ЦК и правительства глубоко обосновали необходимость усиления Вооруженных Сил. Были разработаны меры, направленные на улучшение организации и военной подготовки Красной Армии и Флота. Проведение их в жизнь повысило боевую мощь и боеспособность наших войск. Но многие мероприятия к июню 1941 года завершить не удалось.

Война, навязанная нашему народу, была самой жестокой и тяжелой из всех войн, которые когда-либо знала мировая история. В ней решался вопрос о жизни и смерти Советского государства, страны победившего социализма. Коммунистическая партия, сознавая опасность, нависшую над нашей Родиной, взяла на себя всю ответственность за защиту страны. Она в своей деятельности руководствовалась учением В. И. Ленина о защите социалистического отечества.

Коммунистическая партия разрабатывала политическую линию, программу действий государственных и партийных органов, общественных организаций и всего народа на различных этапах войны.

В директиве СНК СССР и ЦК ВКП(б) партийным и советским организациям прифронтовых областей от 29 июня 1941 года изложен глубоко продуманный план борьбы с фашистской Германией. Это был программный документ, на основе которого проводилась перестройка партии и страны. «Все для фронта! Все для победы!» — таково было требование времени.

Партия проводила огромную идеологическую и организаторскую работу, осуществляла непосредственное руководство во-

оруженной борьбой на фронтах, руководила всенародной борьбой советских людей в тылу врага.

В монографии убедительно показано, как ЦК ВКП(б) слил воедино политическую, идеологическую, экономическую, дипломатическую и военную области деятельности партии. С начала Великой Отечественной войны была создана четкая система партийного руководства армией, народным хозяйством, партизанским движением. Наряду с методами партийной работы мирного времени пришли новые, свойственные военному времени. Усилился централизм. В деятельности партийных организаций повысилась оперативность, партийная дисциплина, более жестким стало требование ответственности коммуниста за порученное дело. Повысилась беспособность партийных организаций и всей партии. Боевым штабом партии в годы войны по-прежнему выступал ее Центральный Комитет. Все принципиальные вопросы руководства страной, ведения войны решались ЦК партии и его органами — Политбюро, Оргбюро и Секретариатом. За годы войны состоялось свыше 200 заседаний этих органов. Для оперативного решения вопросов созывались совместные заседания Политбюро и ГКО, Политбюро и Ставки, а наиболее важные из них рассматривались совместно Политбюро, ГКО и Ставкой.

Коммунистическая партия сосредоточила лучшие свои силы на самых ответственных, решающих участках войны, прежде всего в Действующей армии. Проводились персональные партийные мобилизации для замещения должностей политработников высшего и старшего звена. Только за первые полгода войны в армейские и флотские партийные организации влилось по общей мобилизации военнообязанных более 1 100 тысяч коммунистов, за все военные годы — 1 640 тысяч человек. В суровую пору сражений с врагом многие советские люди решили связать свою судьбу с ленинской партией. Наибольшее число заявлений поступало от воинов Действующей армии. ЦК ВКП(б) пошел навстречу желанию этих воинов, приняв решение о льготных условиях вступления в партию отличившихся в боях. Это было важнейшее мероприятие по укреплению партийных организаций армии. Всего с 1 июля 1941 года по 1 июля 1945 года кандидатами партии стали 5 095 848 человек, в члены ВКП(б) вступило 3 304 237 человек, в

том числе партийными организациями армии и флота было принято соответственно 3 788 тысяч и 2 376 тысяч воинов. В годы войны в боях за Родину погибло 3 миллиона коммунистов, но ряды партии за это время выросли в полтора раза. За войну парторганизации Красной Армии увеличились в 5 раз, а Флота почти в 3 раза.

В предвоенные годы 83,7 процента всех членов и кандидатов партии были заняты в социалистическом строительстве, а во время войны 81,8 процента всех коммунистов партия сосредоточила в Вооруженных Силах и в отраслях народного хозяйства, обслуживающих нужды армии и флота. Если в годы гражданской войны в Красной Армии на каждые 100 бойцов приходилось 5 коммунистов, то в начале Великой Отечественной войны коммунисты составляли 13 процентов всего личного состава Вооруженных Сил, а к концу ее каждый четвертый воин был членом или кандидатом в члены партии. Коммунисты армии и флота постоянно находились в первых рядах защитников Родины. Три четверти всех удостоенных звания Героя Советского Союза — члены партии.

Укрепляя Вооруженные Силы, партия проводила широкую военно-мобилизационную работу, проявляла заботу о техническом оснащении армии и подготовке военных кадров. В книге убедительно показана роль партии в решении этих задач. Только в первые восемь дней войны в Вооруженные Силы влилось 5,3 миллиона человек. С начала войны до декабря 1941 года было вновь сформировано 291 дивизия и 94 бригады в Ленинграде, Москве и других городах, по инициативе коммунистов создано около 60 дивизий народного ополчения и 200 отдельных полков, много батальонов, рот, взводов, отрядов. Общая численность народного ополчения составила около 2 миллионов бойцов. Многие ополченческие соединения в ходе войны стали кадровыми частями армии.

Благодаря огромной организаторской деятельности Коммунистической партии Советская Армия получила необходимое количество новейшей военной техники. На заседаниях Политбюро ЦК партии и ГКО детально обсуждались планы оснащения Вооруженных Сил новой боевой техникой и вооружением, за поступлением их на фронт был установлен строгий контроль.

Деятельность Коммунистической партии, трудовой подвиг рабочего класса позволи-

ли нашей стране при меньших по объему промышленных мощностях и суженной базе стратегического сырья и материалов производить больше военной техники, чем фашистская Германия.

Вероломное нападение фашистской Германии на нашу страну вызвало лютую ненависть к врагу у всех советских людей. И стар и млад поднялся на священную войну. Невиданный размах приняло партизанское движение, организатором и руководителем которого явилась Коммунистическая партия. В директиве от 29 июня и постановлении ЦК партии от 18 июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск» содержалась конкретная программа по созданию партизанских отрядов и подпольных партийных и комсомольских организаций.

В монографии убедительно и полно показана деятельность партийных организаций в тылу врага. В 1941 году на оккупированной территории, несмотря на исключительно трудные условия, действовало 16 подпольных обкомов, один обларпартцентр, 6 окружкомов, 2 межрайпартцентра, 240 горкомов, райкомов и других подпольных партийных органов, более 2 тысяч партизанских отрядов.

Гитлеровские войска несли большие потери от народных мстителей. Советские партизаны и подпольщики, по далеко не полным данным, за время войны организовали более 20 тысяч крушений поездов с войсками и боевой техникой врага, уничтожили 10 тысяч паровозов, 110 тысяч вагонов, 12 тысяч железнодорожных и шоссейных мостов, 2300 танков и бронемашин, ими было сбито и уничтожено на аэродромах более 1100 самолетов. Советские партизаны убили, ранили и взяли в плен около 1,5 миллиона гитлеровских солдат, офицеров и их пособников.

Командование немецко-фашистских войск было вынуждено для борьбы с партизанами отвлечь до 10 процентов своих регулярных войск.

В достижении победы над немецко-фа-

шистскими захватчиками огромную роль сыграла идейно-воспитательная работа. Партия руководствовалась указаниями В. И. Ленина о том, что «государство сильно сознательностью масс» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 35, стр. 21). «Во всякой войне,— говорил В. И. Ленин,— победа в конечном счете обуславливается состоянием духа тех масс, которые на поле брани проливают свою кровь» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 121).

Многие решения ЦК партии были направлены на усиление политико-воспитательной работы в войсках и среди населения. За четыре года войны в советском тылу состоялось более 3 миллионов докладов и лекций, которые прослушали свыше 300 миллионов человек.

Гражданская битва с гитлеровской Германией показала величие духа советского народа, его беспримерную самоотверженность и массовый героизм. Через тягчайшие испытания, какие еще не выпадали на долю никому, говорил Л. И. Брежнев в речи, посвященной пятидесятилетию Великого Октября, сквозь огонь и кровь небывалых по масштабам боев пришел советский народ к своей великой победе.

«В годы суровых военных испытаний во главе борющегося народа стояла партия коммунистов,— говорится в тезисах ЦК КПСС «50 лет Великой Октябрьской социалистической революции».— Она организовала, вдохновила, идейно вооружила советский народ на борьбу с врагом. Лучшие сыны Коммунистической партии были на переднем крае вооруженной борьбы с фашизмом... Наша партия была поистине сражающейся партией». Это явилось блестящим подтверждением ленинской идеи о том, что в военных условиях «идеалом партии пролетариата является воюющая партия» (В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 14, стр. 8).

П. ИСАКОВ,

*полковник, доктор исторических наук,
профессор.*



КОРОТКО О КНИГАХ



БОРИС АГАПОВ. Шесть загранич. Очерки. М. «Советский писатель». 1974. 408 стр.

Ни широта географического охвата — при всей насыщенности сборника очерков экзотическими описаниями и этнографическими наблюдениями, — ни «эссеистская» свобода повествования, с которой причудливо переплетаются дорожные впечатления, читательский дневник, психологические портреты, воспоминания о детстве, — не это определяет жанр последней книги Бориса Агапова, замечательного художника и публициста. Свообразие этого сборника состоит прежде всего в том, что повествование здесь являет собой органичный сплав свежести художнического мироощущения, философского осмысления действительности и страстной публицистичности.

Тон всей книге задает серия очерков, помещенных в первом разделе, — «После битвы. 1945 год». Тон этот — счастье победы, уверенность в правоте нашего дела и вместе с тем неизбежная тревога за судьбы мира и человечества.

...Через три недели после капитуляции фашистской Германии автору книги, в составе группы советских кинодокументалистов довелось побывать в самом капище коричневой чумы: «Ощущение духоты, не только физическое, но и моральное, охватило нас. Мы были в Берлине. В самом центре всех несчастий, которые перенес мир за последние четыре года, в средоточии самой неистовой жестокости, какую когда-нибудь знала история, в столице империи, претендовавшей на мировое владычество. Осознать это было невозможно сразу. Говорить об этом было странно».

Страницу за страницей перелистываем мы вместе с писателем застывшую историю пруссачества, запечатленную в полуразрушенных — и оттого не менее зловещих — архитектурных и скульптурных памятниках: «Нацистская архитектура и скульптура прежде всего эклектичны. Они нелепым образом сочетали в себе Египет, Вавилон, готику и тот безрадостный функционализм, который возник от чиновного обращения с идеями Беренса, Гропиуса и Бруно Таута. Вся эта мешанина использована только с единственной целью: подавить воображение, испугать, создать впечатление непреодолимой мощи империи и

ничтожества перед нею отдельных волей. Это была пропаганда страхом и страхом...

Отвратительная утилитарность Треблинки есть во всей конструкции рейхсканцелярии. Она же создана, она выдумана. Это нечто вроде собачьего станка для производства экспериментов на рефлексы. Тут все предумышленно и все с одним расчетом: вызвать рефлекс покорности».

Вместе с автором книги мы останавливаемся у дома, где шел процесс Дмитрова, — «на том месте, где началось сражение коммунизма с фашизмом и где фашизм потерпел свое первое поражение». Сейчас, спустя тридцать лет после великой Победы, мы зримо убеждаемся в том, что Берлин возродился городом для людей.

Сказать в одной фразе о главном в книге Бориса Агапова — это картина мира после Победы, в результате Победы. Это рассказ о величайшем событии в истории человечества 9 мая, так сказать, в «международном аспекте».

Ощущение тревоги возникает на тех страницах, где рассказывается, как в полуразрушенном Берлине автор сталкивается с группой «молодых людей в белых пальто, руки в карманах, расставленные ноги, сигары в зубах». Казалось бы, только что фашизм испустил свое последнее дыхание, а гидра военщины уже явила свою новую ишюстась — неофашизм...

Образы этих молодчиков вновь будут маячить перед нами и в путешествии по послевоенной Японии, когда мы вместе с автором обнаружим там новые гнездилища смерти — американские военные базы. И сколь же не праздными были слова поэта о том, что «вся земля из просмоленной пакли — стоит только спичку поджечь».

Писатель размышляет о зарождении и природе фашизма: «Если немецкому обывателю надо было взбеситься, чтобы стать гитлеровским воякой, то с обыкновенным японцем дело обстояло иначе», — говорит о благодатной почве, подготовленной еще средневековым самурайским кодексом.

Некоторый максимализм оценок, присущий автору книги «Шесть загранич», в конечном счете оборачивается привлекательной чертой его творческой индивидуальности. Прибавьте к этому великолепное чувство слова, умение соотносить его смысловую наполненность с музыкаль-

ностью звучания — и вы убедитесь в том, сколь неисчерпаема природа жанра, скромно названного на обложке этой волнующей книги, — «очерки».

М. Апыцферов.

Иваново.



А. ЛЕБЕДЕВ. Морская купель. Ярославль. Верхне-Волжское книжное издательство. 1974. 176 стр.

Ноябрьской ночью 1941 года подводная лодка «Л-2» ушла из Кронштадта в боевой поход. На ее счету было несколько потопленных боевых кораблей: балтийцы-подводники знали свое дело. Но из этого похода лодка не вернулась. Штурманом ее был лейтенант Алексей Лебедев.

Уходя в поход, лейтенант передал письмо жене. Там были стихи, последние стихи поэта Алексея Лебедева:

...Но если пенные объятья
Нас захлестнут в урочный час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас...
Переживи внезапный холод.
Полгода замуж не спеши.
А я останусь вечно молод
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога — море.
Моя могила и купель.

Стихи трогают мужественной сдержанностью и великодушием, чистотой открытой, широкой, хотя и суровой на первый взгляд души русского человека — воина.

Жизненный путь Алексея Лебедева был коротким и прямым. Родился он 1 августа 1912 года в Суздале, недолгое время жил в Костроме, затем в Иваново, где напечатал свои первые юношеские стихи. Три года служил в торговом флоте на Севере, добровольцем пошел в Военно-Морской флот. В 1936 году поступает в Ленинградское высшее военно-морское училище имени Фрунзе, через четыре года блестяще заканчивает его с дипломом штурмана подводного плавания.

Лишь в последние три-четыре года жизни широко раскрылся талант поэта Лебедева. В это время он, не расставаясь с легкой флотской службой, много пишет, публикует стихи, вошедшие в сборники «Кронштадт» (1939) и «Лирика моря» (1940). Открыли и поддержали талант молодого поэта, направили его шаги в большую литературу Н. С. Тихонов, Б. А. Лавренев, В. В. Вишневский. В трудном 1942 году в блокадном Ленинграде посмертно был издан сборник «Огненный вымпел», любовно собранный друзьями поэта.

Книги его стихов не раз печатались и в послевоенные годы; именем Алексея Лебедева по праву названы улицы в его родных городах — Суздале, Иваново, Кронштадте...

В канун тридцатилетия Победы сборник его стихов «Морская купель» издан в Ярославле — рядом с родиной поэта.

О чем писал Алексей Лебедев? Что вдох-

новляло поэта? Он пишет о флоте как о родном и близком живом существе. Профессия моряка, его трудная, почетная служба, военно-морская история, герои русского флота, подвиги революционных балтийских моряков — неизменные темы его стихов.

В подчеркнутом стремлении найти поэзию в будничной жизни, в быту моряка, в его боевой каждодневной учебе сказывается и некоторая полемичность поэзии Лебедева, его спор с абстрактной книжной романтикой...

Главное для героя А. Лебедева — морская служба, верность долгу, военной присяге. Он чувствует себя хозяином своей земли, своих морей. И если к нему как следует приглядеться, увидишь богатырский размах чистой души, высокий полет его мечты. И родная природа, обрисованная двумя-тремя любовными и точными мазками, как бы живет вместе с героем моряком, всегда и повсюду сопутствует ему («Август», «Весна на флоте» и др.).

В лучших стихотворениях А. Лебедева («Авральная морская», «Морская пляска», «Ночная атака», «Август» и др.) проявляются зоркость художника, точность деталей, умелое владение звукописью, волевым, напористым ритмом.

Сохранилось лишь несколько стихотворений, созданных поэтом в первые месяцы Отечественной войны («Поход на «Вест», «Возвращение из похода» и др.). А. Лебедев писал в них о войне даже с несколько подчеркнутой сдержанностью, как о нежном каждодневном труде. Но каждая строка наполнена верой в торжество правого дела советского народа.

...Лежит на дне Балтийского моря, подорвавшись на минном поле у острова Керри, подводная лодка «Л-2» с красной звездой на рубке. Вечным сном спит в ней штурман Алексей Лебедев — «моряк, чья жизнь и сердце — флот». Но живут на флоте стихи Алексея Лебедева. Им суждена долгая жизнь. И не только на флоте.

В. Ружина,

кандидат филологических наук.

Бельцы.



А. КОГАН. Павел Шубин. («Писатели Советской России») М. «Советская Россия». 1974. 128 стр.

Павел Шубин был удивительно похож на свои стихи, утверждают хорошо знавшие его люди. Свою книгу о Шубине критик А. Коган и начинает с подобного свидетельства, подкупающего своей непосредственностью: писатель Ю. Домбровский, часто встречавшийся с поэтом на фронте, помнит его, к примеру, русым, хотя тот был черноволос. «Ошибка несомненная, — пишет исследователь, — но характерная: до того, видимо, слились в сознании воспринимающего сам Шубин и ощущение его

поэзии, полной красок золотых и зеленых, с ее былинно-русскими героями.

Серия, в которой вышла книга, предопределила ее специфику: очерк жизни и творчества поэта. В данном случае поэта явно романтического склада, и хотя в романтической поэзии между автором и его лирическим героем естественна разность, критик сводит эту дистанцию до минимума, тем самым формулируя суть человеческой и поэтической индивидуальности Шубина.

Такой подход позволил А. Когану с успехом обойтись тем небольшим количеством биографического материала, которым он располагал. Рассказ о стихах — одновременно рассказ о самом поэте, рассказ выразительный и подробный, так что у читателя возникает ощущение живого человека. Этим и подготавливается остроэмоциональное восприятие шубинской поэзии.

Однако исследователь далеко не сразу и не безоговорочно ставит знак тождества между поэтом и его героем. В контексте книги эти отношения переносятся как бы в символический план, выступая как своеобразный критерий оценки. Говоря о ранней лирике Шубина, А. Коган, пожалуй, даже рад заметить разность между ними и подчеркнуть ее. Зато, разбирая фронтные стихи поэта, критик сближает выраженный в них характер и характер самого Шубина, которому, как и его героям, было чуждо, говоря словами Маяковского, «позорное благоразумие».

Сравнивая между собой стихи, исследователь делает тонкое наблюдение, что в разных ипостасях — шофера в стихотворении «Шофер», фельдъегеря в «Пакете», бойца в стихотворении «Полмига» — проявляется, по сути своей, один и тот же характер, взятый в «момент наивысшего, сверхчеловеческого напряжения сил во имя победы». В этой связи А. Коган подробно разбирает стихотворение «Полмига», которое называет «одной из вершин нашей военной поэзии».

Нет,
Не до седин,
Не до славы
Я век свой хотел бы продлить,
Мне б только до той вон канавы
Полмига, полшага прожить...

И далее:

Мне б только
Эту эту гранату,
Злорадно поставив на взвод,
Всадить ее,
Врезать, как надо,
В четырежды проклятый взвод.
Чтоб стало в нем пусто и тихо.
Чтоб пылью осел он в траву!
...Прожить бы мне эти полмига,
А там я сто лет проживу!

«Здесь главное именно характер, — пишет исследователь. — В бою, в который он сейчас пошлет себя сам (на такое — не посылали), повторив (или упредив?) подвиг Матросова, а главное — художественно объяснив его...»

В этом А. Коган видит одну из сильнейших сторон фронтной лирики Шубина.

Павел Шубин прожил всего тридцать семь лет, четыре из них взяла война. Однако именно эти годы оказались для него как для поэта наиболее плодотворными: на фронте он написал свои лучшие стихи. Шубин всегда рвался на передовую; когда фронт стабилизировался, наприсился в конный рейд по тылам врага. И маленькие, случайные передышки в пути становились, по выражению критика, «плацдармом большой поэзии». Такой взлет, доказывает А. Коган, был глубоко закономерен для шубинской поэзии, в которой сосуществовали две противоположные, но равно характерные для него тенденции: с одной стороны, романтическое стремление ввысь, а с другой — явное тяготение к земным, реальным ценностям. В годы войны, «когда жизнь и сказка смешались», они органически слились, образовав характерный шубинский «сплав».

Критику присуща основательность изложения, он никогда не позволяет себе сказать что-либо важное вскользь, ограничиться намеком.

Первая монография о поэте вышла накануне тридцатилетия Победы — праздника, к которому поэт Павел Шубин имел самое непосредственное отношение.

И. Вивокурова.



АНАТОЛИЙ ЗЕМЛЯНСКИЙ. Земная песня. Поэмы, стихотворения, повесть в стихах. М. Воениздат. 1974. 316 стр.

Ритмы атаки в стихах о кавалерии, о мчащейся тачанке, о молниеносном взлете клинков. Эти ритмы в коротких всплесках знамени, подхваченного ветром, в скороговорке пулемета. Но вот звуковой образ сменяется зрительным:

Фильтрация мерцающего света
Сквозь ошалелый веер колеса.

И чуть дальше снова о тачанках:

Они ль над землей летели?
Земля ль из-под них неслась?

Так поэт Анатолий Землянский слышит «сердце века — Революцию» и, спрашивая, как бы утверждает: «Не твои ли, тачанка, ритмы сердцу века передались?»

Рядом со «Стихами о красной колеснице» развернута картина преображаемой страны, когда «трансвещественным экспрессом шла индустрия по стране».

Ритмы гражданской войны, ритмы строек и ритмы Великой Отечественной войны отзываются в стихотворной повести о современных десантниках, переключаются с поэмами «Земная песня», «Обнимаю памятью» и «Тугой парус, или Сказанья о встречах».

Стоит перечитать стихотворения «Бетховен», «Станция метро «Маяковская», «Анна Каренина», «Терциум нон датур», «Лепестки, опав с цветущих яблонь», «Ты солдаткой была...», «Эхо», чтоб открылось чувство поэта, пронизанное радостью и добротой. Он говорит о духовных ценностях, о благе народа, ради которого вершилась ре-

волюция, ради которого сражались воины гражданской и Великой Отечественной, ради которого и сегодня молодые воины крепко держат в руках грозное оружие.

Человечно знаменательное для филологии лирического героя стихотворение «Нет солдат безымянных...». Да, поэт видит и чувствует масштабы происходящих событий, творимых волей миллионов людей. Но в его сердце находится место для каждого солдата. Для него каждый воин — человек с неповторимыми чертами лица и характера, человек, готовый в любую минуту защитить отечество и сохраняющий душу художника.

Книга «Земная песня» насыщена картинами сегодняшнего ратного труда, любовью к женщине и природе, лучшие произведения здесь несут радостную веру в грядущее, зовут вперед ритмами атаки.

Борис Дубровин.



В. С. РЯБОВ. Великий подвиг. Популярный очерк о Великой Отечественной войне. Воениздат. 1975. 316 стр.

В канун тридцатилетия победы советского народа над гитлеровской Германией появилось много ценных научных исследований, солидных монографий, капитальных исторических трудов, популярных книг, посвященных боевым операциям минувшей войны, ее природе, характеру и тем последствиям, которые она оказала и оказывает на современное состояние мира. Эти издания расширяют наше представление о народном подвиге, делают достоянием широкого читателя многие до того неизвестные факты и события.

В огромном потоке этой литературы о войне, думается, не останется не замеченным интересный популярный очерк военного историка и журналиста генерал-майора Василия Сергеевича Рябова «Великий подвиг». В нем на огромном, умело отобранном материале автор показывает всемирно-историческое значение нашей победы, решающую роль Советской Армии в разгроме гитлеровской Германии и империалистической Японии.

Главное достоинство книги «Великий подвиг» состоит в том, что автору удалось популярно изложить материал сочетать с высокой научной достоверностью. В очерке освещаются важнейшие события Отечественной войны, рассматриваются главные ее операции, называются многие отличившиеся части, приводятся сотни фамилий военачальников, политработников, общественных и политических деятелей, партизан, подпольщиков. Дается много различного фактического материала, цифр, сведений, и все это делается с тщательностью, свойственной академическим изданиям.

И в то же время живость изложения делает книгу одинаково интересной и для

подготовленного читателя и для того, кто только начинает знакомиться с историей минувшей войны. Причем, это особенно хочется отметить, автор нигде и никогда не отступает от научной достоверности в угоду ложно понимаемой занимательности. А такое, к сожалению, еще часто встречается у нас в популяризаторских очерках о войне.

Популяризация в области научно-исторического жанра у нас не имеет ни традиций, ни особого опыта. Да и литераторов, работающих в этой области, можно пересчитать на пальцах. А между тем читательская аудитория, на которую рассчитаны такого рода издания, поистине необозрима. В пропаганде славных революционных, боевых и трудовых традиций советского народа популярный исторический очерк призван занимать особое место. И потому особенно хочется отметить удачу автора в этом жанре. Рецензируемая книга рассчитана на массового читателя, особенно на молодежь.

Рассматривая события войны как историк, В. Рябов остается публицистом. Для него прошлое не просто пепел, хотя святой, хотя нетленный, но главным образом — огонь. Тот святой огонь, что согревал сердца солдат в суровые зимние дни оборонительных боев Подмоскovie, грел защитников Сталинграда и Ленинграда, героев Ханко и Малой земли у Новороссийска, женщин, подростков в холодных цехах заводов Урала и Сибири, где ковалось тогда оружие победы. Тот огонь священной ненависти к врагу, горячей любви к социалистической отчизне, к партии, к ее ленинскому делу, который помог советским людям выстоять, выдержать все тяжелые испытания войны и одержать всемирно-историческую победу. Этот огонь как негасимый факел сегодня в руках у нового поколения советских людей, в руках советской молодежи. И автор книги на многих примерах прослеживает нерушимую связь поколений, связь героического прошлого с нашей советской современной действительностью.

Важное достоинство книги — ее богатые иллюстрации. Помимо широкоизвестных снимков, уже вошедших в фотолетопись войны, есть много новых, впервые публикуемых. Причем фотоснимки, помещенные в книгу, не просто иллюстрируют события, о которых ведется рассказ, а составляют органическую часть всего исторического повествования, придавая ему дополнительную эмоциональность и интерес.

Эти бесспорные достоинства книги и определили ее успех у широкого читателя. Книга уже выдержала два издания. Она ныне переведена на арабский и французский языки. Ее можно видеть и в полковой и в школьной библиотеках. В руках пропагандиста и школьного учителя.

Вал. Гольцев.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗАТ

В. И. Ленин. Избранные произведения. В 3-х томах Т. 3. Октябрь 1918 — март 1923 гг. 856 стр. Цена 1 р. 54 к.

М. И. Калинин. Избранные произведения. Составитель В. Ващенко и другие. 566 стр. Цена 1 р. 11 к.

И. Новин. Вопросы стиля мышления в естествознании. 144 стр. Цена 49 к.

Курсом мартовского Пленума. Редакторы В. Голиков, Н. Заколунии и П. Игнатовский. 527 стр. Цена 1 р. 32 к.

Ю. Ожегов. Социальное прогнозирование и идеологическая борьба. 192 стр. Цена 65 к.

Опасный курс. Антисоветизм и шовинизм — основа политики Пекина. Выпуск 6. 334 стр. Цена 88 к.

Третий конгресс Коминтерна. Сборник статей. Главный редактор Ф. Фирсов. («Основные этапы истории международного коммунистического движения») 632 стр. Цена 1 р. 58 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

К. Буковский. Из прошлого и настоящего. Публицистические очерки о жизни советского села. 526 стр. Цена 1 р. 4 к.

В. Кожевников. В полдень на солнечной стороне. Роман. 405 стр. Цена 1 р. 6 к.

И. Константиновский. Первый арест. Возвращение в Бухарест. Повести. 575 стр. Цена 1 р.

Л. Кривенко. Стучат колеса. Рассказы. 248 стр. Цена 40 к.

А. Макаров. Критик и писатель. Составитель Н. Макарова. 462 стр. Цена 1 р. 15 к.

Птицы счастья. Сборник рассказов писателей Узбекистана. Переводы. Составитель Г. Хакимов. 464 стр. Цена 91 к.

Л. Рубинштейн. На рассвете и на закате. Воспоминания. 231 стр. Цена 36 к.

Ю. Смолич. Ревет и стонет Днепр широкий. Авторизованный перевод с украинского И. Карабутенко и А. Островского. 790 стр. Цена 1 р. 70 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В. Богомолов. Рассказы. 172 стр. Цена 27 к.

Я. Кавабата. Стоя горы. Роман. Перевод с японского В. Гривина. Вступительная статья Н. Федоренко. («Зарубежный роман XX века») 240 стр. Цена 75 к.

Л. Лагин. Избранное. 624 стр. Цена 1 р. 18 к.

Я. Неруда. Малоостранские повести. Перевод с чешского. Предисловие А. Соловьевой. 319 стр. Цена 46 к.

Первый миг свободы. Рассказы писателей ГДР. Переводы. Составитель П. Березовский. Предисловие П. Топера. 207 стр. Цена 1 р.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

В. Богомолов. В августе сорок четвертого... Роман. 431 стр. Цена 90 к.

Н. Глазков. Незнамые реки. Стихи. 95 стр. Цена 27 к.

Коммунисты, вперед! Сборник стихов. Составитель В. Польшов. 191 стр. Цена 73 к.

Ф. Г. Лорка. Избранная лирика. Перевод с испанского. Предисловие Н. Малиновской. («Избранная зарубежная лирика») 63 стр. Цена 6 к.

С. Наровчатов. Боевая молодость. Стихотворения и поэмы. 239 стр. Цена 1 р. 2 к.

Л. Озеров. Далекая слышимость. Книга стихов. 143 стр. Цена 34 к.

«СОВРЕМЕННОК»

Есенин и современность. Сборник статей. Под редакцией М. Базанова и Ю. Прокушева. 405 стр. Цена 1 р. 7 к.

М. Жигжитов. Подлеморье. Роман. Предисловие В. Тендрякова. 375 стр. Цена 81 к.

Г. Солонников. На перекатах. Миниатюры, рассказы, повесть. 189 стр. Цена 52 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Л. Квитко. В гости. Стихи. 64 стр. Цена 61 к.

К. Кулиев. Высокие деревья. Стихотворения. Перевод с балкарского. Предисловие Н. Тихонова. 159 стр. Цена 65 к.

А. Масс. Я и Костя, мой старший брат. Повести и рассказы. 111 стр. Цена 31 к.

Семицветная страна. Стихи и сказки. Предисловие Я. Акима. 255 стр. Цена 70 к.

ВОЕНИЗДАТ

Боевой союз братских армий. Сборник под общей редакцией П. И. Ефимова. 264 стр. Цена 1 р. 26 к.

М. Владимов. Полигон. Стихотворения и поэма. 143 стр. Цена 1 р. 2 к.

Л. Дмитерко. Последние километры. Роман. Перевод с украинского И. Карабутенко. 244 стр. Цена 58 к.

Другу, Брату, Освободителю! Стихи поэтов Болгарии, Венгрии, ГДР, Монголии, Польши, Румынии, Чехословакии и Югославии. Переводы. Составитель В. Коткин. 302 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Круговых. Дорога в мужество. Роман. 285 стр. Цена 66 к.

Е. Овчаренко. На фронтовых аэродромах. («Рассказывают фронтовики»), 150 стр. Цена 22 к.

С. Щипачев. Несмолкающая тишина. Поэма. 31 стр. Цена 13 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

Ю. Гончаров. Сердце, полное света. Повести и рассказы. Предисловие Г. Бакланова. 447 стр. Цена 85 к.

А. Калинин. Эхо войны. — Возврата нет. Повести. 144 стр. Цена 30 к.

С. Кудряшова. Друзья с тобой. Повести. 207 стр. Цена 52 к.

Я. Рохлин. Книга о шахматах. 208 стр. Цена 35 к.

«ПРОГРЕСС»

Я. Дарваш. Колокол в колодце. Пьяный дождь. Романы. Авторизованный перевод с венгерского В. Гейгера. 731 стр. Цена 2 р. 60 к.

Марксистская литературная критика в Чехословакии, 20—30-е годы. Сборник статей. Перевод с чешского и словацкого И. Бернштейн и Н. Николаевой. Предисловие И. Бернштейн. 375 стр. Цена 99 к.

Современная болгарская повесть. 70-е годы. Переводы. Составитель и редактор Р. Грецкая. Предисловие В. Андреева. 525 стр. Цена 1 р. 62 к.

Современная вест-индская новелла. Перевод с английского, французского, испанского и голландского. Составитель Г. Головнев. Послесловие А. Ковальской. 463 стр. Цена 1 р. 48 к.

Судьбы романа. Сборник статей. Перевод с английского, французского, итальянского, испанского, немецкого, болгарского, румынского и словацкого. Составление и предисловие Е. Трущенко. 373 стр. Цена 1 р. 40 к.

«ИСКУССТВО»

А. Буров. Эстетика: проблемы и споры. Методологические основы дискуссий в эстетике. 175 стр. Цена 70 к.

Кинопанорама. Советское кино сегодня. Сборник статей. Составитель В. Фомин. 310 стр. Цена 1 р. 50 к.

Л. Парфенов. Сергей Герасимов. («Мастера советского кино») 279 стр. Цена 1 р. 7 к.

«НАУКА»

Л. Бабаев. Назым Хиамет. Жизнь и творчество. 380 стр. Цена 1 р. 56 к.

А. Бабин. Формирование и развитие военно-теоретических взглядов Ф. Энгельса. 275 стр. Цена 1 р. 24 к.

Д. Лелюшенко. Москва—Сталинград—Берлин—Прага. Записки командарма. Издание 3-е, исправленное и дополненное. 440 стр. Цена 2 р. 20 к.

А. Н. Островский. Новые материалы и исследования. Книга 2. (Литературное наслед-

ство. Т. 88. В 2-х книгах). 568 стр. Цена 3 р. 57 к.

Пушкин. Исследования и материалы. Редактор М. П. Алексеев и др. Т. 7. Пушкин и мировая литература. 276 стр. Цена 1 р. 95 к.

В. Тимофеева. Пути художественного исследования личности. Из опыта советской литературы. 191 стр. Цена 66 к.

Типологические исследования по фольклору. Составители Е. Мелетинский и С. Неклюдов (Исследование по фольклору и мифологии Востока). 320 стр. Цена 2 р. 40 к.

«МЫСЛЬ»

В. Анинеев. Деятельность ЦК РСДРП(б)—РКП(б) в 1917—1918 годах. Хроника событий. Под редакцией А. Соловьева. 557 стр. Цена 2 р. 45 к.

Идейно-политические течения империализма. Ответственный редактор В. Чепраков. («Современный капитализм и идеологическая борьба») 317 стр. Цена 1 р. 26 к.

Переписка В. И. Ленина и руководимых им учреждений РСДРП с партийными организациями. 1903—1905 гг. Сборник документов в 3-х томах. Т. 1. Август—декабрь 1903 г. Редактор М. Волин и др. 501 стр. Цена 1 р. 68 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Напевы Аму. Сборник стихов молодых поэтов Каракалпакии. Переводы. Нукус. «Каракалпакстан». 131 стр. Цена 57 к.

Народная поэзия рабочих Сибири. Составление и вступительная статья Н. Кузьминой. Под редакцией Л. Элиасова. Улан-Удэ. Бурятское книжное издательство. 260 стр. Цена 1 р. 37 к.

Д. Чарквиани. Цветущее солнце. Стихи и поэмы. Перевод с грузинского. Предисловие И. Абашидзе. Тбилиси. «Мерани». 179 стр. Цена 60 к.

Я. Чюрленис. Воспоминания о М. К. Чюрленисе. Вильнюс. «Вага». 368 стр. Цена 97 к.

В. Шефнер. Избранные произведения. В 2-х томах. Т. 1. Стихотворения. Вступительная статья А. Урбана. Ленинград. «Художественная литература». Ленинградское отделение. 437 стр. Цена 1 р. 15 к.

Главный редактор **С. С. Наровчатов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашкү (ответственный секретарь), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, М. Б. Козьмин** (первый зам. главного редактора), **В. А. Косолапов, А. А. Кулешов, В. М. Литвинов, А. И. Овчаренко, А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, О. П. Смирнов** (зам. главного редактора), **Ф. Н. Таурин, К. А. Федин**

Редакция: Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 299-81-77
Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Почтовый адрес: 103806. Москва. К-6. Пушкинская пл., д. 5.

Сдано в набор 21/III 1975 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 23/IV 1975 г.
Формат бумаги 70×108^{1/16}. 28,7 уч.-изд. л., 9 бум. л. (25,2 усл. печ. л.)
А 02270. Тираж 175.000 экз. Зак. 1025.

Отпечатано с матриц типографии издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР», Москва, Пушкинская пл., 5, в ордена Ленина комбинате печати издательства «Радянська Україна», Киев-47. Врест-Литовский проспект, 94. Зак. 02503.

Цена 70 коп.

70636